

Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 12 ДЕКАБРЬ 2005 • ИЕРУСАЛИМ

- ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ. Врунья
- ИГОРЬ ВЕСЛЕР. О Каштанке и каштанках
- ЗЕЭВ САНДЛЕР. По стопам Жаботинского
- СИМПОЗИУМ: С Францией покончено, не так ли?
- АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Биробиджанская сказка
- ЕВГЕНИЙ МОРОЗ. Гитлер, Сталин и Михаил Левитин



העמותה לקליטת עליה ב
רח' י. ל. מוק 20 חיפה 4104
ספריה

מס'

8473

ספר זה הוענק ע"י
המשרד להגות עליו
ועיריית חיפה



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№12

ДЕКАБРЬ 2005
ИЕРУСАЛИМ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3** Леонид Гиршович. Врунья
43 Ю. Клятис. Фотоностальгия

КУЛЬТУРА

- 102** Игорь Веслер. О Каштанке и каштанках
114 Борис Парамонов. Ставка на Достоевского

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- 119** Зезв Сандлер. По стопам Жаботинского
135 Сергей Кургинян. Логика политического кризиса в России
157 Михаэль Дорфман. О том, как евреи произошли от славян
182 Симпозиум: С Францией покончено, не так ли?
193 Александр Мелихов. Биробиджанская сказка

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

- 200** Владимир Тольц. 1950-е: Советская реакция на иностранное радиовещание
223 Евгений Мороз. Гитлер, Сталин и Михаил Левитин

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... (дайджест)

- 240** Александр Мелихов. Красный Сион
291 Леон Вайнштейн. Израильские зарисовки
300 Борис Орлов. По обе стороны баррикад
308 Леонид Гиршович. Война, которой нет альтернативы
315 Юрий Каграманов. Ворон к ворону летит
326 Алексей Варламов. Мистика бомбы
333 Евгений Евтушенко. Мир висел на волоске
339 Андрей Пионтковский. ...И мясо белых братьев жарить
341 Виктория Ивлева. Одна. Ночью. В Париже
345 Александр Дельфинов. Сила советской медицины
351 Коллекция нестандартных еврейских имен и фамилий

ISSN 1565-5318

העמותה לקליטה עליה בחיפה
רח' ל מנחם בגין מס' 33041
ספריה

8473

מס'

ЛИТЕРАТУРА



выпускник Ленинградской консерватории, скрипач, прозаик – автор романов «Обмененные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (1999, шорт-лист Буковской премии), «Суббота навсегда» (2001), «Вий» (2005). Живет в Германии.

ВРУНЯ

I

Шестой класс, с одной стороны, еще мальчиковый, с другой – уже девичий, только в седьмом начинают дичиться друг друга наравне. Поведение тех и других пронизано трепетом отвращения и трепетом жгучего любопытства, хотя каждый каждого знает как облупленного.

Прихожанки в школьный сортир под литерой Ж являют собою мех с молодым вином. Входящие в сортир на М свою каплю неразбавленного спирта умещают в рюмочке. Общего застолья получиться не может. Не жди его и во взрослой жизни, каковая, согласно психоаналитику, сводится к решению «детского вопроса», загнанного под ногти подсознанию. Поэтому утешительные разговоры о том, что «жизнь заставит», «жизнь научит», есть лжепророчество на девяносто процентов.

Тринадцатилетний, я сделался пажом старшеклассницы. Любовь, по общему мнению, обладает зрением Фемиды. По-моему же – она обостряет зрение. Я видел все и все понимал. Любовь зла, но не слепа. Она не ставит отметок по поведению – даже по рисованию. Впрочем, по рисованию у нас был высший балл: красивей в трехмерном мире я не встречал никого. На экране? Но не в роли «бабенки», по-французски – «бабетты», с одноименным начесом, который тогда входил в моду. Русая коса – русская краса, звездный взгляд. Такова Лара Комаровская. «В простом мушкетерском плаще» – коричневом платье с черным фартуком, как если б рождена была из парты – она только выигрывала в моих глазах, что курьезным образом ставило меня вровень с каким-нибудь московским адвокатом, членом гильдии любителей «незрелых плодов».

Как в действительности звали мою героиню, не тайна. Тем паче, что ее уж и нет в живых. Следуя акустическим предпочтениям, я перебирал разные фамилии: одна, моего одноклассника, подошла бы, да ее носит популярная эстрадная певица. (Они могли быть знакомы: обе ходили в одну школу, постигали одну и ту же премудрость – с разницей в полдесятилетия.)

Нельзя, как встарь, отложить перо и задуматься – больше нет перьев. Пишущих машинок, и тех нет...

Вообразим себе учебное заведение «полузакрытого типа», готовившее на медленном огне будущих ойстрахов и гилельсов. Перспектива стать помесью сталинского соловья с алябьевским соколом кружила голову – отчасти самым юным дарованиям, но, главным образом, их бедным родителям. И поныне кружит. Хотя сегодня музыкантская стезя – социальный анахронизм. Избравший ее – заведомый неудачник. Выпускник пажеского корпуса в канун революции. Ужасно глупо.

Нельзя, к сожалению, воспользоваться фамилией одноклассника, чья младшая сестра – звезда советской эстрады. Нонна Скоропадская – так звался оригинал – вместо Понаровской превратилась в Комаровскую. Лара Комаровская. Стала вальсом из «Доктора Живаго».

6-й класс – первый класс второй смены. Из пролетария, встающего затемно, готового к тому, что водитель не откроет заднюю дверь, я сделался патрищем: среди бела дня еду в пустом автобусе. Как будто живу на нетрудовые доходы. За окошком город тех, кто в рабочее время не на рабочем месте. От Литейного я доезжал двадцать вторым до Новой Голландии. Там слазил – скрипка слева, портфель справа. За Поцелуевым мостом школа. Если оказывался с Ларой Комаровской в одном автобусе, то по выходе и скрипку, и портфель – все брал в одну руку: так мужественней. А то, как с ведрами.

В масштабе города мы соседи, но моя нога в брезентовом ботике «прощай молодость» ни разу не переступила порог ее парадной. Между прочим, Лара ходила в солидных желтовато-вишневых румынках «трактор как средство передвижения». Если кафказск это буквально понятая метафора, то мир полувековой давности, включая и все, производимое в нем, кафказск с обратным знаком, превращение реальности в иносказание.

Я жил на Литейном, за «Тэже», в фальшивую подворотню нашего дома был туго вбит тир – так туго, что выбить оттуда эту забаву не удавалось еще несколько десятилетий. Аляповатые аполитичные фигурки с расплюснутыми пяточками мишеней на отлете: караван крылоухих уток под потолком, несколько профилей, готовых в случае попадания снять перед вами шляпу, пыльщики дров, явно не выполнявшие свою норму (мишени у пыльщиков были крошечные, и они по опыту знали, что конвоир промахнется). Потом имелись ветряные мельницы, крутившиеся после меткого выстрела секунд десять – не помню только, в какую сторону. Как не помню, поддевал ли там штыком толстопузого фращника красноармеец, или это из другой оперы, трехкопечной, в декорациях Маяковского (впрочем, одно другого не исключало).

Краткая литературоведческая справка. Слово не только бурлак (речь-поводырь у слепого Гомера-поэта), оно не только вертит мыслью, как жена-шаея мужниной головой, отчего пишущий прозой – тот же рифмач, подвластный божественной случайности. Это ладно, слово можно обуздать – не чувством меры, так чувством страха. Что совершенно неуправляемо – интонация, тон, тончик... Разве я так изъясняюсь? Разве у меня интонация записного враля? А дуло собственного лица, которое видеть тебе не дано, только ощущать «плотью от плоти души своей»? В зеркале же мордас...

То же и с моей письменной речью, меня в ней не больше, чем в отпечатке моего мордаса на сетчатке чужого глаза – даром, что меня безошибочно по нему распознают. Каждый кругом – полицейский, я – поднадзорный. Я не рожден в мир, а сдан в часть.

Вопреки чувству, рассудок приказывал верить тому, что это **я** отражаюсь в зеркале или что это **я** обречен десятилетиями желтеть на карточке: гимнастерка перехвачена ремнем под самой грудью, как туника на даме, позировавшей республиканцу Давиду, – чтобы полтора столетиями позже открыткою лежать на прилавке специализированного магазина «Книги, картины, открытки, плакаты», куда я зааживал едва ли не каждый день.

Право, лучше признать себя в ребенке, давно и бесследно исчезнувшем, чем в старом дядьке из зазеркалья, с которым хоть и сжился, но не слюбился, о нет! Привык. Уже безразлично. Прежде, в щегольскую пору жизни, неумение щегольнуть собой компенсировалось таким «луна-парком» in sich, что было не до чужих празднеств, куда к тому же и незван.

Лара, та, естественно, была в ладу со своим отражением – точнее из него «не вылезала». Женский пол прилежно исследует себя в своей телесности. Но внешность, которую жизнь выставляет на аукцион, как сахарный диабет, смертельно опасна, если не быть постоянно начеку.

Мы ездили одним маршрутом, ее возила мама, меня – домработница. Они сажались у к/т «Нева», мы у к/т «Октябрь». Выйдя, шли в шаг друг от друга, кастово-отчужденно. Это нормально: она с матерью, я с домрой – а ее мама не будет играть на народном инструменте (она «портниха по дамским шляпкам»). В школьном гардеробе немало детей подвергалось процедуре совлечения рейтузов, в том числе и она, меня же почему-то рейтузамы не мучали.

Иногда мы с Клавой предусмотрительно доходили до «Невы» – если накануне не получалось ввинтиться в первый подъехавший автобус. У моей Клавы благоразумие носило характер схваток: стоит ей раз поглядеть на спины, изнутри прижатые к створчатым стеклышкам неоткрывшихся дверей, – два дня затем мы совершаем моцион, проходя остановку назад, к площади Восстания, где автобусы сильно закладывало пассажирами. Но упреждающая жертва, каковою является благоразумное поведение, не в ее натуре. Авось откроет дверь. А там, глядишь, пробьем себе путь, как две капли «санорина» в переполненном носовом проходе. А можно набраться нахальства и переть с передней по праву женщины с ребенком. Разве Кла-

ва не женщина? Разве я не ребенок? Нет, домработница с барчуком это не женщина с ребенком. Это сразу два пережитка, им нет места в нашем автобусе. И остальным тоже нет места.

Иногда сослепу кто-нибудь мог посоветовать: «А ты за маму-то свою держись». От незаслуженного почета у Клавы лицо делалось каменным. Не иначе как со страху быть разоблаченной мною: «А это не мама...»

Кому домработница, а кому учительница жизни. Из ее разговоров я понял, насколько мужчина и женщина одержимы друг другом, хоть и по-разному. «Валя, вона дохлого вида, может мужчину привадить, ему никто другой не нужен» (подразумевался милиционер, с которым Валя «танцует фокстрот на перине»). Кроме того, я посвящен в тайны ее организма: «Поясница болит. Холод из нее выходит».

На торфоразработках она надзирала за пленными немцами. Один летчик был. Карл. Красивый. Про немцев интересно, хотя про плен не так: плен представлялся рабством, а жизнь рабов это сплошное истязание. Но Клава на вопрос, давали ли им хоть немного отдыхать, отвечала: конечно, если устал, мог отдохнуть – другое дело, когда видят, что ничего не делает. И опять двадцать пять: там у них была женщина-гермафродит, стоило другому кому заночевать у нее, «все, больше никто не нужен». Она и Клаву приглашала, но та не пошла. На заводе имени Карла Маркса, где она работала перед войной, проходил практику один студент. Аптович. Красивый. *Тоже* еврей, и *тоже* мать чинила ей обиды, а отец симпатичный, хоть и слушался жену.

Все в жизни зарифмовано. У каждого свои рифмы, свои «тоже». Для меня изо дня в день рифмовалось: *я // золотая косичка в автобусе*. На первых порах это создает иллюзию постоянства в жизни: что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем. Но это только на первых порах – еще будет новое, много нового. Когда с годами разгонишься и верстовые столбы замелькают, то дух захватывает от скорости, с какой пронеслась жизнь. Разве что, в отличие от Клавиной – или от Лариной, – моя сложилась, грех роптать.

«Может, Аптович и не погиб на фронте?» – думал я. Клава сама себе врет и этим утешается. Да еще по старой памяти сводит счеты с его матерью – а заодно и с мамой, зарифмовав их. «Если б я оделась, как Злата Михайловна, я стала бы еще красивей, чем она». Считать маму красивой могла только Клава.

II

Совместные поездки с девочкой и ее мамой, не замечавшими нас, продолжались, пока я ходил в нулевку и в первый класс. В школе у нас была своя нумерация: курс музыкальных наук нулем начинался, нулем завершался, вынуждая на вопрос «в каком ты классе?» возводить на себя напраслину: «В первом» – хотя ты уже во втором. Или пускаться в малоубедительные объяснения: «Вообще-то... но на самом деле...» И по своему переимено-

вании в «одиннадцатилетнюю специальную», отчего все вдруг попрыгали через класс, а второгодники плавно перешли в следующий, школа еще долго величала себя по старинке: «десятилеткой при консерватории».

Откладываем на счетах четыре года. Я шестиклассник. Не надо вставать затемно. Клава уже с лета сидит на бочке с квасом, оскорблена отставкой, зато осчастливлена постоянной пропиской. Из большего вычитаем меньшее, получаем семь метров жилплощади. Прощай, Клава, ты меня вырастила, вынянчила – видишь, родина этого не забыла.

Приметы времени для тринадцатилетнего школьника, едущего в школу пустым двадцать вторым: уже помянутые «бабетты», в одночасье пустившие по миру дамских шляпниц; пооткрывавшиеся на Невском кафетерии; прохожие в «болонях» и коротких пальто с косыми карманами... да загляните в «Шестидесятые» Вайля и Гениса, там все сказано. У Наймана – прекрасно: мы ваше Рижское взморье. Одним словом, «Я люблю тебя, жизнь» – так назывался фильм о любви современного комсомольца в берете к красавице-сектантке в платке. Кому что, а мне запомнился Олег Каравайчук в роли самого себя, в прошлом главный вундеркинд нашей школы. Касательно же прекрасной иеговистки, то ей как до луны было до Лары Комаровской, которая в автобусе сидит наискосок от меня. Инна Семеновна Радкевич, ее учительница по специальности, то есть больше, чем мать родная, шляпку, изготовленную последней, сменила на заграничную косынку, чтобы зачехлять начёс. С индивидуальным пошивом покончено раз и навсегда, пусть протирает себя в партийных кабинетах. Отныне главная примета времени: лучше быть пастухом там, чем генсеком здесь. Высокосознательный комсомолец, и тот в берете.

С Ларой мы состоим в родстве по учительской линии. Инна Семеновна Радкевич замужем за Александром Матвеевичем Яном, который был *мне* больше, чем отец родной. Брачный союз этих наших больше-чем-родителей хотелось изваять как пример беспримерного и идеального: он скрипач – она пианистка, он доцент консерватории и на полставки работает в консерваторском инкубаторе, она почасовик в консерватории, а в школу выросла по пояс, как Пандора в землю. Это была счастливая бездетная пара, в абсолютном экстазе профессионального взаимопонимания производившая что-то такое, что было для них всего важнее, трудившаяся в коллективе, где всегда есть на кого обижаться и кого обижать. Приятно гореть сообща! При этом пожелания успехов в труде не отделять от пожелания счастья в личной жизни. Пойти прямо с работы в кино на французский фильм «Набережная утренней зари» в первый день его показа, воспользовавшись чьей-то бронью. Или в Филармонию – на выступление великой заезжей знаменитости, для чего также не требовалось участвовать в ночной вахте энтузиастов, билеты им и так достанут. Случалось по нужде сходить в Малый зал. Да мало ли куда. (Только не в оперу, смешно даже себе их представить там.)

С ростом материально-культурных запросов общества меняется ассортимент табачных изделий. Еще недавно Александр Матвеевич гулко дунул бы

в папиросную гильзу, прежде чем ее закусить, а Инна Семеновна постукала бы ею по пачке. Теперь они перешли на болгарские. Войдя к мужу в класс, она достает из сумки «Фильтр», именно его, а не «Шипку» или «Солнце», или «Джейбел», особенно ценившийся в том кругу, к которому мне очень хотелось принадлежать, да нос не дорос. (В уборной: «"Джейбел", чувак...» – тяжелым басом Виллиса Кановера.) И Александр Матвеевич, и Инна Семеновна курили в классе, стряхивая пепел в кулечек из газетки. Вообще кто из школьников своих учителей называет за глаза по имени и отчеству? «Ян», «Инна»... У моего учителя фамилия звучала, как имя, он был родственником того самого Яна, чья трилогия украшала множество книжных полок, в том числе и нашу. Раз я потянул за один из трех корешков, открыл и вижу: пятаки к затылку, татарская казна. Как тут не вспомнить уроки по специальности.

Когда она вошла, играла Соловейчик, девица могучего сложения, мывшаяся, может, как и все, но потевшая, увы, в три раза обильней – очевидно, благодаря многочасовым занятиям на скрипке, что как бы извиняло ее в глазах профессионалов, но глаза это ведь не единственный орган чувств. На пульте стояла «Кармен» Сарасате с оторванной музгизовской обложкой. Ян тряс головой и кричал: «Смычок!.. Весь смычок!.. Раззудись, плечо, размахнись, рука!..» Скрипка в руках у Соловейчик мычала: заломив локоть вправо, она в этот момент играла высоко на баске: «У любви, как у пташки, крылья...» Я ждал своей очереди розог, уже стянув гимнастерку, – она мешала «раззудиться плечу».

– Я сейчас выставила Комаровскую за дверь, – сказала Инна и добавила, глядя на Соловейчик: – Саша, выйди, нам с Александром Матвеевичем надо поговорить, – меня по малолетству она проигнорировала. – Это становится абсолютно невыносимым. Занимаемся. Ни единого тебе вступления в фа-минорной фуге... знаешь, та-та-та... – напевает бесслухо, как поют пианисты. Я ей говорю: «Возьмешь красный карандаш и обведешь себе им вступление каждого голоса – чтоб в твою бестолковую башку влезло, наконец». – «Нет, – говорит, – не буду ноты портить». Как тебе это нравится? Я ей велела убираться и больше ко мне не приходить. Двух нот сыграть не в состоянии. Сколько можно за уши тянуть. Из нее такая пианистка, как из меня балерина.

Ян пожал плечами, мол, давно пора, хватит мучиться.

– Позвони матери: все, я отказываюсь. Переводите к другому учителю.

– Приходит, плачет. Жалеешь ее. А эта бестолочь еще хамит, понимаешь...

Инна становилась похожа на Змей-Тугарина, когда выпускала из раздувшихся ноздрей дым. Слушая, я ловил кайф, которому все возрасты покорны: хлебом не корми, дай протолкнуться вперед и поглазеть, как кого-то ведут под белые руки. Поэтому живущим впроголодь чужое персональное дело восполняет нехватку калорий. Комаровскую-мать я уже не видел с тех пор, как мы перестали по утрам вместе ездить в школу. Значит, вот как дело обстояло. А на людях фасонила.

– Ладно, я пошла.

Взрослым живется недурственно. Плюс они занимаются друг с другом таким, к чему ты испытываешь жгучий интерес.

Снова Соловейчик заладила свое: «Меня не любишь, но люблю я...» Со стороны шейки верхняя дека давно уже облысела, лак с нее был на четверть съеден потом.

– Поняла? И не бойся давать смычок. На пассажах тоже. Как молнии должны сверкать...

Это было напутствие, теперь примется за меня.

– Ну, давай.

Соловейчик обиженно складывала скрипку: почему ее выставили в коридор, а меня нет? С Комаровской они учились в параллельных классах. Двоюродные. (Ради такой, как Лара, затевались троянские войны, так что на сочувствие троянок рассчитывать ей не приходилось.) А еще у интернатских, росших на столовском пайке, яростно закушена губа – Соловейчик-то родом была из-под Киева, там, на дороге, ведущей в стольный град Киев, начала она учиться свистать, мычать и вообще по-всякому делать на скрипке.

Интернат для меня – тайно крепившееся к исподу белоснежных крылешек школы черное брюшко, сведенное от голода. Нам, кормленным домашней едой, не было туда входа – да не больно-то и хотелось. В отличие от интернатских, мы, почуя снег, рысью кralись (опасаясь вылазок из соседних дворов) каждый к своему автобусу или трамваю: один со скрипкой, другой с виолончелькой, а кто без – те пианисты. Как в грядущем анекдоте: очередная партия советских евреев по прибытии в Лод. За барское утро платили тем, что домой возвращались затемно.

III

Мы стояли с Ларой на остановке. Гранитные ступеньки за спиной приглашали всех желающих утопиться в Мойке. Несколько лет назад к такому же спуску, напротив, у Юсуповского дворца, прибило утопленника. Он лежал, накрытый дерюгой, но и того, что высывалось наружу, мне хватило. Со стороны площади Труда на мост въезжает трамвай, до краев наполненный соком электричества (а если на него накладывается встречный, идущий с Театральной, то за окошками двойная порция яркости, а в ушах двойная порция грохота). Бывает, что под уздцы его ведет автобус – пока за мостом они не распростятся. Двойка нам не годилась, она с Невского ныряла в Конюшенную – и привет, дальше через Неву, чтобы закатиться «в серокаменный затвор Петербургской стороны» (по выражению одного писателя, творчество которого я знаю, как свои пять пальцев). Двадцать второй же от «Баррикады» идет по Невскому до победного конца – до Александр-Невской лавры, за которой начинается что-то вроде жизни после смерти. Там я еще не бывал.

Мне кажется, Лара на меня поглядывает. Она всегда в моем поле зрения, о

чем знает. А теперь еще и знает – от Соловейчик небось, – что я в курсе ее «персонального дела» и возможных «оргвыводов». Гордыней дышала Ларина красота, коей она была заложницей. Снизойти до меня значило унизиться.

Я торжествовал: хоть какая-то радость в жизни. Ян ругался на меня сегодня – только что татарской казни не предал. Звезд с неба я, и правда, не хватал: в лучшем случае сяду в грошовый оркестр, даже не во второй состав – куда-нибудь в оперную студию. Ну, жена, конечно, компенсирует это своим еврейским шахер-махерским приданым, ребенок пойдет по моим стопам. В портфеле у меня лежала проверенная Хвостом контрольная по алгебре. С горя я ее разрисовал: *a* и *b* играли на трубе, в теремке из фигурных скобок пир стоял горой – за закрытыми дробями формулы осушали задранные кубки за своих учителей. Я б в художники пошел, но художники – совсем забулдыги с черными ногтями.

Тем не менее с Ларой сегодня я не менялся: костер готовился не понарошку. Прежде мое воображение наделяло девчоночий пол иммунитетом по части невзгод. Постепенно границы этого иммунитета будут сужаться, но все же представить себе Лару, взошедшую на костер по приговору учительской, было трудно. Красавица, богиня, ангел – что ей сделается! Я не верил ее покрасневшим глазам: перекупалась... Вечер кладет печать заботы даже на лица тех, у кого в кармане билетик в кино. Световые шашечки окон, которыми покрывся город, это коммуналки, куда после кино предстояло вернуться и им.

Подъехал автобус, мы сели, я, по обыкновению, наискосок на одно сиденье сзади. Вдруг она обернулась, порывисто, как в фильмах, где красавицы тоже плачут.

– О чем они говорили?

Женской красоте уступает даже музыка. Уж как я любил пластинку Марио дель Монако, сотрясающееся от рыданий ариозо... Но Ларино лицо было еще красивей. Проникновенней любых ариозо.

– Они говорили... Инна сказала, что ты должна перейти в балет, а она, к сожалению, не балерина, чтобы давать тебе уроки. Поэтому она хочет от тебя отказаться. А Ян сказал, что для этого надо позвонить твоей матери.

Я честно врал, как врут патриоты: «Прекрасное пленяет навсегда». Лара! О Россия!

– Она меня ненавидит. Только никогда не откажется. Ладно, ты еще мал, чтобы знать почему. Это моя тайна.

Я не мал! («Капризно топая ногой».) Но за один ее взгляд, за одно ее слово мог стерпеть и не такое.

Она отвернулась. Дребезжащий и тряский, особенно в хвостовой своей части, автобус не располагал к тайным признаниям.

Тогда еще на площадях не было подсветки, появившейся чуть позже, предтечей торжественно объявленного светлого будущего. И кроме луны да звезд нечем было подсластить виды города. Слева не то чернел Исакий, не то была распластана грандиозная лягушка – чье изображение на стенке в кабинете зоологии заменяло советским школьникам распятие.

Мне удалось загипнотизировать судьбу: случай небывалый, она сошла остановкой раньше. А то бы я проехал свою.

– Ты где живешь? – спросила она.

– Литейный шестьдесят три, квартира двенадцать, – я показал свободной рукой. Скрипка и портфель оттягивали мне плечо, «одно на двоих». Пусть кто-нибудь скажет, что я еще мал. – А ты – Невский семьдесят семь, правильно?

– Пушкинская один, но это одно и то же. Мы соседи, понял? – Понял, конечно, понял: «Проводите меня в Пале Рояль, сударь», – вот как это надо было понимать. Лара знала свою власть. – А что она еще говорила про меня?

– Ну, еще ты что-то должна была себе обвести, какие-то места... – Тут я блеснул: – Это «Хорошо темперированный клавир»? Та-та-та... Фа-минорная fuga?

Она не оценила.

– По этим нотам играл мой отец, это был его подарок маме.

– А он тоже пианист?

– Неважно, кем он был. Что еще она говорила? «Балерина...» В детстве мама чуть не отдала меня в Ваганьковское...

– Вагановское, – поправил я.

– Кому Вагановское, а кому Ваганьковское. Есть такое кладбище. Если бы я начала заниматься балетом, то давно бы умерла. Я очень больна.

Лара посмотрела туда, где, может и слабенько, но еще горела ее звездочка. Естественно, я тут же взялся понести ей портфель.

– Тебе будет тяжело, – и не дала.

Но потом передумала:

– Ну, хорошо.

Я плелся выучным животным, но таким, которое, если б умело говорить, шло бы и приговаривало: «Да разве это тяжело? Да я могу переносить тяжести, какие другим ослам и не снились».

– Мечтает, чтобы я от нее ушла.

– А ты же сказала, что она от тебя не откажется.

– Ну да, в том-то и дело... – и повторила: – В том-то и дело... А когда она будет звонить?

Сказать «не знаю» – ослабить свои позиции.

– Может, и звонила.

Уже толкая свою дверь, Лара усмехнулась:

– Ей муж не даст от меня отказаться.

Все понимал, все видел, все знал... но тогда она была прекрасней ариозо Канио в исполнении Марио дель Монако!

IV

С той поры я сделался пажом, доверенным лицом и преданным портфельносец Лары Комаровской, к тому же еще слушателем, зрителем, а если

надо, то и хором: «Построят всю школу на линейку, и Сергей Васильевич скажет: "Не уберегли Лару"». (До Мальчиша-Кибальчиша было тогда рукой подать: в два раза ближе, чем до нынешнего две тысячи пятого года – позабывшего отметить столетие первой русской революции. Вообще-то про Мальчиша-Кибальчиша я тоже *все-все-все* знал, но иным способом самовыражения не владел.)

Она по-прежнему будет заниматься у Радкевич. На третьем этаже, где размещались классы по специальности, я повстречал ее мать, та шла по коридору, держась очень прямо, никого не удостаивая взглядом. Сейчас войдет в класс – и прочь личину! Станет подносить к глазам платочек, выслушивать, что ее дочь – тупица, а на прощанье примется униженно благодарить учительницу, так уж и быть согласившуюся считать этот раз «последним»: «Бог вам воздаст, Инна Семеновна, Бог вам воздаст...»

Для Лары просьба о прощении равнозначна изнасилованию. Против позора есть только одно средство: по дороге в школу она молча показывает мне пузырек с прозрачной жидкостью. Достала и быстро спрятала.

– Они получают то, чего хотят.

И убежала вперед.

Будь я в девятом... Тогда бы со стороны это выглядело ссорой влюбленных: она после каких-то его опрометчивых слов бежит прочь, он в неземной досаде роняет на грудь чубатую голову, симфонический оркестр исполняет патетическую музыку.

Взрослым шагом я направляюсь в 9 «б» и застаю там картину, которую охарактеризовать можно одним словом: мечта. До звонка пять минут. Джазюга выпущен из клетки. Это, стуча каблуком, лабает буги-вуги Берлинский, из брюк-дудочек вырываются красные носки. Зажмурившись, Берлинский выкрикивает магические слова по-ангельски. Одновременно на крышке рояля поединок двух «пелеев». Мячом служит гривенник, футболисты – пара пятаков, азартно подталкиваемых расческами. Гол! Гривенник влетает в воротики, которые процарапаны пожиком на всех без исключения роялях четвертого, общеобразовательного, этажа.

В старых гимназиях в каждом классе были свои заводилы. С победой Великой Октябрьской революции, отменившей раздельное обучение, оголец перестал верховодить классом и стал душой уборной. Из Марсова поля класс превратился в Сад любви, отныне начинающие Царицы ночи сами распределяли, кому быть Зорастро, кому Тамино, кому Папагено, а кому и Монастосом (и устраивайся как хочешь, всеобщий пария). Какая роль досталась Берлинскому? Полагаю, не злополучного мавра. Да меня это и не трогало. Если б для исключения из комсомола тоже требовалась характеристика – как потребует их позднее ОВИР для убывающих, – Берлинскому бы написали: «Пользуется авторитетом у младших товарищей». Он ярчайший представитель 9 «б», а в 9 «б», согласно нашим верованиям, обитали боги. Как на Олимпе, как в Валгалле. Быть услышанным богом – это ли не предел человеческих мечтаний!

Чувствуя, как сутулюсь, я еще раз бросил взгляд на класс: кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, кто – что. Неразошедшийся комок кумушек точил ляды. Все было вроде бы, как у нас, но мудреней, взрослее, с привлечением технологий будущего. Кто-то мог уже кусать длинный ус, сердито ворча. Лары в классе не было.

– Берлин, ты видел Лару Комаровскую? У нее в портфеле яд. Мы ехали в автобусе, она мне показала.

Смолкли – и веселия звуки, и шум футбольных трибун, и змеиное шу-шу-шу внутри комочка, и метафизический скрип перьев тех, кто на скорую руку сдувал домашнее задание: какими бы скорыми эти руки ни были, им за пять минут не управиться, теперь же можно призвать себя к спокойствию, сказав: «Лара отравилась».

И тут она появилась, мертвенно-бледная, с опущенными глазами – так в фольклорном ансамбле движутся неприступные в своей скромности красавицы, не поднимая очей на притихших от восхищения джигитов. Только коса у Лары не черная, а золотая. И не фальшивая, а своя. В полной тишине, пошатываясь, она прошла через класс и села за парту. Мое присутствие учтено – судя по незримому для публики движению, каким поощряют кого-то своего за кулисами. Ее окружили. С нею пытались заговорить, но она только качала головой, закрыв глаза и плотно сжав губы: ей было плохо.

Забота коллектива о попавшем в беду товарище вылилась в осуждение бесчеловечности учителей. Бесчеловечным было бы сейчас проводить урок. По совести, его следует отменить, но разве совесть сыщешь в учительской? Античный хор «Вы жертвою пали» был бы уместен.

А вот я – нет, я был уже неуместен. Монастос сделал свое дело. Изволь удалиться. Причем быстро: звонок. («Мальчик, что ты здесь делаешь?») Бесправие шестиклассника, которого спроваживают в разгар праздника.

На большой перемене я крутился возле 9 «б».

Не только слезы просыхают мгновенно – в этом прелестном возрасте на всё девичья память, а уж подавно на обещание «кому-то чего-то никогда не забывать», торжественно данное в знак солидарности с жертвами произвола. Актуальность момента скрывается за холмом. Неведомо кем-чем доведенная до отчаяния, которое неудачно попыталась привести в действие, Лара никогда больше не волнуется. Ну, постояли немного все за одного, и хватит. Тем паче, что между Ларой и тремя колонками обжитых попарно парт, именуемых классом, всегда искрило. Киприда местного разлива – то же, что и пророк в своем отечестве. Вот если б она здорово играла на рояле. Будь ты хоть носорожьих статей, это как миллионное приданое для соискателей твоей ноги.

Большую перемену Лара просидела в классе. Завуч заглянула в приоткрытую дверь, ничего не сказала и пошла дальше, пожелтевшая, почерневшая – от курения и за давностью лет своего появления в мир – горбоносая армянка, древняя, как ее родина, и как ее родина, не снимавшая траур по сыну. Елизавета Мартыновна, «Мартышка». («Мальчик, ты вылетишь из школы в двадцать четыре секунды, как пробка из бутылки!»)

В сумерках, уже апрельских, не таких густых, как зимние в этот час, Лара мне шепчет:

– Если тебя ударили по одной щеке, то подставь другую.

На остановке мы одни, двойка только что отъехала, можно не шептаться.

– Это сказал, – еще тише, – Христос. Смотри, не проговорись никому. В Библии так написано.

Я был занят Ларой, не то слово – я был охвачен ею. И тем не менее!.. Как говорила Клава, бывает в жизни огорчение вместо хлеба есть печенье. Лара была таким печеньем, с горчинкой. Мой же рацион достаточно разнообразен – хлеб насущный в него входил тоже. Имеется в виду тоска зеленая сидения за партой или над домашними заданиями, которые готовились под арии Андре Шенье, Канио, Каварадосси, де Грие, оплакивавших не только свою участь, но и мою. Прибавим к этому занятия на скрипке – с книжкой на пульте, когда никто не видел, – что для взрослых больший грех, чем мастурбация. Не дай Бог быть застигнутым врасплох.

А лакомые куски киносеансов среди бела дня – их натягиваешь на голову поверх пальто на ватине. А к каким деликатесам отнести продававшиеся (а кем-то и покупавшиеся) альбомы и книги по искусству? Мне карманных денег хватало только на открытки.

В моем распоряжении целый гастронომ соблазнов. В Театре при Елисеевском я побывал на «Пестрых рассказах». И удивился: как? До революции продукты тоже возились на дачу из города? Не так уж при царе было и хорошо, что бы там ни говорили – озираясь в страхе по сторонам: «Только смотри, не болтай».

По всему городу видишь харизматические красные К, они жмутся к краю афиши зазывалой, впускающим вас внутрь балагана со словами: «Комедия дель арте сегодня – это смешно». И понимай как хочешь. В духе акимовской графики, устраивающей и ваших, и наших, вследствие компромисса – не с властью, а с собственным вкусом.

V

– Они решили, что я их боюсь, а я подставляю вторую щеку только потому, что так в Библии написано.

Лара не могла ни о чем другом думать. Она была, как первое в мире государство рабочих и крестьян: кругом враги. Но тогда аналогом стран социалистического лагеря был бы лагерь красавиц. Лучше уж навсегда остаться одной во вражеском окружении.

– Ян с Инной ни о чем не говорили?

– У меня же не было сегодня специальности.

Она даже не обратила внимания, что я без скрипки.

– Стала бы я унижаться, если б не мама. Она в жизни такое пережила, о чем даже нельзя никому сказать. Мой отец был иностранец. Мама его спасла. Это было до войны. Летом на Селигере, на даче. Маме было столько же,

сколько мне, она закончила девятый класс. Однажды видит, прямо в поле садится самолет. «Вначале, – рассказывает, – подумала, наш. Что-то с мотором. Подбегаю, а это иностранец. Ну, он мне объяснил на ломаном русском, что сбился с курса и совершил вынужденную посадку в поле. Я не знаю, правду говорит или шпион. Если шпион, то должен меня застрелить. Нет, не застрелил. Все равно решат, что шпион. Он снял защитные очки, шлем. Тряхнул вот так головой, чтоб волосы на лицо не падали. Смотрим мы друг другу в глаза, и я чувствую: не могу его выдать. Чтобы взлететь, ему нужно горячее, оно у него кончилось. А как раз была среда. По средам и субботам приезжала цистерна с керосином. Сбегала я домой, взяла два больших бидона, отстояла очередь. Он уже решил: все, не приду. И тут я появляюсь. Залил он полный бак. "Летим со мной", – говорит. Отказываюсь. Тогда он взял ладонями мое лицо, мы поцеловались, и он улетел. Прошло два года, началась война. Тоже летом, тоже все на дачах. Оглянуться не успели, как попали в окружение. Куда бежать? Я оказалась в оккупации. Вскоре пришел приказ: всех девушек, начиная с пятнадцати лет, отправлять в публичные дома в Германию. Нас повели под конвоем на железнодорожную станцию. Пока ждем посадки, какой-то офицер смотрит на меня. Подошел: "Позвольте представиться, барон фон К. Два года назад вы спасли мне жизнь". Шепнул что-то начальнику поезда, тот сразу приказал меня отпустить. Оказывается, он знаменитый летчик. Как наш Чкалов. Барон фон К.», – мама никогда не разглашала имен. Карл, и все. Он потерял голову от любви к ней. Очень красивый, мама, конечно, тоже влюбилась. Во врага еще как можно влюбиться, сильнее, чем в своего. («Как аттический солдат, в своего врага влюбленный».) Идет война, они не знают, сколько им осталось жить. Его часть находилась рядом, они каждый день встречались, он приглашал маму на танцы в «Казино», то же самое, что Дом офицеров. Эскадрилья, которой он командовал, называлась «Летучая мышь». Все эти дома барон фон К. сверху видел.

На ее доме нет номера: вход во двор с Пушкинской, а белый кружок в голубой шляпке крепится над дворовой аркой. Тем не менее Лара как-то при мне выпалила – это было в нотной библиотеке: «Этюд номер Невский семьдесят семь».

Наступит день, и собственные корбюзье – что твои люфтваффе – оставят от Лариного дома одни стены. (Так совпало, что библиотекарша Ция жила до войны в этом доме, тогда еще называвшемся по старинке «Пале Рояль». Спустя много лет Ция подорвется на бомбе, и случится это в земле, текущей молоком и медом.)

– Его сбили. «Хорошо темперированный клавир» – больше ничего не сохранилось от отца. Он обожал играть Баха. Когда война кончилась, мама чуть не села за пособничество врагу. И они хотят, чтоб я в этих нотах что-то писала красным карандашом? Извиниться-то я извинилась, но сама простить – не простила. И никогда не прощу. Дай теперь честное слово, что никому не расскажешь, что на самом деле я баронесса. Иначе, знаешь, что со мной сделают...

Как римский легат, в своего цезаря влюбленный, я размашисто ударил себя по сердцу кулаком и произнес слова клятвы, уместной в этом случае:

– Ложи мя, яко печать на сердце твоём.

Дословно я не помнил, как там в «Суламифи». Приблизительно: «Положи меня, как печать на сердце твоём, как перстень на руке твоей, ибо сильна, как смерть, любовь, и жестока, как ад, ревность, и стрелы ее – стрелы огненные». Я любил Куприна. Когда-то трижды мы ходили с Клавой на «Поединок». А на «Гранатовый браслет» я уже ходил сам. Только двум из наслаждений жизни не чужд восторг самоубийства: его можно совершить либо от великой любви, как немецкий влюбленный, либо во славу Бетховена, как это сделал еврейский самоненавистник.

– Я думаю, что он жив. Домработница мне когда-то рассказывала про одного летчика-немца. Карл, тоже красивый, и тоже под Ленинградом подбили. Она работала на торфоразработках вместе с пленными. И влюбилась в него. В него там все влюблялись, кроме... ну, я когда-нибудь расскажу, кроме кого – чтоб ты не говорила, что я маленький. Ты ее видела – Клава. Она теперь квасом торгует. Твоей маме будет интересно с ней встретиться.

Я представил себе, как Ларина мама играет на народном инструменте.

– Дурак! – повернулась, чтоб уйти.

Благими пожеланиями, согласно пословице, у меня всегда ведал бес. Что не оригинально. Уже два века, как Россия, плененная Германией, чуть что, в свое оправдание приводит эту пословицу, повернутую немецким безумием против движения. То есть ведущую не «туда», а «оттуда»: «Я есмь часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро». В отличие от автора «Кроткой», Булгаков читал «Фауста» не в таком кондовом переводе: «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». У Пастернака-переводчика благими пожеланиями выложены совсем уж воздушные пути: «Часть силы той, что без числа творит добро, желая зла».

А всё не оправдаться! Поэтому и не пытайся. Нет оправданья в природе. Не только Злу с большой буквы, но и моей мелкой гнусности. Коли ты нужен, тебя оправдывает нужда в тебе. А станешь не нужен – пшол вон!

Ларе я был нужен, поэтому она «дала мне шанс»:

– Иди рассказывай! Клаве, своему Яну, всем! Если хочешь, чтобы мне в лицо кислотой плеснули.

– Нет! – вскричал я в ужасе, чем смягчил Лару – и успокоил: такой не выдаст, на посмешище не выставит.

А ведь все та же акимовская афиша – когда непонятно, себя ли обманываешь, других ли. Это относится даже не к Ларе или ко мне – к воздуху, которым мы дышали.

VI

Мысленным оком прозреваешь другие афиши тех лет: концертов, спектаклей, ушедших либо в небытие, либо в легенду, – последнее не столько

по дурости, сколько по убожеству нашему. Прозреваешь их под фирменным «верхом», похваляющимся то горьковским профилем, то парой масок в основании лиры, то квадригой Аполлона.

Обращать в золото все, к чему ни прикоснется фригийский царь, по имени Ретро, – привилегия столицы нашей Родины Москвы. Провинциальный трагик Ленинград прислонился к колонне, сжав руки крестом. Москву он обзывает «большой деревней», но гласит же детская мудрость: кто как обзывается, так сам и называется.

«Деревня» – это провинция, «деревенщина» – это провинциал. Во всяком случае, титуловать себя «городом на Неве» царскому крестнику не пристало. «Город на Темзе», «город на Сене» – если так и будут когда-нибудь говорить о своем родном городе, то уже не по-английски и не по-французски, а на иных наречиях.

Но низложенный, с переломленной шпагой, запрятанный в собачью кличку, Кусайград выцыганил себе право на фантомные боли: ретро позолотил и его какие-то афишки (все-таки не Свердловск или Минск). К тому же обратная перспектива представляет собой не феномен зрения, а феномен памяти (пространство негласно уступило ее времени). Воспоминания дальнорезки – это с одной стороны, с другой же – сколь часто с годами большое и малое меняются местами. Письма Шостаковича, опубликованные Гликманом, пестрят рассказами о тех, кто казался мне тогда серыми мышками повседневности. Теперь это История. Такого-то числа там-то имело место то-то. А вспомнишь... ну, висело от руки написанное объявление. Только кто пойдет слушать четырехручное переложение какой-то симфонии, когда в тот вечер играл Филадельфийский симфонический оркестр.

Это был старт в кромешной темноте, и куда бежать, стартовавший не знал. Такой-то станет первым поэтом. Такой-то – местным вороном. Вы сидели за одной партией, а теперь он властелин полумира, брошенный на нары. Хотя великих выигрышей или проигрышей – единицы. Игра в жизнь велась большинством не по-крупному. Тускнели себе с годами. Глупели. В некоторых взрывался рак. А мы, сам-друг, предполагаем жить.

Одно из писем Гликману помечено: «12.VIII.60. Усть-Нарва». Тогда же там был и я. Льяного цвета северный пляж. Кургауз, сохранившийся от тех времен, когда он так и назывался: «Kurhaus». Перед ним клумба из букваря. Неподалеку поросшие быльем каменные фундаменты. Их называют собирательно: «Гунгербург», в чем есть привкус ворованной ностальгии – а значит, самозванства.

В кургаузе шел фильм «Генерал делла Ровере»: о самозванце, легитимировавшем себя верностью роли, исполненной до конца. Какой актер погиб! Побочный эпизод в фильме: несколько заложников перед казнью читают молитву, а в ней неудобопроизносимое слово «Израэль». В Ленинграде фильм показывали уже без этого слова. И без этого эпизода. Не удивительно, что кто-то ездил летом в Прибалтику, а не на Селигер.

То был единственный раз, что я очутился в Усть-Нарве – Пярну ленин-

градской творческой интеллигенции (не знаешь, что и брать в кавычки). Обычно потаенный «идишкайт» уносил нас в Палангу. Клава была несправедлива к маме: брезговавшая теми, кто устыдился своих гнезд – своих местечек, мама-то и могла по достоинству оценить ее деревенскую закуску. Клава была обижена жизнью, а не мамой.

Усть-Нарва того лета – по крайней мере, в фантазиях моей памяти – будущий указатель имен к изданным Гликманом письмам. Гроссмейстер, в фамилии которого есть что-то шахматное, – он же по совместительству половинка фортепианного дуэта. Синие купальные трусики из нейлона ему к лицу... (А как еще сказать, не нарушив приличий?)

У папы тоже заграничные плавки, но не такие. Он и не гроссмейстер, и выезжает на запад в оркестровой упряжке. А все же лучше, чем два месяца в году получать половинное жалование, пока другие отоваривают свои ежедневные десять долларов. Таков жребий одного филармониста, нашего соседа по даче. Этот человек не *выездой*, а *въездной*. Въехал из Шанхая. Хорошего помаленьку, пожил за границей, и будет. Когда бывшего ударника шанхайского симфонического оркестра чествовали в ряду других юбиляров, то Шостакович внес свою лепту в это благое дело (см. какое-то там письмо Гликману).

Шостакович был неисчерпаем по части внесения своей лепты – если б она еще чего-то стоила. «Придите ко мне все страждущие». Перед его депутатской приемной выстраиваются просители, которым другой сказал бы: «Пшел вон», а он говорит: «Встань и иди». Результат тот же, но хорошо на душе обоим.

Примечания Гликмана под статью – не то слово! – письмам, которые иначе как юродством об Антихристе не назовешь.

Шостакович пишет: «Я нахожусь сейчас под большим впечатлением от Скрипичного концерта М. С. Вайнберга, который великолепно исполнил скрипач-коммунист Л. Б. Коган. Это прекрасное произведение. В подлинном смысле этого слова. И скрипач-коммунист великолепно его исполняет. Если в Ленинграде ты увидишь это произведение на афише, обязательно найди время, чтобы его послушать».

Гликман поясняет: «Л. Б. Коган был не прочь подчеркнуть свою партийность. Отсюда шутилая характеристика известного скрипача».

Как будто читаешь сорокинскую «Норму».

Да, скажут, были люди в наше время! Даже мысли не допускали, что у приличного человека – а не только у подонка – письменная речь может ничем не отличаться от устной. Способ, каким Л. Б. «был не прочь подчеркнуть свою партийность», обрекал его исключительно на шутилые характеристики. (А как еще сказать, не нарушив приличий?) К фобиям того поколения восходит обычай именовать не понравившуюся публикацию «доносом».

Когда вышла книга Стравинского, все были вне себя: чудовищно! «С твоей оценкой "Диалогов" Стравинского я совершенно согласен. Оправданием его некоторых суждений может служить то, что он болтал, не задумываясь, и под-

писывал, особенно не вчитываясь, чтобы самому остаться в покое. Подобные происшествия бывали не только со Стравинским. (С кем же еще? Кто еще "подписывал, особенно не вчитываясь, чтобы самому остаться в покое"?) Стравинского-композитора я боготворю. Стравинского-мыслителя я презираю», – пишет Шостакович Гликману, который это обстоятельно комментирует: «Шостакович с молодых лет преклонялся перед многими сочинениями Стравинского, поражающими его воображение... – далее о том, сколь было велико это преклонение. – Но Дмитрия Дмитриевича огорчал чудовищный эгоцентризм Стравинского, его ледяное равнодушие к судьбам незащитных композиторов, поэтов, писателей, которых в годы сталинского террора травили, морально изничтожали, мучили, втапывали в грязь. Он имел в виду и Прокофьева, и Ахматову, и Зощенку, и себя, и многих других. А Стравинский с олимпийским спокойствием взирал на эти душераздирающие картины. Именно потому Шостакович презирал своего музыкального кумира».

Вот уж, действительно, встретились две России, взглянули друг другу в глаза и сказали: «Ты – не Россия» – та, что ездила в Усть-Нарву, и та, что так и не вернулась из Шанхая.

«Береги здоровье, – напишет он Гликману спустя девятнадцать дней. – Ужасно тяжело делается, когда его потеряешь. А всякого рода инфаркты подкрадываются незаметно. Тем не менее, когда почувствуешь, что ты не получаешь удовольствия от первых стопок водки, значит, дело дрянь. Я заметил, что еще в Репине водка не доставила мне радости. А это означало, что инфаркт приближается. В этом случае сразу обратиться к врачу. А еще лучше совсем не пей, соблюдай строгую умеренность».

Гликман: «Поражает наивная серьезность, с которой Шостакович рассуждал о различном восприятии организмом рюмки водки, которую он любил вкушать в минуты радости или печали. Она становится в его медицинской "концепции" неким лакмусовым листком, выявляющим притаившуюся болезнь сердца. На этот счет он и давал мне дружеские наставления».

VII

В догутенбергову эпоху слова высекались в камне – самоуважительно, на века. Вот искусно сделанная – по тем временам – фотография паутинки с паучком меж двух еловых лапок. Фотография вклеена в альбом. Паутинка пронизана солнцем. Пояснение дается рядом: «Приблизительно в 1952 году Евг. Мравинский, репетируя 9-ю симфонию Бетховена, пригласил меня в антракте к себе в артистическую уборную и советовался со мною по поводу ее интерпретации. Конечно же, я высказал свое мнение, особенно оно касалось 1-й части. Мрава внимательно выслушал меня и, в общем, согласился, реализовав впоследствии некоторые мои высказывания. По окончании беседы он подарил мне это фото, сделанное им лично (он был большой любитель природы). Я должен отметить, что Мравинский всегда относился ко мне достаточно тепло и уважительно, видимо, в силу

того, что я никогда не входил ни в какие оркестровые "блоки", я просто занимался музыкой, он, безусловно, это знал. Выйдя из артистической Мравинского, я обнаружил возле дверей более двух десятков любопытных оркестрантов. Все были уверены, что Мравинский вызвал меня для того, чтобы отчитать как следует за какой-нибудь проступок. Например, за то, что я недостаточно почтительно о нем отзывался или слишком его критиковал. Но каково было удивление и даже некоторая зависть моих коллег, когда я вышел от Евг. А. улыбающимся. Узнав, по какому поводу он меня пригласил, некоторые предсказывали, что мне несдобровать, если я осмелюсь выразить свое несогласие с отдельными аспектами интерпретации им этой симфонии. Он мне отомстит. Мравинский ненавидел тех, кто его критиковал, и довольно быстро сводил счеты с такими людьми. И вот, слава Богу, я после этого случая проработал в филармонии двадцать лет».

Как и подобает двухметровому Кашею с леденящим кровь взглядом, Мравинский мнителен и суеверен. Оркестранту с птичьей фамилией Цыпин повезло: он «на счастье» завязывает бантик главнокомандующему перед битвой. Другому оркестранту, с боголюбивой фамилией Левит, наоборот, не повезло: главкома тошнит от его немигающей стекляшки – глаз боголюбивому в свое время высадил дворовый пацан по имени Вов. И кривой музыкант стал играть перед киносеансами – что предстоит и мне, если не возьмусь за ум.

Кто-то рос на сказках о Кашее Бессмертном, а я рос на историях о Мравинском. Прозвище у него было Длинный. Мравой своего дракона могла звать заглазно разве что первая флейта, его законная – мол, смотрите: я, как и все. И вдруг папа – называет его Мравой, шелковисто.

Он записал свою святочную историю, когда уже давным-давно в глаза ему бил библейский пейзаж, слепящий, как солнце. Нет-нет, прожив жизнь оркестровым Акакием Акакиевичем, он не обольщался насчет пройденного им поприща. Знал цену и Мравинскому: глухой как тетерев, не способный выстроить трезвучие у духовых, Мравинский доводил оркестровый «гусиный шаг» до абсолютной выуженности, к восхищению западного наблюдателя. «Нет железного занавеса, есть только железная дисциплина» – зазывно вопил какой-нибудь газетный заголовок, о чем тут же с радостным придыханием докладывалось товарищу Фурцевой и в идеологический отдел ЦК.

Вернусь же к этой святочной истории – в папином изложении: о том, как он вышел из пасти дракона улыбающимся. Папу объединяет с Гликманом то, что оба понимают под приличием: несоответствие письменной речи устной – того, что писалось, тому, что говорилось. Отсюда чинность, мрамор. Пусть и третьесортный, недорогой.

А вот зачем Мравинскому было дергать за лапки маленького человека с последнего пульта – чтобы доставить себе удовольствие тем, что обманул ожидания остальных? «Пламя расступилось, и все увидели Лю невредимым и улыбающимся». На вопрос, естественный по тем временам, антисемит ли Мравинский, обыкновенно говорилось: «Нет, он ненавидит все на-

ции одинаково». Вероятно, и себя в придачу – было за что. То-то под насмешки всезнающей Москвы он носился в Загорск к патриарху, чтобы по возвращении с новыми силами приступать к мучительству себя и других.

Дирижерский гений Мравинского был сродни полководческому гению Сталина. Он мог дирижировать только своим оркестром. Простирали руки лишь над теми, кто его трепетал и потому сохранил в тайне свой позор – то, что обладающий ими, взысканный славой и почестями паладин ее величества Музыки в действительности страдает профессиональным бессилием.

Платой за страх называли они свою главную привилегию: тереться о капитализм, о загнивающий Запад. Так должен пахнуть труп врага, как пахнет после вскрытия чемодан. Неведомой галантереей курятся драгоценные упаковки. В них упакованы доказательства бытия Божия, фрагменты райских кушей. Цвета немыслимой интенсивности в немыслимых сочетаниях. Васильковая бобочка в поперечную канареечно-бордовую полосу, «креповые» носки, не иначе как работы Пита Модриана – чьи «Буги-вуги на Бродвее» воспроизводил журнал «Америка». Обтянутым этими носками лодыжкам предстояло выплядывать из востроносых темно-вишневых корочек с блестящей пряжкой. Только не моим лодыжкам, не моим!..

Большая часть привезенного продается – как эта переливающаяся куртка в металлических брелоках. Что-то мама оставит себе – чтоб перешеголять Клаву. Мне перепадет рубашка из «джерси», чтоб носил под гимнастеркой. Мне форсить не полагалось. И все равно я чувствовал себя отличным среди прочих узников платоновской пещеры, коим явлены только тени. Когда из целлофанового пакетика попадает в рот чужедальняя гостия, то вкус у нее такой обнаженный, будто твой язык лишился кожи. Вот оно, тело Заграницы, вот она, евхаристия.

Я не помню – помню я или нет, там, в Усть-Нарве, Мравинского, жена-того вторым, лучезарным своим браком на красивой женщине, которую вскоре унесет саркома, – он в подвернутых брюках на отмели, может быть, со спиннингом, может быть, удит, стоя в лодке – «он был большой любитель природы». Но все это может оказаться и черно-белой репродукцией с картины Пюви де Шаванна из книги Дж. Ревалда «История постимпрессионизма». Какая своевременная книга...

Зато физиономии другого усть-нарвского дачника, читая письма к Глиману, я сразу вспомнил. Мелкие неровные зубы, перемежающиеся с золотыми коронками. Вмятая в лицо любезность, компенсирующая исходную простецкость вкупе с хитростью. Казалось, он отнюдь не по долгу службы, а в силу давних комплексов расположен к творческому сословию. Я видел его раз, мельком. И сам он, и его имя начисто стерлись из памяти, но совет, данный Шостаковичем, обратиться за помощью к Близиюку (глядишь, поможет) заставил меня вспомнить, что мои родители тоже просили его за одну пианистку с армянской фамилией, чей отец – наш старый знакомый. Речь шла о выступлении в Малом зале. Близиюку выслушал благосклонно (глядишь, помог).

Лето в Усть-Нарве запомнилось мне, главным образом, тем, ради чего в

Усть-Нарву можно было и не ездить, но... ямщик не гони лошадей... Ах да, на пляже мама девочки, моей одноклассницы, дала мне шоколадку. На обертке сбоку было мелко написано «Israel». Она ездила туда, сопровождая известного солиста. Если Ленинградская филармония до таких полумифических мест не добиралась, то Ойстрах или Вайман ступали на эту землю.

VIII

Тебя угощают, а ты, неблагодарный, чем угостить в ответ, угощаешь кого-то, кто на тебя и не глядит – кому безразличен другой. Тот же передаст эстафету следующему. И так до бесконечности. Теория «разумного эгоизма»: ты мне, я тебе – несостоятельна, это плод немецкого безумия, каковое, последовательно скрещивая идеализм с целесообразностью, создало то, что создало: эскадрилью под командованием барона фон К., а от него, по словам Лары, остался лишь «Das Wohltemperiertes Klavier»*.

Как нет оправдания в природе, так нет в ней и взаимности. Последнюю нельзя купить – только продать, что кончается трагедией, будь то в масштабе личности, будь то в масштабе нации, которая потом рыщет по планете с пустыми глазами, озверевшая: верните мне мои деньги!

– Хочешь? – сняв крышку, я протянул Ларе круглую жестяную баночку (ей, а не девочке, чья мама угощает меня шоколадками, – и не выговоришь, не понижая голоса, откуда). В моей баночке лежали монпансье – не слипшимся поблескивающим куском, который проще наколоть, чем разжать. Нет, каждый леденец проживал порознь, исполненный своего матового достоинства. Высокая граница. Сама баночка была, как перо жар-птицы. Достанешь ее посреди ночи, развернешь тряпицу, а тебе братья: «Ты что, дурак! Избу спалишь!»

Я святотатствовал, предлагая Ларе то, что интимнейшим образом должен был сосать сам. В священном трепете. Каждый отоваренный доллар – в сокровищницу храма! Благоговейному отношению к валюте наша семья училась у государства, которое, каким бы ненавистным ни было, во всем задавало тон.

Но Лара сказала: «Мне нельзя, я же больна», – и не взяла.

Сопереживать ей – наслаждение. Сто раз притворные, ее слезы обладают воздействием – уже в силу чьей-то потребности в таковом. К тому же Лара верна взятой на себя роли. Настолько, что преодолела искушение, в моих глазах непреодолимое: отказалась от неземного, в смысле иноземного, леденца. Что ж, чем сильнее соблазн поступиться своей ролью, тем упоительней не внять ему, а вместо этого познать счастье творческой удачи. «Генерала делла Ровере» мне только предстояло увидеть, но законы, по которым живешь сам, ценны как раз своей обратной силой.

* Хорошо темперированный клавир. «Рояль, изобретенный Бахом путем слияния минорных и мажорных полутонов» (из Андрея Белого – *авт.*).

Все светлее становилось в восьмом часу, когда возвращались с уроков. То, что недавно утопало в кромешной ночи, начинало проглядывать – как, например, фигура некоего Лариного обожателя, переминавшегося с ноги на ногу неподалеку от школы. «Подожди», – и я послушно ждал, а она, опустив голову, направлялась к нему. Они разговаривали минут десять. Потом точно так же, лицом долу, она возвращалась ко мне – как Эвридика в Аид. Хотя, если смотреть с моей колокольни, мрак, в котором пребывал он, куда больше имел право зваться преисподней.

В моих глазах это взрослый мужчина; в глазах суда – тоже, соверши он что-либо преступное по Лариному наущению. Я для него был комнатной собачкой, чей нрав известен: зло растягаться при малейшей угрозе быть согнанной с колен хозяйки. Взрослый мужчина – студент Академии художеств. Роста, правда, не ахти какого – таланта, видно, тоже, раз на искусствоведческом. «Сам рисовать не умеет», – подумал я с чувством превосходства: искусствоведческий – тот же музыковедческий, прибежище бездарей, направляемых другими бездарями.

Я чувствовал себя проницательней и циничней взрослых. То, что время медлило с производством меня в чин оных, было вопиющей несправедливостью. Я же их умнее. Отлично знал, что есть Лара для тянущегося к культуре мозолистой рукой. В плетейской заскорузлости пальцев этого посетителя лекций-концертов я ни секунды не сомневался. Ларино умение играть на рояле рисовало ему поэму экстаза. И какого! Умрет по первому слову. Как в «Поединке», который мы смотрели вместе с Клавой, – та верила в магическую власть женщины над мужчиной, приводя в пример свою Валью. Но Валин милиционер был пропойца и животное, потом свои же выгнали его из милиции. А тут студент, который каждый вечер, как на богомолье, приходит постоять перед школой.

Однако их встречи могли этим не ограничиваться. Почему бы в воскресенье, в ветреный весенний день, не назначить Стрелку местом встречи – а отсюда в Эрмитаж? Украдкой мог случиться и поцелуй перед картиной Фрагонара. Тем более что от поцелуев, как говорила Клава, дети не рождаются. Художественная компонента являлась не только пропуском в Любовь с высокой буквы, такой высокой, что с нее уже плевать было на собственное ничтожество; здесь к тому же и желание ввести свою святую («И все хочу мою святую...») в круг других святынь, дабы в отраженном свете она сияла еще ярче.

Как-то раз Ларин портфель показался мне на кирпич весомей, чем всегда. Был полдень, мы на пути в школу, проехали пару остановок. Между Гостиным и Думой еще не снесен портик (сволочи!). В глубине отходящей направо улицы, в будущем снова Михайловской, а покамест уверенно носящей имя однофамильца гения, разбит скверик Искусств. Работники важнейшего из них сидят там по лавкам. В оперативных сводках это зовется «чистить себя под Пушкиным».

Итак, город из бывших, полудобитый, по главной променадной артерии которого струишься в школу, с самой красивой школьницей деля сиденье.

Она достает из портфеля то, что делало его неподъемным. По виду юргенсоновский клавир. Называется «Старые мастера». Репродукции знаменитых картин. Каждая как будто перерисована тонюсеньким перышком, штришок к штришку, то разреженной, то плотней. Лара сразу открывает цветную, такие же встречаются в старой нашей энциклопедии: ядовито-алаяповатые, к ним, как к отечественному монпансье, липнет папиросная бумажка, которой они проложены. Я вспомнил таблицу «Земноводные II».

– Я похожа на нее?

Я покачал головой. Происхождение книги понятно. Сходство, которым Ларе думали польстить, делало комплимент сомнительным. Уверен, она тоже от него не была в восторге. Может, женщина на картине и получше своих современниц, все равно до Лары ей далеко. В те времена мужчины выглядели красивей женщин. Спортивные, загорелые.

– Совсем непохожа. «Я сегодня не в том биде, у бедя дасборг». (Так разговаривает девочка с заложенным носом в книжке Льва Кассиля.) Здесь ты перекупалась, давно пора было выйти из моря. Носопырка красная, глаза простуженные. И вообще ты здесь за динозавра. На такой шее и такая маленькая головка. А туловище вон какое. Значит, голова должна быть побольше. И потом, ты что, рыжая? А кто это рисовал хоть...

– Боттичелли.

– Впервые слышу. – Категорически: – Всех художников в Эрмитаже я знаю. И в Пушкинском знаю. И в Дрезденской галерее. И всех импрессионистов знаю, но они позже были.

– Это Венус. Считается самой интересной в мире женщиной.

– Женщина может быть очень интересной, но некрасивой. Симона-сеньора, пожалуйста. Очень интересная женщина. И человеку культурному интересные даже больше нравятся. Но только красивую можно любить так, что готов умереть по первому ее требованию. Джину Лоллобриджиду!

Враки, я был влюблен в русалочку. Я назвал Джину Лоллобриджиду («Собор Парижской Богоматери»), чтобы перекупавшаяся Венера не приняла, чего доброго, это на свой счет. Что мне цыганки – эсмеральды, земфиры, кармен! «Красная рожечка, красная рожечка, я тебя люблю».

О Лара, о Россия...

Перед тем как уснуть, лежа в темноте, я воображал то одну, то другую героиню фильма, влюбленную в меня. Продолжительность романа зависела от произведенного фильмом впечатления, при этом могла на долгие годы пережить его успех и даже память о нем.

Лара слушала внимательно.

– Мама была очень интересной женщиной, – сказала она. – Но я – копия отца.

– Можно, я возьму эту книгу на день? А завтра верну.

Меня уязвило, что какого-то художника, наверное, знаменитого, раз цветная картинка, я даже по имени не знаю. Почему его нет в Эрмитаже, раз он такой знаменитый?

Берешь чужое, а отдаешь свое. Это о деньгах, хотя деньги возвращать – как воздух выдыхать. Они вещество, а не вещь, которую можно узнать в лицо. Берешь чужую вещь, а отдаешь свою. Которую успел освоить. Которая принята в семью вещей, населяющих твой дом.

«Возьму книгу на день». А на самом деле она уже неделю как кочует по комнате без права жительства в шкафу, но с явной (или, наоборот, тайной) претензией на это. Наконец ставишь ее туда для порядка. И привыкаешь к затертому до желтизны корешку. Привычка дурная, спору нет, но от дурных привычек труднее всего избавляться.

«Старые мастера» оставили по преимуществу дактилоскопические отпечатки своих творений, однако попадались изюминки хромофотографий: рыжеватая Венера в гигантской ракушке, и впрямь похожая на Лару. Еще две картины Рафаэля, один Корреджо. Все это при случае могло быть опознано, окажись я когда-нибудь во Флоренции – например, играя в Первом составе Ленинградской филармонии. А что, надеется же на чудо прошедший через всю мыслимую химию, когда обращается к целительнице.

Когда религия отделена от государства – понимай: мораль отдельно, закон отдельно, – посягательство на чужую собственность не всегда встречает негодование. Обобрать бедную вдову с благословения закона хуже, чем совершить налет на банк, где обирали держат свои капиталы. Кто томим духовной жадой, тот в посягательстве на чужую книгу не усмотрит греха. Бескорыстному желанию завладеть ею (книга ж, какая тут корысть?) противостоит собственнический инстинкт, предосудительный – при нашей-то духовности. Другими словами, на фигу козе баян – на фиг «им» эта книга?

Семья народов сгрудилась у вечного огня Победы, полыхающего четырьмя языками Совета Безопасности ООН. Но ни в английском, ни во французском, ни в китайском нет слова, обозначающего действие предмета по отношению к книге, каковое по-русски выражается глаголом *зачитывать*. (Книга же, что тарашится на своего хозяина голубым библиотечным эллипсом, даже зачитанной не считается: отчуждение библиотечного имущества не подпадает вообще ни под одну статью кодекса чести.)

В подтверждение того, что баян нам на фиг не нужен, Лара про книгу забыла. Глядишь, не вспомнит, и тогда книга может натурализоваться. А тут еще Лара заболела.

Как в старое недоброй памяти время, пропустив два двадцать вторых, я прыгнул в класс уже на ходу. Со звоном вторая смена отчаливала в шесть уроков выброшенного времени. Я его не оплакиваю: избыток времени – то же, что избыток веса. Времени всегда должно не хватать – как салата «оливье» (а вот заварки жалеть не надо, если уж котелок варит).

Спросить про Лару у того же Берлинского? Ну и пусть облажает: «А не хочешь *мой* портфель поносить, пока она болеет?» Мы люди негордые, как говорит папа.

Перекупалась-таки.

Лара притягивала, как магнит. Но нет магнита – нет и притяжения. А по закону сердца свято место пусто не бывает (у иных до самой смерти). Посему возможны запасные варианты. Получила же отгул Лиз Тейлор (фильм «Рапсодия», он бедный скрипач, она дочь миллионера, под концерт Мендельсона они мчатся в белом кабрио). На ее месте оказалась дивчина из другого фильма, которую мой немецкий мундир вводит в заблуждение. От любви до ненависти один шаг. Правой ногой дивчина меня пинает, а левой любит. В решающий момент все разъясняется, с этой минуты она влюблена в меня по уши обеими ногами. Во-о какие ноги.

Предположим, Лару и подменила бы какая-нибудь смазливая школьная мордашка – разве ей по силам равняться с Лариной одержимостью собою? Это только говорится, не хлебом единым... Лара жива была исключительно своей внешностью, ни на что более не размениваясь. Род умопомешательства, а оно заразительно. Я не в счет, мой случай – случай вакцинации. Прививка от Лары действует, отсюда и симптомы любовного недуга. Знать, предрасположен.

Зато притаившийся в темноте персонаж Куприна уже не может обходиться без ежедневной вмазки. Ждет не дожидается Лары, у него ломка. А она даже не позвонила – предупредить, что больна. И свой телефон не дает: «Соседи сообщат в школу, что мне звонят мужчины, Инна только того и ждет».

Даже не знаю, чего мне хотелось больше, чтобы он меня окликнул (и вздыхал бы потом: связался черт с младенцем) или, наоборот – не посмел? К Берлинскому сунулся бы кто: «А где Лара?» – «А какое ваше собачье дело?» Отчасти оба моих пожелания осуществились: он побрел за мной к остановке, но молча, может быть, в надежде, что я с ним заговорю. Мы «не представлены». Завидя автобус, нерешительно шагнул ко мне. На языке дипломатов это называется декларацией о намерениях. Но я недипломатично уехал.

С какой книгой я буду ужинать? Это могли быть чеховские рассказы – «пестрые». Мог быть «Швейк». Или «Милый друг». «Три мушкетера» тоже. Но не Диккенс, которого впервые я прочитал двадцать лет спустя. И то «Повесть о двух городах» – про Париж. С «мисс» из английских романов отношения не складывались. Только однажды меня поманила пальчиком отважная Джоанна, переодетая пугливым Джоном. А еще это мог быть Кун, открытый на сто сорок седьмой странице, мой любимый миф: «Вдруг перед скорбным Адметом предстал Геракл. Он ведет за руку женщину, закрытую покрывалом».

Нельзя сказать, что чтению я уделял мало времени. Но я перечитывал одни и те же книги, а в них – одни и те же места. Как и в мечтах, до бесконечности примерял на себя одну и ту же сцену из фильма или неделями мог слушать «Неоконченную» Шуберта.

Не успел я закрепить между сахарницей и тарелкой многостраничный том, весь в брызгах былых трапез, как стук из коридора:

– К телефону!

– Мама, телефон!

Комната была поделена на две. Злата Михайловна, моя мама, быстро вышла и так же быстро вернулась.

– Тебя.

Кто мне мог звонить...

– Алё?

– Это я, Лара.

Прозвучало дико: «Я – Лара». Как будто превращена злыми чарами в телефонную трубку. («Я – концерт Мендельсона», – говорит о себе концерт Мендельсона в немом музыкальном фильме «Рапсодия».)

– Ты Юру видел? Он что-нибудь сказал?

– Нет.

– Вообще ничего? Даже не спросил, где я?

– Нет. А ты что, заболела?

– «Заболела»... Слушай, можешь сейчас поехать к нему и сказать то, что я тебе скажу?

– Сейчас? – я загорелся, представив себе, как вдруг появлюсь. Решит, умерла. Перед смертью дала его адрес.

– А почему ты не можешь позвонить?

– Мне нельзя.

– А мой телефон как ты узнала?

– Узнала, и все. Так что, поедешь? Мне это очень важно.

Может, женат? Один женился на первом курсе. Первые курсенята пошли. Ян, от которого молодожен вероломно перебежал к Вайману, злорадствовал: «Коркин-то кормящая мать, а? После восьми уже не звони, дети спят. Михалзрайлича можно поздравить с таким приобретением».

– А если меня не пустят, поздно, скажут?

– Это страшно важно. Скажешь, случайно чужие ноты взял.

– Ну вот и отнесешь завтра, скажут.

– А ей завтра с утра заниматься надо, она на концерте играет.

– А если спросят, как зовут да телефон? Ты мою маму, Злату Михайловну, не знаешь: «Хочу позвонить родителям, почему это тебя ночью куда-то гоняют...» Погоди...

Но это вышла соседка из уборной, а мне и впрямь чудится мама.

– Тогда дашь мой телефон, я подойду и скажу, что ты случайно взял мои ноты в библиотеке. Записывай.

«Этюд номер Невский 77» назывались случайно взятые мною ноты.

– Так тебе и поверят. Скажут: врунья. А ехать-то куда?

– Это на Правде, совсем рядом. Дом шестнадцать, квартира двадцать. На третьем этаже, дверь слева. Грачев. К ним два звонка.

– Ты была у них? А как же его жена?

– Какая жена? Он студент.

– Ни о чем не говорит. Коркин тоже студент. Жениться и детей наделать – много ума не надо.

– Дурак! Он с матерью живет.

– Без отца?

– Без. Не у всех отцы Ташкент обороняли.

Дала сдачи дураку? Потому что – потому... Или в меня случайно отлетело? Я считал за лучшее проглотить. Она же не сказала: «Это евреи Ташкент обороняли». Я и так набивал себе цену – еще перехочет.

– Что сказать-то надо? – я уже предвкушал его реакцию: вдруг я в дверях... Ух!

– Ты вручишь ему книгу.

– Какую книгу?

– Ну, книгу, которая у тебя. Скажешь: Лара не знает, когда она поправится. И поправится ли вообще. Скажешь: пусть Венус всегда напоминает о ней. И больше ни слова. Повтори.

– Пусть Венус всегда напоминает о ней... А что с тобой?

– Я же говорила, что я – больна. Хочешь проникнуть в чужую медицинскую тайну?

– Не хочу.

«Чужой земли мы не хотим ни пяди...» И детектор лжи не зашкалило – я и вправду считал этот альбом своим.

– Я в любую минуту могу оказаться на кладбище.

Жаль, все-таки я к нему привык. Ничего не поделаешь: никто не забыт, ничто не забыто. Но если она действительно умрет, то возвращать альбом глупо.

– Да сейчас от всех болезней лечат.

– Много ты знаешь.

Я не верил. Раз в тысячу лет, конечно, и не такое бывает. Когда-то мы с Клавой читали «Даму с камелиями». Не хуже, чем автопортрет в форме обер-лейтенанта с партизанкой на коленях. То место, когда он примчался на кладбище. Вся школа во главе с Сергеем Васильевичем уже проводила ее в последний путь, на прощанье отсалютовав гайдаровским салютом. Но он должен, должен ее увидеть! Пусть с забитым землею ртом. О, Лара...

Раз в тысячу лет бывает всякое. Начну сейчас заниматься по пять часов и поступлю в первый состав (в «Рапсодии» скрипач занимался по двенадцать). Побываю во Флоренции. Я должен, должен ее увидеть. «Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря».

– Кто это звонил?

– Да одна... Ноты сунула мне в портфель. Я и увел. Скоро вернусь, это на Правде, совсем рядом. Дом шестнадцать, квартира двадцать.

– Доешь сперва.

Х

Две троллейбусные остановки до к/т «Правда», еще два шага по Социалистической, и ты на улице Правды. Кругом одна Правда, ничего кроме

Правды. На этом бульварчике когда-то наблюдались чудесные явления, свидетелями коих были многие, и в их числе мы с Клавой. Фасад дома – какого-то института – после его обработки пескоструйкой вдруг пошел изображениями святых угодников, смущая горожан благолепием своей позолоты, а еще более – несанкционированностью происходящего. Чудо продолжалось несколько дней, после чего было замазано малярами. (А может, и соскоблено – чтоб впредь святым неповадно было хулиганничать.)

Своим явлением я затмил это чудо. Согласно инструкции, позвонил дважды. На условный сигнал открыла женщина, по-шпионски неприметная: халатик, чулки в резиночку, плавно переходящие в вязанные носки и заканчивающиеся шлепанцами. Старушка-мать, которой по паспорту, может, и пятидесяти-то нету.

И глядит, привычно насупившись.

– Мне к Юре.

Здороваются либо со знакомыми, либо с начальством: перед последним «снимают шапку». Она – ни то, ни другое, только заподозрила бы подвох. Еще допускалось поздороваться очень мрачно, буркнуть «здрасьте» – но при этом нужно грызть пролетарскую косточку, а кто мне ее кинет?

Крик:

– Кто там?

– Откуда я знаю, кто к тебе ходит.

Из-за двери показалось мускулистое плечо в вырезе майки и половинка лица. Для взрослого вернулся домой рано. Может, это говорило о намерении лечь лицом к стене, отказавшись от приема пищи? Или о завтрашнем зачете по иконографии земноводных? А может, проголодался? О чем-то это говорило (но слов я не разобрал).

Увидев меня, он зажмурился и тряхнул головой. Как будто по ошибке хватил стакан спирту. Нет, не померещилось: это был я.

– Что с ней?

Я строго следовал инструкции.

– Лара не знает, когда она поправится. И поправится ли вообще... – Сглотнул: она уж наверняка ему меня расписала, надо не подкачать. – Пусть Венус всегда напоминает о ней... – Торжественно протянул альбом.

Сей верительной грамоты он не принял. Про незадачливого посла говорится: «С чем пришел, с тем и ушел». Вот бы мне так.

– Что с ней? – повторил он.

Уйти от ответа? Если в прямом смысле, то он кинется за мной вдогонку – в майке, в новых домашних тапочках, не примятых пятками. Аккуратист. Не в мать: та в козловых шлепанцах, плавно переходивших в шерсть носков и затем в человеческие ноги.

– Что с ней?!!

– Я не имею права разглашать. Это чужая медицинская тайна, а чужой земли мы не хотим ни пяди.

Повысовывались любопытные варвары: одна, другая. Среди них девоч-

ка Варя, шаркавшая взрослыми пантуфлями с барашковой выпушкой и стоптанными задниками.

Кто-то вдруг сердито говорит его матери:

– А чего вы, Варвара Георгиевна, мою книгу-то кому попало даете? – и при полном попустительстве сына Варвары Георгиевны забирает у меня альбом («дореволюционную книгу, где изображены святые»). Я почувствовал себя обманутым, оскорбился. Также и за Лару.

– Мне надо домой.

– Погоди, я с тобой.

– Куда? Никуда ты не пойдешь, – сказала мать.

Не иначе как ему, студенту, только что была устроена лекция-концерт – он же студент, он же ходит на них, а тут на дому – концерт-выволочка. В три смены, понимаешь, работала, чтоб в люди вывести. Одна растила – не у всех отцы сражались за Ташкент. А он идиотик сделался? Посмотрел бы на себя, хуже наркомана. Ничего, те напишут в милицию. Еще дело пришьют.

– Никуда ты отсюда не двинешься! – кричала она.

«Только через мой...» И одни сыновья в таких случаях перешагивают через обещанное, стиснув в ярости зубы, другие дают своей ярости волю, тогда родимая может услышать в ответ: «Заткнись, сука!» Я не стал дожидаться, чтобы посмотреть, как будет на сей раз, и ретировался – сколько квартир, столько конструкций у замков, но ларчик с этими драгоценностями открывался просто.

Он настиг меня уже на улице. Ее название, правда, не располагало к излияниям – даже несмотря на поздний час.

Мы миновали безжизненный Владимирский собор. Поняв, что все расспросы о Лариной болезни бесполезны, он разоткровенничался о своей собственной – как еще можно было назвать его любовь по сравнению с легким недомоганием моим. Я вкусил чувство превосходства. Любое чувство слаще и острее, когда оно против естества, а в моем возрасте естественным кажется превосходство старшего. И вдруг возможным стало покровительственно похлопать его по плечу. О возраст, когда молодость еще ничего не подозревает о своих превосходствах!

О, как он страдал...

– Буддизм всё измеряет одной мерой: красоту, добро, мудрость, величие, силу любви – приближенностью к некой точке, той, что бьется, пульсирует в глубине кокона, в самом его центре, а кокон этот и есть всё, и что умопостигаемо, и что не дано постичь тоже... Смысл существования человечества – приблизиться к этой точке, снимая один верхний слой за другим, постепенно обнажить ее. Так вот Лара, она и есть эта точка, понимаешь? Уже обнаженная. Я это понял, как только увидел ее в концерте. Она держала в руках ноты, она была в школьной форме.

«Жид прав». Даже когда прямо из школы ехали в Филармонию, то, чтоб не быть на концерте в форменном платье, где-то переодевались. В автобусе?.. Лара – никогда. Школьная форма заменяла ей наряд Евы, единствен-

ный, ее достойный. Ходить на концерты в коричневом платье и черном фартуке – то же, что приходиться обнаженной. В принципе любая одежда для нее была лягушачьей кожей.

– А кто ее преследует и мучает, тот и всем людям враг. Я хотел за нее вступить, но она не дает, говорит, ей плеснут в лицо серной кислотой.

Телефонные будки напоминали автоматы с газированной водой. Деревянных «беседок» в центре больше не увидишь.

– Хорошо, но позвонить же к ней ты сейчас можешь?

– Я номера ее не знаю на память.

Всегда говори правду, и тебе никогда не будут верить. Он не сердился: приказ есть приказ.

– Она хоть дома? Или она в больнице? – последнее слово он выкрикнул так, что редкий прохожий в нескольких метрах от нас обернулся.

– Она не в больнице.

«Идем в молчании суровом». Одиноким прохожим еще несколько раз на нас оборачивался.

– Когда она стишок сказала, который про нее гуляет, я этого учителя мог...

Хвостова, что ли? Дмитрий Александрович, украшавший пустовавшую глазницу плохоньким протезом, хаживал в черном френче – не то в преодоление дефицита чистых рубашек, не то демонстрируя, что давно разоружился перед советской властью (а в том, что припрятан был целый арсенал, сомневаться не приходилось). Еще математик тешил себя – и публику – простительным в его возрасте рукоприкладством: ненароком проводил линией жизни по плечевому поясу ученицы, пока та прилежно писала на доске черт те что, и за это расплачивался лишним баллом, к обоюдному удовольствию. Лара вряд ли была исключением. Но о каких-то особых домогательствах Хвоста, воспетых к тому же в стихах, я впервые слышал.

– Это какой стишок? Тот, что в уборной был? А что, у баб тоже на стенках пишут? – Я мог перехитрить любого взрослого.

Он достал пачку дешевых сыпучих сигарет, «Примой» названных исключительно в насмешку (надо б «Перэсыпь»), и написал на ней *такое...* По крайней мере, с его точки зрения. Это только считается, что «поведать бумаге» – против нравственности, а сказал – и с концами. В действительности, оскверняются уста, руки испачкал – помыл.

– Ответ мне как будущий музыкант, это правда, то, что он ей говорит: проникнуть в тайны мастерства нельзя иначе – только через грязь? А если ты чиста, тебя, значит, отчислят с пятном профнепригодной? Ладно, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, как говорит моя матушка, Варвара Георгиевна.

Кто – «он»? Я был совершенно сбит с толку. Не Хвост же... Но не Инна же Семеновна.

Он держал пачку «Примы» передо мной, а когда я прочел, изорвал ее на мелкие клочки, переложив сигареты в карман. В одной книжке преступник

крошит в кармане «Беломор» и, поравнявшись с милиционером, запускает пригоршней табака ему в глаза.

– Дальше я сам.

Я перебежал Невский на красный – как перешагнул, он остался дожидаться милиционера. Попетляв еще минут десять, я поднялся к себе. От стиха

Почивал на Ларе, как на лаврах.
Много раз мне снился этот сон.
Но зато не спится мне на нарах,
С несвершеннолетней строг закон

икалось тошнотворным романсом. «Ехали на тройке с бубенцами...» – душевно жмурясь. Всей этой пьяной гитарщины я не выносил, уж лучше Клава с ее милиционерами, уж лучше «Марш энтузиастов».

Я кинулся ставить Мендельсона.

– Ты с ума сошел! Ты знаешь, который уже час? – возмутилась моя мама, Злата Михайловна.

– Пять минут! Три! Только до каденции!

Заесть, занюхать, заслушать.

XI

Теперь в редевшем по весне мраке он подждал меня. С видом Лары, опустив голову, я подходил и протягивал принятую с утра телефонограмму: «Милый, быть может, мои дни сочтены. Тем лучше. Я не стану добычей тех, кто ставит на мне опыты зла. Меня возьмет могила. Лара истеет в земле. Ей страшно: мертвые все чувствуют... Или это не так? В памяти людей я останусь вечно живой, как героиня прекраснейшего романа, который зовется жизнь».

Она диктовала со знаками препинания – явно не раз перечитанное и уже не раз исправленное. Потом я прочитывал ей.

А спустя несколько дней вместо записки я доставил Юре Лару во плоти. Она осталась с ним – Алкестида со своим Адметом, а самозванный Геркл удалился.

Наша телефониада имела продолжение. В условный час я звонил куда-то, звонок должен был раздаться с точностью до минуты. Перед этим мы сверяли часы: ее «Победа» всегда отставала от моего «Полета».

Лара подходила к телефону:

– Алло... – и замолкала, «слушала». Шум голосов, поначалу стоявший в трубке, стихал.

Ее дыхание учащалось до форте-фортиссимо, наконец, резкий вдох, почти как «ах», и ты в безвоздушном пространстве. Думаешь, пропала связь – нет, все повторялось снова. То было отчаяние бегуна ввиду неотвратимого финиша.

Я – слушатель. Наверняка был еще зритель, и все сопровождалось мимикой немого кино.

«Нет, этому не бывать!

«Моей маме!?

«За что вы меня так ненавидите?

«Любите?

«Боттичелли?! Нет, не продолжайте! А что если я открою вашей жене глаза?

«И пусть! И пусть сожжет мне все лицо!

«И грудь! Каждый миллиметр тела!

«Оно покроется рубцами – прекрасно! Тогда не останется на земле никого, кто бы пытал меня своей любовью. Я проклинаю свою красоту...

«Да как вы смеете! Я дочь барона, командира эскадрильи "Летучая мышь"..."»

Зуммер.

Это повторялось, нечасто. Но много ли надо – несколько телефонных шариков душистого перца для вкуса? И всегда тот же самый номер. Я его засушил на память: Ж-2-79-48. В какой момент телефонная книжка становится гербарием.

В последний раз случился конфуз. Тревожно-влажное «алло», как вдруг...

– *Александр Матвеевич!* Есть человек на земле, которому судьба Лары небезразлична. Вы хорошо поняли?

Ослышаться было невозможно.

Представляю себе Ларин испуг: а вдруг в ответ он услышит мой голос. Так, обжегшись, отдергивают руку, как я нажал на рычаг. Ба-а! Да я – это же Ян.

Юра подвергся жесточайшей порке. Возвращаясь из школы, Лара не замечала его. Он стоически все сносил, словно уготованное судьбою ей стремился обратить против себя: это по его милости Ларе не дадут стать пианисткой. Бей! Бей меня! Казни меня, собаку! Пусть сильнее грянет буря, пусть больнее хлещет плетка! Только б откупиться.

Я единственный, кто мог быть к Ларе в претензии – потребовать, как минимум, объяснений. И я их получил. Свой медицинский минимум она сдала.

– Так надо.

Сама поняла: этого недостаточно. В конце концов, носить за ней портфель – не такое уж ослепительное счастье, чтоб без повода ни на шаг. И она мне предлагает:

– Хочешь я тебя поцелую?

Каким был бы этот поцелуй – может, просто клюнула бы в щечку, а может... Я представляю себе, как она приближает свои губы к моим, их касание гипнозом нежности смеживает нам веки. Безраздельно властвовать неземная красота может лишь в паре с таким же неземным блаженством, залогом которого она служит, иначе задним числом была бы развенчана. Лара понимает, что красота обязывает: богиня красоты, она же и богиня любви.

«Клянусь, о мать наслаждений, тебе неслыханно служу».

– Нет, не хочу. Поцелуй своего Юру.

«Снести не мог он от жены высокомерного презрения». Что старый, что малый. Когда-нибудь пожалею, что этим воспоминанием обделен.

ХII

Первые дни мая, как красавицы Серебряного века: холодны, ясны и ветрены. Первое мая без парадных доспехов – это второе мая. Мандаринки раскидаев, под разноцветной фольгой скрывающие труху. Монпансье воздушных шаров, наполненных, увы, углекислым газом. Серебристые громкоговорители, вещающие с разницей в один слог. Повсюду портреты родственников, которых, как известно, не выбирают: наше родное советское правительство. В этот день всё во имя человека, всё на благо человека, уже с утра предоставленного радостям частной жизни. Хочешь, иди на лодочную станцию. Хочешь, вопреки золотому правилу не приближаться на пушечный выстрел к «Авроре», подведи к ней свое дитя неразумное. А хочешь, храни беззаветно Кровать-родную, звериное тепло ее бессменных простыней. Второго мая все позволено, второго мая Бога нет.

В этот день вся страна вместе со мной празднует мое переоблачение в плащ. Взоры всех устремлены на него. Завтра я так явлюсь в школу. После-завтра о нем позабуду. Но сегодня чувство плаща свежо, как холодок в затылке по выходе из парикмахерской.

Я шел – с чистым альбомом для рисования и с душой, легкой, как Волосы Береники, промытые невскою водой. Такие же были у купальщицы, которой приписывалось сходство с Ларой и которую на основе этого сходства я перерисовал (со своей памяти) прямо на обложку альбома, под нею – белизна непокоренных вершин.

Было часов одиннадцать утра. Я шел на звук вчерашнего салюта, озарявшего многотысячный кордебалет горожан под названием «Тропою грома». Сегодня на берегах Великой Реки полная безмятежность. Где массы давились друг дружкой в ожидании спасительной отрыжки в полнеба, там прогуливались от силы по трою. А то и по двое – под обязательство сделать-ся тремя в эту пятилетку.

Политика канонерок не была еще в ходу. Впоследствии, обведенные лампочками, в языках флажков, они выстраивались по фарватеру Великой Реки. Но в то утро ничто не заслоняло мне панораму-виньетку: ростральные колонны, портик и пристань, широкой гранитной складкой ниспадавшую к Великой Реке – «изображением коих отныне повелеваю украшать слова гимна Великому Городу». Оставалось только сочинить эти самые слова и под видом петровского рескрипта послать в «Пионерскую правду».

Устроившись на середине Кировского моста, я чувствовал себя редкой птицей: в руках альбом, в празднично-легком плаще, флаги, воткнутые в парашет попарно, изнемогли в «бореньях с Бореєм». А подо мной, от быка подальше, пытаются отгрести на прокатной лодке, угодившей сдуру на Неву.

Я забываю рисовать и смотрю, как у них дела. Потом спохватываюсь: у них свои дела, у меня свои. Присочинить слова не фокус, на волне вдохновения... – взгляд на буксующую лодку. Они уже гребут в два смычка, он налегает обеими руками на одно весло, она на другое, изнемогли в непосильных бореньях. «У каждого свои дела», – повторяю я любимую фразу моей мамы, Златы Михайловны.

Тогда я стал разрабатывать золотую жилу одного превращения, которое даже не нуждалось в обычных для такого рода магии аксессуарах: подушке, одеяле, грядущем сне и т. п. Незадачливой парочке в лодке – кто там они были: студент со студенткой? парень с девушкой? петушок с курочкой? – я пересадил лица Юры и Лары; лица, с которых, обмирая напоказ друг дружке, долгим глотком пилося на брудершафт. «Хочешь, я тебя поцелую?» здесь исключалось. Как старший, это он должен учить ее целоваться – не могла же она признаться, что умеет и без него. Когда у его мамы, Варвары Георгиевны, ноги еще не были, как у фавна, белось – под гармонь, которой гармонист устраивал заворот кишок, ложась на нее щекой: «Мы на лодочке катались золотистой-золотой, не гребли, а целовались, и прибило нас к быку. Гвоздями».

Вместо того чтобы взад-вперед снова по Лебяжьей канавке, они выплыли на Неву – раззудись, плечо, размахнись рука! Это маскулинное плечо в вырезе майки я помню. Обладатель его – взрослый, хоть ростом, может, и не выше восьмиклассника. Сопроводительное письмо было написано еще вчера: «Здравствуй, "Пионерская правда"! Присылаю тебе слова гимна Великому Городу. Я очень люблю эту музыку, и я очень люблю мой город-герой. Но, когда я слушаю его гимн, мне не хватает слов. И другим ребятам тоже. Поэтому я их сочинил. В свободное время я очень люблю рисовать и после школы обязательно поступаю в Академию художеств. С уважением и пионерским приветом, ученик шестого класса Юра Грачев. Мой адрес: г. Ленинград, ул. Правды д. 16 кв. 20».

Вот тебе и взрослый. Наверное, готов был утопиться. Уже оба на равных гребут, а она, между прочим, пианистка, ей скоро на концерте играть. Превращать Лару в девушку с веслом, конечно, было злодеянием, но я же не различал между добром и злом. Впрочем, грехопадение с последующим изгнанием из детства для меня уже не за горами.

*Swave, mari magno turbantibus aquora ventis, e terra magnum alterius spectare laborem; non quia vexari quemquamst iucunda voluptas, sed quibus ipse malis careas quia cernere suave est**. Школа жизни не преминула дать мне урок – только не латыни. Ибо тут-то она ему и сказала:

– Ты чего делаешь? – устами милиционера.

Вопрос был задан с единственной целью: привязаться. Видел же, что я

* «Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры, с твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого; не потому, что для нас будут чьи-либо муки приятны, но потому, что себя вне опасности чувствовать сладко».

рисую, а не собираюсь, к его великой печали, броситься с моста в реку. Отвечать зрячему на подобный вопрос означало оправдываться. Я же, надо сказать, милиционеров не боялся. Мартышки – да. И поэтому в свою очередь спросил:

– А разве нельзя?

– Мосты запрещено фотографировать... И рисовать тоже. Разорви.

Так я ему и разорву.

– Я юнкор газеты. Это для гимна Великому Городу.

Сменить гнев на милость – привилегия вышестоящих. Обладает ли он ею? Ситуация для него затруднительная, но и мне на всякий случай надо что-то разорвать. Я на волне вдохновения, в такую минуту вся милиция Великого Города мне публикой.

– Мы пишем текст гимна. Я уже советовался с моим отцом. Хотите послушать?

Пою:

На свой двухсотпятидесятый день рожденья
В подарок ты получил метро,
Чтоб пионеры всех трех поколений
Из Автова в центр добирались легко.

Быстро записываю, с мгновенье держу перед его глазами и рву.

– Еще не утверждено, поэтому нельзя, тоже строго засекречено.

Он же умом с Клаву. И вообще думает портками. Пора, однако, уходить, пока глаза у него запорошены табаком. Это надо делать с достоинством, неторопливо, не внушая обидное подозрение, что обманули дурака на четыре пятака. Проводив взглядом стайку бумажек, исчезнувших над волнами, я напоследок переменяю тему:

– Волны – штука коварная... Они уже битый час здесь. Как муха в чернильнице. Занимались вещами совершенно аморальными... от слова «аморр». Я уже думал милицию вызвать, но Великая Река сама пригвоздила их к позорному столбу.

«Полковник помолчал и, глядя на чернильницу, быстро перевел разговор на другую тему: "Пес мой у вас испортился. Ничего не хочет жрать..."» «Швейка» я знал на память, недаром каждая страница была залита борщом.

XIII

Трудно поверить, что жизнь твоя продолжится и после твоего выступления на концерте – такой страх оно вызывает. При одной мысли о нем начинает сосать под ложечкой. Обратный отсчет времени включается недели за три. С каждым прожитым днем, словно с приближением вечера, удлиняется тень от столба, к которому тебя привяжут. Для поджелудочной железы твоего страха нет разницы между выступлением на эстраде и приведением в исполнение приговора. Когда расстреливают, даже проще: за тебя всё де-

лают – ноги подкосятся, тоже не беда, экзекуции все равно гарантирован успешный исход. Тогда как взошедший на концертные подмостки под десятками нацеленных на него взглядов сам отвечает за меткость попаданий. Покрытыми холодной испариной пальцами он не смеет промахнуться, а попробуй-ка укроти губительную для автоматики чудовищную рефлексия, попробуй-ка перейди по доске с одного небоскреба на другой. На стадии овладения ремеслом еще не располагаешь нужным запасом прочности, почему «спотыкач» – детская болезнь: взрослые либо уже не выступают, либо уже не спотыкаются. Да и споткнуться можно невинно, а можно со смертельным исходом, как Софья Евгеньевна, праправнучка писателя Загоскина, подруга моей мамы, Златы Михайловны. Она шла с двумя продуктовыми сетками, споткнулась и затылком прямо обо что-то...

Итак, попытка сороконожки самопознанием не возымеет классических последствий, если вирус мысли изолировать – так, чтобы не вывел из строя сигнальную систему. Есть, правда, один изоляционный материал – на все времена и для всех уровней профессиональной оснащенности. Это вдохновение, действительно самозабвенное, а не наподобие симуляции чувственных восторгов. Но Лара этого медиумического состояния не знала. Пытке сценой она не могла противопоставить ни технической мощи, обеспечивающей запас прочности, ни талант непритворно забываться в звуках, извлекаемых из инструмента.

На то, что она заметит мой плащ, я не рассчитывал – и не ошибся. По-прежнему ношение ее портфеля оставалось моей почетной обязанностью, но в последнее время они все чаще удалялись с поджидавшим ее Юрой, взявшись за пальчики. Все же поплавали на какой-то лодочке: что-то тепловое в их отношениях появилось. Третий лишний. А еще недавно этот третий держал свечу, благодаря чему взрослому Юре перед этим молокососом полагалось заискивать: особа приближенная, так сказать.

По-моему, у обоих росла ко мне скрытая неприязнь. Обоюдоскрываемая, ввиду невозможности признаться друг другу в ее мотивах. Для него теперь я нуль без палочки. А он-то на меня переносил тайну и трепет, внушаемые Ларой. Ах, как неприятно. С нею все обстояло наоборот: зависимость и неприязнь здесь держались за пальчики. Я, выражаясь языком грядущей демократии, владел двойным комплектом компромата на нее, один в случае чего предназначался Юре, другой – Яну.

«Приятно сознавать, что нас боятся». Чувствуя свое превращение из влюбленного на побегушках в маленького злого гения, этот последний победоносно простер над Ларой совиные крыла (о Лара, о Россия...).

– Когда Соловейчик сегодня играла, Ян стал сзади и сделал так – будто расправляет ей плечи. А потом как отскочит. Потому что я вошел. Аморалка от слова «аморэ». А Ян, действительно, к тебе приставал? Ведь если ты не понтилась, то можно написать в милицию. Ему еще дело пришьют. Я слышал похожую историю. А даже если и понтилась перед своим Юрой, милиционеры всему поверят, они же не думают головой.

«Интересно, что бы Яну сделали?»

Двадцать восьмого ей выступать. За несколько дней до этого она скажет Юре:

– У нас в школе нет ни одного хорошо темперированного клавира, а на плохо темперированном фугу не сыграешь.

– И что же будет? – разволновался Юра.

– Только Рахманинова.

– Но ты же готовилась. По тем самым нотам.

– А кого это интересует. Инна сказала: будешь играть только Рахманинова.

– Какое свинство.

– Ничего, я привыкла.

Юра прекрасно понимал, чьи это происки, и кипел от возмущения:

– Как это возможно, чтобы на всю школу не было ни одного хорошо темперированного клавира! Ничего, он еще поплатится. Только не переживай.

– Я и не переживаю. Просто смертельно голова болит. До свидания.

На нее было жалко смотреть – тому, кто, разумеется, ведал жалость. То есть не мне. По мне, зрелища делятся лишь на интересные и неинтересные. Первое, это когда дерутся, когда пожар – в общем, когда что-нибудь с кем-то приключается. Когда же наоборот, ничего не происходит, это скучно.

Беря портфель, она спросила:

– Инна что-нибудь говорила про сегодняшнюю репетицию?

– Мне?

– При чем тут ты? Яну.

– У Яны и надо узнать.

«Действительно, при чем тут я?»

Двадцать восьмого занятий уже не было. Атмосфера Брест-Литовска: ни мира, ни войны – ни каникул, ни трудолюбивого жужжания ульев вдоль пустого коридора. Звонок хоть и звенит, но больше никому не указ. Всеобщее возбуждение изрешечено страхами: каждому страшно за себя, а вместе нет. Действует чрезвычайное положение, к которому школа готовилась весь год: нельзя то, что всегда было можно, и можно то, чего было нельзя.

В одиннадцать у меня репетиция в зале, мне играть день спустя – двадцать девятого. Примета на службе у психотерапии: неудачная репетиция сулит удачное выступление. Но не наоборот, потому что удачная – тем более сулит. Счастливая примета есть род беспроигрышной лотереи: по ней всегда выигрываешь другую счастливую примету.

На ночь я положу под подушку ноты: единственная допускавшаяся волшба – даже в шутку. Потому что к шуткам у нас отношение серьезное. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» звучало всерьез. В семье царил дух стихийного либерализма: не жди милостей свыше, а лучше лишний раз медленно повтори трудные места. Но не переусердствуй. «Перед смертью не надышишься» (Клава).

С самого утра я ощущаю себя избранником, торжественно приурочиваемым к закланию. Все мои желания – последние. «Поди принеси», «поди сде-

лай» – об этом не может быть и речи. Одет юным манихеем: «белый верх, темный низ». Перед уходом еще раз бережно размял пальцы, стараясь не спугнуть одни импульсы и отогнать другие, насылаемые демонами подсознания.

Никакого общественного транспорта. К тиру уже подано такси. Досужий стрелок даже не подозревает, кто является ему в образе толстосума, горного красноармейцем.

Мы с мамой, Златой Михайловной, забираемся назад.

И все это время, едем ли мы в такси, внимаю ли я последнему напутствию Яна, стою ли со скрипкой наготове, лихорадочно считая, сколько еще человек до меня – все это время я возвожу Защитную Стену вокруг проклятого подсознания.

Моя очередь...

«Прочь, не завязывать глаз!»

Лара играла днем. Она не находила себе места. То входила в их общий зальчик ожидания, то вдруг стремительно поднималась на третий этаж, влетала в класс взять несколько аккордов – перефразируя Клаву, за кислородной подушкой. Это скрипачи могут не расставаться с инструментами. Пианистам позволено не расставаться только с вязаными перчатками, разные девочки-припевочки так и поступают. Лара терла одну холодную влажную ладонь о другую – тщетно пыталась высечь искру.

Я изображал группу поддержки. Она шептала:

– Это катастрофа... Я все забыла... Я не могу... Господи, спаси и помилуй рабу твою Лару...

Откроюсь в своих тайных мыслях в эту минуту: а как у девушек, когда они со страху в отключке? Там у них что-нибудь происходит?

Робко, бочком, вошел в школу Юра и поднялся в зал. В белой рубаше: Лара выступала...

Ее позвали.

– Ни пуха, ни пера, – сказал я. И крикнул вдогонку: – Все там будем!

А сам, стоя под дверью, в щелку смотрел, как она выходит. Я привык ее видеть в черном переднике, в белом как-то было пресновато. Приблизилась к жертвеннику, поклонилась жрецам и публике, смиренно села. Примяла пufик то так, то этак, приноравливаясь. Наконец решительно подняла руки и бросилась со скалы вниз головой. Брызги нот. Поверх тоненькой морзянки, отбиваемой тонушим микки-маусом, голосисто пролилась мелодия «Этюда-картины».

Я еще подумал: «Ничего себе дает...» Тут-то пианистка и захлебнулась в набегавших друг на друга аккордах: плюмс, и мимо! Снова – плюмс, и мимо! Нет, что-то еще пытается... Но уже слышит вкрадчивое – голосом подводного царя, ухватившего ее за лодыжку: «Останься пеной, Афродита... Что тебе в этом мире фальшивых нот? Останься...» В последний раз мелькнула на поверхности голова утопающего: плюмс! плюмс!

Лара закрыла лицо ладонями и убежала. Юра быстро вышел – пустился на поиски тела, в которых у уже участия не принимал.

Самое невероятное, что больше в своей жизни я Лары не встречал. «В конце года "профнепригодные" бесшумными тенями отлетали в свой айд... Отчисленный ребенок, по крайней мере мной, действительно воспринимался как умерший – случайная встреча с ним в городе, что, право, почему-то случалось редко, казалась событием спиритического порядка». Так напишу я в «Чародеях со скрипками» – своей самой дельной книге.

Ежегодно яблоньку нашего класса трясло. Несколько рожиз осыпалось. Паданки эти навсегда исчезали из моего поля зрения – оттого, должно быть, что я не глядел под ноги. Не наполненные судьбами, их имена сплющились под толщей времени, стали, как тот поминальный список, в который я включил однажды имя Клавы. Двадцать лет я провел у инопланетян, а оказавшись снова на Земле, узнал, что с Клавой мы разминулись буквально в дверях: два месяца, как ее не стало. Эх, Клава, эх, Расея!

В Спасо-Преображенской церкви по шучьему велению, по моему хотению за нее затеплили свечечку и произнесли все положенные слова. Если только, по обыкновению, не надули: я ушел, не стал дожидаться. В чем-то я, наверное, раскаивался. В своем презрении к ней? Но как могло быть иначе...

Итак, Лара. Она исчезла бесследно. Провалу баронессы фон К. в качестве пианистки предшествовала многолетняя конспиративная деятельность в этом направлении. Зато я – впендюрил, по словам Яна. «Прочь, не завязывать глаз!» поется в «Старом капрале» – Шаляпиным (обожал!). Бесстрашно повернулся к залу грудью, ощущая себя старым капралом: глядите, какой артист погибает! Мне удалось не только не растерять, но и вдохновенно преумножить то малое, чем я располагал.

С этого дня и с этого часа я стал стремительно прибавлять в скрипичном весе. Будучи «на выданье» – то есть к моменту поступления в консерваторию, – мог быть сосватан любому. Любой схватит такого ученика. Ян сделался подозрителен: а что как, по примеру Коркина, подам заявление в класс к «Михалзрайличу».

Когда после выпускного экзамена я признался, что собираюсь поступать в Москву, крик стоял на всю школу: «И ты подлец! И мать твоя подлец, Злата Михайловна...». Еще недавно он говорил ей: «Злата Михайловна, второй такой умной женщины, как вы, в мире не найти. Поэтому я хочу, чтобы вы прочли... – и, подмигивая, совал Злате Михайловне, отродясь ничего не читавшей, какую-то книжку, обернутую в газету. – Не пожалеете».

Не как папа, а в первый раз в жизни – и, может быть, в последний – он съездил на Запад с задрипанной какой-то там делегацией. Папа бы никогда не стал играть с огнем, лучше сто циркониевых браслетов, чем одно печатное изделие. Так что вот вам, Злата Михайловна, нате, цените оказанное вам высокое доверие.

Участь моя решена, я женюсь на Лолите! Ибо это была она.

Что подвигло Яна на поступок, несовместимый с моральным обликом

строителя коммунизма? И почему тогда не Библия или «Доктор Живаго»? Откуда хоботок такой? (Совсем иначе я посмотрю на это, когда до меня дойдет слух, что Ян вынужден был уйти с преподавательской работы и еще малым отделался: там, где «Лолитами» торгуют, засудили бы и его, и Инну, якобы выполнявшую роль сводни, благо могла вить веревки из своих учениц.)

Получив по специальности пять, я уверовал в свое светлое будущее и в Усть-Нарве каждый день занимался после обеда по два часа. Мы снимали комнату с верандой, благодаря чему прохожим был не только слышен, но и виден прилежный вундеркинд. От регулярных занятий хронический след на шее непристойно рдел, вызывая у непосвященных смесь зависти и неприязни: из молодых да ранних.

Прибалтика с брезгливым высокомерием учила своих порабитителей «культуре быта» – социалистической, коммунистической, заграничной. Как подавать сей предмет, зависело от аудитории. Хотите видеть в нас последних могилок капитализма? Пожалуйста. Хотите, чтобы мы были отечественным вариантом братской Венгрии? Извольте. На летние курсы всегда был спрос, всегда мосье Бопре у интеллигенции будет пользоваться успехом.

Наглядным учебным пособием являлось новенькое малогабаритное здание из белого кирпича, тарашившее окна с показушной наивностью. «Бюро добрых услуг» – веселым росчерком бегало по карнизу. Я переименовал в «Бюро медвежьих услуг». Смешно. Но никто не оценил. Не «поняла юмора» и парикмахерша, оказывавшая мне в вышесказанном бюро свои парикмахерские услуги.

– Какая у вас («у вас»!) темпераментная подруга, – сказала она, имея в виду мой трудовой мозоль.

– Это не то, что вы подумали, это от скрипки.

– А вы играете на скрипке?

– Как сумасшедший. Уже на первом курсе. Из молодых да ранних.

Она делала со мной то же, что Далила с Самсоном, но почему-то с каждым движением ножниц моя сила росла. Не имея к чему ее приложить, я и впрямь сделался как сумасшедший.

– На пять у меня билет в кино на итальянский фильм... – сказал я хрипло. – «Генерал делла Ровере».

Нет, она не хочет. Их заведующая видела, говорит, тяжелый. Лучше вечером встретиться и погулять.

Сие совершилось под кустом, как у первых людей. Не скажу, что материи наслаждений она неслышанно служила, но рюмку за рюмкой осушала. На расстоянии вытянутой руки чернело древо познания.

С тех пор прошло столько времени, что можно потихоньку начинать отчитываться за прожитую жизнь, «позиционируя» себя при этом более благородно, чем первоначально ожидалось. А все потому, что судить нас будут по делам нашим, я же был бездейтелен, живя в тиши чужого мира, с которым не пересекался. Никакой возможности сделать кому-либо гадость. Радуешься случаю услужить, что постепенно входит в привычку.

Я сказал, что больше Лары не встречал, но это не значит, что больше ее не видел. Отнюдь. Раз видел ее, сидящую на телеге, босую, с переброшенной через плечо косой. В течение нескольких секунд на ней, персонифицированной боли народной, почивала камера. Фильм был заведомо дрянным, зачем я на него пошел – загадка. Доподлинно знаю о ее браке с эстрадным певцом, таким же коротышкой, как Шарль Азнавур, даже звали похоже. *La vie en rose*: концертные площадки, черноморские здравницы, скатерть белая залита вином. Посредством второго брака оказалась в Югославии, югославов тогда называли «юги», с оттенком почтительного дружелюбия.

Дальнейших упоминаний о Ларе летопись моей жизни не содержит.

Точнее, не содержала, покуда, вследствие тектонической подвижки, гора с горой не разошлись. Распад красной тетраграммы – явление геологического порядка.

Во второй половине девяностых мне повстречался Берлинский. Уже несколько лет, как он жил в цветущем логове врага, оправдывая свое имя. Но родное немецкое командование за проявленную заботу не благодарил – врагу не сдается наш гордый варяг. А тут еще бомбардировка Сербии. И я лишний раз почувствовал себя безнадежным ретроградом с моими антисоветскими и, соответственно, проамериканскими мозгами. Оказывается, у нас и правда была великая эпоха, даже для тех, кто в девятом классе лабал на рояле буги-вуги и рисковал вернуться домой с разрезанной штаниной.

Увидев, что в оценке действий Пентагона мы расходимся, он допустил ряд недружественных высказываний в отношении своего собеседника. В частности, зачислил меня в убийцы Лары – если я такую помню.

– Ларка тогда погибла. Ты не знал?

Откуда мне знать. Он пояснил:

– Она же диабетичка. Ей "скорую" надо было срочно, а эти суки телефонную станцию рас...ячили.

«Я дочь камергера, я летучая мышь».

*Январь – 20 июля 2005
Ганновер–Иерусалим*



журналист, кинорежиссер, майор израильской полиции в отставке, автор нескольких рассказов. Живет в Израиле.

ФОТОНОСТАЛЬГИЯ

Здесь, на карточке, моя бабушка... Хорошая фотография, теперь так не умеют... На толстой картонке с тисненым овалом и виньетками – *Фото Шварц*, а на обороте – гербы, щиты и короны... Я могу бесконечно разглядывать этот пожелтевший дагерротип – застывший миг, увековеченная молодость, – перебегать взглядом с лица на одежду, на кисть руки, сжимающую бутафорскую книгу с заложенной пальцем страницей, на чересчур парадный интерьер с явно рисованным задником, мишурной пальмой, фальшивым окном за тяжелым драпри... Мне странно узнавать в этом юном лице провинциальной девушки из украинского местечка свою ближайшую прародительницу, в силу бесконечной преемственности поколений донесшую и до меня из глубины веков тайный код моей человеческой принадлежности. Я хорошо помню мою бабушку.

У нас в родне к бабушке было особое отношение: с ней считались и советовались, как со старейшиной рода. Характера властного и неукоснительного, аскетически бескомпромиссная, лишенная чувства юмора и рефлексий, она довольствовалась малым, не проявляла нежностей, но и не донимала придирками, если можно так выразиться, была сдержанна на эмоции; мало читала, полагая, что есть дела и поважней, не слушала музыку, видимо, и так для нее мир был наполнен звуками в избытке, вообще не интересовалась искусством в привычном понимании этого слова, так как высшим пониманием прекрасного для нее были дела приземленные: благополучная семья, упорядоченный быт, накормленные и здоровые дети. Даже в пору хорошего достатка и просторного жития, когда, к примеру сказать, наличие домработницы считалось не постыдной роскошью, а вовсе обычным делом, была бабушка предельно экономна, разумно скупа и рачи-

тельна, она не позволяла себе необдуманных трат, однако первейшим для себя долгом почитала обеспечение семьи доброкачественным съестным в пределах сколько душе угодно – на это деньги не жалелись. Култ хорошей пищи велся еще от тех изобильных дней, когда этому посвящалось много времени и лучшие порывы души, поэтому хорошим манерам за столом предпочиталось вкушение еды с аппетитом, то есть еда с неперменным обсуждением поедаемого, последнего не без помощи рук, конечно, с чавканьем и причмокиванием и уж обязательной финальной отрыжкой.

Бабушка ничем особенно не восхищалась, ни на что и ни на кого не полагалась, но и не впадала в отчаяние – ее решение было окончательным и слово последним. Бремя свое она несла просто и безропотно, была в меру честна и обязательна, ходила к больным по вызовам, делала уколы, ставила клизмы и пиявки. «В будущем году, если будем живы...» – говорила она, и в этом заключалась вся ее житейская философия.

Родом бабушка из Дашева, большого еврейского села на реке Соб, что под Винницей, и была старшей дочерью однорукого кузнеца Мошки Волинского и Гиты, а замуж за дедушку, который был на семнадцать лет ее старше, который служил земским врачом в Умани, который происходил из литваков, к тому же, как сын николаевского солдата и полного Георгиевского кавалера, имел привилегию проживать за чертой оседлости и даже быть принятым на медицинский факультет Императорского Университета св. Владимира гор. Киева, обучаться и с успехом его завершить в 1913 году, о чем документальное свидетельство имеется, – бабушка вышла рано. «Дедушка по делам службы заезжал в наше местечко, как-то побывал и у нас, заметил меня, разглядел, какая я есть, и сделал предложение...» – так скупой живописала бабушка момент сердечного союза с Лазарем Соломоновичем. Думается мне, дедушка мой рассмотрел в моей будущей бабушке не столько миловидность и женственность, сколько изначальную иудейскую несокрушимость и святость. По свидетельству всего лишь одной сохранившейся фотографии и со слов родственников, была она в молодости собой хороша, но рано состарилась, сохранив на всю свою жизнь почти неизменяемый с годами облик пожилой седовласой женщины с морщинистым благообразным лицом и разными по цвету глазами. Вот крохотная фотография, где бабушка в армейской гимнастерке, подпоясанной широким ремнем, и пилотке. Военфельдшер. Имела ранение...

Жила бабушка как бы не для себя, знала лишь заботу и долг, которые простирались не только на семью и родственников: к бабушкиному мнению очень прислушивались и старались не прекословить, не то чтобы побаивались, а только авторитет ее в родне был куда как высок.

А это ее сестра, то есть для нас еще одна бабушка, только двоюродная. Она была намного моложе бабушки и по возрасту почти смыкалась с моим отцом, а ввиду добродушия и веселости воспринималась нами как взрослая подруга. И звали мы ее просто по имени – Бася. В молодости болтушка была и хохотунья, от всего приходила в неопишное изумление, всему

верила и все принимала за чистую монету. Любую новость выслушивала с неподдельным интересом, живо проявляя к делу свое отношение: либо неумеренный восторг, либо не менее преувеличенное возмущение. Правда, тут же могла поменять свое мнение в угоду большинству или авторитету или из сочувствия к кому-нибудь на противоположное. Даже лицо ее было устроено так, что каждая черточка его удостоверяла наличие доброго нрава и легкости ума. Ни на чем она не могла сосредоточиться и ничего не принимала всерьез: на торжественных церемониях и даже на похоронах ее совсем некстати разбирал смех...

Учиться Бася не стремилась, зато танцы обожала до самозабвения. Будучи в девушках, записалась в молодежную сионистскую организацию, потому что там пели красивые песни, но, когда увидела, что там не танцуют, выпилася. А танцевали у комсомольцев допоздна, до упаду и песни пели всю ночь напролет, и тоже красивые. Когда же забрали нравившегося ей парня, агитировавшего молодежь подниматься на историческую родину, она поняла, что сионизм – дело сомнительное и опасное. Это убеждение еще больше окрепло, когда их комсомольский вожак, шепелявый поляк, зазвал ее в ячейку на доверительную «бешеду». О деле говорил мало, но повел себя бесцеремонным образом и даже полез целоваться, а получив несогласие, пригрозил ей показать ее Моньку в Палестине. Бася заинтересовалась, оказалось – простое дело, надо только закрыть глаза, и она доверительно зажмурилась... Он смачно чмокнул ее круглой канцелярской печатью в лоб.

Как я уже говорил, Бася была смешливая и восторженная, и забывчивая. Вот так войдет и станет в рассеянности у стола, мелко подрагивая зрачками и по-заячьи поджав ручки: «Что-то я хотела?» И повторит несколько раз. В молодости Бася «потеряла почку», и выходить замуж ей было не рекомендовано, и хотя Бася пару раз пыталась послушаться этой рекомендации, превратившейся с годами в непреложный закон, бабушка ей этого категорически не разрешила, поэтому, живя за бабушкой, она так и не научилась жить самостоятельно и до старости лепилась к своей старшей сестре, то есть моей бабушке, составляя таким образом ей в одном лице и чадю и домочадцев. А бабушка как должное приняла на себя заботу о ней на всю оставшуюся жизнь, опекая в мелочах, поощряя ее лень и не жалуясь на весьма умеренный вклад в общее хозяйство. Бабушка не могла смириться, что ее младшая и болезненная сестра так же рано начала сесть, и, едва заметив предательскую белизну, тотчас посылала сестру в парикмахерскую чернить волосы. Вот такие они были, две сестры, мои бабушки... Я и представить себе не могу их одну без другой, обе маленькие, сгорбленные, одного покроя, как бы синхронно-симметричные и, тем не менее, совершенно разные...

Набегавшись по квартирам и магазинам, преодолев несметное число ступенек за день, натрудив свои выпуклые «косточки» на ступнях, ради которых в туфлях производились специальные прорезы, бабушка, наконец,

затихала к вечеру. Вот она, сидит под блеклым абажуром, чинно зевает и часто поглядывает на часы: «Что-то Бася не идет...» В ее лице ожидание и тревога, молчит и вздыхает и щурится на циферблат; она прислушивается к шорохам на лестнице, ей кажется, что ключ поворачивается в замке, она выскакивает в коридор и возвращается. И снова вздыхает... Тихо течет вечернее время.

Тогда еще телевизоров не было. Они появились вскоре после нового 1953 года и почти в каждой семье одновременно. Несмотря на страшную по тем годам цену (две бабушкины месячные зарплаты), за телевизорами, как тогда говорили, «душились», то есть выстаивали в очередях по предварительной записи. А для этого с последним трамваем прибывали ночью к дверям могущественного магазина культтоваров, выбирали активистов, заворачивали списки, предъявляя паспорт (всевозможные свидетельства об инвалидностях и участиях в войнах еще не изобрели). А затем исправно ходили отмечаться, записывали на ладонях номера с обратным отсчетом, и чем ближе к получению вожделенного аппарата, тем непримиримее становилась борьба с разного рода хапугами: вонючими селянами, цыганами-спекулянтами и просто разного рода наглецами, протырывающимися без очереди, ожесточеннее словесные перепалки и рукоприкладства. При этом отстоять свое законное место в очереди было не так уж легко: нельзя было опаздывать на переключку, а с незнакомых лиц, которые приходили на подмену, кроме называния порядкового номера и фамилии, требовали доверенность. Не так-то все было просто, друзья мои!

К концу дела, однако, все держались друг за друга цепко, стояли плотно, спереди задница, сзади живот – мышь не проскочит, помнили в лицо и по-соседски узнавали сразу. Люди рассказывали о том, какое это чудо телевизор, спорили о размерах «рамки», так назывался в народе экран, и не верили очевидцам, утверждавшим, что размер оной не более коробки папирос «Казбек». В нашем единственном третьем классе 55-й школы, что на улице Артема, все ученики разделились на имеющих телик и не имеющих. Имеющие собирались в элитные компании на переменах и обсуждали программу передач. Какой-нибудь пышнощекый пацаненок нарочито громко вопрошал через весь класс: «Толик, сегодня вечером будешь смотреть телик!?!» «А что будет по программе?» – так же громко отвечал Толян. Напрашиваться к кому-нибудь на телевизор было обычным делом, даже училки порой не особо церемонились быть приглашенными на просмотр художественного кинофильма. Телевизор ставился в почетный угол и повыше, экран покрывался вышитыми гладью накидушками, в стиле «ришелье» или, на худой конец, болгарским крестом. Сверху телевизор венчался двурогой антенной, как на Мекку, направленной на центральную телевизионную вышку, что на Прорезной.

Ставить КВН-49 в бабушкиной комнате было абсолютно некуда, разве что на древний, с человеческий рост шкафчик красного дерева. Зрители же – это все мы, включая родственников и соседей, – располагались за столом и

частично на диване, всем, надо сказать, было прекрасно видно и слышно, кроме меня. Во-первых, я ничего не воспринимал из-за постоянного гомона обсуждения телевизионного действа, происходящего в аппарате. Во-вторых, я отказывался смотреть из партера, ссылаясь на закапанный в глаза альбucid, и всегда вытребовал право первого ряда, то есть садился прямо на стол, напротив экрана, что совсем не поощрялось бабушкиной родней, а тетя Циля заявила однажды, снискав мою злопамятную неприязнь, что в ее доме, если бы кто сел на стол, то так получил бы по заду, что не смог бы сидеть не только на стуле, но и на диване. На диване, уже за пределами видимости, всегда усаживалась в обнимку соседская Аечка со своим ироничным женихом Юрочкой.

Потом появились в продаже огромные линзы на шатких ножках, такие уродливые сосуды, наполняемые водой, и непременно дистиллированной, которую для вящей натуральности подкрашивали зеленкой. Линзы хоть и увеличивали, но здорово искажали изображение. Впрочем, и это было не так важно, так как все кинофильмы и все программы повторялись помногу раз и заучивались населением до мельчайших нюансов. Множество расхожих фраз из фильмов и постановок цитировались восторженным телезрителем и, повсеместно воспринимаемые послушным народом как пароль, вновь возвращались в народ и становились крылатыми. Любимейшим фильмом той поры был индийский шедевр «Бродяга» с Раджакапуром и Наргиской в главных ролях. Все плакали...

Бася ввиду отсутствия одной почки была освобождена от обязанности совершать покупки, носить тяжелое, стоять в очередях, готовить, стирать, убирать в доме. Все это делала бабушка по дороге от одного пациента к другому, в промежутке между инъекцией и пальпацией, между пиявками и клизмой. Судьбой было доверено бабушке следить, чтобы единственная почка содержалась в тепле и не нагружалась сверх меры, посему позволялось Басе купить немного: брикетик масла, кучку творога, а если кроме этого что-либо дефицитное отягощало авосечку, то строгий бабушкин взгляд и немедленный попрек были неминуемы. Сама же бабушка всегда таскала с собой огромную кожаную суму зелено-феольного оттенка, которую величала «портфелем» и в которую помещались, кроме завернутых в белое вафельное полотенце немногочисленных медицинских принадлежностей, продукты с рынка и из всех окрестных магазинов также.

Бася была никудышный ходок: всегда вразвалочку, приволакивая левую ногу, а в гору ее надо было подталкивать в спину. Бабушкина поступь была хоть и тяжела, но стремительна, такая старческая, натуженная иноходь от меты к мете. Вот она пронесется по комнате, ходят дощатые полы, дрожат медицинские препараты в шкафчике, дребезжит посуда в огромном буфете – бабушка при деле, она готовит обед. Также и по горбатым улицам Киева бабушка носилась от адреса к адресу, впрягшись в свои сумки-авоськи, пересаживалась с троллейбуса на трамвай, взбиралась по крутым лестничным маршам, а по пути решала дела житейские и прозаические. В лю-

бое время и час, без церемоний и неудобств, если уж проходишь мимо, почему не посетить родственников, благо их много и все располагаются по пути, выпить чашку сливового компота с домашним печеньем, рассказать да расспросить...

Как сейчас вижу ее, сидящую боком к обеденному столу, она трогает-ощупывает дедушкины «куранты» – часы на толстой цепке, молчит и курит, пуская дым под пыльный абажур. Бабушка не стеснялась молчать и просто так мнений своих не высказывала, как бы соглашаясь со всем происходящим, держа свои мысли при себе. В разговоры о политике и вообще в чужие дебаты не ввязывалась, но теперь-то я точно знаю, что она не разрешала себе вторгаться в запретные миры, где не было понятных и предельно ясных ей аксиом: самочувствие, еда, стирка, соблюдение непрерывного ритуала сытости и опрятности. Теперь так не живут... Теперь у всех про все свое мнение и своя ориентация, а когда-то, чтобы выжить, необходимо было быть как все, индивидуализм был опасен и наказуем, личное мнение не высказывалось. Кто не с нами – тот против нас... Тогда, в разгул формирования общественного мнения и тотальной борьбы с религиозным дурманом, ходили по домам атеисты, собирая подписи граждан за разрушение действующих церквей. Легко быть принципиальным и смелым в эпоху гласности и плюрализма, но посмейте быть таковым во времена тотальной слежки, подзоров и арестов. Наверное, и бабушка такой не была, и все же, несмотря на уговоры и угрозы активистов, поставить свою подпись отказалась.

«Ба, расскажи про дедушку, как вы познакомились?..»

Бабушка производит конфузливый смешок, поправляет несуществующую прическу и затягивается беломориной. В другой раз было бы нехвата, а сейчас – самое время для воспоминаний. Но рассказчицей бабушка не была, и для разгона ей надо усердно повздыхать. Этими вздохами, покашливанием и тихими смешками, как правило, все и заканчивалось: «К чему ворошить старое – лишние переживания?..» На все мои просьбы рассказать про войну она ограничивалась фразой: «Война – большая гадость...» А Басю и просить не надо, она и сама с удовольствием возвращается во времена минувшие и в дела прошлые.

«Ах, как мы работали... Как-мы-ра-бо-та-ли!.. – сокрушается по давно ушедшему Бася, при этом она томно прикрывает глаза и раскачивается. – Будьте уверены, мы-таки трудились по-коммунистически. Разве теперь понимают, что такое работать? Сейчас у всех на уме одни развлечения и легкие деньги. А в наше время говорить о деньгах было неприлично, никто и не интересовался, какая у тебя зарплата, потому что она у всех была... одинаковая. Оттого-то и работали все честно, за идею.

У пролетариев был восьмичасовой рабочий день, за это они шли в ссылку и на баррикады, а у нас, у бухгалтеров, день был ненормированный, часов мы не знали. Приезжали с первым трамваем, только светало, а начальник уже на месте, уже пашет. Мы скоренько в домашние тапочки переобуемся, нарукавнички засучим, в зеркальце – зырк, и за дело, и никаких

там чаёв-кофеёв, а чтобы там душевных бесед, телефонных разговоров или чтения газет – боже упаси!.. Главбух как посмотрит – душа в пятки, а карандашиком постучит, так все пригибаются. Боялись его... Это уже потом, в эпоху развитого социализма, человеческий фактор вошел в моду, а в те времена говорили вполголоса, ступали неслышно, лишних вопросов не задавали.

До обеда никто не встает, даже в уборную нельзя... Да, да! Этот вопрос был обсужден на общем собрании. Работал у нас такой Аркадий Аронович, так у него обычное дело было рабочий день начинать с туалета: как утро – он влетает с перекошенным лицом, портфель на пол, пальто на стул, "здрасьте" и – в сортир. Все привычно переглядываются: каждый раз одно и то же – медвежья болезнь. Можно раз, два, три, но не тридцать!.. Однако наш главный быстро с ним разобрался: оказывается, это он утренний туалет из дома перенес на производство и таким образом изобрел мелкобуржуазный способ увеличить свое личное время за счет трудового дня. Утром из дома выскакивал не оправившись (коммуналка, одна уборная на восемь семей), всю дорогу до службы, сцепив зубы, терпел и вываливал уже на работе: стало быть, выкрадывал у государства каждый день по четверти часа и больше. Тогда и постановили порядок: засекать туалетное время и держать его под контролем... Курить же разрешалось на рабочем месте, сам главный курил и демократично позволял остальным, это был бодрый кинематографический стиль и новая партийная мода, все подражали высшему руководству: деловитость, целеустремленность, сосредоточенность.

Надо сказать, главбух по сути своей был человек неплохой, но держал всех в страхе, и это, пожалуй, от страха за себя: опасался подозрений в космополитизме, кумовстве, в классовой недальновидности или – того хуже – в сионизме... Восемнадцать человек в бухгалтерии, и ни одного гоя. Он чувал, что это добром не кончится, потому-то и держал всех на казарменном положении и себе поблажки ни в чем не давал. Арифмометр был только у него, у всех у нас – простые канцелярские счеты. Треск в бухгалтерии стоял страшный.

Главбух не терпел красивых, круглых, рациональных чисел, сумм, оканчивающихся на ноль, полагая фальшивым или как бы недостоверным счет в рублях без копеек. Из-за этих самых копеечек вся бухгалтерия, бывало, засиживалась допоздна, считала и пересчитывала. У главного была феноменальная память на цифры, он помнил все суммы кредитов, все салды и ажур, все визы и авизы...

В обед все как по команде достают пластмассовые коробки с винегретом и термосы с какао. Вначале, как заведено, предлагаются взаимоугощеньица с неизменными "что вы, что вы!.. зачем так много?.. ах, как вкусно!.." и громкими перешептываниями, из чего и каким образом это готовится. Главному на отдельной тарелочке, накрытой блюдечком, от всех понемножку – и не взглянет, только буркнет благодарение. Аркадий Аронович Миттельштейн всегда ел много и поспешно, как бы претворяя в жизнь гражданский долг, как бы превращая съестное в новое агрегатное состоя-

ние, как бы выполняя и даже перевыполняя производственный план, – поглощал все до конца и, косясь на посторонних, соус хлебушком вымакивал. Ест и тут же для экономии времени в какую-нито книжищу, этакий взлохмаченный фолиант, поглядывает. Разгладит заломанную страничку и мгновенно погружается в чтение: хрюкает, хихикает, вздыхает – очень уж сопереживает героям и обязательно карандашиком делает отчёрки-подчёрки, а на полях разные замечания и умные мысли фиксирует: *"хорошо!"*, *"оч. мило"*, *"ха-ха-ха!!!"*, *"враки!"*, *"фу!"*, *"это лишнее"*, *"см. стр. такую-то"*, *"Брокгауз"* и т. д. Книги после него выглядели, как страдающие одышкой перекормленные бульдоги, пыльные, мятые, со слюнявыми пятнами... Потому-то на прочтение давали ему книги с большой неохотой и в очередь к нему за чтивом записываться не торопились.

Обед длинный, целый час, можно выскочить в магазин или даже на рынок, что через две остановки трамваем, можно в скверике погулять, пообмыться на весеннем ветерке, но никто и не тронется, потому что главный этого не любит: на работе надо не только телом присутствовать, но и душой, делу отдаваться всецело и думать только о работе. А уж кто закончил обед – дозволено и в газетку заглянуть, и пошущукаться, а если кто осмелится вздремнуть, чтоб *"сальце завязалось"*, *"он"* посмотрит – душа в пятки.

День кончился – никто не встает, как будто и часов нету. Оставаться после работы – это хороший тон: сам генералиссимус засиживается за полночь, а уж нам, смертным... что тут говорить. Лишь только минут через двадцать–тридцать кто-либо из молодых начнет елозить стулом, двигать ящиками, потягиваться. А там и кто постарше зашебаршит. Когда же начинают перешептываться, а потом и громче перебрасываться репликами, тогда главный окинет всех усталым взглядом, как будто сказать хочет: *"Я, между прочим, никого не держу!.."* – и милостиво провозглашает: *"Шабаш, шабаш!.."* – и отмашку даст. Но никто не срывается с места, а поднимаются степенно, с чувством собственного достоинства и выполненного долга, в строгом соответствии с внутренней иерархией: молодые матери, женщины со стажем, матроны. Последними уходят перспективные, и то после повторного благословения начальника. А за окном уже темно, трамвай переполненные, в магазинах очередь...»

Бабушка и Бася сосуществовали со всем миром в мире, стараясь не конфликтовать ни с кем, в особенности с соседями, и тем более с неевреями. В доме, где они проживали, почти все соседи были «из наших», но на первом этаже, в полуподвальной квартирке с окнами во двор и крохотным палисадничком, помещалась довольно странная пара стариков – дядя Про и тетя Флю, весьма неопрятные и страховидные, облаченные в любое время года в потерявшие форму и цвет пальто, застегнутые на большие английские булавки-вагравки и перепоясанные широкими армейскими ремнями. Они таскали туда-сюда огромные мешки с барахлом и гремели клеенчатыми сумками с бутылками. От них исходил дух прелой кислятины, как из помойного ведра, поэтому в глаза я им никогда не смотрел, а когда случалось

сталкиваться с ними в подъезде – с отвращением задерживал дыхание и с первобытным ужасом проскакивал мимо. Я их боялся и всегда с опаской оглядывался на ихнюю дверь, такую же ободранную и страшную, как и они сами. Многие соседи подкармливали эту экзотичную пару, оставляя на предназначенном для этого табурете рядом с их дверью еду в виде газетных свертков и банок с супом, и они принимали это без благодарности, а как должное – это была дань за покладистость. Всем было известно, какие скандалы они закатывали, если им что-нибудь было не по нраву.

Однажды они поднялись на наш четвертый этаж и надсадно орали, мешая безобразный идиш с матом, в приоткрытую дверь, гримасничая и корчась в полужвериных позах. Причиной тому явилось такое дело: они обнаружили в своем палисаднике, который находился прямо под нашими окнами, клок седых волос, якобы вычесанный из бабушкиной головы. Нам строго-настроено запрещалось выбрасывать что-либо из окна. Любопытным фактом этой истории явилось мое неподдельное удивление узнать в этой оборванной, опустившейся до животного состояния паре представителей того же народа, к которому принадлежала и моя семья, и все наши родственники, и тетя Рива, и дядя Яша, и моя бабушка... Я, помнится, усомнился и спросил у нее: «Разве они евреи?» На что она, почти сконфузившись, ответствовала: «А кто ж?..»

Вещей Бася с бабушкой не заводили, но и не выбрасывали, поэтому в шкафах вместе с бельем и посудой лежали перегоревшие лампочки, шкапулки с пуговицами, флаконы из-под духов, пустые катушки, никчемные ключи, стопы поздравительных открыток и телеграмм, множество вещей, не имеющих названия и назначения. А сколько было коробочек, кулечков, оберточек, веревочек, тетрадок, обложечек?.. Они хранили наши детские рисунки, исписанные тетради и школьные дневники. Сонмища квартирных жирюков и разного рода квитанций, утративших силу документов и свидетельств, полинявших и потрескавшихся фотографий.

Старые фотографии, черно-белые, желто-коричневые, вирированные временем в псивую сепию, надломанные, надорванные, обрезанные по краю в игривую бахромку, расчлененные пополам по какой-то таинственной причине или в результате какого иного рокового случая, вялые виньетки с диким росчерком оконной заиндевелости, микроформатные россыпи паспортных уродцев с треугольным прикладом на левом плече для канцелярского штемпеля, серые, тусклые, мутные, нерезкие, невзрачные, передржанные и недодержанные – печальная документация тяжелой судьбы обездоленного поколения.

И все это находило себе место в недрах диванов, в продавленных чмо-данах, огромных невыдвижных *шухлядах*¹, в промежутках между стеной и буфетом, в пыльных и заросших паутиной нишах. Аккуратно в газету были завернуты лысые горжетки, в протертых наволочках залегали лоскутки

¹ Ящик стола, шкафа или комода (*идиш*).

от давно сношенных одежек на случай подлатать-надставить, бечевкой и попарно были связаны стоптанные туфли, смехотворные шляпки, огромные, как подушки, муфты, сумки со сломанными замками, скромные атрибуты довоенного уюта...

«Из этой рюмочки пил наливку покойный Лазарь, эту подушечку вышивала еще в коллективизацию бедная Лиза, а эту сухарницу я выменяла на толкучке еще в нэп...»

Чтобы не тревожить соседей, белье они сушили в комнате, по той же причине звук в репродукторе убавляли до еле слышимого, но вовсе не выключали никогда, даже ночью: а вдруг важное правительственное сообщение. На ночь распахнувшую, сквозящую кухонными запахами дверь они застегивали на крошечный крючок и неизвестно зачем подпирали креслом, всякий раз с кряхтением выдвигая его из угла.

И все-то у них было подвязанное, заклеенное, заткнутое, припиленное, подставленное. В комнате пахло медикаментами, папиросным угаром и кожаным диваном с высоченной спинкой, с витиеватыми полочками и темным овальным зеркалом посередине. А зеркало было кривое, с облупившейся амальгамой, отражавшее всех весьма приблизительно и совсем уж нелицеприятно. На полочках стояли семь слоников, игрушка-ослик, две пузатые вазочки из розового стекла, раскрашенный портрет моего отца в молодые годы.

Стул был без ножки, шнур без вилки, чемодан без ручки, но при этом при всем – прекрасная старинная посуда и серебряные приборы, среди которых я помню слегка помятый половник с позолоченной емкостью черпака... И всегда я помню бабушку и Басю в одной и той же одежде: Басю – в блекло-розовом полосатом халате и бабушку – в желтом чесучовом платье с огромным бантом, свисающим на ее ватную грудь. Взгляните, какой у нее нос. У них в роду все с такими носами. И глаза под тяжелыми веками не то карие, не то зеленые. А как начнут вспоминать о чем-нибудь, запутаются, заспорят, разобидятся, расплачутся... И такая тоска возьмет, что быстро дососешь свой леденец и – «Ну я пошел...»

После похорон стали разгребать залежи немислимого барахла, скопившегося и скопленного за десятилетия праведного и небогатого существования: все подлежало изъятию и уничтожению за ненадобностью.

Вначале извлекались всякого рода документы, удостоверения, дипломы и свидетельства, рулоны облигаций и дореформенных ассигнаций – всего этого было не так уж много: умещалось в небольшой, кажется мой, школьный портфельчик. И уж во вторую очередь из пожелтевших, слипшихся конвертов – наследие эпистолярного жанра, то есть письма, телеграммы и поздравительные открытки. Все это отнюдь не перечитывалось под слезные комментарии всей родни и глубинные вздохи соседей, а судорожно, в тупом азарте рвалось на мелкие кусочки с единственной, казалось бы, целью: раз и навсегда разделаться со свидетельствами зачеркнутой жизни, постороннего бытия, с чьим-то безрадостным и убогим прошлым. Когда

гора порванных писем выросла с небольшой холм, а из диванных недр извлекались все новые и новые пачки, рвать перестали, а просто проверяли, не осталось ли в каком конверте не востребовавшей денежки либо старой растрескавшейся фотокарточки.

Вот вся наша мишпуха за столом. И этот знаменитый абажур с висюльками, и скатерть-ришелье, и тряпичный петух на чайнике, и семь слоников на комод, и... Говорят, вещи переживают своих хозяев – здесь этого не произошло. Но тогда это все казалось раз и навсегда утвержденным и неизблемым, как само понятие вечного и справедливого, как понимание дома, семьи, страны, как бабушка и ее многочисленные родичи. Тогда это было совсем другим... У тети Цили огромная, размером с державный герб, бутафорская брошь и накарاملенные губы; Вольф Аронович, как всегда, комильфо, ведь вот любил приодеться и прихвастнуть новой троечкой – наш семейный аристократ.... Тоже всю свою жизнь прожил со своей сестрой, тетей Геней, оба веснушчатые, с трясущимися головами... И умерли чуть ли не в один день... А после их смерти и бабушка сказала, что и у нее не стало настроения жить... Да, так вот... Все это я уже видел не один раз, но именно из-за этой фотографии дядя Мирон вспоминается мне таким вот чудачком: хохолок и уши, как ручки у сахарницы. Дядя Миша с раздавленной клюквой на щеке и тетя Соня с седой косицей, накрученной на низкий лоб. Наш семейный часовщик Лёля, всегда в толстовке или бобочке и брюках по щиколотку. Его жена Ия, великая полемистка, на все у нее есть свое личное непредвзятое мнение. Она, конечно, великий кулинар, но при этом все торопится донести до нашего сведения нечто важное, сугубо актуальное или жгуче наболевшее, захлебывается и сбивается и все выпускает из рук то ложку, то крышку, которые со звоном падают на пол, от чего ее свекровь, то бишь тетя Рива, постоянно и слишком уж вздрагивает: «Шлимазл...»² Тетя Соня любила передавать приветы. Видимо, она полагала, что добрый *a-grus*³ есть высшая степень дружелюбия и почтения к личности, которая далеко не всегда была ей знакома. Но она с настойчивой доброжелательностью передавала приветы всем без исключения: учительнице, если я собирался в школу, моему другу Аркашке, если я шел к нему, а заодно и продавице в молочной, раз она хороший человек и раз уж мне на обратном пути предстоит купить сырковой массы; и всегда просила не забыть, а при повторной встрече выспрашивала, передал ли я этот самый привет, и не тот, предыдущий, а именно этот, который последний. И если я забывал или пренебрегал, она по глазам узнавала, что пренебрег и не передал, стыдила и требовала впредь передавать без обмана... Да, все они были, я вам кланюсь, и обо всех о них есть, что порассказать.

Когда-то Юзя в минуты самоутверждения брал молоток и шел забивать гвозди во все деревянное, со спокойным убеждением в правоте и пользе

² Растяпа (*идиши*).

³ Привет (*идиши*).

своего дела. Он всех донимал этим стуком и на требования прекратить немедленно всем отвечал: «Трамвай аф дир!»⁴ На что тетя Рива в трагическом пафосе сипела астматическим шепотком: «А, боже, боже мой!...» и потом: «За что такое горе мне?!»

Юзя считался трудным, непоседливым ребенком: ко всем приставал, во все совал свой нос, громко хлопал дверью, не здоровался с взрослыми и не говорил «спасибо». У него был феноменальный дар травмировать себя: ушибаться, обжигаться или резаться. Вечно он ходил с забинтованной головой, рука или нога были закованы в тяжелый гипс, если не был расквашен нос, то разбита губа, синяки и ссадины украшали его, как боевые регалии, при всем том, что в драчунах и не значился. Ко всему прочему, у него был не проходящий насморк, выражавшийся в постоянном сморганье носом, и, в связи с этим же, не закрывающийся рот.

Однажды на день рождения ему подарили часовую лупу, и с этого дня в его жизни появился сугубый интерес: неожиданно он увидел иной мир, прежде незаметный, замаскированный. Любую вещь он тотчас подвергал немедленному исследованию. С истовой страстью естествоиспытателя он разглядывал сквозь лупу текстуру ткани, водяные знаки на купюре, растровую сетку на иллюстрациях в газете, да и не только вещь, но любой живой природы организм, как-то: муху, таракана или клопа, а также такие предметы тела, как свой же глаз визави в пыльном зеркальце, рыжий волос с головы, заусеницу на пальце, бородавку, цыпку, порез и грязь под ногтем, носовую козляку и всякое другое анатомическое явление. С лупой он не расставался ни на секунду и во всякий любопытный момент вооружался ею для неожиданного посмотра на срез ржаного хлеба, в тарелку с борщом, на излом куриной косточки, на сочащуюся влагой травинку или ажурную структуру липкого листа. С обстоятельностью почерковеда он вглядывался в собственные каракули в дневнике, сравнивая их с каллиграфичным бисером училкиных замечаний. Он вскупоривал часы, чтобы в конце-то концов разобраться, как это там происходит. И, будьте уверены, он-таки всем надел с этой своей лупой.

И так это продолжалось долго, пока однажды он не увидел в магазине писчебумажных товаров двух филателистов, склонившихся над классерами с марками. Они с благоговением извлекали из целлулоидных пакетиков крохотные бумажные лоскутки, с торжественной значительностью подносили их к глазам и пристально разглядывали сквозь лупы. С этого момента целью жизни Юзи стали марки, которые он полюбил всей душой и на которые просаживал все небольшие деньги, что давали на завтраки, мороженое и кино, подкорачивал сдачу, тряся над каждым грошиком и даже с замиранием сердца тибрил монетки из мамино кошелька, уговаривая свою совесть не возмущаться, так как деньги предназначаются не на какое-то там баловство, а на святое дело. Он сидел часами, сортируя марки по те-

⁴ «Трамвай на тебя!» (иди).

мам и сериям, по странам и годам, разглядывал в лупу штемпеля и зубцы, торговался при обмене, и, хотя мало смыслил в марках, предпочитая маленьким большие, сереньким цветные, а нештемпелеванным штемпелеванные, коллекция его росла и наполняла картонную коробку из-под ботинок. А денег катастрофически не хватало.

Кончилось все тем, что тетя Рива после очередного недосчета денег в кошельке сграбастала в жменю его драгоценные марки, радость и смысл его жизни, любезные его сердцу квадратики и треугольнички, ради которых он целых полгода отказывал себе во всем, похудел, запустил учебу, превратился в жулика и вора... Смяла в кулаке его бесценное сокровище и вышвырнула за окно, предоставив ветру кружить пеструю стаю над сараями, голубятнями и гаражами. Часть марок он отыскал по дворам и вернул в коллекцию, но интерес к собирательству с тех пор угас, оставив в душе надрывное чувство поруганной любви и вселенской несправедливости.

И, тем не менее, все родичи мои жили удивительно дружно в большом городе, как и в местечке, наведываясь друг к другу без приглашений и подарков, без чрезмерного хлебосольства и гостевой суеты, помня обо всех датах, именинах и праздниках, зная все про всех. Теперь так не умеют...

Один Сеня сохранял свою независимость отщепенца, наезжая изредка и ненадолго. Он величаво обходил всю родню, и все передавали друг другу: «Сеня приехал! Сеня приехал! Он у вас уже был?»

Сеня Пархомовский, двоюродный брат тети Ривы, конечно, тоже из Дашева. Он еще в молодости перебрался в Москву и нес статус родственника-капиталиста, подпольного богача, и поэтому среди многочисленных родичей достатка ниже среднего, а таковыми были все, он вызывал обожание и нескрываемый интерес. Каждый, кто по родственному колену приходился ближе ему, с удовольствием доказывал это, будто подсаживался ближе к его миллиону, и детям своим говорил с назидательным восторгом: «Будете хорошо учиться – станете, как дядя Сеня».

«Терпеть не могу киевских аидов, – говорил дядя Сеня, – все они *аштинкеры*⁵ и *ашвицеры*⁶, они могут только *шмойсать*⁷, и нет, чтобы иметь а-гутер *гешефт*⁸ и делать неплохие *гелтушки*⁹, так они все идут в юрист-пруденты и вступают в партию. А что они все с этого имеют, спрашивается? *Халоймес*¹⁰».

В детстве он засунул себе вишневую косточку в правое ухо с намерением вытащить ее из левого, но косточка почему-то не пошла и даже застряла, и он стал ее проталкивать гвоздем.

⁵ Вонючка (*идиши*).

⁶ Зазнайка, хвастун (*идиши*).

⁷ Трепаться (*идиши*).

⁸ Выгодное дело (*идиши*).

⁹ Деньги (*идиши*).

¹⁰ Мечты, иллюзии (*идиши*).

«Я так кричал, что меня слышали в Умани. Моя мама полезла шпилькой доставать и еще глубже загнала, чтоб ей на том свете легко жилось. Целый день все местечко приходило давать советы, как спасти ухо, чего мне туда только не лили и уже через рот собирались вынимать, но я всех кусал и бил ногами в живот. Только потом послали за доктором Лейзером, твоим дедушкой, он и вытащил... Сейчас таких врачей нет... Но слышать – я им уже не слышал! Мама, чуть что, мне все повторяла: "Ты думаешь, тебе это твоя косточка?" А эта косточка меня в жизни много раз выручала и, можно сказать, от смерти спасла. Когда меня из снабженцев хотели послать на передовую, я им говорю: "У меня инвалидность на правое ухо. Тридцать процентов слуха". А он мне: "Я тебе сейчас сделаю все сто тридцать!" Ты думаешь, это легко мне было? Он говорит – я не слышу. Подходит сзади и свистит в ухо – я не слышу. Потом вдруг как заорет: "Я тебе покажу "не слышу"! Ты у меня пойдешь в штрафбат за симуляцию!" А я ему: "Что вы так кричите, что?" – "Ага! Услышал!" – "Я увидел!"».

Свою карьеру Сеня начал слесарем. «Зажали в тиски здоровенную железяку, дали напильник и сказали: "Пили". И я-таки пилил, две недели пилил, чтоб ты был так здоров. А они эту железяку выбросили и дали другую пилить. Больше я им уже никогда не пилил. А пошел я на базар и стал продавать шнурки: "Пала – пятачок! Пала – пятачок!" Принес вечером заработанные восемьдесят копеек, а мама мне: "Ой, Симхеле! Какой ты у меня умный сын стал. Хоть у одного из всей семьи есть *идише коф*!¹¹". И я был так счастлив. Я сказал: "Мама, теперь я буду много денег зарабатывать". И на другой день уже продавал папиросы. Потом газеты. Потом мыло и гуталин. Потом мы с братом сверлили дырки в пуговицах и бусах, красили платки, делали цветы из тряпок, варили гуталин... Потом только я стал фотографом».

И он работал фотографом по патенту. Исколесил всю страну от границы и до границы, разведывая места, где фотографии еще не побывали, а если и побывали – так и что? Можно же и по-второму разу, и по-третьему... Жизнь не стоит на месте. Сеня видел страшные вещи, перед ним представляли картины ужасающей нужды, дикого невежества, тупого равнодушия ко всему на свете, целые селения спившихся вырождков, их детей, копошащихся в норах среди мусорных куч; его грабили и убивали, несколько раз пережил крушение поезда, *фины* не давали ему житья, обехеэсники шли по следу, но поймать не могли, и даже взятки он не давал, почитая это безнравственным, а посему и не сидел и ничем не болел, даже головной болью.

«Приехал я как-то на Донбасс, прошелся по улицам и понял: дело будет крепко, и пошел в исполком брать патент на фотографические работы. Меня долго не могли понять, что я от них хочу, а когда, наконец, уразумели, заикали от возмущения. Их начальник подводит к окну, распаивает его широким жестом и указывает на дымы из заводских труб: "Поглядите, товарищи! Мы строим коммунизм! Мы создаем новую жизнь! А вы – какой-

¹¹ Еврейская голова (*идиш*).

то патент..." Я ему отвечаю: "Коммунизм – это прекрасно, но и фотография не так уж плохо. Пока есть русский народ – будет водка и будет фотография. А будет фотография – будет и патент". Он выгнал меня из кабинета, а из города я и сам убрался.

Я никогда не рискую, потому что видел, как людей сажают и какими они возвращаются. Если чувствовал неладное – оставлял все и с первым же поездом, автобусом уносил ноги. В одном уральском городке целую неделю снимал школы и садики, и как-то вечером хозяйка квартиры рассказывает, что пошел слух, будто понаехали враги народа, ходят по школам и ослепляют детишек специальными лампами... Я вышел на двор покурить, огородами, через плетни и колючки пробрался к шоссе, пешком добрал до железнодорожной станции и сел на первый же поезд без билета. Всю съемку бросил...»

Так он фотографировал, забираясь в самые отдаленные кишлаки и деревни, нет такого места в стране, где бы он не побывал. Он заранее составлял маршруты и изучал карты, выписывал расписания местных поездов, а потом колесил и трясся в грузовиках и на телегах, питался сырыми яйцами без соли, но-таки добирался до медвежьих углов, до рабочих поселков на приисках, на лесоповалах, на нефтяных разработках, на шахтах и обходил дом за домом, барак за бараком, лазил через заборы, собаки его драли, его не пускают в двери, так он в окно, через трубу, но проникнет внутрь и кого-нибудь да зафотографирует, а нет кого фотографировать, все на покосе или на дальних делянках, в доме одни сопливые дети да глухие старухи, залезет в семейный альбом, а его нет, так из рамы со стены вытащит полинялую фотку, из божницы с клопами... Разносил он свою продукцию исключительно в день аванса или зарплаты. Он знал: опоздай хоть на день – все деньги пропуют. Однажды вместо денег с ним пытались расплатиться облигациями внутреннего займа, вынесли целый мешок. И он, конечно, не взял: «Кому они тогда были нужны, эти облигации? Их не выбрасывали из страха, что донесут. В каждой семье их был полный чемодан, ими потом комнаты оклеивали...»

«Я шелкаю всех подряд и не спрашиваю, кому что нравится – всем одно и то же. Думаешь, не берут – еще как! Радио им есть, патефон им есть, кино им есть. Им только фотографии нет. Кто им будет делать фотографии? В ателье очередь, самим недосуг, да и уметь надо все эти бульоны разводить – морока. А тут я, при галстучке и с фотоаппаратиком, разговорчивый и ласковый: "Вот птичка! Вот птичка!" Как это так не взять фотографию, после всего этого им же стыд будет. Человек тратил время и пленку, а раз так – надо заплатить.

Бывает, и не берут, даже за полцены, но редко. Это из тех, кто думает, что фотография – это искусство или в семье большой *бэройгез*¹². Но и тут есть способ выйти из положения, например, апеллируешь к бабушке или

¹² Ссора (*идти*).

дедушке: "Вы же интеллигентная женщина!.. Вы же умный человек!.." Всякий раз ориентируешься по обстановке. Русские люди обожают фотографироваться. Нет денег – одолжат-переодолжат, но заплатят. И всегда спрашивают: "А что будете делать с ними, если не куплю?" Отвечаю: "Уничтожаем посредством сожжения в соответствии с актом о ликвидации..." Это их может убить наповал: "Как? Это моего Ванечку-Петечку будут жечь огнем?!" И тут же раскрывается кошелек.

Рабочие и крестьяне – лучше всех. С интеллигенцией слишком много разговоров. Но хуже всего – военщина, в особенности офицерские жены. Привыкшие к дармовщинке, уставному порядку, они считают, что фотография – это одно из спущенных сверху казенных мероприятий, и платить не желают. Приходится идти им навстречу и делать подношения, мол, для вас – бесплатно, но зато потом вся военная часть твоя. Вот уж кто любит фотографироваться, так это служивые, только просят: "Не снимай в полтуши, а то пошлешь домой, мать подумает, что у меня ноги отняли". Солдат и фотографироваться идет строем, и деньги собирает организованно, беда только: их деньги небольшие – от рубля и ниже.

И никогда не снимал Сеня детские приюты...

Когда-то делал он портреты деревенских молодоженов, вновь соединял разлученные супружеские пары посредством совмещения двух карточек в одну, лепил портреты на тарелки, изготавливал могильные овалы, диапозитивы в пластмассовых неваляшках, гонялся за тубетейками на выставках и парках культуры, караулил экскурсантов у мемориалов, печатал тысячными тиражами целующихся голубков, кошечек с бантами, купидонистых отроковиц с порочной хитринкой в глазе, слащавые виньетки «люби меня, как я тебя», раскрашивая свою продукцию с помощью жены в анилиновые цвета ярчайших тонов. Привет тете Муре из Магадана!

Своего сына Алика от фотографии он ревниво оберегал, полагая, что высшее образование в сфере геодезии и картографии выведет скромного юношу через науку к материальному преуспеянию: «Ничего в нашей профессии хорошего нет, грязная профессия, надо сказать. Чего только ни наслушаешься, пока не заработаешь свой рубль». Но когда после двух-трех лет по окончании института молодой специалист не достиг большего, как продолжать таскать по грязи тяжеленный штатив с нивелирными рейками, а с мечтой о финансовом благополучии сына оставалось проститься на ближайшие четверть века, отец приобщиł-таки его к этому «хлебному» ремеслу. «А чем плохая профессия? – вопрошал он с вальяжным достоинством. – Фотограф – это художник! *А-хенохтѣх*!¹³ Конечно, и геодезист неплохо, но там не платят...» И завершал с глубочайшим вздохом: «А где у нас платят?..»

Работать в одиночку, без компаньонов, надо сказать, Сеня не мог по многим причинам, в числе которых были такие противоречащие его профессии качества, как глухота, экзотический вид и, простите, небезызвест-

¹³ Репортер (*идиши*).

ный прононс, очень мешавшие ему в общении с клиентом. А главное, та самая пресловутая местечковая предприимчивость, которая с логической неопровержимостью подсказывала ему, что в условиях несвободного рынка надо-таки дать другим работать на себя, ну и чуть-чуть на него. Поэтому его фирму, как правило, представляли люди случайные, не имеющие к фотоискусству никакого отношения, но с удачно подобранными антистетическими качествами. Например, работник, обладавший даром «добирать клиента» и совмещавший обязанности инкассатора, вполне сочетался с работником, имеющим частный извоз и способности в материальном снабжении. Собственно фотографии, которых он называл «щелкунчиками», не ведали «лабораторку», а лаборанты не касались фотоаппарата. Ни один не знал весь процесс от начала и до конца, работу распределял он, и все контакты были через него. Любой ропот или даже недовольство в своей команде он оглушал заполошным скандалом, орал и покрывался пятнами, требовал идти разбираться «на люди», но в конце всего успокаивался и ласково объяснял наивным мятежникам: «Я всего лишь прошу одного – лояльности, а если кому не нравятся мои условия, пусть возвращается обратно в инженеры. Мне тут профсоюзы не нужны. Не я вас искал, а ваши родственники приходили за вас просить: "Сенечка, пристрой к себе моего обалдуя..."» Это был убийственный аргумент, после которого бунт скисал.

С ним всегда работал кто-либо из бедных родственников, из кого он вынимал душу и платил по-родственному мало: «Где ты находишь такие улыбки? Не можешь улыбки – пусть будет хмуро, а такая работа мне зачем? А это что? Ты для чего ему пуговицу пришил вместо носа? А это разве щеки? Где ты видел у ребенка такие щеки? Я хочу, чтоб у него были настоящие детские щеки, чтоб у него мясо проступило, чтобы мне его ущипнуть хотелось, чтоб он был как живой! Серятина, а не работа, в другой раз я у тебя такого не приму. Так и знай! Смотри, Тосенька, и этот человек еще мечтает об Израиле?.. Тебя и в Бердичев пускать нельзя!» Тетя Тося приходит на выручку бедному родственнику: «Ну, ты уж совсем парня затерзал...» Она тоже способствует дяде Сене в его бизнесе в качестве раскрасчицы и ретушерки, и он платит за ее труд аккуратно и в соответствии с предъявляемыми ею камеральными счетами. Сеня меняет гнев на милость: «Ля-а-дна... Не вешай нос. Что они там все понимают в фотографии? Съедают все подчистую. Пошли и мы кушать... Тосенька, что у нас сегодня на ужин?»

Про тетю Тосю мне сказала одна дама без особых предрассудков, что Тося никакая не... «Вы меня компрене?» Но рядом с Сеней она стала одно с ним по национальному признаку. Я весьма компрене, но... Вот они рядом на фотографии, и при чем тут национальный признак? За долгие годы согласного жития они, действительно, стали похожими, как становятся похожими друг на друга в старости брат и сестра. Хотя чего общего? Сеня плешивый, с шутовским зачесом от затылка на лоб, с витилигой на черепашьей шее, с серым ежиком бровей. Тося пышноволосяя, молчаливая, ироничная, и вся родня говорит: «Кому уж так повезло в жизни, так это нашему Сене».

Сеня не только фотограф, он бизнесмен и во всем чувствует свою выгоду... но и опаску. По ходу дела, с оглядкой, можно и на «контрабанде», и на «дефиците», и на «вашингтонах»...¹⁴ да на чем угодно подзаработать. Разве проблема, если есть голова и связи? Пока что он делает себе «персональную» пенсию, но и потом бросать работу все равно не намерен. Есть у Сени кое-какие задумки насчет молодежной бригады.

Он всегда в своих воспоминаниях по минувшему, по трудно добытому и легко потерянному: «Я видел, как люди годами наживали добро и в одно мгновение теряли все, а я на риск никогда не шел». Он искренне досадует и вздыхает о том, как чудесно могло бы устроиться то или иное дельце, какие деньги можно было бы положить в карман, если бы не такое вот ничтожное обстоятельство, как советские законы. Слово «советские» при этом он произносит с особой экспрессией.

Он вспоминает девальвацию: «Я ее почувствовал спиной раньше, чем она нашему министру финансов пришла в голову. Я всем своим сказал, что надо делать, и у кого было немножко головы на плечах, спасли свои деньги. У меня ни рубля не пропало, а вот у нее... – он кивнул в сторону жены. – Пусть сама расскажет, а то я весь пятнами пойду». Дело в том, что часть денег, именно та, что была скоплена тетей Тосей для только ей одной предвиденного черного дня, пропала. «Пропала! Потому, что она не хотела купить персидский ковер в комиссионке. А где теперь ее деньги, спрашивается? Люди все скупали, даже костыли и бандажы для беременных исчезли из аптек... А она персидский ковер не хотела купить!»

Тетя Тося никогда не жалуется и не встревает в чужие дела. Вся ее жизнь – это дом и... священная война с торговлей. «Это ж не люди, – говорила она убежденно, – это спекулянты и бандиты!» Под спекулянтами подразумевались те, что на рынке, бандиты – это которые в магазинах. С мясниками она ругалась до визга, едва не до драки, метала через прилавки неудобные ей грудинки и корейки, и продавцы боялись ее, потому что она распалая очередь до крайностей, а очередь, вооруженная праведным гневом, это уже не очередь, но масса. Мясники же страшились масс, вооруженных идеями. «Ты что мне на весы кладешь? Я ведь тебя мяса просила, а не костей...» – «А мясо, гражданочка, без костей не бывает!» – «Язык твой не бывает без костей!» – «Не желаете брать? Проходите следующий!» – «А я и есть следующий. Пока мне не дашь, что тебя просят, – никого не пушу и сама не сдвинусь!» На базаре о ее приближении передавали по рядам, уступали, не торгуясь, и если уж она кого-либо заставляла врасплох, спуску не давала и трясла до изнеможения.

А в иное другое время тетя Тося была тиха и покладиста, со своей полутайнственной прелестью – все знает и понимает с полуслова, с полувзгляда. Кивок-моржок – и вот на столе, как говорит Сенья, вся история еврейского народа.

¹⁴ Доллары (сленг).

Фаршированная рыба. Да, та самая рыба-фиш! Гефилтэ фиш! Даже если вы и ели фаршированную рыбу и вам известно, что это такое, можете считать, что вы ничего не знаете, потому что вы не сидели за столом у тети Тоси и даже не нюхали воздух в комнате, где ели эту рыбу. И это-таки хорошо, потому что обморок, хотя это и не смертельно, но он никому не нужен.

Потом не забудьте, ведь есть еще фаршированные шейки, печеночный паштет и паштет из шкварок с яйцом и луком, жаркое в кисло-сладком соусе, да что уж там... обычные котлеты с молодой картошечкой, посыпанной укропчиком, и... Аве, борщ! Все это исполнено такого совершенного мастерства, человечности, рачительности, почитания доброкачественного продукта и восхваления даров природы в их не вымороченной, но выборочной безукоризненности и своего высокого предназначения.

Я помню, как в заплесневевшей ванной, куда меня отправляли помыть руки перед едой, к ножке табурета всегда была привязана живая курица, ожидавшая своего жертвенного часа и, во славу Кулинарии, обреченно и с ужасом взиравшая на меня из тьмы. Когда я присаживался на корточки и сочувственно вглядывался в ее дикий зрак, она робко переминалась на своих изящных ножках и плаксиво помаргивала мне, как бы сетуя на судьбу: «Я так молода, так хороша собой, а вы, жестокие люди, намерены превратить меня в кучку съедобного мяса и распахать его по вашим ненасытным желудкам. И ты, друг мой, тоже Брут...» И мне, конечно, становилось стыдно. Потом ее, уже убиенную, слишком уж вольготно расположившуюся в эмалированном тазу, я наблюдал с чувством вины за весь человеческий род, а куриный уже помутненный зрак констатировал: «Вот и все!» Бабушка меня утешала, мол, такова куриная доля, и продолжала резать кур, но смотреть на это никому не позволяла. Сидя за столом и собирая жиринки в супе в одно большое озерцо, я размышлял о плачевной куриной судьбе, и меня не покидали предательские чувства. Аппетита при этом не наблюдалось...

После обеда Сеня, развалясь, поуркивая чревом, осовело взирая на остатки будничного блюдосмешения, нежно трогает крахмальные заусеницы на салфетке и, орудуя рыбьей косточкой как зубочисткой, задумчиво вопрошает: «Тосенька, а что у нас сегодня на ужин?»

Я помню эти роскошные возведения, эти незабываемые сеансы пищевой терапии, где все так сказочно вкусно, и божественно красиво, и так торжественно возлежит на тарелке: жиринки-пузыринки с радужным переливом, кроткие пупочки, хрустящая корочка, гляцевитые вздутинки, судорожная дрожь желе и прощальный взмах янтарного крылышка, и, наконец, томная сдобность великого штруделя под янтарный чаек... Кстати, но не в обиду, чай ни тетя Тося, ни ее муж не умели заваривать и вкуса его не понимали: так себе, подкрашенная тепленькая водичка.

Вот как раз тут, после чайка, и начинаются разговоры-мозговоры: «Скажу откровенно, – мудрствует лукаво Сеня, – я не в восторге от нашей жизни, нет... Куда ни сунься – ничего нет, что бы ни захотел – нельзя... А какая же это необходимая осознанность, если только и остается, что свободно и

независимо почитать газетку в уборной. Разве для этого я возник на свете? Теперь так: жить ради себя или ближнего? Диалектика... Себе добрый – другим злой, другим добрый – себе злой. А где же середина? Я же предлагаю вариант: пусть каждый живет, как у него получается по способностям, а заработал себе на потребности – лишнее отдай обществу. Ну, что скажешь?»

Я его торжественно осведомляю, что эта идея не нова. Сеня снисходительно посматривает на племянника: «А кто сказал, что нова? Новое – это хорошо забытое мною старое». Большой философ, однако, этот Сеня Пархомовский, жизнелюб и непоседа, хитрец и балагур. Он не стесняется своего комичного вида, он не слышит своего чудовищного выговора, а я упиваюсь сытыми рассуждениями местечкового самородка. Я обожал его в такие минуты...

«Слушай сюда, раз ничего нельзя, значит, все можно. Такая вот у нас демократия. Все эти запреты и ограничения для дураков. Надо быть немножечко обманщиком, немножечко вором, немножечко предателем, но никогда не обижаться. Помни: на обиженных воду возят. Плохо лежит – бери и не угрызайся совестью, общее – значит, ничье, деньги и вещи любят людей, которые им верны; не торгуйся по малому, не дешевись, не ищи в дерьме бриллиантов, заводи связи, но слишком близко не сходишь, друг должен быть только один – жена... друга, но об этом после...» – Сеня сочиняет шутейную физиономию, и при этом не остается сомнений, что в каждой его шутке есть доля шутки.

«Все надо делать медленно и с оглядкой, рассчитывая на худшее, но не отчаиваясь, в случае пертурбации первый станет последним, поэтому сразу уходи в середину, не стесняйся делать комплименты и никого не критикуй, старайся всем нравиться и не ссорься с соседями: хорошего соседа не бывает, но сосед-враг – это катастрофа, чаще меняй квартиру: перемена места – перемена счастья...» За тридцать с лишним лет жития в Москве он с женой сменил дюжину квартир, точнее, комнат, пусть и хороших, но в коммунальных квартирах, и всегда в центре. Лишь последняя квартира была отдельная, на Арбате, с окнами на Старопесковский переулок.

«А чего ты не кушаешь? Слава богу, еще кушать нам не запретили – так давайте кушать, – Сеня надкусывает яблоко и полемизирует сам с собой. – Хорошее дело: "кушать"... А где взять? Может быть, в магазине?.. Там пусто. На рынке – дорого. Значит, так: или снижаем потребности до возможностей, или поднимаем возможности до потребности. Я предпочитаю второе. А ты, я вижу, третье... – он придвигает мне роскошный маковый пирог. – Во всем надо держать меру. Скажи, кто готовит лучше моей Тоси? Но как бы вкусно ни было, если я накушался – я отодвигаю тарелку».

И Сеня отодвигает тарелку. Действительно, Сеня из малоежек, и кулинарные предпочтения его весьма скромны: он может наесться одним хлебом, опрометчиво выставленным на стол перед едой. Зато список продуктов, что он не берет в рот, весьма обширен. Он не ест ничего крупяного, бобового и макаронного, никаких каш, пюре и запеканок, овощных салатов и

винегретов, квашеного и маринованного, ничего, как он сам называет «мороженого» и «белого», то есть молочного, не переносит грибов, орехов и баклажанов, из овощей ест только лук, а из фруктов только яблоки, кроме мятных леденцов, не прельщают его конфеты, варенья, печенья, торты и пирожные, вообще все сладко-шоколадное... Что же он любит? А все остальное, особенно рыбное. «Если честно, то рыба в прошлый раз была лучше... – кричит он жене. – Тосенька, ты ее на углу брала или в "Диетическом"? У безрукого? У него самого или у Соломоники? Бери только у него самого, он меня знает, и передавай ему *а-грус*. Надо бы сфотографировать его внуков...»

С любого рассуждения Сеня, в конце ли пути, но свернет на женщин: «Не знаешь, еще любовь не запретили? Слава богу, есть ради чего жить. А вот это для тебя может пригодиться: захочешь жениться – выбирай себе женщину с широкой спиной. Таких много у русских. Самое большое богатство русских – это их женщины. Ни у одного народа, в том числе и у нашего, нет таких женщин. Русский мужик – он ленивый и блаженный... И неблагодарный, потому что не понимает, какое ему свалилось счастье. Он любит пять минут, а потом всю жизнь ненавидит, а со злобы пьянствует и рукоприкладствует. Если бы не их женщины – послушай дядю Сеню, в чем у него есть большое понятие, – если бы не их женщины, они превратились бы в зверей. Вся их Россия на женщинах держится.

Ты присмотришься, какие они человеческие, какие они труженицы, сколько в них терпения, как они умеют любить и ждать, переносить нужду и приносить себя в жертву, и это, несмотря на то, что их без зазрения совести туркают и тюкают.

На ней держится дом, она встает рано и ложится поздно, она несется куда-то, бог его знает, на другой конец города на этих чертовских автобусах отмечаться в очереди за каким-то там их-ах-децифитом... Кухня – ее, стирка – на ней, пошить-связать, удлинить-перелицевать, заштопать-погладить... А дети, а внуки, а вечная борьба с пылью, а не выглядеть чучелом, а каждый месяц ждать неизвестности и замирать кишками: начнется или нет, а начнется – тоже мне удовольствие большое...

Ты спросишь, а у нас, что же, не такие? И я тебе отвечу: поверь дяде Сене, он знает большую разницу. Если бы у нас были такие женщины, мы бы не слонялись тысячелетия по всем землям... Но я тебе ничего не говорил, смотри сам и решай сам...»

Тетя Тося вырастила дочь-умницу и внуку-красавицу и вот сидит с правнучкой, которая, без сомнения, будет умницей и красавицей и которую она любит больше всего на свете.

Да здравствует тетя Тося!

Дяде Сене все же не достало родни в не ставшей ему родной Москве, поэтому теми немногими, что у него имелись в ней, он дорожил и связи с ними не терял. Была у него родичка, некая Раиса Михайловна, она же Ребека Моисеевна, вдова известного в свое время литературного критика с простой русской фамилией, облаканного властью, но давно переселившие-

гося на Новодевичье кладбище, – и, хотя речь здесь не о нем, не мешает упомянуть его добрым словом, так как оставил он своей супруге завидную и по сему времени квартиру в Лаврушенском переулке, обставленную антикварной мебелью с многочисленными книжными шкафами и величественнейшим, как алтарь, письменным столом, который Раиса Михайловна и превратила в алтарь памяти по почившему супругу. С тихой печалью и придыханиями произносила она его имя, хотя при жизни, рассказывают, именovala его весьма неучтиво, интонировала на его голову шум и ярость и презирала его за многое, в том числе и за неизысканные манеры, например, он обожал вареный лук и морковку, обгрызал вываренные в супе хрящи и, о боже! – смачно обсасывал бельмастые куриные головы. А когда он разбил сервизную тарелку костью, вытряхивая оттуда мозг, прекратила с ним интимное общение, то есть переселила его из общей спальни в рабочий кабинет.

Она говорила так про себя: «Я обязана кого-то ненавидеть, для того чтобы всех остальных любить еще сильнее, и чем тяжелее гиря моей ненависти упадет на чашу весов, тем выше вознесется чаша любви».

Вся квартира эта была царством пыли, клопов и ископаемых запахов. Тяжелые занавеси на неоткрываемых окнах, скрипучий дубовый паркет, покрытый многочисленными половичками, кучи слежавшегося хлама по углам и многоярусные башни картонных коробок, для приличия покрытые кружевными пелеринками.

Сразу же после смерти мужа ощутила Раиса Михайловна сиротливое одиночество, ей явно не доставало интеллектуального и вообще человеческого общения. Всю многочисленную родню мужа, включая пенсионного возраста дочь от первого брака, с ее чадами и домочадцами, она методично, год за годом отшивала, так что они забыли дорогу в этот дом, своих же родственников было немного, и, к счастью, дальние.

И вздумала Раиса Михайловна сдавать комнату студентам. Заметьте – не студенткам. В трехкомнатной квартире, кроме кабинета, превращенного ею в микромузей, и спальни, где почивала сама хозяйка, был большой салон с продавленной оттоманкой, покрытой свисающим со стены огромным ковром. Вот это царское ложе и предлагалось неизбалованному комфортом студиязусу. Что говорить, весь салон при этом тоже как бы становился его, однако, ввиду прямой сообщаемости с другими помещениями квартиры, а также с балконом, хозяйка из него исчезала разве только к ночи. Квартиранты не заживались у одинокой вдовы подолгу и съезжали, едва дотянув до первой сессии. Видимо, первопричиной тому были клопы и тараканы, а, может быть, и такое обстоятельство, что, будучи весьма капризной и даже деспотичной, Раиса Михайловна, кроме требований не приходить поздно и не водить гостей, принуждала разделять с нею вечера, пить ее едва тепленькие чаи и слушать бесконечные истории об ее артистической молодости. Она донимала бесцеремонными просьбами мелких услуг: залезть на антресоли, перевесить картину, вынести мусор, воткнуть нитку в иголку и

даже потереть спину мочалкой.... Но были докуки и посуущественней: сходить за спецпайком в распределитель, купить для нее на рынке свежую клубнику, пригнать такси и сопроводить ее на дачу или в какое-нибудь присутственное место. Если квартирант должным порядком отказывался почитать старость и не готов был покорно исполнять ее прихоти, она театральным жестом указывала ему на дверь. Выпроводив одного квартиросъемщика, квартиросдатчица расклеивала новые объявления у метро и с паучьим терпением выжидала следующую жертву.

Раиса Михайловна пережила своего мужа лет на сорок, если не больше, и в конце своего пути легла под бочок к прославленному критику, под ту же каменную плиту. Жизнь прожила она бездетную, была худа, курила, владела безгрешным, ангельски чистым взглядом и имела горделивую осанку морского конька. Однако ее сопровождал непонятно откуда исходящий приторный дух наодеколоненных испражнений, запах экзотических, но гниющих фруктов, нечто отталкивающее и привлекающее одновременно, вызывающее как тошноту, так и соблазнительное головокружение – такое случается порой в самолетном туалете, когда посетишь его сразу же после умашенной парфюмерией гранд-дамы.

А в Перedelкино, в писательском городке, от правительственных щедрот сохранилась в ее пользовании премильная дачка с лесным участком размером с гектар, куда она летом сбегала от городской духоты и клопов.

Всякий раз, когда я вспоминаю Раису Михайловну, перед моими глазами возникает картина Максимова «Все в прошлом» – флигелек, самовар на столе, старая барыня в плетеном кресле, ее древняя служанка то ли разливает чай, то ли вяжет чулок. А недалеко заколоченный господский дом с крыльцом и колоннами...

А Сеня здоровствует и поныне. Ему бы давно на пенсию, а он все работает и зарабатывает. Родня поговаривает, что миллион у него уже в кармане. Вот ведь языки у нас в родне, но, наверное, так и есть. Как-то он меня упрекнул с дидактическим подвывом: «Как ты можешь покупить себе бутылка агойский водка, когда у тебя на книжке нету и тыща?»

И все же о фотографии он имел малое представление. Когда-то давно безногий местечковый фотограф поставил ему на тяжелой немецкой камере выдержку и диафрагму и сказал: *гей немен...*¹⁵ Так и по сей день он ходит и снимает, все с той же выдержкой и диафрагмой, и делает никому не нужные фотокарточки, пошлые аляповатые фотки. Сменялись годы, менялись моды, изменялись сами люди, но выдержка не менялась... И диафрагма оставалась той же...

Жизнь – печальная штука, но про себя Сеня говорил, что он счастливчик, потому что из всей его огромной семьи только он один остался в живых. Был у него младший брат Адик, расстрелянный вместе со всем семейством в Бабьем Яру. Их мама, тетя Лея, говорила, что Адик – *майн бите-*

¹⁵ Бери (*идиши*).

*пер гоїрл*¹⁶. «Когда я была беременна Адиком, мне приснился сон, будто вхожу я в нашу синагогу и подходит ко мне наш местечковый *мишугене*¹⁷ и просит копеечку. Я спрашиваю: "Мицю, зачем тебе копеечка?" А он мне отвечает: "Хочу купить кожицу для твоего ребеночка..."»

Родился Адик с великим опозданием, как будто знал, что ничего хорошего его не ждет в этом мире, и – не дома, а в овраге, где пряталось все семейство от налетов Петлюры и атамана Маруськи. Был он светловолос и голубоглаз, невероятно тощ и злобен. Всех кусал, щипал и царапал. Целыми днями пропадал на речке и в лесу, купался до синевы и до дрожи. С людьми он не ладил. Со дня его рождения вся улица только и слышала, что «Адик» и «Адик». Одного его вида страшились даже гуси и индюки, он бил всех и не искал повода, мстил взрослым, пытавшимся защитить свои чада, издевался над калеками и никому не давал прохода. Свою семью он обложил налогом: брал полтинник за желток и рубль за все съеденное яйцо, в противном случае вообще отказывался принимать пищу и мог не есть бесконечно долго. Огромная тетя Лея валилась со стоном на кровать и умоляла его съесть хоть что-нибудь. Гостей он не любил отчаянно, пребольно дубасил их под столом ногами, всячески задирал и передразнивал, мочился в калоши, громко икал и тихо портил воздух.

Сладу с ним не было. В десять лет он терроризировал всю улицу, и пешего, и конного, и случайного прохожего, медленно изводил семью, стравливал соседей, провоцируя скандалы. Старую Феню он довел до припадка, так что у нее отнялась вся правая сторона, и она уже ничего не могла делать, а маленькая Буся от испуга стала часто моргать и заикаться.

В том же дворе, в доме с высоким крыльцом проживал краснощекий увалень Вунька – всеми обожаемое, милейшее и беспомощное существо. Когда он был еще совсем маленьким, на него не могли нарадоваться: красивый, послушный, улыбчивый и совсем не плакал. Все в семье говорили: «Хороший мальчик, кушает и спит хорошо... Чего еще надо?..» Так он вырос, и только два этих дела он исполнял исправно, все прочее ему не давалось никак. Вунькина мама, годящаяся ему по возрасту в бабушки, каждое утро выводила его, улыбающегося и послушного, на крыльцо и усаживала в широкое плетеное кресло. Целый день в любую погоду Вунька сидел в кресле и терпеливо высматривал всякого, кто ни появлялся во дворе, а завидев его, он тут же взбадривался и издали радостно помахивал рукой, скандируя заученные приветствия: «Здравствуйте! Добро пожаловать! Как поживаете? Счастливого пути!» Он знал довольно много слов и мог поддержать нехитрую беседу и даже правильноотреагировать на простецкую шутку. Но больше всего он любил угадывать, как разговаривают зверюшки. Дети закармливали его сладостями и прочими яствами, которые с благословения родителей они выносили из дому. Ел Вунька много и все подряд,

¹⁶ Моя горькая доля (*идиши*).

¹⁷ Сумасшедший (*идиши*).

Адик же, пользуясь неразборчивостью дегенерата, скармливал ему козлиные «карамельки», заворачивая их в хрусткие фантики. Вунька чмокал слюнявым ртом «большое спасибо», шепелявил, что очень вкусно, и улыбался. Рот у него был вечно измазан конфетной начинкой, а подбородок и щеки арбузным соком.

Да, таков он был, мой дядя Адик. С утра слышался крик: «*Ратевет!*¹⁸ Этот бандит пробил голову нашему Эдичке!» Вбегала соседка: «*Гевалд!*¹⁹ Он опять собирается делать пожар!» Тетя Лея наплывала молчаливой горой, заслоняла собой небо, делалось темно и страшно. Через мгновение начинался безобразный местечковый дебош, сопровождаемый заломом и возведением рук, пассами и поворотами, убеганиями и возвращениями, обнажением задов и тысячеголовыми фигами. Скандал скликал всех на жаркое зрелище, соседи, хоть и не вмешивались, но, призываемые в свидетели, не оставались равнодушными и участливо обсуждали происходящее пред их глазами действо.

После таких свар Адик держал себя победно. Он выходил за калитку с огромным куском хлеба, намазанным шмальцем и луком, и, взирая торжественно в сторону противной стороны, на время затихал, видимо, обдумывая очередную шкоду.

«Ничего, – говорили в семье, – вот увидите, он перерастет, еще какой замечательный парень из него выйдет». И приводили многочисленные примеры из общей и частной истории.

Когда же местечки целыми родами, многочисленной детворой, кричащими без умолку женщинами, со своим нечистым скарбом, узлами, чувалами и баулами двинулись в прежде запретные города, тетя Лея одна из первых обнаружила себя в Киеве среди прочих родственников. И все благодаря тому же Адик. Очень скоро его знали весь Подол и Куреневка, он фигурировал во многих темных делах и аферах, и слава о нем, может быть, простерлась бы и дальше, но... Началась война, пришло время, и толпы евреев двинулись к Бабьему Яру. Старый Хаим и Лея, тетя Буся, Розочка и Соня, нагруженные вещами, толкая перед собой коляску с парализованной тетей Феней, тоже были там вместе со всеми. Адик за деньги нес чьи-то чужие чемоданы...

Да-а-а... Что ни родственник, то дядя, что ни свойственница – тетя. Вот, взгляните, это две сестры, наши любезные Ривка и Лиза Шмуклер. Кто знает, где они сейчас?

Когда-то в голодовку, в тяжелое военное время, когда за банку американской тушенки на Сталинке и на Евбазе давали целое состояние, а за «яйца Рузвельта»²⁰ – одеться с ног до головы или отхватить библиотеку – и каких книг! – они, эти самые сестрички, возвратились из эвакуации, из тоскливого уральского захолустья, полные надежд и насекомых.

¹⁸ Спасите! (*идиши*).

¹⁹ Караул! (*идиши*).

²⁰ Американский яичный порошок (*сленг*).

Их прежнюю квартиру, огромную с двумя балконами – на двор и на улицу, заняли другие жильцы. Их же в дверь не пустили. Тогда они сходили за дворником, и дворник их узнал. Все их вещи и мебель разграбили-разворовали, узорный паркет, голландская печь с голубыми изразцами, бронзовые ручки – все испоганено, испакошено. Остались лишь лепные потолки...

Им даже не дали остановиться на время, даже переночевать, даже присесть, но в коридоре они вдруг увидели свою старую знакомую – швейную машинку «Зингер», вцепились в нее и отвоевали.

Дворник открыл им пустую комнату в полуподвале, где хранился дворничий инвентарь, и они стали там временно квартировать. Но, как известно, ничего нет более постоянного, чем временное, и сестры прососедействовали там с метлами и поливальными шлангами еще долго, все рассчитывая на сочувствие и справедливость, дожидаясь лучшей поры.

И в ожидании ее они продавали и выменивали имеющийся у них скраб на толкучках, которых повсюду было много. Работы не было, и что могли поделывать две бухгалтерши, когда весь город лежал в развалинах? Всюду слонялись безработные и бездомные, перекрестки, вокзалы и рынки были заполнены нищими, калеками, вывернувшими свои уродства наружу, шныряли карманники, клеились шулера и шлюхи, предлагали «мочалку» за тарелку борща, завлекали в «наперсток», в «ремешок», в «три листика» – и над всем этим царствовали лихие шайки и банды, в лютой вражде между собой. Тут и там раскрывались подпольные котлетные и колбасные, изготавливавшие свою продукцию из весьма экзотического сырья. С наступлением сумерек даже собаки покидали улицы. Жить было опасно...

Но ничего... Сестрички взялись за ремесло. Они вывязывали крючками и на спицах такие вот удивительные салфетки – вдруг тебе обнаружился дар – пальметки и розетки в виде сервированного к чаю столика, дорожки, подзоры, накидушки на подушки и разное другое плетено. И это, как ни странно, шло в обмен на хлеб и картошку. И в голод и в сумятицу народ тешил себя и строчкой и вышивкой.

А тут вдруг холода, и на барахолке только теплая одежда шла за еду: всякие там горжетки, муфты, занафталиненные, побитые молю и подбитые ветром дошки, лицеванные-перелицованные кацавейки, платки и мантыльки – все годилось. Но лучше фуфак ничего не было. Такая мода даже учредилась, что ли: в фуфайке – значит, свой. И носили их по-разному: и по-эзковски, и с шиком – в фуфайке и в пир, и в мир...

Кинулись тут и мои наладить пошив фуфак, да вначале не пошло: где было взять материю и нитки, трофейные иглы – за бешеные деньги. Добыли штуку коленкора из-под полы, видимо, краденую, выварили с нее краску, надергали желтую вату из одеял, солдатские пуговицы – застучал «Зингер». Скроили – пошили, пошили – продали. На рынке каждому товару находится покупатель, несмотря на конкуренцию. Куда там!.. На Житнем и на Соломинке, хоть и втридорога, шли ходко фуфы из шевиота и рубчика, простеганные накосую, с потайным карманом. Организовались под-

польные артели, работающие на краденом сырье. Тогда-то и зашустрила милиция, начались облавы, брали фуфаечников, а заодно и других тихарей и темнил. Стало трудно, приходилось товар продавать с себя, раздеваясь насквозняках, в вонючих закоулках. Появились перекупщики, предлагали мало, в глаза не смотрели, страшали. А тут вдруг крик: «Атас!» Набежали менты, в секунду стало пусто, а моих и сцапали.

«Зингер» конфисковали, но теток отпустили, потому что уж совсем они были жалкенькие. Наступила трудная пора. А тут такая радость, заглянул дворник и обрадовал: дали ордер на комнатку в их же прежней квартире, значит, есть бог на небе! Для такого случая надо было устроить званный ужин, пригласить родственников. Кто еще остался в живых? Таких осталось немного, а прочие еще не вернулись с фронтов, из эвакуационных периферий, из заключений. Чертова война! Чертова жизнь! А жить надо... Извлекли они последнее достояние – фамильную брошь, серебряного паука с гранатовым брюшком и бирюзовыми глазами навывкате, и, надо же, такая удача – не доехали до места и разговорились с одним приличного вида гражданином с бородкой, он и предложил целую банку американской тушенки. Торг состоялся.

Принесли они домой и поставили в центр стола, все разглядывали этикетку, нерусские буквы, непатриотичный дизайн. Созвали гостей и, затаив дыхание, вскупорили банку... А там песок, завернутый в тряпку... Чтоб не гремел.

Мальчики в матросках, девочки в широкополых шляпах с бантами, brave кавалеры с лихо закрученными усами, пышные красотики – что ты, боже мой, – сейчас я уже безнадежно стар для них, а их самих уже давно не имеется в числе здравствующих; томные дамы несколько тяжеловаты и, судя по бровям и подбородкам, своенравные; их добродушные и не слишком преданные мужья; сонм ребятишек, в блеклых мордашках которых едва проглядывают черты тех дядь и тет, что я когда-то знал.

Милый дядя Яня!.. Он тайком от всех курил в субботу, забредая в самый дальний угол сада, за сарай, и все об этом знали. На фронте он потерял руку, и я как сейчас ощущаю неловкое пожатие его холодного протеза.

Но и одной рукой он проделывал удивительные чудеса. Он смастерил мне ветряк, он лепил смешных человечков и сочинял им дурашливые прозвища, он показывал незатейливые фокусы, каждый раз изображая на лице растерянность либо удивление, в зависимости от того, исчезала вещь или находилась. В воскресенье утром он выходил на крыльцо, хозяйским глазом оглядывал двор, расположение скамеек и столиков, подзывал соседскую детвору, взлохмачивал мальчишкам чубы, приговаривая: «Ишь, черти, заросли-то как, именно сейчас и подстригаться...» И начиналась поголовная стрижка. Он делал всем челочки, а кто постарше – достаивал «под Бобринского», та же челка, только более обширная, от макушки.

А когда случалось мне застать его бреющимся перед зеркалом, он из своего густо намыленного лица производил уморительные шаржи, изображая политических деятелей или других знаменитых людей, всякий раз

предлагая угадать, кто бы это мог быть. Он точил бритву на широком армейском ремне, он пачкал мне нос помазком, он выдувал огромный радужный пузырь, наполненный табачным дымом...

Больше всего я любил фокус с папиросой, когда она мелькала, как прирученная, в его желтых прокуренных пальцах, появляясь то за ухом, то из пазухи, то из кармана, и всегда при этом курилась. Я уже тогда решил, что буду курить непременно, как дядя Яня. Он нравился мне безумно, и от него исходил такой вкусный, такой сладкий табачно-медовый аромат, который я встречал раза два или три за всю жизнь у заядлых и очень тонких курильщиков. Ах, этот милый дядя Яня!

Ну что мне о нем еще рассказать? Был он женат, и его жену звали Либа Лейбовна, а по советской переименовательной традиции – Лидия Львовна. На коротких и сморщенных пальцах – редкоземельный металл и минералы с искрометным переливом всех цветов побежалости, ногти со следами былого маникюра, штрихи малиновой помадки на губах, в поджатых мочках девяносто шестая проба и чистой воды переливы; неизбывный дух драгунского пота вперемешку с ярим духом крепчайшего одеколона – во всей фигуре дородность и значительность благоустроенной дамы. У Лидии Львовны имелись величайшая грудь и неохватных пропорций зад, и меня, астеничного юнца, всегда распирали пылливый интерес: что же содержится внутри этого гигантского механизма, что сокрыто в тайных глубинах этой обширнейшей дамской лаборатории.

У Лидии Львовны всегда приподнятое настроение, говорит она короткими фразами с многозначительными паузами, очень громко, интонируя свою речь художественным смехом, похожим на театрализованные рыдания, что опять же обозначает доброе расположение духа.

«Лидьлвовна, как дела?» – «Лучше всѣх, дорогой, только никто нѣ завидует. У меня такое сѣрдце, что я никому не желаю зла, так почему же меня всѣ трѣтируют?» Лидия Львовна обожает жестокие романы и говорит на эстрадно-цыганский «манэр» велегласно и пышно.

«Видели картину "Девушка с характером"? Так это я». Суперколоратурным сопрано с чувственным ныком в области ключицы она модулирует: «У меня такой характер – ты со мною не шути... Я там "девушка на вокзале", меня режиссер так умолял стать великой актрисой, что папа испугался и не пустил. В молодости я была красавица, *икс-мидэбибэр*²¹, за мной вся Одесса убивалась от любви, меня даже стреляли из ревности... Как говорится, не родись красивой, а родись очень красивой. Если б не мои несчастья, я и сейчас была бы хороша, но вы ж понимаете... Теперь у меня столько счастья, что я и врагам своим не пожелаю».

Надо сказать, что кинематограф сыграл значительную роль в жизни Лидии Львовны, определив до конца ее дней стиль поведения и лексику. Ощущая себя причастной к самому важному для нас виду искусства, она бес-

²¹ Высший класс (*идиш*).

пardonно вживалась в роли известных драматических актрис довоенного периода, театрально подражала их хохоту и рыданиям, принимала торжественные позы, делала томные глаза и совершала исполненные величия жесты. Впопад и невпопад она цитировала киногероев, находя это в высшей степени аристократичным и не подозревая даже, что многие фразы принадлежали не актерам или сценаристам, а классикам литературы, которых она, конечно, не читала, но по которым были сняты эти кинокартины и фильмы-спектакли. Так, скажем, в разговоре о лекарстве, произнося обнадёживающую фразу: «...прими, и все пройдет...», обязательно добавит: «...как с белых яблонь дым...». Вот вам, пожалуйста, и Есенин.

Лидия Львовна падка на комплименты: «Дорогая моя, как вы сегодня отвратительно выглядите... Что это на вас такое надето? Выбросьте, оно вас уродует... Я вам должна сказать, что за последнее время вы ужасно располнели... А что такое я сказала? Почему я должна говорить неправду? Почему люди обижаются за чистую правду?»

Всю свою жизнь Лидия Львовна просидела у окна в кресле, милостиво принявшем и запечатлевшем ее могучие формы; ничему она не училась и нигде не работала, называя себя домохозяйкой, но дома все дела делались мужем и домработницей под ее взыскательным взором. Книжек и газет она не читала, чтобы не портить глаза, но слушала радио, а с наступлением вечера включался телевизор и в упор наблюдались все программы до полуночи. Часто в разговорах Лидия Львовна весьма тонко давала понять, что она загубила свою жизнь, приняв предложение руки и сердца от дяди Яни. Она театрально вздыхала, сокрушаясь, что он никогда не понимал ее души, ее деликатности. «Пространщик», – величала она его в неудовольствии, когда ей хотелось обозначить пропасть между ним и ею, намекая на профессию дяди Яни, так как работал он каким-то начальником в каком-то банно-прачечном тресте.

Больше всего на свете Лидия Львовна боялась некоего «бандита с гармошкой», образ которого впечатлил некогда юную Либочку до сокровенных бездн. Женской параллелью «бандиту» была некая «нечесаная Кланька». А еще она пугалась грозы с молниями. Заслышав гром, Лидия Львовна отключала все электрические приборы и радио, зашторивала окна и в панике забивалась в дальний угол за фортепиано, захватив в беремья послушного Витасика.

Ихнего Витаську помню плохо: он кушал куриный бульон с шоколадной «Мишка» вприкуску, ездил на трехколесном велосипеде по квартире, а в школу и из школы его провожала и встречала домработница. Лидия Львовна не позволяла ему дружить с нами и пророчила ему судьбу музыкальной знаменитости или артиста. Не получилось ни того ни другого...

Непоколебимая вера в свою непогрешимость, в свое нечеловеческое обаяние, в свою доброту и благородство, и это притом, что все вокруг жулики и бандиты, сволочи и хамы... У Лидии Львовны выражение лица, будто она искренне убеждена, что пришла в этот мир не случайно и ее назна-

чение в нем – осчастливливать собой, украшать и радовать. И мне кажется, что за всю свою жизнь она ни разу не пожалела о сказанном или содеянном. Она просто умна... Да что там – мудра, и мудра не просто: на всякий житейский случай у нее имеется готовая прибаутка из киношного фольклора. Она очень нормальная, Лидия Львовна, хотя и не производит такого впечатления. Но если все же она чуточку и сумасшедшая, то очень в свою пользу. А какое же это, извините меня, сумасшествие?

Так сказал о ней Вольф Аронович... Кстати, Вольф Аронович нам никакой не родственник, а из нашего же местечка, из Дашева, поэтому будем считать – свой.

Это был великий ум. Про него так и говорили: «Вольф Аронович – это великий ум». Я сейчас перечислю, что он знал.

Так вот, он знал все языки, он читал на *лошен кодзи*²² и наизусть знал весь Танах, он все на свете понимал и все на свете мог объяснить, он прочел все, что было написано, он помнил все, что было сказано, что происходило с ним и с его близкими, с точностью хронологической. Например, он мог с легкостью, будто это было вчера, рассказать о каком-либо малозначительном событии тридцати–сорокалетней давности, описывая, кто и как был одет, кто и где сидел, кто и что говорил... Он держал в своей лысой голове точные сведения и даты о любом мало-мальски известном человеке, если его имя хоть однажды упоминалось где-нибудь. Вот какой был Вольф Аронович...

Он был необыкновенно добр и справедлив ко всем, к нему шли за советом и никогда не уходили ни с чем, и если что-то одобрил Вольф Аронович – это было лучшей рекомендацией.

Чуть не забыл, он умел умножать и делить в уме астрономические числа...

Вы знаете, я вам совершенно искренне скажу – это был великий человек... Он был выше всех, но никому не отказывал в помощи, к нему ездили из других городов для консультаций, у него было множество последователей, и никто не стеснялся назвать себя его учеником, он был одинаков со всеми, никому не отдавал предпочтения, никогда не повышал голоса и никого – упаси боже – не осуждал. Он был самым уважаемым среди нас и мог быть лучшим представителем еврейского народа. Вы спросите, почему же не стал? И я вам отвечу...

Когда началась война, Вольф Аронович всех обошел и всех умолял эвакуироваться из Киева. Кто не послушался – теперь в Бабьем Яру. Он всем сказал, сколько будет идти война, и назвал точную дату победы – ему тогда не поверили, его не хотели слушать, даже выставляли за двери. Он предсказал неисчислимые катастрофы и разрушения, но ему не верили. А когда умер Сталин и все плакали, он пришел с бутылкой шампанского, стал петь и даже немного плясать – все были в ужасе. Тогда он как закричит: «Сейчас же прекратите плакать, ликуйте и радуйтесь, что наконец-то сдох

²² Иврит (*идиш*).

величайший в мире тиран и убийца всех времен и народов!» Так и сказал: «сдох»... Он оказался прав... И он никогда не был неправ, Вольф Аронович Мешель, адвокат киевской коллегии... Можете поинтересоваться!

И был у него друг и сосед по коммуналке Уро Цаликович по фамилии Фердинанд. Досталось же им всем во время войны из-за этой самой фамилии. Будь они Рабиновичи, Зельдовичи, Шмуйловичи – ничего бы не случилось, но Фердинанд...

Уро Цаликовича много месяцев держали там... сами понимаете где. Все допытывались, не родственник ли он тому самому Фердинанду, который танк. «Нет, – говорил Уро Цаликович, – однофамилец». Тогда ему спать не давали и вниз головой подвешивали, чтоб лучше вспомнил, а он никак. Вот какой упертый клиент попался. Оказалось: десятки фердинандов сознались в родстве и с честью понесли заслуженное наказание. А этот вот уперся и – ни в какую.

Если бы не Вольф Аронович... Спасибо ему за все!

И дядя Мирон, младший брат бабушки и Баси, тоже там побывал. Однажды приехал к нему друг детства: сколько лет, сколько зим... Всю ночь сидели в обнимку, вспоминали школу, пели песни, хохотали до слез... И дернул черт про политику заговорить, и не то чтобы про политику, а просто дядя Мирон возьми и ляпни в контексте: «Гитлер тоже не дурак...» Слово не воробей, но дядя Мирон даже языка не прикусил, не понял, что натворил, даже не почувствовал седьмым чувством самосохранения, что пущены другие часы, с многолетним заводом. Друг детства ушел, а они пришли и забрали.

Когда дядя Мирон оттуда вышел, жена его Циля сильно располнела, но седина ей явно была к лицу. Сам же он весил сорок килограммов, был совсем без зубов и желт. «Я им одну правду, а они меня шлепать, – рассказывал потом дядя Мирон, подхихикивая. – Подавай им подрывные задания, назови фамилии, назови адреса». Нет, что ни говорите, а судьба ему явно благоволила: ведь вернулся, не очень целый, но живой, хоть пощупай.

А тетя Двоя с дядей Пиней именно «там» познакомились. В ссылке у них и Ленка родилась – в честь Ленина назвали. Когда они в пятьдесят пятом, летом, были у нас проездом, у дяди Пини случился приступ малярии. Его трясло, и бабушка наваливала на него все одеяла, какие имелись в доме, а ему все равно было холодно.

Бабушка говорила: «Пиня, встань-поешь уже...» Он послушно вставал, склонял свою огромную голову над тарелкой, несколько мгновений сидел, раскачиваясь, говорил: «Я лягу...» – и снова ложился. А тетя Двоя все время курила и как замороженная смотрела в телевизор КВН-49 и на мужа не обращала внимания. Она это видела много раз, а телевизор впервые в жизни.

Что говорить, плохо болеть... Не сидеть за столом со всеми, не кушать дивных бабушкиных *пляциков*²³, не смотреть телевизор, не обсуждать на

²³ Печенье (*идиш*).

антикварном идише последние постановления партии и правительства. Но... подумаешь, малярия – детская болезнь, хоть и «поганая» – так определила ее бабушка, совсем другое дело рак. Как, например, у тети Бети. Уже много лет и очень сильный. Она даже стала курить, хотя это ей совсем не идет.

Естественно, никому не хочется умирать, не прожив и половины, не воплотив заветные мечты, не завершив добрые начинания... И все жалеют Бетю – бедная наша Бетечка! Но еще больше ее мужа и маму, которых она вконец затерзала своим раком. Ох уж эта Бетя со своим раком! Такой, я вам скажу, *мишигас*...²⁴

И что это за болезнь такая, если ничего не болит, а только знаешь, что рак?.. Было бы это, что ни говори, на ранней стадии, тогда и разговоров нет – иди и лечи. Хотя маловероятно, *абубэ майсе*²⁵, как говорится, лечи не лечи – абсурд... А уж на поздней стадии и пытаться нет резону: сколько не кромсай – нет эффекта. Это же рак, черт бы его побрал совсем, жили же без него раньше, так нет – свалился на нашу голову!.. Он же метастазы, как шупальца, во все стороны выбрасывает. Потому и рак называется... Ты одно отрезал, а он другое, ты эту, а он ту... Разрежут, посмотрят, засвидетельствуют, студентам продемонстрируют, заснимут на пленку и обратно зашьют и только скажут: «Удалена небольшая язвочка». Еще скажут, что вы держались молодцом и что теперь все в порядке. Только по глазам можно догадаться, что жить тебе осталось полгода, ну год, от силы два, редко три, в крайнем случае... Позвольте, случается и так, чтоб рак рассосался, представьте себе, я свидетель. Тут уж и день назначили, и к нотариусу ходили: «наследство под залогом не состоит, иными сделками и договорами не обременено...» и так далее, а рак отпустил... Но ведь рак – это не шутка!.. Как хотите, а вот вам наша доподлинная история.

Бетя по десятому кругу всех родичей обошла, попрощалась. Войдет и с порога слезы: «Ой вэй, тетя Соня! *Их вэйс нит вуз мир махн*²⁶, дядя Фима!» Рак – это серьезно. Усядутся поудобнее, промокнув слезы – и за чай. И, конечно, тема одна – рак: «Послушай, Бетечка, а почему бы тебе не забеременеть?» – «Вы с ума сошли! А рак?!» – «Забеременеешь и от рака отвлекусь». – «Я же могу не успеть...» – «Успеешь...»

И что вы думаете? Успела! И рак отпустил! А вы говорите...

И родилась у них Фридка. Тоже, я вам скажу, свалился подарочек на их голову... Вот она: к потному веснушчатому плечу приклеена бретелька, а в разрезе бумазейного халатика – то ляжка, а то лодыжка. Положит одну отечную ногу на другую отечную ногу: на колене синяк, а на синяке муха. Руки в ямочках и перевязочках, мизинчик с оттяжкой, нос, как всегда, заложен – дышит ртом.

²⁴ Сумасшествие, бзик (*идиш*).

²⁵ Бабушкины сказки (*идиш*).

²⁶ Я не знаю, что мне делать (*идиш*).

С какого ракурса ни посмотри – нехороша собой, а на фотографиях получалась и того хуже, поэтому фотографироваться не обожала и случайные фотки рвала с остервенением, выговаривая фотографу за неумение. Но была у нее одна фотография, где, как ей казалось, ее образ вполне соответствовал натуре: это был любительский снимок со смазанным изображением милой мордашки в лукавом наклоне головы, с затаенной улыбкой, отдаленно напоминающим Фридулю, этакий усовершенствованный генетический вариант ее личности, но не она... Тем не менее она так не считала и тратила усилия на ретушь и пересъемку репродукций в паспортном варианте. А у ее мамы, я помню, в спальне висел студийный портрет, выполненный с большим мастерством в стиле ретросепии: из художественно образованной мглы рисующим лучом были высветлены лоб–глаз–нос, томная рука, подпирающая и одновременно прикрывающая невзрачный подбородок, волосок к волоску уложенный по обнаженным плечам плюмаж покорных волос над весьма обширным, но не впечатляющим декольте.

«Что это, Фридуля, у тебя при таком обильном теле и такая малоподвижность?» – «Оставь девочку в покое! – взвизгнет тетя Бетя. – Вечно ты ко всем *прищипываешься*...» Сама же Фридка ничего не ответит, и только глаза переместятся в угол и рот западет. У нее дефект речи, у нее сенная лихорадка, ячмень на глазу, мушки в очах, в ухе свист, в затылке тяжесть, диарея, дисменорея, бледная немочь, черная меланхолия, тоска и печаль... То она плачет, что ноготь сломался, то сварит божью коровку в киселе, и ее тошнит всю неделю, а то говорит, что ей все пахнет, все ручки жирные, все краны нарочно туго закручены, и в раковине полно чьих-то волос.

Фридуля живет в постоянном ощущении происходящих в ней циклов, она прислушивается к работе желудка, биению жилок, дрожанию век, сердцеположению и уж слишком частым спазмам, возникающим и здесь и там. С утра у нее нет «стула», но есть слезы. Фридуля берет маленький календарик, весь размеченный и исчерченный, сличает и вычисляет. Но что-то не сходится: слезы приходятся на конец месяца, а запоры на середину. На кухне разносится запах травяного варева, пахнет валерьянкой или заманихой, коровяком и копытнем, зверобоем продырявленным, солянкой Рихтера и чемерицей Лобеля, горчицей съедобной и хреном обыкновенным. На столе и полках стоят коричневые взвары, полоскания, спринцевания, притирания, баночки, флакончики, пипетки, ингаляторы, респираторы... Если варится картошка – вот и случай подышать над паром, поливает цветы – надломит столетник и ранку несуществующую смажет, лук чистят – тут же на терочку, отожмет сочок и в нос закапает.

В отношении всех своих недугов она высказывается весьма величественно. Она не скажет: болит живот, а – нарушение деятельности кишечника; не ломит поясницу, а невралгия седалищного нерва; не насморк, а острое респираторное заболевание. У нее такой вид, будто она вот-вот зевнет, и... она зевает, раз за разом, длинно, тяжело, судорожно сдерживаясь. Вот она ходит-хромает, изображая невыносимую муку на лице, ожи-

дая расспросов и знаков сочувствия. Бедняжка, у нее ангина, и она вся укутана в шаль. Клокочет в горле шалфей и календула, меняются грелки. Или на нее нападает чих, и она чихает взхлеб, закрывая нос сложенными ладонями: «Йа-ххи-и-и!» И тут же торопится уведомить, что это у нее не простудное, а аллергическое. О том, что у нее началось «это самое», знает вся родня: Фридуля у всех одалживает дефицитную вату и величаво восседает на диване, обложенная подушками и с круглой думочкой на животе. И прыщик под губой тут как тут.

Тяжелый случай, что и говорить. «Фридуля, тебе замуж надо». – «Спасибо за совет».

Было время женихов, когда участливые родственники приводили состоявшихся додиков на знакомство. Это было тоскливое зрелище: кандидаты были некондиционные, явно с генной недоработкой или уж даже облезлые безнадеги. Один раз залетел бравый кавалер, мигом сообразил что почем, хорошо и с аппетитом покушал, сделал комплимент хозяйке дома, театрально посмотрел на ручные часы и раскланялся. Потом, как всегда, была истерика.

Смотрины были одноразовым актом, поэтому весь церемониал повторялся как заюбилеенный спектакль. Подавался графинчик с недопитой с прошлого раза наливочкой, делался один и тот же сногшибательный салатик, почему-то именовавшийся «оливье», после которого утка с яблоками уже не шла, а летела обратно в холодильник.

В разгар церемонии как бы невзначай тетя Бетя просила: «Фридошка, поиграй нам что-нибудь классическое». «Ну, мама!..» – жеманилась Фридошка и тут же вынимала из сафьянового гробика похожую на протез скрипку, обрывала хвосты с неимоверно длинного смычка, подтыкала фулярчик под сразу утраивавшийся подбородок и долго производила насморочные звуки настройки. Но внезапно и энергично раздражалась 64-м опусом Мендельсона. Фридуля играла классно, отчаянно гримасничая и раскачиваясь. «Не торопись, доця», – приговаривала тетя Бетя, и Фридуля не топилась. После концерта в комнате прочно воцарялся мускусный дух фридулькиного усердия.

По случаю смотрин Фридуля надевала платье электрического цвета с пояском, обозначавшим талию, и сразу становилась похожа на жужелицу. С драгоценностями был явный перебор, но ведь надо было показать товар лицом, это уже политика.

В связи с этим предметом постоянного экспериментирования был ее экстерьер. Вдруг переделывался весь гардероб. Оказывалось, что совершенно невозможно ходить в прошлогоднем пальто, что шапка совсем не подходит к воротнику, что сумка не под цвет перчаток, а сапоги – разве приличная девушка наденет сапоги марки «Цебо»? Накупались отрезы и приклады, записывались к блатным портняжкам и скорнякам, знакомства использовались, чтобы девочке было что обуть приличное. Но все, что ни шилось, ни покупалось, получалось не то и не так: слишком парадно и вычурно. Видимо,

весь секрет был в осанке. Как ни странно, но именно в домашних ситчиках и фланельках Фридуля выглядела трогательно и естественно.

«Вот смотрите, – говорит Фридуля, – если зачесать волосы на лоб и уши, полуприкрыть глаза и расслабить мышцы рта, напустить на себя томное безразличие третьекурсницы-хорошистки из благополучной семьи, но без всяких надежд на счастливое замужество... Это я и есть. Я действительно из хорошей семьи. Моя мама – дама экстра-класс, даже и теперь у нее фигура, как у девочки, кожа гладкая, ни пятнышка, ни бугорка. А грудь... – Фридуля закатывает глаза и прижимает ладони к тому месту, где и у нее самой должна бы быть грудь. – Ну почему я не в нее? Почему от нее мне достался только пол, все прочее – от папы. И прямые волосы, и длинный нос, и скошенный подбородок – все от него... Я папулю обожаю, он такая душечка, большой ребенок, доверчивый и рассеянный – за ним глаз и глаз. Весь из себя засекреченный... Там у них где-то что-то сломалось... В общем, катастрофа какая-то. Так за ним спецсамолет присылали. И чуть что: Маргулис-Маргулис! Ни разу не дали человеку до конца отпуск догулять, а приличную квартиру дать – их нету. А он и не жалуется, ему все хорошо, ему на работе лучше, чем дома, он от нас с мамой даже по воскресеньям прячется на работе. Но я знаю точно, все мои несчастья от него. Зачем он женился на моей маме, он же знал, что она его не любит? Зачем он упросил ее не делать аборт? Зачем он хотел девочку? Ненавижу!

...У меня пороссячи ножки и ногти безобразные. Я их постоянно грызу. А мужчины первым делом смотрят на ноги и на руки. У меня старушечий рот и немодный подбородок. Еще эти очки. Правда, все утверждают, как сговорились, что они мне к лицу. К какому еще лицу? Это фоторобот, а не лицо! Очки меня совершенно уродуют, глаза становятся мизерными, потусторонними – как-никак минус семь. А без очков у меня головокружение и тошнота. Хорош экземплярчик, не правда ли? Что, нет желающих?

...Я еще маленькой была – все понимала, почему меня не ставили Снегурочкой на елке, в "дочки-матери" я не котирировалась ни в дочки, ни в матери. И в любимицах не значилась, хоть я из состоятельной семьи и мама всех одаривала для нестандартного ко мне отношения. Даже на именины и в присутственный день меня на -чка никто не окликал: "Маргулис! За тобой пришли". Только однажды я услышала, как ночная нянька, нимало не смущаясь моего присутствия, говорила кастелянше: "Вот ведь евреечка, а никакой в лице миловидности. Ребенок, а что же будет, когда подрастет?" Так я сообщаю с великой благодарностью к свойственному для вас такту: ничего хорошего не получилось...

У меня плохой характер, я замкнутая, я подозрительная и, что совсем невыносимо, ревнивая до зеленоглазия. Я просто болеваю от ревности, ревную к ложке, которую подносят ко рту, к полотенцу... Это уже ненормально, но я ничем себя не выдаю, и не думайте, что я бесчувственная, во мне любви на десятерых. Мой папа говорит: "Любовь – понятие классовое. Любовь реализуется с оптимальной полнотой в пределах морально-эти-

ческих норм лишь в узкосословном пласте и интеллектуальном кругу. Всякий выход за рамки вышеозначенных условий с той или иной степенью точности создает предпосылки для нарушения духовного равновесия в семье и уменьшения вероятности гармонических сочетаний..."

А если зачесать волосы назад и перехватить лентой – я вылитая Хэпберн. Я выработала для себя эталон красоты: я надуваю и чуть выпячиваю губы, скашиваю и приволакиваю глаза и, потряхивая прической, откидываю голову назад...

И все бы ничего, но мой характерец – вот уж действительно наказание. Я терпеть не могу, когда кто-нибудь спит, совершенно не выношу, если рядом кто-то ест, особенно с аппетитом или вдруг кому-то радостно до визга, – меня все во всех бесит. Ну, вот чего она там так вырядилась, к чему эти рюшки-хрюшки, кружавчики-воланчики? Кто это теперь носит? Мне бы ее фигуру, я бы доказала, что значит одеваться со вкусом. Хотя, что ж, в жизни всегда так: одному красоту и куриные мозги в нагрузку, а другому... Несправедливо устроен мир, негармонично и уныло...

Мне страшно... Я плачу... Мне невыносимо, мне плохо... Что я чувствую, что я вижу – кого это интересует? Если меня еще раз отправят на унификацию, я не дамся, я буду царапаться, кусаться, визжать... Их методы мне известны: "Входите! Милости просим!", а потом шелк – и на секретку. Стекла там неразбиваемые, вольеры неперелазные, вилок и ножей не дают, одни ложки алюминиевые, в коридоре бачок с водой и кружка на цепи, туалет открытый, и водят группой по трою. С утра до вечера: шарк-шарк, тридцать семь шагов туда и тридцать семь обратно. Процедура – пыточная: "Маргулис – на аминазин! Маргулис – на инсулин!" А в компоты подмешивают угнетающее волю снадобье и говорят: витамин. Знаем мы их витамины, напробовались. Я подсмотрела, они макароны прямо в раковине промывают, масло соскабливают с недоеденных бутербродов и кладут в кашу. Скажете: не ешь? Через воронку накормят. По четвергам бегают по палатам старшая и орет: "Девочки, сдавайте валентинки!" А потом запираются в ординаторской, все их прочитывают и приобщают в анамнез..."

Не пейте компотов, господа!

То ли дело шампанское, полусухое или даже сладкое. С ним всегда приходит Ноля, стискивая бутылку за длинное горло в вытянутой руке. Человек добрый, он всегда жалел Фридулю, клялся ей в верности и утешал обещаниями жениться на ней, если уж никто не окажет ей почтения. До последнего времени его слова воспринимались как традиционная семейная шутка, но... кто знает... «Что все понимают в женской красоте? Что вообще люди понимают в женщинах? – восклицал Ноля поставленным голосом. – Женщину надо чувствовать, а не мусолить». Нолик Темкин был женат семь раз. Он говорил о себе так: «Я человек порядочный и к женщинам отношусь серьезно. Если я влюбился – я делаю предложение». Самым счастливым был первый брак, и длился он больше года. От этого брака и дочь получилась, которую он никогда не видел, но всегда поздравлял открытками

с днем рождения, а спустя много лет, когда она умерла от меланомы, он искренне печалился и каждому при встрече сообщал об этом, горестно прикусывая нижнюю губу. Но тут же его лицо озарялось свежей мыслью, или он вспоминал последний анекдот и сам же чистосердечно радовался ему, потом вдруг спохватывался, что у него не хватает на такси, и спрашивал «пару рваных заимообразно», потом осведомлялся, как тебя зовут, и хлопал себя по лбу: как это он мог позабыть, потом громко шептал на ухо ядреную политическую сплетню, а в связи с этим реликтовый анекдот и при этом несколько раз на разные интонации повторял квинт-каламбур, внезапно его осеняло, что его давно ждут, и убегал, но тут же возвращался, резонно заключая, что если уж все равно опоздал, то и торопиться нет смысла.

Темперамента он был неистового, и отделаться от него было трудно. Был он патологически услужлив и ни о ком не отзывался критически. «Ну что мне сделать для вас хорошее? Потому что я вижу: вы хороший человек. Пожалуйста, скажите! Хотите, я вам устрою билет на шахматный чемпионат? Как, не хотите? Жаль! Может, билетик на закрытый каток? Нет? А как насчет Карла Гота?» Он даже был по-старосветски галантен и не садился в транспорте, но при этом был начисто лишен застенчивости и не желал замечать за собой многих неприятных качеств. Видимо, поэтому жены его и оставляли.

«Все думали, что я их бью... Как можно? Женщину бить руками? Я им просто не давал денег. Попробуйте сами – стоит женщине не дать денег, и она сама уйдет. Все очень обыкновенно. А если у меня нет денег! Ну нет! Моя последняя жена вернулась к своему прежнему мужу, пьянице и хулигану, и, уходя, сказала: "Лучше б ты бил, но деньги давал..."»

Я помню Нолю Темкина еще в послевоенные годы, он играл на обшарпанных роялях в офицерских клубах и в районных дворцах культуры. Иногда его можно было увидеть в кинотеатрах перед началом сеанса, он сопровождал неангажированных певичек, аккомпанируя им: «Ах, Самаргородок, беспокойная я...» Как сейчас вижу его, уже тогда немолодого, с двухцветной щетиной на подбородке, но во фраке, с шарфом, заправленным за лацканы, и в огромных валенках. Он восседал на вертящейся табуретке, и фалды фрака свешивались до пола. Он аккомпанировал с большим чувством, с особой композиторской ухваткой, неотрывно глядя на певичку, одна нога в сибирском катанке наступала на педаль, а другая притопывала в такт мелодии, и от пола поднималось облачко желтой пыли. «Милый любит или не любит – только времячко идет».

Ноля Темкин обожал, когда к нему обращались почтительно: «маэстро». Тогда он почти физически ощущал свою принадлежность к славной семье советских композиторов, в Союзе которых он состоял всю жизнь. Членство в Союзе доставляло маэстро много удовольствий, но еще больше хлопот. Он пользовался всеми благами этого общества, был вхож в различные музыкальные комиссии, жюри, делегации, три месяца в году жила в профилакториях, обязательно на месяц ложился на общее обследование здоровья в больницу от Четвертого управления, еще на месяц – в качестве

музработника спускался на пароходе до Астрахани и поднимался обратно, и до полугода пребывал в Доме творчества, результатом чего было появление какого-нибудь «аллегро ма нон троппо» или «престо экспрессиво». Произведения эти никогда не исполнялись, и нотная запись их в одном экземпляре хранилась в архиве Союза композиторов. Международные конкурсы и концерты Ноля посещал бесплатно, пользуясь удостоверением члена Союза, и книжечка эта, хоть и была страшно замызгана, являла собой основополагающий фактор его творческих усилий, это было самое дорогое в его жизни достояние.

Много было радостей в многотрудной судьбе композитора Темкина, но были и печали. Дело в том, что раз в год следовало подтверждать высокое звание советского композитора, а для этого надо было ни много ни мало сочинять музыкальные произведения. Вот тут-то и происходили технические сложности: произведения не получались.

Когда-то, еще в предвоенные годы, молодой и одаренный композитор Иммануил Темкин написал симфонию, пару кантат и музыку для одного популярного в те годы кинофильма. С этого фильма Ноля кормился не один десяток лет, в то время как симфонии ничего, кроме неприятностей, ему не доставляли. С тех пор прошло много лет, творческий дух композитора более не проявлялся, музы, подобно женам, покинули его навсегда. Но играть на фортепьянах он не разучился и играл.

Какими уж неправдами ему удавалось удержаться в членах Союза и даже пользоваться всеми его благами – непонятно. Известно, что ему покровительствовал *Тиша Херников* – так по-свойски фамильярно величал маэстро великого песенника, но зато *Абрам Хачатурян* с ним не здоровался и протянутую руку отказывался замечать. А Ноля никогда не избегал возможности обнести своей рукой всю могучую кучку композиторов.

Ноля был очень доброжелательным композитором и многим искренне старался помочь. Пытаясь любым способом заполучить ваш телефон и всучить свой, он вас приобнимет, он вам сделает «козу», он скажет, какой вы замечательный человек, он предложит дружбу и покровительство – соглашайтесь! Вам что-нибудь надо? Не стесняйтесь, заказывайте! Ноля построит сложную схему, наведет контакты, добьется аудиенции и если не достигнет результата, то, во всяком случае, занесет в свой меморандум еще несколько полезных телефонов. Вам нужен билет в Большой? На Пугачеву? В уголок Дурова? В цирк? На вернисаж? В Грановитую палату?..

Позвоните Иммануилу Моисеевичу.

Но упаситесь от нечаянности произнести имя его младшего брата Цезаря – вы все испортите. Они вечные враги, и знать и слышать друг о друге не желают. Цезарь Моисеевич из отряда пернатых. Вы, конечно, знаете, как кличут воробьев в России? Так вот Цезарь Моисеевич был ярким представителем тех, по нелюбезной вине которых яркое племя невзрачных птах получило такое непрестижное прозвание. У Цезаря все повадки воробья. Бесцеремонен и суетлив, он впархивает в комнату, коротко высвистывает

тираду, обрывает, не закончив мысли, подпрыгивает и в воздухе разворачивается, исчезает, однако вновь появляется, завершает фразу и быстро улетает, чтобы не услышать возражение или заметить чью-то усмешку. Он прекрасно сознает, какое впечатление вызывают его манеры, но ему по большому счету наплевать.

Его жизненное назначение – утилизация. Всю жизнь он имел дело с вторичным материалом. Мебель, посуда, одежда, предметы ежедневного обихода и ширпотреба – все подержанный товар из комиссионки и барахолок. Вот Его Величество подобранный на свалке Шкаф – ярчайший представитель изъеденного древоточцем и заселенного клопами «чиппендейла». Хороший был шкаф, ничего не скажешь: сохранились явные признаки бывлой инкрустации и благородных излишеств, следы от бронзовых ручек и витиеватых замков, но хотя шкаф по низу схвачен толстым электрическим проводом, х-образные ножки разъехались, и гигантский некогда выдвижной ящик выпал и перекошил всю величественную конструкцию. Надо заметить к месту, что телосложение ног у Цезаря было схоже со шкафным, поэтому брюки его не выдерживали трения в интимных местах и быстро разрушались. Скрывать же белесые потертости в паху для Цезаря было весьма непросто: располагался портфельчик на коленях, скрещивались ноги в особый ферт, но брюки продолжали предательски контрастировать с нижним бельем в их ажурных прорехах. Поскольку брюки быстро старели и не подлежали ремонту, то и захоранивались с миром в нижний ящик шкафа. Пиджаки же, осиротев от скоростной кончины своей пары, продолжали жить своей бобылей жизнью, наполняя тот же шкаф в его верхней части.

Его наручные часы со стершимся циферблатом показывают приблизительное время, но он уверит вас, как уже убедил себя, что часы ему дороги как память. Или, скажем, сандалии... Что ж с того, что правый скособочился и протоптался насквозь, левый-то совсем как новый. И что с того, что эту шляпу кто-то носил до тебя? Ведь можно представить, что именно ты и носил. Немодная? Ах, оставьте, за модой не угонишься!

Цезарь – верный рыцарь уцененной третьесортной продукции, и совершенно неважно, что все это неказисто и непрочное, он убедит себя в обратном. Все, за что надо заплатить свою цену, для него не существует в принципе. Но вовсе не значит, что он ни за что не платит и ничего не покупает, – и тратит и покупает. Зато как он при этом страдает, как колеблется, как уговаривает себя: да стоит ли, такая ли уж необходимость, в другой раз, может, и получше, и подешевле подвернется? «Невероятно!.. Сто рублей за какие-то штаны? Вы шутите!.. Нет, мир явно сошел с ума!»

Есть у Цезаря одна, но пламенная страсть: он откладывает деньги на книжку. Сберегательных книжек у него много, когда набирается сумма с тремя нулями, он эту книжку запаивает в непромокаемый целлофан и начинает новую. Из-за этих магических нулей он оставляет себе на жизнь так мало, что постоянно одалживается, извиняясь за бесцеремонность, обещаясь вернуть в зарплату, задерживает возврат и не стесняется одалживать

еще, а затем многократно подмигивает и напоминает, что не забыл о долге. Вообще, Цезарь не из стеснительных. Из толпы незнакомых он безошибочно угадывает безотказных личностей и очень вежливо попросит об уступке или позаимствует какую-либо мелочь, неважно что: очередь ли поближе к кассе, путевку ли в санаторий, сидячее место в автобусе, а если уж сидит, то место у окна или по ходу движения – любая ерунда и пустячок, лишь бы за чужой счет и бесплатно.

Однако все, что касательно еды, для него почти свято: скупой рыцарь Цезарь не томит себя голодом и даже легкий его позыв неукоснительно стремится удовлетворить. Совсем не значит это, что он не жалеет денег на продукты, но его вечное стремление заплатить за высший сорт как за третий, а за первый, как за некондицию, достойно уважения и всяческих похвал, так как есть в этом рациональное зерно наших жизненных потуг. В самом неожиданном месте и в любой ситуации Цезарь вытаскивает из своего портфеля яблоко или морковку, огурец или помидор и шумно, с каннибальской ретивостью начинает уплетать. Куски и крошки вываливаются изо рта, подбородок лоснится, глаза, как у хамелеона, вращаются во все стороны. Он при этом не прекращает говорить, размахивать руками и бегать из угла в угол. Цезарь сыроед: ест он все в холодном и невареном виде и прямо с оберточной бумажки или из стеклянной банки, приобретаая все в микроскопических дозах, чтоб не залеживалось, а если что уж никак не естся – ну, не лезет в горло по некоторым причинам, тогда, конечно, можно подумать и о ближнем, и он назойливо станет предлагать вам откусывать третьеводнишний винегретик, искренне убеждая вас, что он его и не трогал, что он только сверху пообветрился. Мясо, колбасу и консервы он отвергает напрочь, не пьет и не курит, много ходит пешком и любит дышать свежим воздухом. Все, за что надо заплатить грош, – вредно для здоровья, все бесплатное – прекрасно и полезно.

Прекрасна водочка на халяву, еще лучше коньячок, восхитительна бесплатная колбаса с ветчиной, чудесны дармовые яства и безвозмездные услуги и всегда благотворна и желанна любовь. В связи с этим уместно коснуться профессионального кредо: Цезарь обожает разъезды и командировки; только в отдалении от родни и знакомых он ощущает себя авантюристом и флибустьером, в нем клокочет неистовство Хлестакова, отвага рыцаря на час. Покупая билет на поезд, он вымаливает для себя нижнюю полку, но Цезарь – рыцарь благородный, он готов уступить нижнее место прекрасной даме – вот вам и романтическое путешествие. И на транспорте, и в гостинице, и в многочисленных очередях присутственных мест Цезарь в вечном поиске, а уж кто ищет, как известно... Ах, Цезарь наш – тонкий психолог, почерковед женских душ, обладатель тайных приемов и просто набора отмычек от бедных сердечек, и он точно ведает момент, когда нужно выхватить именно ту самую и произвести тот самый неприметный поворот, от которого распахнется в сердце дверца и посыплются бесценные сокровища – вся роскошь женского предпочтения.

Высочайшего совершенства достиг Цезарь в утилизации людей, а тем более с дамы всегда есть что взять и, аки тать в ноши, урвать сатисфакцию: кто не грешен в этом, пусть его осудит и первым бросит в него камень – живое к живому тянется и отталкивается... Цезарь наш – Рыцарь печального образа. Лишь ничтожный процент его донжуанского труда завершается победой, но этих усилий так много, что Цезарь без добычи не бывает. С лица воду не пить, и усердие в конечном итоге вознаграждается, а значит, и на такой товар, как наш Цезарь, находится покупатель. Однако не дорожит он редкой удачей, таков уж он, этот рыцарь без страха и упрека, и в результате – никто не достаивал его приязни больше раза. Однако об этом, откровенно говоря, он не печалится, потому что более холостяцкой тоски и бирючьего неблагополучия страшится Цезарь Моисеевич сердечно-имущественных обязательств.

Но и на всю другую половину человечества Цезарь взирает потребительно, ибо человек ценен для него лишь в силу одного соображения: чем он может быть для него полезен. Поэтому Цезарь не скупится на любезности и вежливые слова, он льстит напрапалую, не смущаясь и не краснея, он хорошо усвоил, что никого нельзя хулить в открытую и, упаси боже, в глаза. Всем надо делать комплименты, тогда и о тебе будут говорить похвально, во всяком случае, поопасаются осудить прилюдно, а это немаловажно. И он заискивает, фальшивит, лицемерит примитивно и назойливо. «Да будет вам так уж меня превозносить, Цезарь Моисеевич, право, я не стою того...» – «Еще как стоите, еще как заслуживаете! И я буду, буду вас хвалить, и вы мне рот не закрывайте, пожалуйста!»

Цезарь любопытен, как школяр, под страшным секретом любит выведывать интимные подробности. Извиняясь за нескромный вопрос, он выудит семейную тайну, постельную историю, что-нибудь очень личное, сокровенное. И вот, откровенность за откровенность – как на духу, он вам предложит что-нибудь свое, гривуазно-разудалое и пасторально-приторное одновременно, от чего вам сделается досадно, не по себе и совсем нехорошо.

Ежели Цезарь предлагает вам свое сочувствие и участие, остерегайтесь! Это неспроста: Цезарь ничего не делает зазря, и в следующий момент он вас использует. Сперва он попросит о малом, какой-нибудь пустяк. Он будет расточать любезности и канючить, вы и не заметите, как окажетесь втянутым в круг его дел, и у вас возникнет тягостный и неотвязный комплекс, будто вы совершенно обязаны это осуществить для него. Вы даже не осознаете, как это могло произойти – вас, взрослого и умудренного жизнью, так ловко употребил, и кто?..

Знаю-знаю, сейчас вы на меня напуститесь, уж точно мне от вас не жди пошады, теперь вы заявите: очернитель-сочинитель страдает черной мизантропией, извлекает и смакует всяку бяку непотребную, как будто недостает нашему народу лицеприятностей и геройства. Во-первых, я не скажу за весь народ, но у нас в родне, представьте, именно так – случаются же незадачи и в более благородных династиях, но и они достаиваются саг и ме-

муаров. Во-вторых, что ж это, Гоголю с Салтыковым-Щедриным позволено, да и Шолом-Алейхему – пожалуйста! А мне, стало быть, запрещение... А в-третьих, вот вы и поторопились, я как раз хотел сказать о Цезаре нечто вполне достойное, и это не для того, чтоб вам потрафить, но из избразительной истины исключительно.

Так вот, рыцарь бледный, рыцарь ярый, Цезарь – истовый книгочей, и этому занятию он предается постоянно и повсеместно. Для него не существует тягостных очередей, он не томится одиночеством и скукой, он легко переносит дискомфорт и резкие перепады температур, шум-гам-тарарам, толкотню и спертый воздух. Это только лишь в силу того, что при нем всегда имеется заложенная пальцем книжка, в которую он поминутно юркает, точно в норку, спасаясь от грубой действительности, но при всяком удобном моменте выюркивает, чтобы оглядеться и обозначить свое местоположение в этой действительности. Цезарь наполнен массой сведений оригинального свойства; вследствие того что круг его литературных интересов весьма обширен, но, тем не менее, сводится к истории, точнее историям, о жизни сильных мира сего. Сведения эти характеризуют мировых знаменитостей как бы с теневой стороны: императоры и императрицы, генералиссимусы и президенты, полководцы, философы и дипломаты, гении слова и звука, пера и кисти предстают тщеславными и ущербными монстрами, мелочными и подленькими личностями, лишенными совести и чести, сквалыжными и склочными натурами, извращенцами и психопатами. Вы, скажем, восхищаетесь Александром Македонским или обмираете от Пушкина, Чайковского и Микеланджело, или ваш кумир тот же Наполеон... Прекрасно! Но при этом знайте, кем были эти достославные личности на самом деле, и не обольщайтесь понапрасну. История – это величайшая неправда.

Обнажение порфироносцев, совлечение героев с пьедесталов происходит не от рьяного правдоискательства и не из демократических побуждений, а только, как вы уже поняли, в силу собственной неизумительности... Цезарь Моисеевич безумно любит фотографироваться на фоне величественных ансамблей и конных статуй, а если в групповом снимке, то изобразит орлиный погляд и перед самым вылетом птички успеет-таки привскачить на цыпочки...

Бог с ним, с Цезарем, он, по сути, безвредный человек, а ему еще предстоит пережить ускорение, перестройку, гласность, путчи и линчи, низвержение идиологов и обвальную гиперинфляцию с катастрофическим дефолтом сберегательных вкладов... Посочувствуем ему милостиво!

Кстати, говорить на еврейские темы Цезарь Моисеевич отказывался даже вполголоса, слово «еврей» произносить избегал, заменяя благозвучным эвфемизмом *ex nostris* или простецким «наши», а всякую попытку затронуть Израиль с какого-нибудь боку воспринимал как провокацию, кривил гримасу и удалялся восвояси. Береженого, как известно, Бог бережет...

А вот Гера человек мужественный и широкий, он не отрекается от еврейства, и Израиль – его вечная тема.

«Здравствуй, Гера!» – «Чего вдруг "здравствуй"?.. Еврей еврею должен

говорить *шалом алейхем*». Это, пожалуй, все, что ему известно из иврита. Ну и что? Зато в субботу он приносит в синагогу такое *цдоко*²⁷, что вы бы задумались, и он всегда готов помочь, и любит от щедрот своих одарить по-царски, слава Богу, достаток позволяет, а уж это, согласитесь, по-нашему.

Мы сидим в его машине, и он монотонно повествует, используя супер-экспрессивную лексику, то есть сквернословит, вернее, невыразительно и длинно матерится; нейтральными, не вовлеченными в черное месиво слов, являются предлоги и союзы. Мат его бесхитростен и наивен, журчит ручейком и наркотически убаюкивает. «Гера, а ты можешь без мата?» – «Нет, не могу...» Он тормозит у светофора, по ходу разговора выглядывает из окошка, кротко сплевывает и тихо, как бы между делом, вопрошает случайную красотку: «Так где мы сегодня кушаем?...»

Гера – герой эпохи. Он солдат перестройки. Он генеральный директор собственной фирмы по пошиву... Чего? А чего хотите, хоть парашютов, если это принесет на копейку рубль. Но теперь идут дутые куртки и штаны из варёнки, майки с эмблемами и надписями по-американски, шорты с лампасами и картузы из хаки, платья–юбки–блузки из джинсовки и с лейблами от Леви Страусса. И все это он производит в промышленных масштабах, содержит огромный штат первоклассных швей-надомниц, снабженцев и агентов по распространению. Всем платит щедро, ленивых и, как он выражается, *нелояльных* не держит, воровство и обман пресекает, и пребогато. Фирма его процветает.

Я сожалею, что не в состоянии передать его речь в натуральном виде, с ее немыслимыми тропами и эскападами, немыслимыми конструкциями и сращениями, отороченную великодержавным арго подпольных миллионеров нашей с вами национальности. Что подделаешь?

«Мне что башкан мохнатый, что шлимазер фальцованный – одна единка: дяде Гере *шакер*²⁸ не *слокишишь*²⁹. У меня во лбу третий глаз, и я кнокаю зорко. Не смейся... Вот и пример: когда моя жена пошла по фиксатому ведомству и только стала входить во вкус и дело, я ей барабаню шепотом: "Увольняйся, и по-шустрому..." Она: "Почимэ?" – "По кочанэ, лапуля, и не спрашивай вопросы, чтоб завтра обходной был подписан!" И что ты себе думаешь – не проходит неделя, и всех золотарей закрямзили. А у моей ручки умытые. Так вот. Тогда она меня еще слушалась, это потом она разлохматилась... Я с ней в неофициальном разводе нахожусь. Что ты мне посоветуешь? Разводиться или еще подождать?

...Гуральник ее фамилия, может, слышал? Ее отец гремел в свое время по погребальным услугам, работа чистая, интеллигентная, ни к чему не надо рук прикладывать, все делается само собой: утром наряд – вечером гелтушки, живые, горяченькие. В конце месяца притягиваются хмыри из уча-

²⁷ Пожертвование (*идиши*).

²⁸ Выручка от сделки (*идиши*).

²⁹ Не прогадаешь (*сленг*).

стка номер три, то есть из рукопашного, из трафаретного, мраморного, фотокерамики, оградного цехов, несут белокочанную, и не подумай, что он все себе – нельзя так, отщипывал чуть-чуть для поддержки штанов, а остальные шли дальше и выше. От каждого по натужности, каждому по наружности – и все были счастливы, и всем было хорошо, и у всех все было.

...Я когда его впервые увидел, в момент сообразил: этот – не шлеп-нога, у этого глаз-вертипас и ухо зверское. Сам от пола – метр с кепкой, а за столом восседает, ну, харум-паша, и журчит тихо, точно шептуна пускает, сразу и не врубишься, обожает, чтоб переспрашивали: так он себя значительно представляет. Если бы ты только видел, как он в машину садился и как он из нее выходил, – настоящая мелодрама с пантомимой. И только дома он становился обычным человеком, шутил и дурачился, рассказывал анекдоты и передразнивал генсека. А как к телефону, сразу загрузыритесь и пошел парафинить плешь.

...Его дочь выросла на тортике со сметанкой, каких только репетиторов ей ни нанимали, каких у нее только прибабахов не было, но за меня ее отдали без страха за ее будущее, хотя я только восемь классов накружил и полный курс лесного техникума, потому что он сразу во мне разглядел своего человека. Он держал телохранителей... Не смейся... Ребята крепкие, все бывшие чемпионы и мастера спорта, девочку в школу, жену на рынок и самому пару качков в сопровождение. А что смешного? И у меня есть телохранители...

Я когда за дело берусь, сразу приглядываюсь: кто мне *сакин*³⁰ в спину будет делать, кто будет откусывать по-малому, а кто захочет хапнуть разом. Я беру двух злых мальчиков, оглушаю их копейкой нехилой, и они прикрывают спину. А еще сявку прыщавого, он мне прикладывает атмосферу, какие у нас в коллективе настроения, у кого какие мыслишки шальные и что про меня своячки шпрехают. Из всех деловых качеств я ценю, прежде всего, лояльность, поверь мне, она стоит многого, и диссиденты жуковатые у меня не служат.

...Десять лет я проработал директором вагона-ресторана, чего только ни повидал... Но всегда меня выручали мой третий глаз и формула. Какая формула? Вот слушай... Раз прибегает буфетчица: "Григорий Абрамович, горим! Клиент ничего не ест!" И не будет есть: поезд "Москва-Караганда". Лето. Жара. Вода в системе теплая. Никто солянку сборную мясную и шинцеля не желает. Так, говорю, спокуха, и начинаю искать формулу, пригодную для данного жизненного момента. Не смейся... Никогда ни в каком деле нельзя отчаиваться... Итак, я беру сорокалитровую бадью, выжимаю туда пять апельсинов, прыскаю в замес жженого сахара со льдом и пускаю по вагонам. Фирменный напиток "Южная фантазия". Вот так делаются деньги, корешок. Еще рассказать тебе, как из картошки делается салат мясной и как из позавчерашнего харчо делается свежий рассольник, чем котлеты пожарские отличаются от котлет по-полтавски и что пустить на гуляш – огузок с оковалком или пашинку с зарезом? Тебе еще пример или хватит?

³⁰ Нож (*иерит*).

Я вовремя соскочил с вагона-ресторана, и чего только мне не предлагали: любую пищеточку, любую фабрику-кухню или кулинарию, но я знал – это уже не моя стихия, не мой размах, сытно и уютно, но надоело... Да, корнишон мой незрелый, наскучило кормиться по граммулке, приелся мне эскалоп с лангетом, а захотел я чего-то в государственном масштабе, нечто глобальное. И пошел я по меховому делу. Тогда как раз пыжик и ондатра перешли под ведение ЦК, бесконтрольным остался лишь кролик. Тут и обнаружился такой зверь – нутрия. Не побрезговал, учеником стал у простых скорняков, скроил первую шапку и – все... Мне было хватит: аллергия на шерсть. Зато постиг простую истину: народ неуемен в своем стремлении приодеться, а значит, надо ему помочь.

И я организовал цех по пошиву, для начала у себя, потом на съемной квартире, но, оказалось, ничего нет надежнее надомниц. Я полистал зарубежные журналы мод, я купил японский оверлок, я достал такую ткань, которая идет только на оборонку, а всю технологию сам разработал и держал в секрете. У меня покупали рецепт, как варить джинсы... Как думаешь, за сколько? Но я себе не враг и ни на какие сделки с совестью не шел. Пока они пронюхали и освоили, я уже весь рынок забил варёнкой, и мода пошла вниз. Пока они развернутся, я перестроюсь на другую продукцию. Вот теперь смейся...

Сейчас конкуренция такая, что надо все время подстраиваться под Запад, хотя наш главный потребитель – провинция. Вот неделю назад отправил в разные регионы партию летних брюк из марлевки. Агенты сообщают: не идет! Беру географический атлас, слушаю прогноз погоды, сопоставляю: все ясно – там затяжные дожди. Даю указание: перебросить брюки, где засуха, а вместо них отправляю ветровки и куртки. Дело пошло. Но уже задумался: ага, накушались... Ищу формулу. А чего ее искать, вот она здесь, в "Бурде". Листаю: вельвет отошел, джинсовка отходит, варёнка во всех видах на каждом углу, цены перевалили критическую точку и пошли вниз. Читаю: на подходе трикотаж и х/б, но какие... У нас такого нет и быть не может. Что дальше?

Теперь узнаю, что на базы поступил импорт, смотрю образцы – то, что надо. Успеть раньше конкурентов и выбрать все без остатка – дело техники, и вот она, ткань, у меня, и вмиг разлетелась по надомницам: ищи-свищи, и вот они ручки. Теперь фурнитура и этикетки – это всегда проблема. Я нанимаю слесаря – «золотые руки», он подключает ребят, а я выхожу на начальство: неделю фабрика работает только на мою фирму. У меня такие пряжки-застежки – продукция идет, только дай.

Дела идут, грех жаловаться. Но тоже хочу соскочить с этого дела. Ты знаешь, что такое рэкет? Вот в нем-то все и дело. Не успел открыться, а мне письмо: гони, *файфер*³¹, – и год не трогаем. Думаешь, я не испугался? Еще как!

Мой тесть, Гуральник, от них и держал телохранителей, все ждал удара

³¹ Свистун (*идиш*).

из-за угла. А когда спалили его дачу, в которую он всю душу вложил, человек стал на глазах таять, сон потерял и аппетит и вот однажды утром встал, говорит: что-то голова кружится, стал зубы чистить, и щетинка в горло попала. Его вырвало, а днем вся правая сторона отнялась, вечером потерял сознание и обратно уже не приходил. Его хоронило несколько тысяч человек, движение по главной магистрали перекрыли, и все плакали навзрыд, без *локша*³², милиционеры честь отдавали, сам первый секретарь речь пихал...

Была у меня заветная мечта: открыть фабрику... Но в этой стране ничего не будет, в этой стране не любят деньги, здесь не хотят жить хорошо. Я и туда, я и в милицию, я и к силовым структурам – они руки разводят: ничем не можем помочь, проблемы роста и возмужания. Я уж после дознался, что они с этими ребятами налапничают. У меня всюду свои люди, но я все равно никому не верю и никто мне не указ. Но если уж дошло, что высшие инстанции с мафией в пополаме, – дело проигранное. И тут никакая формула не спасет...

Вот я и стал подумывать об Израиле. Что ты мне посоветуешь?»

«Чтоб я в Израиль!? Что я там не видел? Стенку плача? Потолок смеха? Пустыню Калахари? Сто градусов по Фаренгейту? Все это трогает до слез, но только спасибо, не надо... Да разве найдется еще на земле такое государство, как Россия? – так говорит Вэва Айнфингерт. – Что вы все понимаете, вы, с вашими претензиями и верхними образованиями. Заучили: демократия, перестройка, гласность, права человека, – он картавит на американский манер, – а что такое демократия и на нюх не смыслите. Демократия – это когда живешь, как тебе хочется... Ну, так и живи себе! Я же живу, и никто мне не мешает...

Скажи, в какой еще стране я мог бы прожить жизнь, ничего не делая? Да, я лентяй. Я лодырь. Сачок. Что поделать, таким я уродился. Я привык спать до двенадцати. Для меня сон – это все. А где мне позволят такую роскошь? Там, у них, я буду целый день бегать с высунутым языком, чтоб не отстать от других, и приходиться домой с запавшими глазами, а здесь я могу неделю не показываться на работе, только снял трубку – и я у смежников по обмену передовым опытом. Только снял трубку – и в гастроне мне оставят два кило вырезки, отборной, внекатегорийной, селедочку каспийскую холодного копчения, курочку датскую, сервелатик венгерский, пиво баварское, фрукты-овощи, соленья-варенья-печенья... Этот гастронорм – мой! Это моя частная собственность на средства потребления. И кто это выдумал, что у нас продовольственная проблема? Посмотри в мой холодильник – рог изобилия. Для меня еда – это все...

Вот я набираю номер – и в моем пивном баре мне столик заказан. Свистнул-гикнул – и в моем родном ГАИ мой инспектор мои права отложит в сторону. Вот тебе и права человека. И чем тебе это не гласность? Чего тебе еще не хватает? Желаеть лучшего парикмахера, портного, автослесаря, за-

³² Пустышка, брехня (*идиши*).

крытый бассейн, спецшколу для дочки, сауну с девочками, такси к подъезду, билет на самолет, путевку в рай, розовый унитаз, чешскую плитку и финские обои, японский телевизор, французский костюмчик и английские туфли, дубленку канадскую, барабан турецкий, хрен голландский – только дай знать, только подай голос. А кто я есть такой? Боже мой, я простой советский евреец, я ничего не умею делать, ничего не знаю, ничем не интересуюсь, но у меня на плечах есть центральный головной мозг. Ведь это так просто: хочешь жить – дай жить другим. Вот и вся премудрость. Вот и все...

Гегемон, он что: сам сидит в дерьме по уши и зорко следит, чтобы никто из соседей не привстал на цыпочки – тут же его по балде: ты, душа, здесь не порхай, сиди, как все, и не высывайся... У нас равенство... За него твои отцы и деды кровь проливали! И все понуро стоят в очередях, всю свою жизнь проводят в этих жутких очередях и только волнуются о том, чтобы никто не пролез без очереди. А мне и не надо, я с заднего хода, по служебной лестнице, где посторонним вход воспрещен... Посторонним! Это тем, кто в очереди стоит, а я здесь свой в доску. Теперь давай посмотрим, какое у этой очереди лицо, как она сама себя ненавидит, как она эту ненависть здесь отоварит и домой понесет.

А теперь посмотри на меня: ты когда-нибудь видел меня в плохом настроении? Ну не красавец, не герой, но я всегда улыбаюсь, и мне это, поверь, нетрудно. И у меня всегда в записке имеется анекдот на данный случай и кстати. Еще никто не мог устоять против моего анекдота. Мне познакомиться с директором магазина – что два пальца... Я вхожу, я только говорю: "Здрась..." Я даже и этого могу не говорить, мне одного взгляда на него достаточно, чтобы к нему прицелиться.

Анекдот – это самый универсальный случай, это для постового милиционера, чтоб не скучал, а сколько всех в арсенале приемов – не счесть, но я человек творческий и не люблю повторяться. Обожаю импровизацию! Какие только тузы мне не попадались! Тук-тук, ради бога, извините за беспокойство... А глазом туда-сюда, оцениваешь обстановку: кабинет – футбольное поле, стол – сектор для метания тяжестей, на стенах портреты вождей и членов правительства, и ничего лишнего – трудный момент, а начальник, ключик-чайничек – сам-саваоф, восседает себе на облачке, хмурит бровки и поглядывает крайне недружелюбно. Ничего, сейчас ты у меня будешь хихикать... Я пока к нему приближаюсь, уже прикидываю, чем его брать буду. В этом деле главное – с самого начала огорошить, заинтересовать, удивить, чтобы у него брови подпрыгнули, а потом постепенно раскручиваешь в обратную сторону. Слово за словом – он и сам не замечает, как расслабился. Лишь под самый конец, при расставании, как бы между прочим, я ему сообщу о своем скромном пожелании.

Не буду врать, были и проколы. Но побед больше, во много раз: ведь у всех у нас есть капризные жены, сладенькие детки и, конечно же, самый любимый ребенок у нас – это ты сам... со своими маленькими и тайными слабостями. Вот это место и надо пропальпировать. Все любят подарки,

все любят покушать и выпить. Идеалисты давно внесены в Красную книгу, все вокруг вульгарные материалисты, только кривятся, когда им об этом напоминают в открытую. А мы и не скажем. Зачем? Подойдем к вопросу творчески: ты любишь девочек? Так на тебе, этого добра – как грязи. Кушай на здоровье! А уж когда накушаетесь от пуза и вытрете рот, будьте любезны, сделайте и мне кое-что. Вам ведь ничего не стоит, а мне очень-пре-очень надо бы.

И с тех пор мы закадыки, не разлей вода, друзья до гроба, хотя можем не звонить друг другу полгода и год и больше. Но если надо: "А-а-а, дорогой! Только вчера о тебе вспоминал..." – Видишь, не забыл. "Ну, где ты пропак? Может, заскочишь?" – Видишь, соскучился. "Может, у тебя проблемы какие? Обмозгуем!" – Видишь, как вчера расстались. "Что?! Путевку в семейный санаторий? Тебе не стыдно? Ну какие разговоры?" – Все! Ты сам слышал... И не надо мне клянчить в каком-то профсоюзе-шмофсоюзе.

Ты когда-нибудь видел, как я покупаю на рынке? Самое отборное и никогда не торгуюсь. Ну, потеряю я рубль-два, зато мне гарантировано качество, зато я появляюсь – пришествие Христово: все улыбаются, все ручкой манят, все рады мне. И так всюду и всегда, потому что я в первую очередь думаю о ближнем, я забочусь о человеке. Знаешь, кто я? Я человек-праздник!

Я за свою жизнь и двух книг не прочитал, даже газет не выписываю, ты же меня знаешь: не терплю буквоедства. Как можно елозить глазами по страницам, когда жизнь тут, рядом проходит мимо. Сколько классов я кончил? Правильно, десять... Но это не я, это папа мой, ему очень хотелось, чтобы его Вэва был с образованием. Без стеснения тебе скажу, я два и два сложить не могу, но два рубля и два рубля – с большой точностью. И у меня всегда есть деньги, потому что я всем даю жить.

Что ты, Союз Советских Социалистических Республик – это удивительная страна. А ты мне: Израиль, Израиль... Помнишь, мы как-то ездили на юга в гости к профессору *Гелтовскому*?³³ А теперь скажи, положив руку на сердце, хотел бы и смог бы ты жить там и как они? Вот то-то и оно! Поэтому и для меня твой Израиль с его Тель-Авивом – такая же провинция, как и Дагестан с его Махачкачалкой. Я бы еще тебя мог понять, если бы ты мне про Америку спел. Вот это держава, там и цивилизация, и культура! Но там таких, как я, на десяток сотня, а здесь я один в своем роде. Я здесь, как масло на воде, поэтому у меня роман с Россией навеки, я ее самый пламенный патриот. И все друзья у меня русские. Прекрасный народ. И жена у меня русская, и дочери, конечно же, русские, и фамилии у них – не подкопаешься. А как с еврейским человеком свяжешься, тут и напряженка, сразу меняешь стратегию: и ты его видишь насквозь, и он тебя навывлет, и твои фокусы тут не проходят, и человеческий фактор минимальный, и в общении никакой душевности, а главное, материальный эффект – е-рун-да...

Я это еще пацаном сообразил: "Папа, – говорю, – что проку от того, что

³³ Деньги (сленг).

мы евреи? Одни неприятности..." – "Очень большой прок, – отвечает, – и есть большой *нахес*³⁴". – "Да, но зачем же афишировать?" И что ты думаешь? Он ушел и через два часа мне в паспорте приносит "эстонца"... "Папа, почему эстонец?" – "А что бы ты хотел – узбек?" Узбек Айнфингер, представляешь? Бу-га-га!"

У меня папа – уникум. Всю жизнь он знал только две вещи: тотализатор и женщин. Деньги и секс – для него все! И я в него пошел. Однажды я проиграл на бегах большую сумму и не то чтобы расстроился, а задумался. Он подводит меня к окну и говорит: "Вэва, ты видишь этот большой дом?" – "Вижу, папа". – "А этот большой магазин, что в нем?" – "Вижу". – "А рядом еще дом с магазином?" – "Вижу. Что дальше будет?" – "Так знай, сын мой, если бы твой папа не играл на скачках, он бы мог купить всю улицу на эти деньги". – "Как? И это все? А где же остальные деньги, папа?!" – "Как где? В п...".

Да! Моему папе уже восемьдесят, но каждое воскресенье он идет с тортиком к своей даме сердца. Думаешь, у него там ничего не получается? Будь уверен! Мой папа уникальный человек. О нем легенды можно слагать. Сколько раз нам звонили доброжелатели и сколько мы получали анонимок, но моя мамочка их всегда рвала, и в доме было тихо. Думаешь, она ничего не понимала и не видела? Но она была настоящая еврейская мама, а он настоящий еврейский папа, и семья для них была святыней. Между прочим, хотя у него всегда были любовницы, он о мамочке всегда думал в первую очередь, и она на него не обижалась.

Однажды вижу, он что-то мнет, что-то спросить хочет: "Вэва, ты же не хочешь сделать своему папе обман на душе?" – "Папа, в чем дело? Какие у нас могут быть секреты?" – "Скажи, сколько у тебя было девушек? Только честно!" – "Не считал. Много..." – "Нет, я спрашиваю, у которых ты был первым". – "Целок, что ли? Этих мало: двенадцать и одна под сомнением". – "Тринадцать! Это же надо!.. А у меня лишь одна за всю жизнь – твоя мама..."

Если бы ты видел, как он плакал, когда мама умерла. Он неделю ничего в рот не брал. Потом съел котлетку. Он без котлет жить не может, для него котлета – это все. Я к нему каждый день ездил лепить котлеты и до сих пор езжу. Я ему говорю: "Папа, я тебе буду привозить готовый фарш, а ты сам: шлеп-шлеп, и на сковородочку". Он: "Чтоб я стоял над плитой? Никогда! Я за свою жизнь к кастрюле не притронулся! И не буду, и не уговаривай меня! Слава богу, у меня еще дети есть". – "Но ведь это так просто, смотри: шлеп-шлеп, и на сковороду". И показываю, как надо делать котлету. Он отворачивается и закрывает глаза рукой: "Шмайсроэл! Не хочу смотреть, не буду смотреть!"

За что я всегда уважал своего отца, что он за всю свою жизнь гвоздя не забил. "Еврей должен работать головой. А руками пусть работает рабочий. Что

³⁴ Радость (идиш).

у нас мало *фонек*³⁵?" И этим я весь в него. Даже в самые кислые времена мы держали в доме домработницу. Я помню, дом, где мы жили, был сплошь еврейский, в нем жили профессора и архитекторы, один кинорежиссер и два адвоката, целых три зубных врача, певица Лядова, директор зоопарка и какого-то театра администратор. И у всех были домработницы. А вокруг – деревянные бараки, куда нам ходить не разрешалось: говорили, что там живут одни бандиты. Мама пугала мою сестру: "Будешь гулять с *шиксами*³⁶ – выйдешь замуж за *шегеца*³⁷ в шестиклиночке и поселишься в ихнем бараке". В бараках была кошмарная вонь, истошно вопили дети и постоянно кому-то били морду, но мы все равно туда ходили, и лучшие друзья наши были оттуда.

А соседями по площадке у нас были Лурье, он был врач по мочеполовым болезням, и его жена всегда ходила в шелковом халате-кимоно. Обед у них был всегда с вином, а ихний Эдька ел куриный бульон с профитролями. Они с нами не разговаривали из-за того, что мы переманили ихнюю домработницу Люфку. Папочка ее просто обожал и пропустить ее мимо себя был не в силах, а мамочка обвинила ее в том, что она лишила нашего Пепика невинности, и с треском уволила. Тогда папа определил ее на фабрику беловых товаров то ли файловщицей, то ли сновальщицей, но она, благодаря своим талантам, вступила в партию и очень быстро перешла в министерство легкой промышленности референтом. Сейчас к ней не подступишься: как-то она по телевизору выступала, такая гордая, прямо антилопа Томпсона...

К чему я тебе все это рассказываю? А к тому, чтобы ты не придумывал себе обетованных палестин, где родился – там и пригодился, какой ты ни есть, а здесь ты свой. Там ты всегда будешь новичок, чужак, посторонний, над тобой недоумки будут потешаться, и ты сам себя начнешь стесняться. Ты потеряешь несоизмеримо больше, чем приобретешь там, и никаких усилий тебе не хватит, чтобы снова занять достойное положение в обществе. А свои дипломы, свидетельства, похвальные грамоты можешь оставить мне на долгую и добрую...

Нет, дорогой мой, что ни говори, этот мир хорошо устроен, мне уютно в нем, мне хорошо здесь, и никаких Израилей ваших мне не надо – не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна. Я выхожу на улицу, я здороваюсь с дворничихой, я раскланиваюсь с участковым, я узнаю знакомые мне с детства рожи, я замечаю, что снова буравят асфальт на переходе, я поднимаю глаза и вижу белые царапины на небе, я читаю на крыше нашего гастронома: "Слава коммунистической партии Советского Союза!" – и... я спокоен, все в полном порядке. Я у себя дома. И-таки да здравствует коммунизм! Коммунизм – это большая халява...»

Так говорил Вэва Айнфингерт, инженер человеческих душ, человек без профессии, но с большим знанием жизни.

³⁵ Гои (сленг).

³⁶ Гойка (идиш).

³⁷ Гой (идиш).

А мы свою жизнь намерились сломать: мы были, как говорилось тогда, «в подаче». Однако даже себе вразумительно не могли объяснить, почему мы уезжаем, что нас гонит отсюда и манит там, и лихорадочно, с маниакальной настойчивостью писали заявления, подавали просьбы, собирали справки, выстаивали очереди и ждали... Ждали месяцы и годы, но и просто жили и уже перестали ждать и надеяться, а если иногда и заговаривали об этом, то с легкой досадой и иронией, как о несбывшемся младенческом прожекте, как о чем-то до неприличия старомодном и несуразном. Надо было заниматься собой и детьми, улаживать отношения с сослуживцами, планировать летние отпуска и ходить по магазинам, как вдруг... Звонок из ОВИРа. Так неожиданно и некстати, мы только внесли задаток за дачу, хотели делать ремонт и вообще...

Мой прощальный визит в город моего детства был печален и, наверное, напрасен. Я с грустью узнавал щемящие душу приметы моего убогого, но безмерно дорогого прошлого. Почти все улицы были перекопаны и переименованы, кое-где на еще обрушенных стенах и воротах сохранились старобразные номера с именами владельцев. Тут, на углу, у водоразборной колонки, где мы по очереди пили из тугой струи и брызгались, на крошечном кусочке асфальта сохранилось вечное масляное пятно от мотоцикла инвалида Жахтенки. Мы с его Бориком запускали воздушного змея, но змей не полетел, а полетели мыльные пузыри, и один попал в глаз Шурке-одеколонщику, он пообещал нас убить, но не убил... Здесь стояла керосиновая лавка, где мы брали «газ» в самодельные бидоны. На мгновение я ощутил запах керогаза и свист подкачанного примуса с шипением скворчащей на сковороде картошки.

А тут был «хитрый домик», что-то государственное, далеко не архивное, вовсе не управление и уж совсем не главное, а что – я и не помню... Но там были такие железные перильца, по которым мы съезжали с пронзительным визгом и многоголосым «ухом» и с ладонным шлепом о кирпичную стенку. А по обе стороны как бы классического портала – два явно перекормленных существа из цемента и из семейства кошачьих, а по роду деятельности стражи, спины которых были отполированы детскими задками. А из подвального приямка туголопастный вентилятор гнал такой нечистый дух, что и сейчас, проходя там, я и спиной чую этот запах.

У нас, у мальчишек с Подола, была своя сложная система приятия и предпочтения, свой негласный закон старшинства и поруки. Мы сами учреждали и отменяли моды... Помню, была такая: все, выходящее за рамки привычного и обыкновенного, какая-нибудь фривольность в одежде или новшество в интерьере либо экстравагантность в выражениях и поведении именовалось «еврейским». Предположим, кто-то скажет: «Вчера видел тебя на Контрактовой в какой-то *еврейской* компании, все были одеты в *еврейские* костюмчики, хавали мороженое и тянули газировочку на *еврейский* манер». Это означало: «ты предательским образом, на стороне и без нас, объедался мороженым», «ты для этого случая вырядился, как фрайер», «ты

для форсу пил сельтерскую воду из соломинки». Такие вот были нравы... Но и не только это, мы обозначали этим словом все чуждое и непонятное, не осознавая за этим отвратительного небрежения к своим соседям, друзьям и самим себе.

Братцы Мулики из нашего двора, неразлучные и неразличимые ни в чем, так же лихо клеймили все этим словом, не соотнося его со своей принадлежностью к еврейству. Слышать это было и забавно, и страшно. Однажды один из Муликов, сообщая мне о школьных делах, не мог подобрать соответствующего эпитета для нелюбимой псевдонауки и я, памятуя парадоксальную популярность этого словечка в устах близнецов, не без дьявольского экспериментаторства подсказал. Мулик осекся и печально вздохнул: «Знаешь, а ведь мы, вообще-то... это самое... тоже – евреи...». Я обнял его и проговорил тихо, но ему в тон: «Знаешь ли, и я – это самое...». Братики просветленно посмотрели на меня, прижались, обхватили меня своими тонкими, как прутики, ручками и заговорщически закивали.

Я захожу в один из еще не разрушенных домов – запах плесени и экскрементов, припахи тлена и нежити, и еще чего-то сугубо личного, почти интимного, множественные признаки которого запечатлены в каждом пятнышке на обоях и трещинке на паркете. На проволочной вешалке – клоа-стая безрукавка и старомодный школьный ранец, на оборванном проводе – прожженный оранжевый абажур, вперемешку с битым стеклом – детские книжки и учебники, обезглавленный кукольный торс, россыпи пуговиц, крошево недолгоиграющих пластинок, множество капроновых чулок, флакончики из-под духов и лекарств, в пучке седых волос пыльный гребень, треснутое по диагонали ничего не отражающее зеркало... На стене светлые квадраты от картин, а одна – застекленный багетик с пожелтевшими фотографиями – осталась. Даже не верится: уехали и не стали брать старые фотографии в новую квартиру... А зачем? Пусть их, догнивают в прежней жизни. Я вглядываюсь в мутные лица, церемониально торжественные и стародавние, никто не улыбается, никто не шелохнется, вот только какая-то девчонка в сарафане с бретельками и курицей на коленях... Невероятно!.. Не может быть... Да, это она, несравненная Анька, возмутительная малышнища Аня Красношек, внучка страхолюдной бабки Середыхи с Нижней Юрковской!

Помню, как мы носились по Романовке, взлетая одновременно на все деревня, сараи и чердаки, наш клекот раздавался сразу с четырех сторон, мы шаршили Белецкий сад и Шамрайские огороды, мы ходили на стрельбище собирать гильзы и на ледник дразнить военизированную охрану, мы строили халабуды, мастерили арбалеты и самопалы – и всему была началом она, наша очаровательная предводительница. Без нее ватага не собиралась, без нее было пусто и скучно. Она приводила в беспокойство и восторг все население Юрковиц, как нижних, так и верхних, ее знали и уважали Полянка и Солянка, и Глубочица, слышали о ней на Чмелёвке и на Кмитовом Яру и даже на Сырце, куда мы ходили редко и под большим секретом. Она была

неистошима на выдумки, и мы шли за нею слепо, куда бы ей ни вздумалось нас повести, из-за нее мы ссорились, но она нас с легкостью мирила, заставляя обниматься и произносить ритуальное заклинание. По вечерам мы поднимались на Гору и, глядя на заходящее солнце, горланили наши любимые песни про бродягу, про смуглянку, про одинокую гармонь, о перелетных птицах – она знала все песни наизусть и пела все их без перерыва: кончалась одна, и тут же начиналась другая, последний аккорд первой сливался с первым аккордом последующей – так, видимо, это свойственно натурам активным и не обладающим хорошим музыкальным слухом. Мы это чувствовали и старались потрафить ей во всем. Еще одно помню: она ни к кому не относилась с пренебрежением, ни к малышам, ни к балбесам, и нам не позволяла чваниться. Она говорила: «Кто делает, чтоб было красиво-красиво, тому мой поцелуй». И мы старались, мы из кожи лезли, чтобы угодить ее придирчивому вкусу – мы хотели ей нравиться. Мы обожали ее...

Она вручала победителю свой приз, и под аплодисменты и на зависть всем остальным совершался шикарный круг почета. Ей не претило чувство прекрасного, а посему объявлялся день наряжения во все изысканное. Все приносили свои доспехи и амуницию, она же – драгоценности, и это были не какие-нибудь елочные блестки и самодельные украшения... Как я сейчас понимаю, это были, хоть и фальшивые, а может и не фальшивые, хоть и неуместные в то несытое послевоенное времечко, но сработанные чисто и изящно диадемки, бусы, броши и браслетки. Клянусь, ей все шло! Тогда наступало главное: она подводила брови и красила губы, и орава издавала стон – перед нами в вересковой чащобе, среди собачьих нор и человеческих лазов, возникало сказочное видение, все в радужных переливах псевдоалмазных граней – коронованная нами бесподобная принцесса. Какими же ничтожными казались мы сами себе перед лицом ее, царственным и недоступным.

Мы играли в «замри-отомри». Мы застывали в пакостных позах шутов, рассчитывая поразить воображение нашей предводительницы. Но вкус ей не изменял: она отвергала как грубость, так и слащавость, отмечая лишь тех, кто не перешел грани эстетической дозволенности.

Я прекрасно, до пустячных мелочей, помню и то, как она деловито, с амазоньей непреклонностью меняла своих фаворитов. Об этом, может быть, и не следовало бы... так уж целая жизнь прошла, пусть будет сказано и это. Да, наша Анечка время от времени приближала к себе одного из нас, и он считался ее официальным возлюбленным. И я был среди них. А до меня у нее был Какомыга, толстогубый всезнайка, а до него – Щупак, сын летчика, обладатель настоящего полевого бинокля с треснутым окуляром, а до него, кажется, Мумря... Недоразвитый Аноха всегда носил шлейф ее фаты во время свадебных церемоний, устраивался пир силен из нехитрых продуктов, и мы укладывались всей ватагой на ржавую с панцирной сеткой кровать на нашей «дачке». Лежали и хихикали, и она прижимала меня к себе, как, должно быть, прижимают плюшевого медведя.

Я был предан даме сердца и стал исполнительным и нежным временщиком этой восхитительной разбойницы, но никак не желал уступать свои игрушечные права следующему предпочтителю. Я плакал и, кажется, заболел.

Вот мы танцуем. Это серьезно, и это красиво. Мы сами себе напеваем «Брызги шампанского» и «Рио-Риту». Спинки держим ровно, задями не виляем, на ноги не смотрим и по сторонам не зыркаем. Мы танцуем с ней все по очереди и с наслаждением. Шагаем широко, чтоб не наступить на ногу, и смотрим в глаза, в ее прекрасные и чистые глаза. Прижиматься можно только фавориту, впрочем, она сама прижмет его к себе. Раз-два-три, им-па-па... Все у нас на полном серьезе: закончил – благодарение, провожание и галантный поклон. Теперь следующий. Ах, как ей завидовали все девчонки: сколько обожания, и ей одной!

Кружатся ветки, кружатся крыши и фонари – весь наш маленький мир плывет и качается. Мелькают лица, и мы, скверные мальчишки с Подола, безнадзорные и бесстрашные, беззаветно верим в неистребимое значение танца, предвестника любви, сладостного ритуала на пыльном пяточке у пожарного гидранта.

Мои печальные глаза, глаза Пьеро, наполнены тоской и разочарованием. Великолепная атаманша не удостаивает меня снисхождения, и я прячусь за дерево. Увы, наши судьбы впредь не пересекутся, а я бы так желал услышать еще и еще раз ее шепоток у своего уха, и чтоб кудряшки волос щеко-тали висок, ручка в ручку, глазки в глазки... «Вянет лист, уходит лето, иней серебрится... Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться...» Я бы застрелился, да пистолета нет. Вырасту большой – обязательно застрелюсь!

Мои страдания кончились просто: мы сменили место жительства. И больше мы не встречались. Но я всегда помнил о ней. Это была удивительная девочка, она разговаривала с цветами и букашками, ей подчинялся дождь, она знала множество прибауток, рифмованных дразнилок, она верила в приметы, в невидальщину, в чох и сон, от нее я впервые услышал, что Земля наша круглая, наивные истории и фантастические приключения, каждый свой рассказ она облекала в мистику и чудо, и таинственное избавление. Она тараторила беспрерывно, сбивчивой скороговоркой, мило картавя и восклицая, перескакивая с ноги на ногу или кружась на месте, платье ее взлетало воланом, обнажая пестрые трусики, что ее, в отличие от меня, совсем не волновало. Я обязан ей и первой любовью, и первой изменой, и первой ревностью.

Я осторожно извлекаю эту фотографию из рамки, она теперь моя по праву неистребимой памяти о детстве и моей первой любви.

Видно сегодня мне суждены встречи: я выхожу на улицу и... кого я вижу! Папаша Лёльки Альшеца, школьного приятеля, которого наш классный руководитель то ли в шутку, то ли по ошибке упорно именовал *иницелем*. А это его отец – сапожник. Я расскажу...

Ну что вы знаете о нем? Что он сидел на всех углах Подола в своей зеленой будке и чинил всякому, кто ни попросит, ботинки, и никому не отказывал. И жил с этого и семью кормил, хотя за работу брал он мало, тогда

еще люди стыд имели брать деньги: каких-нибудь рубль-два – это точно. Самое большее – трешку, так это тогдашних денег, ведь за червонец уже новые можно было купить. А уж если он брал какие деньги – будьте уверены, он брал недаром. Ведь как он делал! Люди не хотели брать: не мое, говорят... Оно, правда, как я сейчас понимаю, было неказисто, но прочно.

Он сучил дратву, он смолил ее на куске вара, он штрикал гвоздики из дуба – вы сейчас такое где-нибудь видели? У него был такой раскрой кожи, что потом уже ничего не оставалось. Случалось такое, носки загибались – так это был шик! Или скрип – тоже случалось, но чтобы разваливалось на ходу – никогда!

Он никому не отказывал. Бывало, приносят туфли – не на что смотреть, только... тьфу! Позор и стыд, дешевле выбросить! Но вы не знаете нашего сапожника, если про него так думаете: он, ни боже мой, повздыхает-подышит, поглядит так сокрушенно своим вороньим глазом и кротко спросит: «Еще прабабушка носили?»

«Здесь подшить, там подбить, мазнуть лачком, чтоб не светить брачком, – слушайте, совсем как новые!.. Так зачем же выбрасывать, если починить можно, если есть еще на свете такие мастера, как сапожник. А то моды взяли: чуть что не так, шовчик подпоролся, каблук стесался, кашку запросили – на помойку. А сапожники на что, я вас спрашиваю? А я на что? Новые туфли – это еще не туфли, их еще надо обносить по ноге, обшевелить пальчиками, обжать пяточкой, и неизвестно, какие морщинки лягут. А то сегодня морщинки, завтра трещинки – пожалуйста к сапожнику. "Здравствуйте, здесь можно что-то сделать?" Можно сделать... Конечно, можно! Чтoб Альшец не сделал, слышал еще кто такое?

Конечно, что и говорить: новое – оно и есть новое. Любая вещь вначале новая, а уж потом старая, но туфли – это совсем другой компот с абрикосом. Туфли с ноги – это, как обкуренная трубка: пока обкуришь, пока обносишь...

А бывает так: один ногу кособочит наружу, другой внутрь ставит, а третий загребает носком. Один шагает широко, другой шлепает на всю подошву, этот позвоночник себе тревожит, а этот плоскостопие себе делает. И все-все это видно, как в зеркале, по башмаку. По нему, если хотите, можно характер рассказать: злой ты или добрый, скромный или *швицер*, тупой или умница. Можно и судьбу, если хотите: будут у тебя денежки водиться в кармане или один нечистый воздух, как устроишься в жизни и на чем будешь ездить. По башмаку, как по книге, читает сапожник Иосиф Лейбович Альшец».

В будке у Альшеца на самом видном месте висит портрет Вождя. Моды на это уже давно нет, можно б и не вешать, но у него на этот счет свое мнение. Дело в том, что Альшеца много раз закрывали. Но сколько закрывали, столько же раз он возрождался вновь. Пусть не на то же место, пусть не на самое бойкое, пусть в стороне, пусть временно, но сапожник Альшец был неистребим.

«Сколько раз меня опечатывали?.. Красная печать – назад не воротать... Что будка! В ней разве дело? Дело в руках и голове, *идише копф*...

Абудкэ...³⁸ Пф – будка! Будет и будка... Вначале можно и так, на табуретке, были бы инструменты и кожа, нитки да гвозди. Сперва ящик на цепи, потом шкафчик на замке – уже можно жить, а там и будка, будка с портретом Вождя на самом видном месте». Так говорил сапожник Альшец.

– Иосиф Лейбович, вы меня узнаете?

Старый сапожник поднимает на меня уменьшенный до вороньего глаз, смотрит сквозь перекошенные очки и возится с ключами.

– Что ж с того, что я не помню, – наконец говорит он, – сколько лет ушло. Благодарение всевышнему, есть еще на свете люди, которые не забыли старого Альшеца. А вы мне скажите, молодой человек, у вас есть семья? И дети? Это очень хорошо, дай бог им здоровья всем. А что слышно в мире? Пока тихо? Подольше бы так. Лёлик? Какой Лёлик? Ах, вы с ним учились вместе, надо же?..

Старик выдержал трудную паузу и махнул рукой. «Он уже там... А вы почему задержались? Из отказников, наверное?» Потом вдруг обвел рукой вокруг себя и с явной трещинкой в голосе заговорил: «Вы только посмотрите, что они сделали с Подолом!.. Я прожил здесь жизнь среди людей, я знал всех, и меня все знали. И этот мир был неплохо устроен, уютно, по-человечески. У нас не было цветных телевизоров и видеомэгнитофонов, мы все одевались одинаково, кушали одно и то же, у каждого из нас было только по одной жене, мы не ссорились с родственниками и часто ходили друг к другу в гости и помогали чем могли, мы почитали правительство и не забывали о боге, нам всего хватало и даже было много... Теперь посмотрите, как вы живете: у вас у всех русские жены, бросаете детей, вы стесняетесь своего папу и маму, а о боге и не вспоминаете, он вам лишний. Теперь у вас есть такое, что нам и не снилось, мы даже и не понимаем, зачем это все нужно. Вы гоняетесь за *парнусом*³⁹, как за головастиками, и все себе на книжку, и никому не помогаете. Вам все мало, вы все время спешите, вы всем недовольны, всем завидуете и никому не говорите "спасибо" – это кончится плохо... Так нельзя!»

Он молча позволил себя сфотографировать у своей будки на фоне развороченной мостовой.

– Теперь скажите, вам такая жизнь нравится? Вы довольны? Можете не отвечать, можете не отвечать, я вижу – мой вопрос не прозвучал. Тогда спросите у меня: нравится мне все это? Я вам отвечу – нет... Думаете, вас там ждут булки на деревьях? Вас, вообще, кто-то там ждет? Кому мы там нужны? Но все равно поднимайтесь, ехать надо!.. А мое дело прошлое, зачем мне туда? Из уважения к старости меня больше не закрывают, ждут, когда я умру совсем. Я им всю жизнь портил вид города, такое дело, а они пришли со своими бульдорезами и навели полный порядок. Аминь. Я вас всех поздравляю!»

Он шел и говорил уже сам с собой, как это делал каждый день, сидя в своей будке. А я глядел ему вслед.

³⁸ Будка (*идиш*).

³⁹ Зарплата, доход (*идиш*).

От Подола до Соломенского кладбища всего несколько трамвайных остановок. Когда-то этот путь казался бесконечно длинным. Я пристраивался за спиной вагоновожатого, внутренне вторил каждому его движению и с восторгом глядел, как трамвай глотает шпалы. Мы ездили на кладбище часто, бабушка не спрашивала нашего желания. Она жестко изрекала: «Сегодня идем к дедушке». И я помню это состояние натянутой торжественности, при котором надо было казаться взрослым и преданным памяти дедушки, и с достоинством исполнять возложенный на тебя долг посещения кладбища. Я дедушку как мог любил и помнил, как успел, но поездки эти не приносили мне радости: я гнушался сыровато-приторной прели венков, букетов, черных с золотом лент, тяжелых надгробий и душераздирающих посвящений; руками ничего там не касался и губы не облизывал.

Вот мы здесь, на кладбище, у могилы деда. Памятника еще нет, еще венки не завяли. Бабушка и Бася все в черном, а отец в военной форме и с траурной лентой на рукаве. Видите, вокруг совсем пусто, ни одного деревца. Сейчас там лес.

Путь на еврейское кладбище лежал через мрачное католическое, с огромными мраморными крестами на гранитных пьедесталах, мимо угрюмых склепов и часовен. Потом надо было пройти через развеселенное православное, где выкрашенные в серебранку и лазурь ажурные оградки и крестики напоминали наши кровати в детском садике. А потом шел пустырь с огромной свалкой засохших венков и букетов, там же был небольшой бассейн, из которого мальчишка в засученных по колено штанах за пятаки набирал в лейки воду. Мальчику говорили *аданк*⁴⁰, а он ничего не отвечал. На главной аллее толпились *капцунем*⁴¹, они прямо цеплялись за одежду, вымалывая *абиселе копекен*⁴², я их боялся и ненавидел, но бабушка каждого одаривала рублем, а тому, с раздвоенной бородой и в шляпе и с черным зонтом в руке, певшему поминальный *кадиш*⁴³ на могиле деда, – целую десятку. Бабушка вздыхала и произносила ненастоящим голосом: «Вот, Лазарь, я пришла, твоя жена с твоими внуками...» Потом садилась на скамеечку и сидела с закрытыми глазами, раскачиваясь из стороны в сторону. Я же старался не нарушать скорбность момента, но искоса наблюдал за товарным составом, громыхающим по высокой насыпи всего в нескольких метрах.

Прежде здесь евреев не хоронили, а хоронили выше, на горе, недалеко от кабельного завода, и место это было не что иное, как Бабий Яр. Вернувшись после войны, бабушка, влекомая древним чувством сопричастности судьбе своих друзей и близких, побывала там, но ничего, кроме перепаханного оврага и разгромленного кладбища, не нашла. Позже мы с ребятами там лазали: помню разбитые на осколки памятники из белого камня, сва-

⁴⁰ Спасибо (*идиш*).

⁴¹ Нищие (*идиш*).

⁴² Немного монет (*идиш*).

⁴³ Предпогребальная молитва (*иврит*).

ленные в кучу, плиты и обелиски; не было статуй и барельефов, не встречались фотографии усопших – во всем было что-то неуловимо восточное и что-то необъяснимо древнее. Везде и всюду попадались тайные письма с волнующими душу буквами. Кто умел читать, тот и читал, кто не знал, как прочесть – тому и не надо знать.

А рядом находилось то самое место, где были расстреляны десятки тысяч, зарыты в овраге без памятников, без имен и дат. Спустя много лет произошла трагедия: скопившаяся в овраге жидкая грязь прорвалась за насыпь и затопила лежащие внизу кварталы. Поговаривали, мол, евреи отомстили... Вот ведь какой народ!

Памятник на могиле дедушки стоил целое состояние, а ведь он был по тем временам одним из самых скромных: черный четверик с пилястрами по углам, дорический ордер и наверху чаша со змеей – символ профессиональной принадлежности. Спереди фотография в золоченом овале и надпись на русском. Традиционная, на древнееврейском – по ту сторону памятника, чтоб в глаза не бросалось. Но все же была.

А вокруг возвышались помпезные обелиски и стелы из дорогих сортов гранита и мрамора, надгробия в виде древа с отпиленными ветвями, колонны и кубки, плиты и саркофаги, орнаментированные в ампир и барокко, и целые захоронения, огороженные коваными решетками с цветниками и садовыми причудами малых форм. Вот у Марика Лермана был памятник так памятник, на все двадцать пять тысяч памятник... Это был розовый обелиск из привозного камня, задрапированного черным покрывалом с кистями и бахромой, по углам пилоны, и между ними натянуты цепи. Что вы хотите: единственный сын... Красавец... Круглый отличник... Семнадцать лет... После экзамена на аттестат зрелости пошел с друзьями на Днепр и... Такое горе!

А здесь Литваки, весь клан, четыре поколения – всем одинаковые надгробия из ереванского камня теплых тонов с единым стилевым решением в виде многоспальной кровати. И еще одна двуспальная и безымянная зарезервирована на потом. У них там все капитально и надолго: мраморная скамья на несколько персон и стол, и даже железный шкафчик на замке для хранения садового инвентаря и всего такого... Спросите, у кого хотите, где могила Литваков – каждый скажет. Кто же не знает Литваков?

Через прутья соседней оградки, похожей на попугайчью решетку, уже сорок лет заходится в хохоте детская мордашка Сашеньки Шур, несмотря на душераздирающие строки: «боль утраты... кровоточащая рана... неизгладимая тоска...» Видимо, родители девочки соперничали в скорби с дедушкой-бабушкой, поэтому еще эпитафия:

С твоим приходом в этот мир, дитя,
Так ликовало все в природе...
Но ты ушла, и больше нет тебя –
Угас последний луч на небосводе...

Постепенно на это кладбище переселились все, кого я успел застать еще живыми и запечатлеть в своей памяти: и дядя Мирон с тетей Цилей, и тетя Рива с сыновьями, и дядя Яша с тетей Мирой, и Пиня с Двосей, дедушка с бабушкой и Басей, и все прочие наши тут, неподалеку. Тот мир, в котором они жили, был по-своему хорош, под стать в нем жившим, я даже осмелюсь утверждать – он был розовый, несмотря на все его ужасы, потому что был прост и понятен, как судьбы людей, населявших его. Все происходило у всех на глазах: рождались младенцы, умирали старики, и в промежутках между этими эпохальными событиями свершались войны, переселения народов и прочие житейские драмы, но, что теперь говорить, тот мир ушел навсегда, и вернуть его никак нельзя, разве что в воспоминаниях. И мы, дети детей этого неблагополучного мира, говорим «чур, меня!» в надежде на лучшую судьбу, представлявшуюся нам прежде всего в возможности приобрести и пользоваться, без сожаления отречься от него, убеждая себя в непричастности к нему, как к некой ювенально-уродливой поре нашего существования. Только потом, много позже, когда вся жизнь превращается в сплошную мучительную потугу, погоню за комфортом, с вечно повторяющимися ошибками и потерями, к нам, все тем же, не умудренным, ничего не понявшим и не постигшим в беге по кругу и в неподвижной оцепенелости очередей, к нам, оглушенным и облапошенным, вдруг начинает приходить понимание самых скудных, но верных радостей бытия. До нас доносятся слабые шепоты из убогого детства, мы вслушиваемся в печальные мелодии юных лет, нас посещают ароматы прошлого, призраки давно ушедших родственников, приятелей своих, растерянных и растворившихся в годах.

Теперь на кладбища стали ходить редко, все откладываем, все недосуг; теперь ежегодно надо платить в кладбищенскую контору за сферу услуг: протирка, прополка, поливка... А уж когда приходим, всех наших обойдем, постоим у оградок, прочитаем надписи и даты, положим букетики и повздыхаем. Деревья так разрослись, что совсем закрывают солнце, и между оградками не протиснешься. Администрация убедительно просит родственников захватывать с собой ручную пилу и подрезать ветки и кустарник. На новом кладбище в Нивках ограды категорически запрещены, но все равно умудряются. Ветер доносит звуки духового оркестра... или мне это кажется, ведь кладбище давным-давно закрыто для захоронений.

Я в последний раз здесь, последний раз обошел всех и простился навсегда. Мне среди них не лежать, да и не стоит особенно философствовать по этому поводу. Этих «философий», выбитых в камне в назидание живущим и на всякий вкус, здесь с избытком.

Я прохожу мимо безымянной могилы, на которой вихлявым курсивом выведено – «*BOT И ВСЕ*», и вензелек вместо точки.

Вот и все.



Игорь Веслер

специалист по информационным системам, переводчик. Печатался в журналах Multilingual Computing и The ATA Chronicle, а также в русскоязычных изданиях в Израиле. Живёт в США.

О КАШТАНКЕ И КАШТАНКАХ

При закате солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна!

Л. Андреев

Трогательная и драматическая история этой собаки, к сожалению, ещё никем не рассмотрена как уникальный феномен l'âme slave, вряд ли воспринимаемый и понимаемый до конца отечественным – и тем более западным – читателем. Такова уж судьба чеховского рассказа, давно помещённого по изволению комиссаров от литературы в прочно огороженный загончик к «рассказов о животных для младшего школьного возраста» и крыловских басенных аллегорий, где он остаётся и по сей день.

Да и откуда «младшему школьному возрасту» подсоветских времён было знать, что «Каштанка» – это уцелевший обломок целого жанра, исчезнувшего с отменой теми же комиссарами Рождества, – жанра рождественского или святочного рассказа, неперемногого в преддверии сочельника. Традиционные элементы такой умильной истории – чудо победы добра над обстоятельствами, избавление от невзгод, а то и смерти доброй волей прохожего. Но в ряду бесчисленных рождественских сентименталий «Каштанка» стоит особняком, и вот почему.

Закончись чеховская повесть цирковым выступлением Каштанки – и была бы она не хуже и не лучше любого диккенсовского рассказа, в полном согласии с канонами. Налицо героиня, оказавшаяся в драматических обстоятельствах, есть и её избавитель, причём западного толка, – не даритель, а наставник. Катарсис наступает вполне назидательно – терпенье и

труд всё перетёрли, триумф Тётки–Каштанки на арене становится заслуженной наградой за ученье, и даже органическое неприятие ею музыки превращается в преодолённую тяготу ремесла. И в этот момент происходит сюжетный поворот, не просто ломающий канон, а выворачивающий его наизнанку.

Именно этот поворот и стал залогом идеологической чистоты чеховского рассказа в глазах сталинских держиморд, допустивших его в святая святых – в младший школьный возраст. Более того, «Каштанка» как верный Руслан была призвана на идеологическую службу именно благодаря метафорической оппозиции «хорошего» и «своего» как оправдания и воспитания безоглядного, бездумного, нутряного патриотизма.

* * *

Идеологические надзиратели советской эпохи с охотой поставили себе на службу естественную привязанность к земле, родному языку, культурным традициям, семейным корням, т. е. всему тому, что формирует душу человеческую. Но безусловной новацией стало то, что ко всему этому были исподволь пристёгнуты идеологические «ценности», и в дальнейшем комиссары никогда не стеснялись спекулировать «милыми берёзками» и «картинкой в твоём букваре», искушая и соблазняя нестойких и запутавшихся того века, который Игорь Померанцев в своих «Поверх барьеров» назвал «веком беженцев, перемещённых лиц, угнанных, изгнанных, эвакуированных, эмигрантов, невозвращенцев, возвращенцев...»

Последние два термина необычны своим происхождением. «Невозвращенец» – шедевр словотворчества Лубянки и Старой площади – стал широко употребительным в 60–70-х годах, а «возвращенец» – значительно старше: он появился в русскоязычной эмигрантской прессе Франции 20–30-х годов прошлого века, был скроен по тогдашнему советскому образцу и немедленно ассоциировался со своими шипящими собратьями той лихой поры: лишенцы, отщепенцы, перерожденцы...

Невозвращенцы – относительно небольшой (в сравнении с легальной эмиграцией) отряд романтических и часто героических судеб, занявший достойное и прочное место не только в истории, но и в русском языке. Невозвращенцем был Николай Курбский, бежавший от несправедливого гнева, невозвращенцы – это совершивший легендарный «прыжок к свободе» Рудольф Нуриев, это Михаил Барышников, Людмила Белоусова и Олег Протопопов, это Виктор Корчной и сотни других, менее известных, решившихся на прорыв железного занавеса.

Но были и другие – вырвавшиеся на Запад и затем вернувшиеся. Некоторых сломали тяготы эмиграции, некоторых – гуманисты в штатском, взявшие в заложники оставшихся родственников, иные просто не смогли существовать без родных пельменей и походов за грибами, кто просто поддался на лесть и посулы чекистов, а кто и погнался за миражами. Всякое

бывает, и душа человечья – потёмки. Хотя и мало кому известный, этот отряд также обрёл своё название: «возвращенцы».

* * *

Известно, что с конца XIX века и до 1917 года Россию покинуло от 2,5 до 4,5 млн человек. Причины этого были разнообразны, но за редкими исключениями – преимущественно экономические. Политическими они стали лишь после Октябрьской революции. Именно тогда, не успев толком заняться последствиями бедствий гражданской войны, голода и разрухи, советское правительство направило недюжинные усилия и немалые средства на борьбу с «идеологическими врагами» – теми, кто бежал из советского ада тех лет. С наиболее стойкими из них новоиспеченные советские рыцари плаща и кинжала предпочитали расправляться поодиночке, но постепенная консолидация российской эмиграции настоятельно требовала массовых решений, таких, как создание «пятой колонны» – просоветских движений и организаций (сменовеховцы, евразийцы), печатных изданий и т. п. и инфильтрация в них агентов влияния. Одним из направлений этой деятельности стала пропаганда «возвращения на Родину».

С первых же лет возвращенство¹ стало идеологическим оружием двойного назначения. С одной стороны, факты возвращения в Советскую Россию известных и уважаемых лиц были призваны показать оставшимся пример гуманности и терпимости власти большевиков и побудить эмиграцию к массовой репатриации. С другой стороны, возвращенцы выполняли еще одну миссию (о которой сами не догадывались, а если бы догадались – ужаснулись) – легитимизировать власть большевиков даже в глазах тех, кто ненавидел их и проливал кровь в борьбе с ними (и уж тем более – в глазах колеблющихся, измученных, неприспособившихся) и тем самым внести идейный раскол в эмиграцию.

Систематический исторический взгляд на возвращенство – дело нескорого будущего. Но даже простое перечисление имён скажет о значимости этого явления. В ряду возвращенцев оказались такие несхожие личности, как Марина Цветаева и Алексей Толстой, митрополит Вениамин (б. Американский) и видный эсер В. Сухомлин, художник Василий Шухаев и казачий генерал И. Л. Николаев, композитор Сергей Прокофьев и генерал Слащев-Крымский, певец А. Н. Вертинский и режиссёр Юрий Любимов, художник К. Н. Редько и писатель А. Куприн, десятки и сотни тысяч менее известных, но равно поддавшихся обману и самообману.

Характерный пример той поры – судьба одного из основателей и идеологов сменовеховского движения проф. Николая Васильевича Устрялова,

¹ Этот термин ввел Алексей Васильевич Пешехонов (1867–1933), один из основателей и лидеров партии народных социалистов, видный экономист-аграрник, бывший министр продовольствия Временного правительства.

покинувшего Россию в 1920 г. Профессор Харбинского университета, он вернулся в СССР в 1935 г. и был с железной сталинской логикой расстрелян в 1937 г.² Эту же судьбу разделили с ним многие сменовеховцы-возвращенцы, не говоря уже о простых россиянах или даже их потомках, сменивших после революции полуголодное существование в европейских странах на неизбежную советскую лагерную пайку. История знает и иные примеры массового возвращения, оставшиеся – за редкими исключениями – малоизвестными или почти безвестными. Таковы судьбы «кавежединцев», завлечённых в сталинскую западную бесстыдной ложью и посулами. Таковы судьбы тысяч русских солдат-военнопленных, оказавшихся после капитуляции Германии в Европе и поддавшихся лживо-сентиментальному призыву «Сынку! Родина-мать ждёт!», которым советские вербовщики дармовой рабской силы наводнили послевоенную Европу³. Заплатили они за эту слабость, как известно, очень дорого.

Пример новейшего времени (скорее драматический, нежели трагический) – возвращение в Россию философа Александра Александровича Зиновьева, который был лишён советского гражданства за книгу «Зияющие высоты» и прожил более 20 лет в Германии. Ещё один пример, хоть и иного свойства, – Артём Тарасов, один из первых легальных миллионеров горбачёвского разлива.

За последние два десятилетия слово «невозвращенец» безвозвратно отошло из живого языка в словари. Но одновременно появились «возвращенцы нового поколения», пёстрое и неоднозначное племя, ещё ждущее своего исследователя – социолога, психолога, экономиста, историка. В отличие от возвращенцев 20–80-х годов прошлого века, их переезд в Россию с Запада в 90-х годах прошлого и в начале этого века является, как правило, собственным и осознанным волеизъявлением, будь то «поиски корней» молодого поколения или «старость в знакомых стенах» неисправимых идеалистов, не говоря уже о бизнесменах русскоязычного происхождения. И если молодая поросль ещё находит в России отдохновение от американских крысиных гонок или лихие заработки, не требующие особого образования или происхождения, то прочие оказываются в «страдательном залоге» – подлинному возвращенцу в России всегда хуже, за ним всегда тянется невидимый шлейф злорадства, неприязни обывателя и особого, нехорошего, корыстного интереса как власть имущих, так и криминального мира.

И больше всего рикошетит нынешняя жизнь в постсоветском пространстве по «нутряным» возвращенцам, возвращенцам-идеалистам, возвращенцам к воспоминаниям, к «корням», к привычному и знакомому с детства.

Каштанка – классический «нутряной» возвращенец.

² В 1937 году он, профессор Московского института инженеров транспорта, откликнулся на принятие сталинской конституции статьей в «Правде» под названием «Рефлекс права», после чего, естественно, был арестован, оперативно судим и расстрелян на третий день судебного процесса.

³ См. повесть В. Аксенова «Ожог».

В литературе есть чудесные примеры собак-эмигрантов (взять хотя бы «Дневник Фокса Микки» Саша Черного или дворняжку Мистера Боунса из «Тимбукту» Пола Остера). Но Фокс Микки вполне доволен жизнью, эмиграцию переживает скорее как нечто внешнее, как перемену декораций, а не обстоятельств, и уж тем более не задумывается о возвращении.

* * *

Чеховская повесть видится мне историей эмиграции и возвращения. И прежде всего об этом красноречиво говорят названия глав повести.

«Дурное поведение» – внешне невинный проступок, за который Каштанка наказана лишением привычного быта, причём зло здесь даже не персонифицировано, да и выпадает Каштанка из этого быта вовсе не по своей охоте. Чехов конструирует клинически чистый случай, когда вполне благонамеренный винтик социального организма, не мыслящий иного бытия, вдруг в силу простого стечения обстоятельств оказывается выброшенным за пределы своего обыденного мирка в новую жизнь. И винтик воспринимает это как подлинную трагедию, крушение всего и вся, принимая чистилище за пункт назначения.

«Таинственный незнакомец» – первое столкновение с новым миром. Первые впечатления – всё необычно, загадочно, язык другой, внешность окружающих, манеры...

«Новое, очень приятное знакомство» – первые уроки общежития в новом окружении. Надо уважать чужую территорию, уважать «прайвеси», в общем, как сказал хозяин, «надо жить мирно и дружно». Каштанка получает новое имя и обнаруживает, что окружающие не так уж опасны и лаять на них просто нет необходимости. Да что там!!! Даже беспардонное посягательство на еду другого не оборачивается неприятностями – скорее напротив: «Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а напротив, заговорил еще горячее и, чтобы показать свое доверие, сам подошел к корытцу и съел несколько горошинок».

«Чудеса в решете» – всё дальше отступают прежние страхи. Находится совместное занятие, и довольно увлекательное. Вот уж воистину чудеса в решете – учат, да за это ещё и кормят... К тому же окончательно исчезают страх и вызванная им агрессия – «Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно», уж больно они добродушны. Жизнь обретает смысл и интерес – «Благодаря массе новых впечатлений день прошел для Каштанки незаметно».

«Талант! Талант!» – проходит месяц, что по человеческим масштабам более полугода. Каштанка успешно учится и овладевает наукой общежития.

Глава «Беспокойная ночь» – первая жанровая необычность. В благостный рождественский сюжет врывается смерть.

И, наконец, «Неудачный дебют» – финал с совершенно нерождественской развязкой. Вот тут-то и происходит то, что превращает чеховскую по-

весть из заурядного рождественского повествования в ещё одно свидетельство проявления «загадочной русской души»...

* * *

История эмиграции и возвращения Каштанки начинается точными и узнаваемыми приметами простого подсоветского человека. Происхождения невесть какого, беспамятного, как есть дворняжка, хоть и с некоей – скорее смехотворной – примесью таксы. (Остроумие Чехова перешло в поговорку – тавтология «помесь таксы с дворняжкой» стала означать в высшей степени нелепое сочетание. Ведь «дворняжка» сама по себе уже есть помесь.) Жила-поживала до боли знакомо – на стружках под верстаком вечно пьяного хозяина-мастерового, радуясь без памяти таким простым вещам, как прогулка. Обращение – примерное (трёпка за ухо со словами «чтоб ты издохла, холера», а в лучшем случае – «насекомое существо и больше ничего»). Неотъемлемое право хозяина бить её – краеугольный камень простенькой картины мира, в котором «все человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры». Кормёжкой домашней собаки хозяин, как видим, себя особо не обременял; в описываемый день «ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу». Мизерабль, одним словом.

И вот, волею судеб (именно так – неожиданно-негаданно, помимо собственных воли и сознания, даром – и случается всё в рождественских рассказах) в жизни Каштанки происходят чудесные перемены.

Происходят они очень по-русски: один неверный шаг – и ты вычеркнул из прошлой жизни. Припомним: «Каштанка... не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар. Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился...» Причина пустишая, на первый взгляд, – ну, не любит собака громкой военной музыки, разнервничалась, что же тут такого? Разве она виновата, что у собак очень тонкий и чувствительный слух? А вот поди ж ты...

Как это знакомо («от суммы да от тюрьмы...») – ведь даже в самые вегетарианские времена жизнь вполне благополучных советских каштанок могла прерваться из-за дурного настроения участкового, неуместного острого словца, даже не вовремя поданного заявления... Как знакомо и не похоже на бытие западного человека, ограждённого от последствий роковых случайностей частоколом законов, страховок, банковских счетов, адвокатов и т. п.

Околевая в снегу под чужим подъездом, она подобрана незнакомцем, человеком добрым, чувствительным до сентиментальности, щедрым и на

удивление понимающим (что и не мудрено – его дом полон животных, к которым он относится как к собратьям по цеху, с совершенно человеческими чувствами). Мало того, что с первых же минут к ней относятся неслыханно деликатно и как к равной («Я тебя ушиб? О, бедная, бедная... Ну, не сердись, не сердись... Виноват»), так ещё и кормят невиданными яствами. Наевшись же, Каштанка впадает в настроение философское и начинает сопоставлять: где лучше – у незнакомца или у столяра? И приходит к неизбежному выводу: «у незнакомца есть одно очень важное преимущество – он дает много есть, и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул: "По-ошла вон, треклятая!"»

Начинается иная жизнь; но первая эмигрантская ночь Каштанки на новом месте наполнена снами-воспоминаниями, которые милыми и родными назвать язык не поворачивается. Уж такова эта загадочная русская душа...

* * *

Сны Каштанки – неслучайная и значимая деталь повествования. В большой повести упоминаются пять собачьих снов, причём первые четыре – это действительные сны, пятый же, буквально завершающий повесть словом «сон», – метафорический.

В первом сне Каштанка ярко переживает прошлую жизнь – и, заметим, в каких привычных людоедски-лицемерных именовании. Казалось бы, сентиментальные воспоминания о детских играх («Федюшка обыкновенно играл с нею...») – что же это были за «игры»?

«Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табак...»⁴

«...Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка».

Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что здесь с патологической точностью и неожиданной прозорливостью описано всё то, что творило бессмысленное и беспощадное подсоветское бытие, данное в ощущениях, по уверению классика? У какой каштанки, вытащенной затемно в беспросвет-

⁴ Эта жестокая забава – давать нюхать табак собаке, существу с обостренно чувствительным нюхом, – упоминается в еще одном рассказе Чехова «Ванька», где дедушка Константин Макарыч из озорства дает понюхать табак собакам, причем одноименная Каштанка «чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону».

ную стынь промозглого утра, не зеленело в глазах и не болело во всех суставах после утренней коммунальной толчеи и безжалостного целодневного армейского, заводского, учрежденческого или тюремного абсурда? Кого не заставляли ходить на задних лапах, понуждая к неестественным и противоестественным фигурам кадрили с власть предержащими? И скольким пришлось горько уразуметь, что даже твой кровный, тяжко заработанный, выстраданный кусок – **не твой**, даже когда ты уже готов праздновать маленькую победу выживания. (И зеркальным отражением этой желудочной аллюзии – принудительное кормление решившихся на голодный протест...)

«И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка».

Трудно поверить, что скулила она от тоски по этим играм. Скорее всего, она переживала их вновь и вновь, ужасаясь тому, что каждодневный кошмар не оставляет её и во сне, и ещё не веря, что избавлена от него. Это ощущение хорошо знакомо многим, и по природе своей сродни фантомным болям – подсознание изживает привычные ощущения, заменяя их новыми. Как признавался мой добрый знакомый, первые месяцы после морозной Москвы 1976 года и строя «янычар в зелёном» ему – сначала почти каждую ночь, потом всё реже и реже – снилось, что у трапа самолёта к нему подходят двое в штатском и говорят: «Мы всё-таки сочли ваш выезд нецелесообразным». (И по сей день его слегка передёргивает, когда он об этом вспоминает...)

Сон второй – тоже типично эмигрантский:

«Оставшись одна, Тётка ложилась на матрасик и начинала грустить... Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, бегать по комнатам и даже глядеть, затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при появлении их Тётка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила.... А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком».

Позади остались первые, самые острые переживания расставания с прежней жизнью и встречи с новой. Душа вытеснила страшное, тяжкое, кошмарное, пережила его – и возвращается к сладким и сокровенным воспоминаниям прошлого, которые под давлением повседневности становятся всё более расплывчатыми – забываются события, обстоятельства, имена, и лишь запахи, цвет, звуки держатся дольше всего. А дольше всего – ощущения страха. Именно таков третий сон.

Он описан коротко и характерно («Тётке приснился собачий сон, будто за ней гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха») – он просто «со-

бачий», т. е. ничего вроде бы не знаменует, но всё-таки она просыпается от страха, не до конца изжитого и отзывающегося на малейшее предчувствие поворота судьбы.

Четвёртый сон – это продолжение и развитие третьего. И опять Каштанке снится совершенно эмигрантский сон – борьба за существование и образ покровителя и защитника («мужик в шубе»), олицетворяющий её нового хозяина:

«...две большие черные собаки с ключьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках; они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах; изредка они оглядывались на Тётку, скалили зубы и ворчали: "А тебе мы не дадим! Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом; тогда Тётка подошла к лохани и стала кушать, но как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее..."»

И, наконец, пятый сон. Но о нём – в силу его особого положения и роли – мы упомянем в конце.

* * *

Итак, начинается эмигрантская жизнь Каштанки. Как выглядит она в эти первые дни? С чего идёт отсчёт?

«– Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! – говорил незнакомец, глядя, с какою свирепую жадностью она глотала неразжёванные куски. – И какая ты тощая! Кожа да кости...»

Как верно схвачено – первая, самая простая и общепонятная радость, наслаждение насыщения. Кто из эмигрантов не помнит это – гастрономический шок после полуголодного уныния советского общепита, жадность освоения новых вкусовых ощущений, знакомых в лучшем случае по книгам... (А многим знакомо и последующее – «Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды».)

Далее – обустройство. И тут чеховская мягкая ирония удивительно точно отражает этот памятный многим эмигрантам этап изживания привычных по прошлой жизни мерок:

«...она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше – у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижигом, лохань... У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками».

Вместо стружек под верстаком (т. е. производственных отходов, изначально не предназначенных для сна) Каштанка получает человеческое – и буквально, и метафорически – спальное место: матрасик. Деталь отнюдь не второстепенная: матрас как первое спальное место тоже знаком многим эмигрантам, а в этом контексте он ещё и близок к дивану, где спит хозяин, – иными словами, месту более высокого ранга. «Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза». Заметим – «разлеглась», эдак по-барски – ведь на стружках можно в лучшем случае свернуться калачиком.

Но матрасик вместо стружек – только начало; за переменами внешними, материальными (еда, обустройство) следуют перемены более высокого порядка. И первая, весьма символическая, – новое имя:

«Незнакомец подумал и сказал: "Вот что... Ты будешь – Тётка... Понимаешь? Тетка!" И, повторив несколько раз слово "Тётка", он вышел».

Как знакома эмигранту эта процедура – именование в новой стране, где даже привычное «Иван», хоть и похоже записанное латиницей, превращается в незнакомое «Айвэн», а уж превращений иосифов в джозефов и яковов в джейкобов не счесть. Фамилии начинают звучать неузнаваемо, а отчества и вовсе исчезают. По существу, новая жизнь Каштанки начинается именно с этого момента – обретения нового имени, легитимации, идентификации в новой среде, где всех животных (будь ты кот, гусь, свинья) кличут человеческим именем и даже с отчеством (Федор Тимофеич, Иван Иванович, Хавронья Ивановна). И вместо своей безличной клички, говорящей лишь о её окрасе (каштановая, т. е. тёмно-рыжая), Каштанка тоже обретает человеческое имя – Тётка.

Примечательно, что клички главной героини чётко делят повествование на три части: в прошлой жизни она – Каштанка, в новой – Тётка, и вновь становится Каштанкой в финале, возвращаясь к прежней жизни. (Примечательно также и то, что все человеческие персонажи повести имеют имена, а животные – клички; незнакомец же, спасший Каштанку, до конца остаётся почти безымянным – разве что упоминается его принадлежность «к разряду заказчиков», которых можно хватать за икры, да кто-то в цирке походя называет его явно цирковым псевдонимом «месье Жорж»; и это единственный человек в повести, заслуживающий доброго слова...)

«Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали Теткой. Привыкла она и к незнакомцу и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу». Да уж, к хорошему быстро привыкаешь... Каштанка не только изменилась внешне («из тощей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхленного пса»). Начинается переоценка первых впечатлений: «В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умен, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, кото-

рый не дает никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему: "rrrr"...) Успехи Каштанки в ученье бесспорны, и от первоначальной заниженной самооценки (традиционного эмигрантского синдрома) не остаётся и следа: «И Тётка так привыкла к слову "талант", что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой».

Но вдруг события приобретают трагический оборот⁵ – на гуся Ивана Ивановича наступает лошадь, и дружное сообщество лишается сотоварища. Показательно, как относятся к этому все – хозяин, понятное дело, грустен, а Каштанка даже лизнула лапу коту, что совершенно необычно для собаки. Но смерть Ивана Ивановича – трагедия, открывающая для Каштанки новые возможности профессионального роста и артистической карьеры, как это часто бывает в мире людей. Сколько эмигрантских карьер начиналось именно так – оказаться в нужном месте в нужное время...

Каштанка попадает наконец-то на арену – она «мельком оглядела тот мир, в который занесла ее судьба, и, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном месте». После долгого учения ей доверили Работу, и как хорошо помнит каждый эмигрант это мгновение. Казалось бы – жизнь удалась, трудности и страхи позади, впереди блестящая карьера. Но внезапно полупьяный вопль Луки Александрыча, старого её хозяина, властно выдёргивает её из нового бытия.

«Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один – детский, другой мужской, громко позвали: "Каштанка! Каштанка!" ...Тётка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое – пухлое, краснощекое и испуганное, ударили по ее глазам, как раньше ударил яркий свет...»

И это наиболее драматический момент – превращения Каштанки в «возвращенца»:

«Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам».

«Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком».

Вот что интересно: увидела она не Луку Александрыча, не Федюшку – увидела *лица*, бросилась к *лицам*, шла по улице *за людьми*, причём *пахнущими клеем и лаком* (это то, как воспринимает собака самый важный отличительный признак окружающих существ: запах). Но так можно сказать о

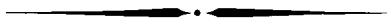
⁵ Следует отметить, что жанр рождественского рассказа был далеко не чужд Чехову – в 1883 году он пишет «В рождественскую ночь». Но следующее его произведение в этом жанре уже приобретает драматический и даже трагический оттенок – это «Ванька» (1886).

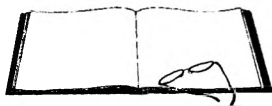
незнакомых, а ведь Лука Александрыч и Федюшка – вроде как свои, родные... Гениально подметил Чехов: после долгой разлуки даже близкие люди выпадают из душевной настройки, и для возобновления ранее привычного душевного резонанса нужно время. Впрочем, у Каштанки это занимает считанные минуты. Под уже порядком забытые ламентации Луки Александрыча («А ты, Каштанка, – недоумение. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра») она «глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту».

И завершается этот эпизод упоминанием сна. Но, в отличие от первых четырёх, пятый сон – метафорический. Чехов подводит читателя к этой метафоре, тонкими и точными штрихами набрасывая картину возвращения, встречи с прошлой – столь узнаваемой – жизнью. Этот сон противопоставлен первым четырём тем, что отрезок жизни, прожитый столь необычно, представляется Каштанке именно *сном*: «Вспомнила она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк, но все это представлялось ей теперь, как длинный, перепутанный, тяжелый сон...» И не просто сном, а «перепутанным и тяжёлым», пробуждение от которого – избавление, облегчение. Облегчение ли? Неужели так коротка собачья память?

В юности, перечитывая эту повесть, я всякий раз досадовал на Чехова – ведь оборвал он её на самом интересном месте. Чем обернулось для Каштанки возвращение? Неужели такой неожиданный и поучительный опыт получен и пережит зря? Неужели столь очевидные ценности, как работа по душе, которая ещё и неплохо кормит, уважение окружающих, комфорт, в конце концов, – хуже побоев и издевательств? Неужели нормальные условия жизни можно так легко назвать «перепутанным, тяжёлым сном»? Смогла ли впоследствии Каштанка сравнить прошлое и настоящее, и появилось ли у неё хоть малейшее сожаление о бездумном эмоциональном порыве, вернувшем её в полуголодное и ущербное существование?

И владимовский верный Руслан, и булгаковский Шариков вправе сказать – «все мы вышли из чеховской "Каштанки"»...





кандидат философских наук, культуролог, автор большого числа статей и эссе, а также книг «Конец стиля» и «След». Живет в США.

СТАВКА НА ДОСТОЕВСКОГО

В американской прессе появилось следующее сообщение:

«Достоевский был достаточно известен своим пристрастием к игре, но его правнук Дмитрий подал в суд на государственную спортивную лотерею за использование ею имиджа автора "Преступления и наказания", "Братьев Карамазовых" и "Игрока". Дмитрий Достоевский, житель Петербурга, начал дело в московском суде против компании "Честная игра", требуя уплаты убытков в сумме двухсот тысяч рублей или семи тысяч ста пятидесяти долларов. Господин Достоевский говорит, что он зарегистрировал имя Достоевского как торговую марку еще в прошлом году. "Честно говоря, я никогда не думал, что это окажется необходимым, – сказал он в интервью газете "Труд", – но нет другого пути остановить поток отвратительной рекламы". Имя Достоевского употребляется как марка для казино, кафе, шопинг-молов и ювелирных магазинов. Представительница фирмы "Честная игра" защищает правомочность употребления имени Достоевского в целях бизнеса. "Участники лотереи получают возможность узнать о жизни своего великого соотечественника, прочитав его биографию, напечатанную на обратной стороне лотерейных билетов", – сказала она газете "Известия". Дмитрий Достоевский говорит, что лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын предложил взять на себя расходы по ведению процесса».

Это, конечно, сенсационное сообщение. Как говорится, пальчики оближешь. И сенсационность – не в факте самом, а в вызываемых им представлениях, образах, мыслях о России. Я резюмирую свои впечатления так: со-

общенное – не информация, а притча, Достоевский получил то, что заслужил. Но это не возмездие Достоевскому, а его триумф. Образ страны, в которой родился, жил и работал писатель, сделался страницей из его сочинений. В России разворачивается полным ходом действие романа Достоевского «Игрок». Вот, оказывается, главное его сочинение, а не «Братья Карамазовы».

Такие откровения всегда суть убедительнейшие свидетельства величия писателя. Сходный случай был в 1917 году, когда все вдруг увидели, что Россия моделирована в «Мертвых душах» – перед этим незадолго очень культурно поняв, что Гоголь – отнюдь не реалистический писатель, каковым его пытались представить школа Белинского. Великое писательство – не хроника эпохи, а проникновение в вечные архетипы. Тогда даже Розанов, ненавистник Гоголя, признал, что он велик как никто. А Бердяев в статье «Духи русской революции» написал, что русская революция – смесь Манилова и Ноздрева.

Игроком был, как известно, и сам Достоевский. И он не единственный среди русских гениев: играли и Пушкин, и Толстой, и Некрасов, и Маяковский. Тема карточной игры – очень значимый содержательный пласт русской литературы. В «Маскараде» Лермонтова действие разворачивается вокруг игорного стола.

Опять же – как ее, эту тему, брать: как характеристику личности писателей или как острое художественное построение, или как-то еще? Заглянем в Лотмана, написавшего и об этом – как всегда, основополагающе. Его работа называется «"Пиковая дама" и тема карт и карточной игры в русской литературе начала 19-го века». Статья шире своего названия, там и Достоевский – естественно, "Игрок".

Основной, пожалуй, тезис Лотмана:

«Осмысля дворянскую культуру петербургского периода, современники часто объясняли ее решительностью разрыва с традицией русской культуры, произошедшего в результате реформ начала 18-го века. Можно высказать предположение, что причина здесь крылась в явлении прямо противоположном: в том, что целый ряд общественных структур – в первую очередь социально-политических – оказался необычайно устойчивым. В результате реформы резко обострили культурный полиглолизм (многоязычие), следствием чего явилась, с одной стороны, обостренная семиотичность культуры 18-го века в России, а с другой – не много-, а разноголосый ее характер, который представлялся современникам в виде противоречивого целого, моделируемого на вершинах жизни с помощью четких и умопостижаемых моделей, но в реальной жизни являющегося ликом хаоса, торжества случайностей, образом которых является мир азартной карточной игры».

Итак, карты – иллюзия свободы в несвободном обществе. Но, конечно, исследователь такого масштаба, как Ю. М. Лотман, не мог не пойти даль-

ше, за пределы социологической интерпретации. Напрашивается тема историко-культурная, связанная с опытом европейской истории. Модельная ситуация здесь – крах рационалистического Просвещения в опыте Французской революции. На место Робеспьера приходят герои Бальзака. Но, конечно, тема карт, случайности, шансов – тема метафизическая, а не только культурно-историческая. Поэтому у Лотмана звучит и такой тезис:

«Отождествление игры с убийством, гибелью, а противника – с inferнальными силами связано с интерпретацией случайного как хаотического, деструктивного, сферы энтропии – зла. Однако возможна модель мира, в которой случайность будет иметь не негативный, а амбивалентный характер: являясь источником зла, она также путь к его преодолению».

Случайность открывает возможность Чуда. И речь тут идет уже не о вульгарном обогащении. Человек Играющий (не в смысле Хейзинги, конечно) становится, так сказать, сотворцом мира. Но это и есть тема «Игрока» Достоевского. Тема карточной игры берется в ней и как характеристика русской ментальности, в довольно узком смысле национальной психологии, и еще шире – как мироотношение русского человека, его метафизическая характеристика.

В романе «Игрок» есть замечательный фрагмент, представляющий собой своего рода декларацию, русский культурный манифест (скорее, однако, антикультурный). Это рассуждение Алексея Ивановича о русских и немцах, о том, что русскому человеку противны способы существования и образ жизни немецкого бюргера, с его аккуратностью, самообладанием, терпеливостью в достижении цели и мелочностью самой цели – составить капитал, чтоб передавался из поколения в поколение. Можно сказать, что слово «немец» употреблено здесь Достоевским скорее в том смысле, какой придавался этому слову еще в давние русские времена – немцем назывался любой иностранец европейского происхождения; немец – значит немой, не говорящий по-нашему. Это рассуждение Алексея Ивановича чрезвычайно выразительно, но цитировать его полностью невозможно, оно слишком длинно; возьмем только заключительные слова:

«...в катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее, нам, русским, деньги тоже нужны, а следовательно, мы очень рады и очень напдки на такие способы, как, например, рулетка, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь. Это нас очень прельщает; а так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся!»

Один из персонажей «Игрока», которого можно считать положительным, англичанин мистер Астлей говорит нечто похожее:

«На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так другое, подобное ей. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд (я не о народе вашем говорю). Рулетка – это игра по преимуществу русская».

Все эти пассажи, так сказать, могут служить лучшей иллюстрацией к вышеприведенным словам Лотмана – если, конечно, не забывать, что это Лотман комментирует Пушкина и Достоевского, а не они пишут иллюстрации к Лотману. Вспомним еще раз соответствующую мысль: русская жизнь не имеет культурной целостности, организованной системности, твердого порядка, понятных и соблюдаемых правил. В такой ситуации жизненный успех может выпасть на долю людей, менее всего этого успеха – положения, богатства – заслуживающих. Лотман вспоминает в связи с этим феномен фаворитизма, столь характерный для периода пяти цариц после Петра Первого – от дочери его Елизаветы Петровны (да еще и раньше, от вдовы самого Петра – первой Екатерины) до Екатерины Великой. При них поднимались на вершины просто-напросто красивые мужчины, и если при Екатерине Второй среди этих выдвинутых встречались не просто красивые, но и деловые, действительно способные люди, например, Потемкин, то при Анне Иоанновне возвысился Бирон. «Вельможа в случае», как говорится у Грибоедова в «Горе от ума»: случай – путь к успеху. Лотман, кстати, считает, что нужно это слово произносить с ударением на «а» – случай; действительно, получается много выразительней – напоминает о случке как предусловии карьеры (раньше говорили не карьера, а «карьер», что опять-таки наводит на мысль о жеребцах).

Во времена, к которым приурочено действие «Игрока», русские гуляли за границей по другому случаю: помещики, у которых забрали земли в пользу крестьян (а забрали действительно много, вопреки тому, что писали при большевиках, дворянство как класс было подорвано), – они получили значительные денежные компенсации, причем единовременно, сразу большие суммы на руки, «нал», как сейчас говорят. К тому же произошла всяческая либерализация, за границу ездить можно было без затруднений – ну и поехали в Европу гулять русские люди образованного класса. И нынче, вспоминая эту давнюю вроде бы историю, нельзя не подумать о пресловутых *новых русских*; но это скорее екатерининские вельможи, попавшие в случай, все эти олигархи, богатства свои отнюдь не заработавшие честным трудом – им выпал шанс в очередном повороте русской исторической рулетки. «Социология» в России повторяется, а значит, это уже и не социология, а какой-то, что ли, закон природы (русской природы, разумеется), а точнее – рок, каприз богов, кого-то озаряющий

Чудом, а кого-то (таких большинство) низводящий в бездну, ничтожащий.

Жизнь без начала и конца,
Нас всех подстерегает случай:
Над нами сумрак неминучий
Иль ясность Божьего лица.

Риторический вопрос: можно ли считать нынешнее возвышение православной церкви – «ясностью Божьего лица»?

Получается, что русская судьба определяется не социально-культурными детерминантами, а игрой шансов безумной рулетки. Что апелляция к культурному порядку ничего не дает. И более соблазнительная мысль провозируется такими ситуациями: культурный порядок, культура как таковая, веками создаваемая, не есть гарантия против катастрофы. И ведь эта мысль соблазнительна тем, что действительно оправдывается фактами истории, причем не только русской. Вспомнить хотя бы войну 1914 года: кто ее мог предвидеть? как она стала возможной на континенте, столетиями возводившем здание действительно высокой культуры?

Найл Фергюсон, английский историк, работающий сейчас в США, написал недавно о вариантах новой катастрофы западного мира, в частности, о том, что захват власти в Саудовской Аравии исламскими экстремистами будет большим ударом по Западу, чем большевицкая революция 1917 года. И ведь действительно вполне просматриваемая возможность.

Хорошо известно, что русская история шла не путями органического роста, а прерывно, в ритме катастроф. Попытки возведения культурных плотин в России против всяческих потоков ничего не давали. Это было очень обидно для русских либералов, действительно порядочных и желавших своей стране добра людей. А рядом стоял ретроградный джентльмен из «Записок из подполья» – не сам ли Достоевский в данном случае? – и насмешливо предрекал невозможность хрустального дворца. И ведь «хрустальный дворец» – это не только социализм, а культура вообще, такая попятная и благородная мысль человека устроиться на земле.

Вот и думайте, что лучше: копить деньги и создавать порядок, как немцы – очень остроумно распорядившиеся своими капиталами в 1933 году, – или с самого начала поставить всё на рулетку? Выбор Достоевского, действительного и бесспорного гения, известен. Гений – это риск, стояние над бездной: это опасно, это страшно. Так и мир видит гениев: не как божественный порядок, а как хаос. Сыграемте в рулетку, предлагает Достоевский; и нынешнее его появление на оборотной стороне лотерейных билетов – апофеоз его судьбы, найденная наконец-то для него форма вечности.

Будем, однако, надеяться на благоприятный исход – ведь Солженицын взялся оплачивать тяжбу потомков Достоевского против русской судьбы.



инженер-программист. Живет в Израиле.

ПО СТОПАМ ЖАБОТИНСКОГО

1

Сначала несколько цитат – ну, хотя бы для разогрева национального самолюбия. Или для ущемления национальной гордости, что, в некотором смысле, одно и то же. Итак:

«Внешняя политика Израиля страдает... отсутствием системы приоритетов и четко очерченных целей... Одним из самых разительных примеров тому стали израильско-китайские отношения. История с несостоявшейся продажей Китаю самолетов "Фалькон" наглядно продемонстрировала... что те, кто определял внешнюю политику Израиля, действовали наобум, не оценив важнейших факторов международной политики. Хуже того, они не задумались над тем, какими интересами руководствовались те, кто "проталкивал" сделки, направленные на укрепление военного сотрудничества с Китаем. В прежние времена наше руководство проявляло более глубокое понимание подобных вопросов. Бен-Гурион в свое время понял, что углубление отношений с СССР будет равнозначно полному разрыву с США и странами Запада, и принял однозначное решение об ориентации на Запад... К чести Ицхака Рабина следует сказать, что он... осознавал опасности, которые таит в себе слишком тесное сближение с Китаем... Китаю от нас нужны современные военные технологии, и всему миру известно, что китайцы расплачиваются за них хотя и щедро, но одновременно... Все это было известно изначально, но в силу недомыслия нашего руководства было решено продать китайцам систему "Фалькон". Интересы конкретного бизнесмена, которого заботила выгода концерна "Таасия авирит"... преобладали над стратегическими интересами государства. Это ошибочное

решение было принято чисто "по-израильски": очевидная проблема была "замечена под ковер"... Было решено, что если "уж очень приплет", то премьер-министр съездит в Америку, немножко "подмажет" президента Клинтона, встретится с той или иной группой конгрессменов, и дело будет в шляпе. Разумеется, вышло совсем не так, как "планировалось": кризис в отношениях с США, кризис в отношениях с Китаем, огромный ущерб авиационному концерну. Благодаря этой истории мы создали широкий антиизраильский фронт на Капитолии».

«Другой разительный пример израильского недомыслия – наша политика в Восточной Европе. После распада коммунистического блока... во многих восточно-европейских государствах рассчитывали на серьезную, конструктивную и масштабную экономическую и техническую "интервенцию" Израиля. Эти страны, за исключением России, не имеют имперских амбиций. Они сосредотачивают все свои усилия на улучшении своего экономического положения. Поэтому мы могли с минимальными затратами приобрести надежных союзников на международной арене и выгодных партнеров, чей рынок практически неограничен для израильских технологий, товаров и опыта.

Увы, в отличие от 60-х годов, никакого планирования, никакого анализа ситуации проведено не было. Более того, началась дикая конкуренция всевозможных государственных ведомств, изо всех сил старавшихся вставить друг другу палки в колеса: МИД, Мосад, "Натив", Еврейское агентство (Сохнут). Правая рука не знала, что творит левая. Соответственно, уникальный шанс был упущен».

«[Все дело в том, что] министерское кресло у нас – просто кость, которую бросают тому, кого надо утихомирить или умиловить в ходе коалиционных торгов. При этом индивидуальные способности, уровень образования и наличие специальной подготовки человека в расчет не берутся... А всякий раз, когда министерских портфелей "не хватает на всех", количество министерств искусственно увеличивается до размеров, необходимых для того, чтобы были сыты волки и целы овцы».

«[Все это] неизбежно ведет к стагнации, к полному параличу исполнительной власти. Вот пример: в 1971 году правительство приняло решение о создании инфраструктуры пригородных поездов в Большом Тель-Авиве. Прошло более 30 лет, а дело не сдвинулось из-за межведомственных дразг, неувязок, несогласований... Еще пример: перенос в другое место аэропорта Сде-Дов на севере Тель-Авива. Расположение этого объекта в густонаселенной полосе... представляет экологическую и военную угрозу. В течение десятилетий судят и рядят о необходимости найти альтернативное решение, но все идеи попадают под сукно из-за бюрократических неувязок».

«Надо признать, что наряду с бюрократическим монстром, чинящим всему препятствия, наряду с внутренней, структурной слабостью нашей государственной машины, мы страдаем также подлинной деградацией руководства на личном уровне – и это касается и левого, и правого лагерей.

Наши лидеры больше думают, как бы победить на следующих выборах, как бы сохранить популярность, как бы улучшить свое положение в социологических опросах и повысить свой рейтинг... При таком положении... невозможно принимать судьбоносные... и по сути своей непопулярные решения. В 50-е годы Бен-Гурион пришел к выводу, что Израилю необходимо разработать собственное оружие массового поражения... Против этого возражали многие из руководства его партии... понимавшие, что это неизбежно приведет к снижению уровня жизни в стране. Бен-Гурион ответил им, что готов пожертвовать уровнем жизни ради уровня безопасности... Увы, в наше время принятие подобного решения невозможно. Израильские правительства стали слишком раздуты и неповоротливы... У нас есть масса министерств, рожденных во грехе и смраде, – в виде коалиционного подкупа. Так было изобретено министерство экономики – его придумал Бегин для своего друга Якова Меридора; так появились министерства абсорбции, науки, культуры и спорта; так появилось и министерство экологии».

«Утрата обществом боевого духа объясняется не тем, что все уверовали, что противник больше не задастся целью уничтожить наше государство, а совсем иной причиной: полной утратой доверия народа к своему руководству, ощущение, переросшее в уверенность, что наши вожди не имеют понятия, куда они нас ведут».

«В кнессете нужны способности... полемиста: умение киногенично выглядеть перед объективами и хорошо звучать в эфире, плести интриги, а главное, иметь железную стойкость, необходимую для посещения бесконечных свадеб, бар-мицв, поминок и т. д. сотен и тысяч членов ЦК партий (а эти люди, как правило, очень не любят, когда ими манкируют и старательно считают "знаки внимания"). Среднестатистический политик знает, что получение депутатского мандата – производная двух факторов: умения "подмасливать" членов ЦК своей партии или "маклеров" и "электоральных подрядчиков", а также умения любой ценой мелькать в газетных заголовках и маячить перед телекамерами... И самое страшное: [вся эта] внутрипартийная конкуренция ведется исключительно на личном уровне. Тут нет и тени конкуренции идей, планов, проектов, все подчинено выпячиванию своей персоны и выпадам в адрес конкурентов».

«Наше общество дошло до пугающей поляризации и раскола между секулярными и религиозными кругами, ашкеназизм и сефардами, жителями городов развития и кибуцев, кварталов бедноты и Рамат-Авива, новыми репатриантами и старожилками, работниками наукоемких предприятий и текстильных фабрик и т. д. и т. п... Накал полемических страстей в израильском обществе все возрастает и принимает самые острые формы: крикливые демонстрации ультраортодоксов у здания Верховного суда; стычки и драки, переходящие в поножовщину, между выходцами из стран СНГ и Марокко; непрекращающиеся демонстрации и акции протеста бездомных и обездоленных; матери-одинок и инвалиды, непрестанно протестующие против экономической политики одного правительства за другим; и в

довершение всего – скрытое и явное противостояние тех, кто так и или иначе идентифицирует себя с правым или с левым лагерем».

«Противостояние отдельных лагерей и секторов нашего общества достигло критической точки, угрожающей самому нашему существованию. Но различные партии и политики, вместо того чтобы бороться за объединение общества, цинично используют существующие трения в своих личных и партийных интересах. Они знают, что декларируемая ими бескомпромиссность повышает их "рейтинг"... Один уселся на антирелигиозного конька, другой на "русского", третий занял позицию "непримиримого борца за мир", четвертый стоит насмерть за неделимую Эрец-Исраэль и т. д. Каждый из них, зарабатывая голоса, расширяет трещину. Каждый возводит свой особнячок, разрушая при этом... общий дом... Всех их волнуют только личные карьеры, личные интересы... И все это оправдывается тем, что, мол, "государство достаточно сильно, с ним ничего не случится")».

«Большинство политических партий уже даже не пытается предложить людям сколько-нибудь внятную идеологическую платформу, программу общенационального значения. [А ведь] гетерогенное общество, не несущее в себе ничего, что цементировало бы отдельные его компоненты, обречено»*.

2

В гостиной нового русского сионизма в красном углу висел портрет Жаботинского. Не Герцля с его двусмысленной бородой и, разумеется, не Бен-Гуриона с его социалистическими замашками, но своего, русско-еврейского пророка, сжимавшего в руках томик пламенных «Фельетонов». У русских сионистов начала 1970-х были, конечно, и другие пророки, но Жаботинский более всех прочих укреплял их в оскорбленном чувстве национального достоинства и своей исторической значимости. Другие твердили об иных греющих душу еврейских заслугах: скажем, о мессианстве или данной миру универсальной морали, но в окончательном раскладе выяснилось, что оскорбленное национальное и человеческое достоинство – самый надежный горячий материал. «Ленинградский процесс», на котором Эдуарда Кузнецова и Марка Дымшица приговорили к смертной казни, продемонстрировал это намного раньше, чем советская власть это поняла.

В Израиле Жаботинского тоже чтят, хотя иначе. Его портреты не висят в красных углах, зато его имя украшает уличные таблички, уступая в частоте разве что Герцлю и Бен-Гуриону. Это превращение пламенного одесского пророка в растиражированную уличную табличку весьма знаменательно. Оно говорит о произошедшей в Израиле бюрократической банализации сионизма – и говорит больше, чем иные увесистые тома. Эту печальную сионистскую метаморфозу можно ощутить и в тель-авивском Доме Жаботинского, где, кроме музея, помещается также штаб-квартира партии

* Из книги Авиغدора Либермана «Ничего, кроме правды» (Тель-Авив: Изд-во «Иврус», 2005).

Ликуд, заявляющей себя наследницей его идей. На самом деле ни один из лидеров этой партии, начиная с Менахема Бегина и до возглавлявших Ликуд после него Исраэля Шамира, Ариэля Шарона и Биньямина Нетаниягу, никогда не были мыслителями. Практики – несомненно, государственные мужи – в известной степени, политики – разумеется, но интеллектуалами их нельзя назвать даже издали, не приглядываясь вплотную. Этой партии вообще не очень везло на интеллектуализм, словно весь ее мыслительный потенциал был раз и навсегда исчерпан Зеэвом Жаботинским. Его истинными духовными наследниками были не партийные вожди, а одиночки-маргиналы, вроде Юлия Марголина или Исраэля Эльдада, и показательно, что первый из них уже в 1950-е годы признавался, что при всем уважении к «бомбистам» из своей партии он не знал бы, о чем с ними говорить при личной встрече, а второй в то же самое время сетовал, что дух Жаботинского давно уже не осеняет ни партию Херут, ни ее уважаемого лидера.

Так что ниша в красном углу и впрямь давно опустела, но всегда взывала к заполнению – хотя бы самой своей пустотой, – и вот сейчас первую серьезную заявку на ее заполнение – разумеется, не новым портретом, но прежним духом – сделал человек, хотя и выросший в Ликуде, но, судя по всему, переросший рамки его провинциального догматизма. Книга Авиغدора Либермана «Ничего, кроме правды», действительно, заслуживает названия «книги в духе Жаботинского», но не по сходству стиля или темперамента двух этих авторов (они различны настолько, насколько и должны отличаться автор бодрящих времен сионистского «Рассвета» от писателя угрюмой эпохи сионистского кризиса), а, прежде всего, тем, что это первая за многие годы книга, написанная настоящим «зеэвистом» (нося то же имя, я предпочитаю это определение непроизносимому слову «жаботинец»). Ее автор – не просто «хороший ученик» своего наставника; он, что куда важнее, **мыслит** в его духе или, выражаясь высокопарно, идет по его стопам (честно оговаривая это одноименным названием одной из глав).

Эта оценка может показаться завышенной и потому требующей доказательств, в качестве одного из которых следовало бы предъявить самую сильную сторону этой книги – ее монолитную сквозную «жаботинскую» логику. К сожалению, комментаторы (их было особенно много в израильской прессе) ограничились однообразными – и однообразно поверхностными – похвалами или столь же поверхностной критикой, единодушно пройдя мимо идейной сути и логической нити рецензируемого труда и сосредоточившись на политической позиции автора и его электоральных претензиях. Все это было вполне ожидаемо: переживаемая израильским обществом «сионистская метаморфоза» привела к полной утрате вкуса к содержательному идеологическому дискурсу, и если так пойдет и дальше, то вскоре книги вообще будут оцениваться согласно их «рейтингу» в очередных опросах общественного мнения. Реакция же русскоязычной израильской прессы и вообще свелась к дружному, из рецензии в рецензию, переписыванию сомнительного тезиса переводчика книги о «непереводимос-

ти» ее названия: дескать, по-русски нельзя сказать «Моя правда» (как названа книга в ее ивритском оригинале), потому что в русском языке не бывает «многих правд» (?). К сожалению, выбранное переводчиком «Ничего, кроме правды» внушает читателю ошибочное впечатление, будто автор полагает, что правда одна, и она принадлежит именно ему, тогда как в действительности он очевиднейшим образом хотел высказать именно «свою» правду. Вот его собственные слова на сей счет (сказанные, впрочем, по частному поводу): «Я не могу быть абсолютно уверен, что путь, предлагаемый левым лагерем, заведомо порочен и бесперспективен. Я даже допускаю, что избранный мною путь хуже того, что предлагают мои оппоненты. Что же, пути могут быть разными... Ни у кого нет монополии на знание истины или единственно верного пути к миру».

«Истина» Либермана как раз и выражена в логически цельной концепции его книги, и, как уже сказано, это – концепция Жаботинского. Она называется «либеральным национализмом», и поэтому уместен вопрос – а что называть «национализмом»? Об этом написаны, как известно, тома, из которых автор берет как наиболее близкое ему («МОЯ правда») определение Жаботинского: «Вначале Бог создал нацию». Как мы знаем, Бог создал нацию как минимум на пять с лишним тысяч лет позднее «начала», тем не менее «правда» этого определения – именно в этом слове: «Вначале». Известно, что Жаботинскому импонировал националист Муссолини с его идеей о нации, как о связке прутьев-фасций, и некоторые критики Жаботинского слева на этом основании даже обвиняли его в скрытых симпатиях к фашизму. В действительности, разумеется, Жаботинскому импонировало не фашистское будущее дуче и уж, конечно, не его социалистическое прошлое, а идея о «единстве нации» как высшем принципе организации общества. Когда социалист Муссолини открыл для себя «нацию», он перестал быть социалистом: идея классовой борьбы, центральная (по крайней мере, в принципе) для любого социализма, была принесена в жертву этому «национальному единству». (Слова «в жертву» тут совершенно уместны, ибо практически это было достигнуто посредством жесточайших репрессий.)

Сквозная идея Либермана – национальное единство. Именно последовательно-логическое развитие этой исходной идеи позволяет ему дать выдержанный в едином духе критический анализ израильской политической системы и ее нынешнего глубочайшего кризиса. Многие положения книги, которые радостно выхватывают из нее комментаторы (прежде всего – мысль о необходимости «обмена территориями и населением» между Израилем и будущим палестинским государством), просто не могут быть правильно поняты в отрыве от логики этого анализа, потому что они являются его конечным и естественным выводом, а не механической смесью «политических рецептов». Даже беглый пересказ логики книги позволяет немедленно это понять. Страну, говорит Либерман, раздирают противоречия. Ее политическая система порочна. Общество рассечено линиями многочисленных противостояний. В такой ситуации важнейшая задача состоит

в том, чтобы найти «главное звено» всех бед. Таким звеном, на взгляд автора, является отсутствие национального единства. Что мешает созданию такого единства? Причин несколько, но противоречия между «собственно еврейскими» лагерями кажутся Либерману, в конечном счете, преодолимыми. Их можно преодолеть, если принести их в жертву национальному единству – как того и требует концепция либерального национализма. (Будучи либеральной, в отличие от национализма Муссолини, она не требует для этого репрессий, заменяя их принципом «национального консенсуса», т. е. добровольного соглашения, выработанного на основе общественного дискурса.) Непреодолимо только одно – противостояние еврейского и нееврейского (арабского) населений, пестующих непримиримо разные «национальные идеи». Единственный «либеральный» способ устранить (или, по крайней мере, ослабить) это противостояние – обмен населением. Мы еще вернемся к этому выводу. Пока же заметим, что если согласиться всерьез рассмотреть эту – на первый взгляд, фантастическую – идею, немедленно обнаруживается, что она одновременно дает решение (во всяком случае, одно из наиболее удобных и простых решений) другого важнейшего вопроса – безопасности. Обмен населением позволяет даже крайним правым согласиться на создание палестинского государства, ибо они выигрывают однородное еврейское государство, иными словами – выигрывают демографию. Таким образом, здесь заключена парадоксальная диалектика – увеличивая опасность «извне» (палестинское государство), это решение укрепляет безопасность «внутри» (создавая как идеологические, так и демографические предпосылки для национального единства). По убеждению автора, «внутренний выигрыш» намного важнее, ибо сплоченная нация может одолеть все прочие трудности. В частности, она – и только она – может создать ту мощь, которая позволит ей построить другую «стену безопасности» – не бетонную стену Шарона, а «железную стену» Жаботинского (некогда провозглашенную в его одноименной статье).

3

Таким – естественным – образом структура книги сразу же выстраивается в той логической последовательности, которая навязывается самим ходом авторских размышлений: внешнеполитический кризис – пути его преодоления – создание предпосылок национального единства – преодоление политического кризиса – программа национального возрождения.

Внешнеполитический анализ Либермана начинается с важнейшего утверждения, которое страшатся выговорить все другие израильские политики: нынешнее состояние так называемого «палестинского вопроса» – это наших собственных рук дело. «В этом виноваты и правые, и левые наши политики. Левые не использовали возможностей в корне изменить ситуацию в Эрец-Исраэль. В 1967 году в Иорданию из Иудеи и Самарии бежали сотни тысяч арабов. Правительство во главе с Леви Эшколем, Моше Дая-

ном и Игалем Алоном по окончании войны милостиво впустило их всех обратно. В 1970 году, во время "Черного сентября", Моше Даян всячески помогал королю Хуссейну, хотя именно в этот момент сложились все условия для превращения этой страны в подлинно палестинское государство.

Правые, в свою очередь, допустили стратегическую ошибку, упорно твердя "нет" любым попыткам достижения мира, не предлагая никаких конструктивных планов. Если бы Бегин довел до конца осуществление идеи палестинской автономии, реализация которой была оговорена Кемп-Дэвидскими соглашениями, наша ситуация сейчас была бы куда лучше. Премьер-министр Шамир, с порога отвергший так называемую "иорданскую опцию" и тайные Лондонские соглашения, заключенные Шимоном Пересом и королем Хуссейном, тоже не предложил никакой альтернативы. Затем все то же повторилось на Мадридской мирной конференции: мы делали шаг вперед и тут же откатывались на два шага назад. Если бы мы пошли в Мадриде до конца и провели бы всеобщие выборы на "территориях", авантюры Осло попросту не было бы. Правый лагерь допустил ошибку, полагая, что время работает на нас, и вел безынициативную и откровенно ретроградскую политику».

Кое-кто может заподозрить Либермана в «измене ценностям и целям». Еще бы – он даже говорит о «палестинском государстве». В действительности, Либерман остается самим собой. Просто, в отличие от тех, кто упорно твердит «нет» или, проще, не меняется, потому что не думает, а не думает, потому что так проще (или нечем думать), он – думает. Он прячет свою логическую нить. Для него по-прежнему соглашения Осло – стратегическая ошибка, умноженная иллюзией возможного «обращения» «мирного процесса» в случае невыполнения палестинской стороной ее обязательств. Он убедительно показывает, почему эта надежда Рабина оказалась иллюзорной и каких национальных унижений она нам стоила. Равным образом иллюзорными кажутся ему теперь упования на «международные миротворческие силы» или «разделительный забор» – здесь он тоже опирается на факты недавнего прошлого, и ему трудно что-либо возразить. Но главной израильской иллюзией он считает надежду на обретение мира ценой бесконечных уступок. Жирным шрифтом выделено в тексте принципиальное для автора утверждение: **«Только соотношение сил, исключающее возможность нападения на нас, обеспечит подлинный устойчивый мир»**. Это многословное – для абсолютной ясности – утверждение давно имеет яркое метафорическое выражение: железная стена. И спустя две страницы автор возвращается к ней: «Эта идея [Жаботинского] формулируется четко и ясно: единственный способ достичь мира с арабами – это железная стена, иными словами – наличие в Эрец-Исраэль такой еврейской силы, перед которой не устоит ни одна арабская сила, и это превосходство должно быть очевидно всем арабам. Отсюда, вполне логически, следует вывод: мира следует добиваться с позиции силы, а не слабости. Пока мы не почувствуем, что идем к миру с позиции силы, лучше прекратить попытки достижения мира».

Не следует, однако, на основании этой рекомендации торопиться с другой крайностью, объявляя Либермана «типичным правым», как нельзя объявлять его «предавшим правые идеалы» за размышления по поводу палестинского государства. Либерман как раз «нетипичный». Он не «левый» и не «правый», он – думающий. Размышления приводят его к необходимости отложить переговоры о мире, но в то же время он уверен, что политическое урегулирование палестинского кризиса – шаг, в конечном счете, необходимый и неизбежный. В этом его, как ни странно, убеждает именно непримиримый фанатизм ислама вообще и палестинцев в частности. Ответ на эту непримиримость снова диалектически парадоксален: нужно отгородиться от него «железной стеной». А это требует размежевания. Даже ценой создания палестинского государства, если это позволит возродить еврейское национальное единство и тем самым создать упомянутую стену. Более того: грозную опасность представляет собой и «ислам внутри Израиля», уже сегодня такой же непримиримо фанатичный и вдвойне опасный, потому что он уже «внутри крепости».

Либерман посвящает множество страниц доказательству реальности этой угрозы и ее серьезности. Сегодня она оскорбительно опасна только своей безнаказанностью, но завтра она может стать опасной смертельно, потому что она растет. «Десять лет назад никому бы и в кошмарном сне не привиделось, что израильские арабы могут устраивать массовые шествия, неся портреты смертельных врагов Израиля – вроде шейха Насраллы – и транспаранты с призывами стереть с лица земли Государство Израиль... Арабы Израиля отнюдь не стремятся стать гражданами Египта, Сирии, Иордании или государства Фаластын... Они хотят изменить саму сущность государства Израиль, превратив его из государства евреев в так называемое государство всех граждан». Можно ли устранить эту опасность полумерами? Здесь ответ Либермана звучит точно так же, как его мог бы произнести Жаботинский: «Ошибается тот, кто полагает, что всевозможные ассигнования, льготы, корректирующая дискриминация и т. п. сведут на нет эти национальные устремления арабского населения». В духе либерального националиста Жаботинского либеральный националист Либерман признает право любого народа на свою национальную идею. И именно поэтому он заключает – опять же в духе своего учителя: «Честность перед самим собой требует от меня дать отрицательный ответ на вопрос: верю ли я в сосуществование евреев и арабов в Государстве Израиль?» И уже вполне логически отсюда следует, что «единственным, хотя и кажущимся многим пока нереальным решением проблемы является полное отделение друг от друга двух народов, населяющих эту страну». Иными словами, «перерасдел территорий между рекой Иордан и Средиземным морем».

Заметим – речь идет даже не о пресловутой демографии. Как и подобает в идеологическом дискурсе, речь идет о непримиримом столкновении двух национальных идей. Либерман «всего лишь» додумывает то, что страшатся додумать «типичные правые»: он честно доводит идеологию либе-

рального национализма до ее логического конца. Тогда на сцену неизбежным образом выходит не только идея палестинского государства, но и обмена населением, и даже – страшно выговорить – раздела Иерусалима.

4

Прежде всего, оговоримся: и обмен населением, и так называемый раздел Иерусалима видятся автору книги не как односторонний израильский шаг, не как выселение или трансфер («при этом недопустимо говорить о депортациях и каких бы то ни было односторонних силовых мерах»), но как шаг двусторонний; во-вторых, он понимается не как уступка, предшествующая израильско-палестинским переговорам, но как их завершение («должен быть произведен обмен... смежными территориями, находящимися между Израилем и ПА на востоке и северо-востоке страны, а также районами, примыкающими к Восточному Иерусалиму... в обмен на распространение израильского суверенитета на районы компактного проживания еврейского населения в Самарии и Иудее»). Список пунктов, выдвигаемых как обязательные предварительные условия таких переговоров («полное прекращение террористических действий; прекращение антиизраильской пропаганды; готовность подписать соглашение о полном и окончательном завершении конфликта и обоюдном отказе от каких-либо требований в будущем»), ничем не отличается от того, что обычно выдвигают в подобных случаях все, от умеренно левых до умеренно правых в Израиле. Новым в «плане Либермана» является, таким образом, только идея обмена населением (и территориями). Именно она вызывает самый шумный отклик и наибольшее число комментариев – от возмущенных до язвительно-насмешливых. Возмущаются, в основном, на крайне правой стороне израильского политического спектра («предательство национальных интересов») и на столь же крайне левой его стороне («расизм», «попрание гражданских прав», «грязное пятно на израильской демократии»). Насчет «предательства» см. выше; а по поводу расизма Либерман мог бы справедливо заявить, что он не расист, а националист, как и явствует из его книги. Впрочем, термином «расист» пользуются в основном те, кто опасается, что вслед за размежеванием с арабами «либерманы» потребуют такого же размежевания с ультраортодоксами, потом с мизрахим, затем с выходцами из России и т. д., *ad absurdum* – опасения, вполне достойные глупой Марты, но не серьезных людей из Института демократии.

Что же касается института демократии с маленькой буквы, то его, разумеется, нужно защищать, с этим согласны даже сами защитники демократии и гражданских прав. Разумеется, согласиться с этим многих из них вынудили лишь недавние бесчинства мусульманской молодежи во Франции – они были слишком шумны, чтобы продолжать поддерживать их; но это – во Франции, а вот то, что можно было бы назвать «списком Либермана» для Израйля: «Пусть снова прозвучит наша клятва верности шахидам,

нашим подлинным героям» (депутат кнессета Мухаммад Бараке на митинге израильских арабов в День земли); «Палестинский народ рано или поздно одолеет своего смертельного, бесчеловечного и кровожадного врага» (депутат кнессета Азми Бешара, в интервью палестинскому телевидению); «Вооруженное сопротивление палестинцев – это великий подвиг, которым должна гордиться вся арабская нация» (депутат кнессета Ахмед Тиби, после событий в Дженине). На фоне французских событий, да и с позиции вненационального здравого смысла вывод, который делает Либерман из этого перечня цитат, выглядит убедительно: «Сложившаяся ситуация нетерпима. Смириться с нею означает смириться с нашей неспособностью заставить часть граждан страны уважать и подчиняться государственной власти. Государство, допускающее подобное бессилие, подписывает себе смертный приговор». Выбор, таким образом, стоит не между планом Либермана и незапятнанной израильской демократией, но между планом Либермана и опасным – для всех израильских граждан, в том числе и самих арабов – бездействием.

Остаются возражения язвительно-насмешливые, сводящиеся, в основном, к оценкам этого плана как нереального или опасного, и тут мнения уже разделяются. По утверждению крайне правых, «беспочвенность» плана обнаруживается уже в том, что автор не предлагает никаких механизмов для его практического осуществления. Этот план не утвердит израильский кнессет. Его не пропустит Верховный суд. Но главное – при таком обмене Израиль потеряет «сердце еврейского народа» – Иудею и Самарию – и лишится территорий, на которых сейчас проживает около 50 тысяч поселенцев (в разрозненных поселениях), а взамен освободится «всего лишь» от 450 тысяч арабов (считая также арабскую часть Восточного Иерусалима) из проживающих в нем (и быстро растущих в численности) 1,3 млн. Это возражение выдвигают и некоторые левые комментаторы (из тех, кто готов всерьез обсуждать план Либермана). Другие предупреждают о возможности ответных насильственных действий со стороны израильских арабов – например, вооруженного восстания или массового переселения в израильские города накануне «обмена». Все эти «разговоры вокруг обмена» сильно напоминают дискуссии глухих, поскольку исходной позицией плана Либермана является согласие на него руководителей самих палестинцев, что очевидным образом снимает все перечисленные возражения. Можно, конечно, спросить, согласятся ли эти руководители с таким планом, но это все равно что спрашивать: а возможно ли вообще договориться с ними когда бы то ни было о чем бы то ни было? Если нет, то не о чем и спорить. Но те принципиальные оптимисты, которые считают, что договориться возможно, должны были бы (уже из соображений нравственности) принять к обсуждению, в числе прочих возможностей, также и план Либермана. Отвергая его, что называется, с порога, они, как минимум, непоследовательны.

По другую сторону находятся оценки ряда экспертов, которые не только согласны с планом Либермана, но видят в нем вполне органичную часть

более широких усилий, имеющих целью облегчить решение израильско-палестинского конфликта и способствовать сосуществованию двух народов. Десятилетия бесплодных поисков привели основную массу израильтян и основную часть международной общественности к заключению, что самым реалистичным решением этого конфликта является перераздел территории бывшей подмандатной Палестины между двумя национальными государствами. К этому все более склоняется и умеренная часть самих палестинцев. Соответственно, стали появляться различные планы такого перераздела, в том числе и такие, которые предусматривают обмен территориями, в настоящее время находящимися под суверенитетом Израиля или других государств, с целью создания максимально монолитных национальных целостностей и максимального уменьшения возможных в будущем межнациональных трений. Один из таких планов был выдвинут еще в 1996 году профессором Тель-Авивского университета Бигером. По этому плану будущему палестинскому государству будет передана часть израильской территории вблизи города Кфар Касем в обмен на суверенитет над некоторыми частями Иорданской долины. В добавление к этому профессор Бигер предлагает переселить часть поселенцев с Западного берега в собственно Израиль с тем, чтобы палестинское государство взамен согласилось на переселение к ним арабов и бедуинов из Негева и Галилеи.

Другой план обмена предлагает Арнон Соффер из Хайфского университета. Этот план, в сущности, предвосхищает план Либермана в том смысле, что тоже предлагает предусмотреть в условиях соглашения об окончательном мирном урегулировании передачу будущему палестинскому государству территории так называемого «треугольника» (Умм эль-Фахм и прилегающие к нему арабские деревни) и Восточного Иерусалима. Соффер обосновывает свой план демографическими соображениями, опирающимися на расчеты виднейшего израильского демографа Серджо делла Пергола из Еврейского университета. Эти расчеты показывают, что, хотя обмен по плану Соффера сократит арабское население Израиля «всего» на 450 тысяч, даже такое сокращение существенно скажется на демографических перспективах еврейского государства. Без такого обмена евреи будут составлять в общем населении Израиля 79% в 2010 году, 77% в 2020 году и 74% в 2050 году; в результате же обмена они будут составлять в 2050 году 81% населения. Это, несомненно, увеличит шансы на длительное сохранение еврейского характера государства. Возможности обмена населением и территориями предусмотрены также в договоренности, известной как «мирная инициатива Айлона-Нусейби», равно как в и предложениях бывшего президента США Клинтона по мирному урегулированию. Все эти авторы исходят из того, что такой обмен соблазнителен также для палестинцев – как психологически (увеличивая территорию палестинского государства и создавая его частичный суверенитет в Иерусалиме), так и фактически (позволяя легче расселить у себя своих беженцев).

Бывший глава Мосада Узи Арад, выступивший в американской газете

«Нью Рипаблик» в поддержку общей идеи обмена территориями и населением, упоминает еще об одном, еще более масштабном плане такого обмена, предложенном бывшим ректором Еврейского университета Иегошуа Бен-Арье. Этот израильский географ предложил, чтобы Израиль передал Египту полосу земли площадью от 200 до 500 квадратных километров, прилегающую к израильско-египетской границе в Синае и коридор через Негев, который служил бы «сухопутным мостом» между Египтом и Иорданией. В обмен Египет передаст палестинцам вдвое большую территорию в северном Синае, прилегающую к сектору Газа, что позволит существенно увеличить площадь этого самого густонаселенного пункта на земном шаре. В свою очередь, палестинцы должны согласиться на установление израильского суверенитета над отдельными участками Западного берега (прилегающими к Иерусалиму), а также над дополнительными, свободными от палестинцев территориями вдоль реки Иордан, в Иудейской пустыне и по берегу Мертвого моря. Такой тройственный обмен резко увеличил бы экономическую и социальную жизнеспособность сектора Газы, а с другой стороны, позволил бы Израилю удержать под своим контролем значительную часть Западного берега. Иными словами, это был бы, по убеждению автора, взаимовыгодный обмен, осуществление которого, однако, требует доброй воли всех трех сторон – палестинцев, Египта и Израиля. Но то же самое верно и по отношению ко всем иным планам обмена, включая и план Либермана. Поэтому обсуждать сегодня их чисто техническую осуществимость не имеет смысла – они существенны как политический, экономический, социальный и, наконец, общенациональный проект, имеющий целью не аннексию, а стабилизацию, и в таком понимании заслуживающий серьезного отношения, а не предвзятого заушательства.

5

Таким образом, концепция обмена населением – не политический (электоральный) довесок к анализу Либермана, а вполне респектабельный политический вывод, то бишь идеология, доведенная до практики политического рецепта. Но, в отличие от других рецептов такого рода, этот составляет органическую часть всеобъемлющего плана (или требования), направленного на возрождение (воссоздание) национального единства, – плана, вытекающего из концепции либерального национализма. Именно это позволяет говорить о «сквозном идейном единстве» книги Либермана.

Обратимся же к этому единству. Какой видит идеальную страну «либеральный националист консервативного толка», как именует себя (и Жаботинского) автор?

Ответ распадается на два. Либерал в националисте видит свой идеал в создании демократического государства, основанного на принципах равенства, свободы, прав (в т. ч. религиозных), гармоничных социальных отношений, свободной экономики и т. п., подчиненных (это главное) принципу

нации. Единство и главенство национальных ценностей – лейтмотив этого идеала. Заметим его любопытную близость к идеалу Герцля: в «старо-новой стране» пророка сионизма тоже не было социальных и прочих конфликтов; даже разногласия с религиозным сектором решались мирно и любовно. Разница разве что в том, что Герцль был убежденным поборником рационального конструирования и непоколебимо верил в возможность рационального решения всех вопросов – отсюда, в частности, его переговоры с кайзером и турецким султаном и многое другое, вплоть до пресловутого «плана Уганды», этого отдаленного – и самого радикального – предшественника всех нынешних «планов обмена». Либерально-консервативный националист Либерман полагает, что того же самого можно добиться в опоре на иррациональный «дух» национального братства, сотрудничества и единства.

Консерватор в националисте (Либерман посвящает весьма интересную, глубокую и поучительную главу своей книги анализу консерватизма либерала Жаботинского) видит свой идеал в сохранении национальных традиций («корней», объединяющих нацию). Такое «охранительство» для него – не только программа, но и принцип: «нет» всякого рода революциям и насильственным «идеологическим ломкам». На смену всяческому утопиям рационального конструирования (в т. ч. внешнеполитическим, начиная с утопии «Нового Ближнего Востока» и кончая утопией «государства всех граждан») должен прийти принцип постепенности, естественного развития и мирного (в духе национальных традиций и единства нации) решения всех противоречий.

Сочетание этих двух идеалов вопиюще расходится с наличной израильской реальностью. Из этой напряженности берет начало сдержанная внутренняя страстность книги. Эта страстность, однако, не мешает серьезности анализа. Напротив, она его углубляет. Вероятно, это происходит потому, что либеральный национализм – достаточно широкая теория, созданная умными людьми и проверенная историей. Глубоко осмысливший, впитавший эту теорию человек становится зорче. Он не только видит то, что в реальности не соответствует его идеалу, – он понимает, почему оно так и чем это плохо (во всяком случае, с точки зрения «его правды»). Проще говоря, с высоты умной теории виднее, чем с табуретки теории глупой. Умная теория – орудие для умного анализа, его потенциальная возможность. И наоборот. Потому что там, где страстность – всего лишь следствие узколобого фанатизма, анализ подменяется (и вытесняется) одной лишь этой страстностью.

Итак, что же видит в израильской действительности зоркий автор? Как и положено либеральному националисту, он фиксирует в ней, прежде всего, отсутствие государственного (т. е. национального) видения во всех важнейших внутривнутриполитических вопросах. Фактический отказ от преследования национальных интересов. Унижение национального достоинства и попрание национальных ценностей. Отсутствие не только национально-

го единства, но и стремления к нему. Напротив – в погоне за личным или политическим капиталом – даже уничтожение его остатков. Что же предлагается в качестве средств преодоления этой неприглядной действительности и возрождения нации? Назовем лишь некоторые из важнейших: президентская форма правления, обеспечивающая максимально возможную стабильность власти; полная реализация базового для демократии принципа разделения трех ветвей власти (исполнительной, законодательной и судебной); принятие конституции и учреждение конституционного суда на основе национального консенсуса; сохранение специфического для еврейского народа сочетания национальной и религиозной самоидентификации (т. е. отказ от формального отделения религии от государства) при безусловном «верховенстве государственных судов над религиозными», введении гражданских браков и ликвидации религиозных советов; срочное решение проблем социального неравенства и экономического развития при запрете забастовок в государственных монополиях и устранении бюрократических препон; акцентирование приоритетов качества образования, наукоемкого развития и социального равенства. Перечень, на первый взгляд, внушительный, на второй взгляд, однако, – разочаровывающий. Практические рекомендации – не самая сильная сторона книги, в отличие от идеологического анализа.

Думается, причин тому, как минимум, две. Узко говоря, это понятная – и уважительная – торопливость: автор хочет «скорее». Шире говоря, в этой торопливости он забывает о консервативной постепенности. Он сам впадает в грех социального конструирования. Он хочет сам – подменив естественный процесс – придумать, «как это сделать». Но такая социальная инженерия, как показывает исторический опыт, бывает довольно успешна лишь в локальных масштабах; она много менее успешна в масштабах социальных и провальна, даже порой губительна – в общенациональных. Стремление свести к минимуму противоречия между евреями, быть может, и менее безнадежно, чем примирение арабов и евреев, но решение этой задачи достижимо только на пути постепенности – экономического роста, политической реструктуризации, реформ в сфере образования и т. п. Такая естественная постепенность способна, в принципе, изменить даже ультраортодоксальный лагерь (меняла же евреев, в конце концов, история!), но поспешные попытки типа «консенсус ахшав» (то есть сейчас), скорее, ожесточат противостоящие друг другу стороны. Увы, Либерману здесь явно изменяет выдержка. Как идеолог, он поднимает в своей книге самые глубокие вопросы существования нации, но стоит ему вернуться к практике, как тут же сказывается, что он все-таки в первую очередь политик, т. е. человек, по необходимости ориентированный на быстрый практический успех. В этом состоит его личная трагедия. Политик в нем сталкивается с мыслителем (во всяком случае, с человеком, имеющим явный вкус к мысли и к аналитическому размышлению) – и побеждает. Ценой глубины и оригинальности. Вечная дилемма: мыслитель знает, **как** нужно, а политик – **что**

нужно. Достаточно вспомнить хотя бы пожизненную практическую незадачливость Жаботинского и громадный практический успех куда более ограниченного (как мыслитель) Бен-Гуриона, для которого «нация» и ее «традиции» были просто удобным политическим инструментом.

Тем не менее, подытоживая, нельзя не сказать, что в политике Либермана все-таки ощущается что-то важное от мыслителя. Прочитав его книгу, начинаешь понимать, что такое либеральный национализм и его программа сегодня, в приложении к конкретным израильским проблемам. И та общенациональная широта идеологического подхода, что заявлена в этой книге, лучше всего прочего убеждает, что ее автор имеет серьезные основания говорить о своей партии – во всяком случае, как он ее задумал, – как об общенациональной, а не этнической, не секторальной; может быть, даже большие основания, чем любой иной израильский политик. «Русским» избирателям стоило бы иметь это в виду. На фоне других израильских политиков, делающих откровенную ставку на сектантскую идеологию, этничность, узколобый патриотизм типа «неделимого Израиля» или просто на себя любимого в «харизме для бедных», Либерман единственный, кто делает – и предлагает своим избирателям сделать – ставку на общенациональную программу. В том понимании, в котором он изложил ее в своей книге. У «русских» сегодня нет лучшего – во всяком случае, более серьезного – способа войти в национальный консенсус (если, конечно, считать, вслед за автором, что таковой вообще достижим). Трудно сказать, насколько они преуспеют в борьбе за мандаты в кнессете, но одно несомненно – они обретут чувство принадлежности к серьезному, большому делу и участию в нем, а этого в Израиле и днем с огнем не сыщешь. Да и не только в Израиле этого взыскуют, увязнув в пустяковости бытия, мелочности целей и мечтаний, неизбывной роли статистов в пьесе, чей сюжет сочиняют заведомые мошенники. Хорошо об этом пишет российский автор Александр Мелихов – о «ностальгии по чувству причастности к чему-то великому и бессмертному...»



кандидат физико-математических наук, аналитик, президент международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр», автор десятков научных работ. Живет в России.

ЛОГИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ*

Инструменты анализа ситуации. Теория элит

Мне приходится в последнее время довольно часто иметь дело с иностранной аудиторией. Мы все время ведем диалог с кругами, связанными с так называемой борьбой с международным терроризмом, и во всех этих диалогах постоянно возникает очень интересная развилка. Все равно, описываешь ты теракт в Беслане, события 11-го сентября или что бы то ни было еще – все возможности описания расщепляются и представляют собой что-то вроде ветвящегося дерева.

Первой ветвью такого дерева, или первой возможностью описания, является так называемая теория заговора. В этом описании процесс представляется как следствие провокации того или иного всемогущего силового центра. Центры эти могут варьировать: это может быть заговор ЦРУ, КГБ, ислама, сионизма – чего угодно; важно, что есть некая тайная и могущественная сила, которая в течение длительного времени что-то такое скрытно делает и к чему-то толкает весь мир.

Этот подход обладает двумя особенностями. Во-первых, он заведомо ничего не описывает, во-вторых, он очень сильно возбуждает воображение. Он как бы манит чем-то, соразмерным ситуации. Это было особенно очевидно после 11-го сентября, когда не раз говорилось, что, дескать, теперь все возражения против теории заговора разом рухнули, потому что вот он, заговор (ЦРУ и/или сионизма), вот он налицо.

* Лекция, прочитанная в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру».

Специалистов по теории заговора очень много, в сущности – все, кому не лень. Я видел одного такого «эксперта»: шея у него постепенно искривлялась, голова поворачивалась как-то в сторону, глаза округлялись. Это была первая фаза, на втором этапе такие люди перестают чистить обувь, бриться и так далее. Все это, разумеется, маразм.

Второй способ описания процесса – это некое академическое описание. На одной из международных конференций по террору мой российский коллега произнес замечательную фразу: «Я абсолютно академический исследователь, и мои коллеги из ЦРУ...» – дальше шло долгое говорение, смысл которого состоял в том, что академическое описание применительно к ряду вопросов, в частности – к террору, является абсолютно беспомощным, но зато оно «респектабельно». А то, что респектабельно, то дает людям определенные возможности и поэтому широко ими используется.

Первое описание – теория заговора – возбуждает и мистифицирует, второе – академическое – вообще не описывает ничего. Это болтовня примерно такого рода: «Политический процесс должен быть политическим; поскольку все политические действующие лица политического процесса расположены по группам, которые, в свою очередь, действуют политическим образом согласно политическим мотивам, которые могут образовывать определенные политические конфигурации». Если ты начинаешь говорить с западным «академическим специалистом», чуть выходя за строго академическое поле, то сразу замечаешь в его глазах страх, и страх, в общем-то, понятный, потому что этот господин сидит где-нибудь в своем Гарварде, получает свои 80 тысяч долларов, и ему хорошо. Он точно знает, что если он чуть выйдет за установленные рамки, то вскоре будет сидеть в совсем другом университете, получая намного меньше, потом окажется где-нибудь под Алабамой, получая еще меньше, а потом он сможет заниматься теорией заговора, где хочет и как хочет и почти бесплатно. Это вполне обоснованный страх.

И есть, наконец, третий способ описания политической реальности, который я называю теорией элит. Эта теория, действительно, что-то описывает. Сложность, однако, состоит в том, что ее то и дело пытаются привязать к теории заговора, то есть объявить элиты той самой силой, которая эти заговоры организует. А на самом деле теория элит и теория заговора – это совершенно разные вещи. Как в старом анекдоте: Ереванское радио спрашивают, что такое снег, оно говорит: «Ну, как тебэ, дорогой, объяснить? Ты что такое пэрсик, знаешь?» – «Да». – «Снег это совсем наоборот». Вот так и теория заговора, и теория элит – это две совершенно разные вещи.

Элиты. Требования к элите

Я считаю, что в России сегодня действует криминальная (по своим основным характеристикам) элита. Составляющие ее люди могут быть самыми разными, но вся элита сообща действует как криминальное целое.

Что же такое элита, как ее себе представлять? Это некая взвесь, студень, в котором есть люди с большими деньгами и разнообразными наклонностями, чаще всего нехорошими. Самая главная ее особенность состоит в том, что в элите происходит образование неких социальных структур, которые обладают способностью самоудерживаться, самовоспроизводиться и саморазвиваться. В Италии такие структуры называются кланами, семьями. Очень долго утверждалось, что в советской элите таких «семей» нет. Это не совсем так. Конечно, дети членов Политбюро не входили в Политбюро, и процесс образования «семей» был затруднен. Но я могу назвать несколько семей внутри советской элиты, которые самовоспроизводились и действовали вполне реально. Может быть, их было не так много и не они составляли главную специфику советской элиты. Но кланы-то были точно, мы их видели и видим, потому что советская элита воспроизводится и сегодня, в постсоветской фазе. Именно она, в сущности, и ликвидировала государство (я имею в виду СССР) ради своего воспроизводства в новых формах.

Эти системы должны каким-то образом себя воспроизводить. И здесь начинается первая, наиболее тревожащая тенденция российской жизни. Независимо от того, что мы думаем об элитах, находящихся у власти – хорошая это власть или плохая, движет она процесс к демократии или в противоположную сторону, – эта власть во всех ее инкарнациях или новых модификациях одинаково чурается двух основополагающих вещей: идеологии и стратегии. Она не хочет ни идеологии, ни стратегии и стремится любой ценой их избежать. Каждый человек, который пытается навязать этому процессу идеологическое и стратегическое содержание, вызывает у этой власти ужас, оторопь и отторжение: «Зачем нам это?! Мы прагматики, мы не делаем ничего за пределами прагматики!»

На самом деле такие разговоры – это прикрытие чего-то другого. Чего же именно? Некой «философии выживания», согласно которой слишком обременительно иметь стратегию, обременительно иметь идеологию, обременительно иметь «проект», это высшее выражение стратегии и идеологии. Замечу, что, говоря о «проекте», я имею в виду исторический проект – куда и к чему должна двигаться страна. Конкретнее об этом я буду говорить дальше.

Так вот, нынешним элитам это все не нужно, все представляется глубоко чужим. У меня всегда оторопь, когда я слышу, что-де стратегия и идеология – это некие высоколобые причуды. Но как можно без идеологии и стратегии сформировать команду, кадровый корпус? Как проводить кадровую политику? А это, между прочим, проблема. «Своих людишек» ведь не так уж много, все нужные посты не заполнишь. Это в арабском мире есть большие гаремы и семьи по 150–200 детей, хотя и тут хозяин гарема не так уж знает всех этих своих детей, а порой и сомневается в том, его ли они. А у нас и родственников не так уж много, и друзей по пальцам перечесть, и сколько ты их ни собирай, хоть из Ленинграда, хоть из Днепропетровска, все равно их оказывается мало. Узок круг этих «своих», но это не единств-

венная кадровая трудность, есть и другая. Как правило, все эти «свои» обычно чем-то другим занимались. Вон когда-то Сталин посадил Жданова на культуру, потому что тот играл на фортепьяно, и считалось, что это очень высокий уровень культурного развития. Но обычно эти «свои» вообще занимаются делами, очень далекими от тех, которые им нужно поручить. Поэтому, в конце концов, все равно приходится инкорпорировать спецов, которые, между прочим, когда захотят, смогут дурить кого угодно, любое свое начальство. И, наконец, третья, самая главная трудность в этом процессе воспроизводства элит, т. е. удержания власти – это Эго. Личные интересы, личное честолюбие. Какие они тебе ни «свои», какие они тебе ни родственники или друзья, а если людей не объединяет общая идеология и стратегия, то очень скоро начинает играть Эго. Собрались люди, поначалу они еще не освоились по-настоящему, но пройдет три-четыре года, и у каждого из них проявится свое Я – кто из них главный, кто не главный, кто ближе, как говорят, «к телу», к каналам принятия решений и ко всему, что из них вытекает, кто дальше. Начинается борьба разных Эго. Возникает византийская система сдержек и противодействий, когда эти Эго надо разводить, балансировать. Ельцин делал это виртуозно.

Если бы мегатренды России, т. е. ее глобальные тенденции, были позитивными, можно было бы, наверно, еще долго удерживать власть этим византийским методом, на сдержках и противовесах. Но я убежден, что наши мегатенденции негативные, начиная с демографии и заканчивая всеми остальными, поэтому их нужно попытаться изменить, а изменять мегатенденции можно, только имея хорошо отмотобилизованную команду. И тут даже неважно, какая именно идеология ее объединяет, но какая-то должна объединять. Если команда, стоящая у власти, не является сплоченной, то никакого выхода из этого сползания страны нет. И тогда неизбежно, что нынешний всеобщий любимец через какое-то время обязательно станет всеми ненавидимой фигурой – просто в силу того, что все надеялись, что он вытащит страну из оползня, а она только еще глубже увязла.

Итак, если нет стратегии, идеологии и проекта, то не может быть команды. Если нет команды, то не может быть мобилизации сил. Если не может быть мобилизации, начинается стагнация в ее ухудшенном варианте. Это то, что нам угрожает. Теперь рассмотрим, что у нас происходит, что представляет собой российский процесс в целом.

Среди элитных социальных систем можно выделить отдельный класс – это элиты, обладающие так называемым «мессианским драйвом». Проще говоря – элиты, которые имеют некоторую заявку на мировой проект, материализующуюся в их действиях. На тот или иной глобальный проект. Элитных систем не очень много. Но если говорить, как сейчас модно, о «мировой шахматной доске», то субъектами действия на ней, реально действующими, а не пассивными участниками, являются именно те элиты, которые обладают таким проектным драйвом. Все прочие элитные системы, не обладающие проектным драйвом, т. е. лишенные идеологии и стратегии,

просто как-то себя воспроизводят, и это их единственная цель и задача. А есть класс активных актеров, которые имеют этот драйв и ставят перед собой более глобальные и амбициозные цели.

Россия никогда не жила без проекта, более того – без проекта глобально. У нее нет опыта такой жизни. Да и весь остальной мир не привык мыслить Россию без такого «мессианского драйва». Даже во времена коммунизма. Ведь как смотрели на Россию раньше? Ладно, там сажают в тюрьмы, там ужасный режим, там Сталин, но ведь есть какие-то великие образцы кинематографа, литературы, науки... Конечно, жизнь там ужасна, но вот эти достижения есть. А теперь ничего нет. А то, что есть, – как это назвать? Вот я зимой позапрошлого года был с семьей в Италии, мы зашли с усталости в какой-то ресторан, который неожиданно оказался довольно высокого класса, официант что-то нам подает, потом говорит: «Извините, вот мы видим: какие-то приличные люди... Вы из России?» Я говорю: «Да». «А можно я задам вопрос, который выходит за пределы моих обязанностей?» – «Да ради Бога, сколько угодно». – «Вы понимаете, сюда приезжают русские люди, которые тратят ужасные деньги. Просто неприличные деньги. А мы все время по телевизору видим, как русские дети замерзают». Я говорю: «И что вы мне хотите этим сказать?» Он немного колеблется, потом подходит ко мне поближе и говорит: «Может быть, они не платят налоги?»

И вот это – всё, что мы можем предъявить сегодня миру. А это предъявлять бессмысленно. Ничего, кроме раздражения и отвращения, это не вызывает. И в результате оказывается, что Россия просто отсутствует на неких уровнях мировой системы, и это отсутствие страшнее любого присутствия. Мир еще не разобрался, как с этим соотноситься. Поверьте, когда он разберется – а он разберется, – будет очень плохо.

Причина этого, как я уже сказал, в том, что у России сегодня нет глобального проекта. Ранее глобальных проектов у России было два: православный и коммунистический. Оба были мировыми. Все годы существования российского общества пронизаны этой глобальностью. Ею пронизан сам наш язык. А затем у каждого из этих глобальных проектов кончались силы, и он, так или иначе, разваливался. Сейчас имеет место попытка огрaдить Россию контуром так называемого «национального проекта». Я убежден, что определенная часть российской элиты именно ради реализации этого национального проекта, ради удержания власти в национальном государстве пожертвовала многонациональной империей. Потому что национальное государство и империя – это разные вещи.

Кризис национальной государственности

Между тем главная суть сегодняшней фазы системного кризиса в нашей стране состоит в том, что происходит кризис этой самой национальной государственности как таковой. Все чаще и чаще появляются намеки на то,

как эта государственность будет распадаться. Чтобы это понять, нужно посмотреть, какие вообще проекты сегодня имеются на мировой сцене. Проектов, на самом деле, совсем немного. Основополагающий проект, осуществлением которого западное человечество занимается последние несколько столетий, – это проект Модерн. Именно проект Модерн, с его светским национальным государством, идеей гражданства, парламентской властью, народом-сувереном, нацией как субъектом модернизации.

Действительно, кто является субъектом модернизации, т. е. субъектом проекта Модерн? Это политическая нация нового типа. Разумеется, новая для своего времени.

Этот проект, существовавший и до Просвещения, но полностью развернувшийся именно в эпоху Просвещения и после нее, связанный с буржуазностью как таковой, но на самом деле более широкий, чем буржуазность, – этот проект определяет лицо Запада на протяжении последних столетий.

Рядом с этим проектом всегда был конкурент – Контрмодерн. Контрмодерн никогда не удавалось уничтожить до конца. Всегда существовала феодальная реакция, какие бы формы она ни принимала. Наиболее известная реакция этого типа – фашизм. Но в самое последнее (исторически) время рядом с этими двумя проектами возник еще и третий, именуемый Постмодерном. И по поводу этого Постмодерна, а также перспектив глобализации в мире пока что нет абсолютной ясности, потому что всем кажется, что это мобильные телефоны, возможность легче переезжать из одной страны в другую и т. п., а это не так. Постмодерн абсолютно, тотальным образом стремится уничтожить все, что связано с Модерном.

Постмодерн – сложная конструкция, но я буду говорить о совсем простых вещах, опираясь на трактовку Джеймисона, на его книги о постмодернизме как культурной формуле позднего капитализма.

Ключевой тезис Джеймисона, который я полностью поддерживаю, заключается в том, что Постмодерн – это вывернутая наизнанку апокалиптика. Это философия конца. Но если любая другая апокалиптика обращена в будущее и именно там пророчит конец, то постмодернизм, по Джеймисону, это философия, обращенная в прошлое. Это философия «конца истории» – конца коммунизма, конца демократизма, конца социального государства, конца нации как таковой. Так всё очень быстро доходит до конца человечества. Приучить людей жить в ситуации этого бесконечного конца – это и есть, по существу, главная задача Постмодерна.

Постмодерн не говорит о своей философии, но она существует, и одной из важнейших ее составляющих является представление о конце реальности как таковой. Считается, что эта эпоха наступила с появлением телевидения. Телевидение и есть конец реальности, конец реальной истории. В этой связи постмодернистская философия вводит две широкие модели – «практикабль» и то, что Бодрийяр назвал «симулякр». На самом деле это все началось еще с Фуко и всех, кто шел за ним.

Практикабль – это простая вещь, это своего рода перевязь Портоса. То,

что впереди, что на виду, то расшито золотом, а то, что сзади, что не нужно показывать, может быть простой тряпкой. Это как театральная декорация. Никто же не станет отделять на театральной декорации заднюю стенку дома, которую все равно никто не увидит. Вот так и практикабль – это такая вещь, которая уже не является реальной, но еще претендует на эту реальность. Симулякр – более сложная конструкция. Если говорить о том, что такое классический образец постмодернистского симулякра в политике, то это Жириновский. Жириновский – это некий национализм, призванный уничтожить, отменить свое содержание. Он и создан-то именно для того, чтобы это содержание уничтожить. Симулякр – это гигантская провокация, издевка, самоирония, очень современная внутренняя форма, существующая для отрицания того, что она должна выражать. По большому счету, это то, что когда-то рассматривала вся гегелевская философия, а потом, более подробно, Мераб Мамардашвили, – «превращенные формы». С симулякром мы входим в мир превращенных форм.

Так вот, главный тип существования в Постмодерне – это как раз существование в превращениях, где форма не просто агрессивно заявляет о том, что существует отдельно от содержания, но утверждает, что содержания вообще нет, что она его будет уничтожать, будет съедать, пока не станет чем-то противоположным своему содержанию. Когда, например, я слышу, что такая-то компания «транспарентна», т. е. абсолютно прозрачна, мне сразу ясно, что маленьких акционеров наверняка готовы кинуть. Когда говорят, что собираются укреплять вертикаль власти, это значит, что власть будет переживать глубокие разногласия. Когда вздрагивает население? Когда говорится: «Нами рассматриваются отдельные вопросы по некоторым формам улучшения природы реформирования». Ясно, что у людей намерены что-то еще отобрать.

Симулякр – это главная молекула существования Постмодерна. Это то, чем он существует, живет и питается. В этом смысле Россия сегодня на переднем краю постмодернизма. Во всем. В частности, конечно, все ее политические технологии являются концентрированным выражением постмодернистской идеи. Не буду говорить о Пелевине и о «Generation P», буду говорить о живых политических технологиях. Что они, в сущности, утверждают? Что населению можно «продать» симулякры, лишь бы они были неотличимы от действительности. Например, молчаливо предполагается, что виртуальная реальность, т. е., попросту говоря, показуха, обрушиваемая на людей через СМИ, может полностью заменить подлинную реальность. Я всегда говорил, что пиар плохо действует при температуре минус 40 градусов. Пиар насчет достижений нашей теплотехники плохо действует, когда при минус сорока отключают батареи, а еще хуже он действует, когда вместе с батареями отключают электричество и телевизор. Но наша элита в пиар верит свято, она верит, что политтехнолог может всё.

И ровно в той степени, в какой нашей элите не-нужны идеология и стратегия, связывающие с реальностью – я имею в виду реальность как некий

глубинный пласт бытия, – ровно в этой же степени ей нужны политехнологии. Ей нужно подменять вот этими симулякрами подлинную связь с реальностью. Кажется, это Вознесенский когда-то говорил: «Загораживались газетой / От осенней страны раздетой».

Как я уже сказал, Постмодерн – это наиболее агрессивный вызов Модерну. У постмодернизма есть мощнейший оператор действий, могучий «разрыхлитель реальности». Это тоже не все понимают, но Постмодерн не существует без того, что следует называть «вторичной архаизацией», «возвращением вспять» по лестнице развития. Постмодерн всегда предполагает регресс и попятную архаизацию в качестве *modus operandi*, он не может существовать без этого.

И вот теперь, если говорить о том, что представляет собой процесс, идущий сейчас на территории бывшего СССР в целом, то, на мой взгляд, это такое вот попятное движение, регресс с этнической спецификой. Регресс по-армянски, по-грузински, по-русски, по-татарски, по-удмуртски – как угодно. Иными словами, вторичная архаизация. В одной из среднеазиатских стран с очень просвещенным, демократически избранным вождем его ближайшая, европейски образованная политическая элита утверждала, что ее главная задача – это вторичная юртизация населения, без этого нация построена не будет. Но это не нация! Нация – это субъект модернизации, а не регресса. Когда начинается вторичная юртизация, то есть архаизация, речь уже идет не о нации – речь идет о том, что элита хочет создать этнократию в пределах своего этнического, т. е. субнационального очага. Она хочет вернуться от нации к племени. А нация и племя – разные вещи. Когда говорят о племени, говорят об отношениях глубочайшим образом до- и анти-буржуазных.

Иными словами, все, что у нас сейчас происходит, – это весьма своеобразное сочетание Контрмодерна с Постмодерном. Но я могу привести и примеры, дышащие вполне современным шиком формы Постмодерна. Главная такая форма это Европа. Что, по существу, означает собой объединение Европы, над каким трагическим парадоксом бьется сегодня мысль западных интеллектуалов от Алена де Бенуа до его антагонистов на левом фланге, Деррида и прочих? Эта мысль бьется над вопросом, как создать сильную объединенную Европу, не разрушив сильные национальные государства. Но, увы, нельзя одновременно иметь сильные Францию и Германию и сильную Европу. Значит, если Европа и будет объединяться, то как «Европа регионов». И эта формула уже существует. Поезжайте во Францию, и вы увидите этот лозунг повсюду, от Бретани до Аквитании. По существу, во Франции уже начался процесс вторичной регионализации. И этот же процесс будет происходить в Германии (Бавария и так далее), в Италии (Пьемонт, Тоскана и так далее, вплоть до Сицилии). Невозможно объединить Европу, не разрушив национальные государства. Нельзя, разрушив национальные государства, сохранить проект Модерн. Значит, объединенная Европа будет флагманом Постмодерна.

А дальше начинается самое интересное. ООН публикует данные, по которым для нормального развития Европы в ближайшие 10 лет необходимо ввезти туда 500–700 миллионов мигрантов. Но это же не клоны, это же не существа ниоткуда, это люди со своей культурой, со своей религией, это люди с «Юга». Что же означает такое вот сочетание принципов открытого общества с тенденцией к ввозу иммигрантов в рамках глобализации? Оно означает, что нужно быстрее привозить с Юга рабочего, быстрее давать ему гражданство, быстрее обеспечивать интеграцию. А это, в свою очередь, значит, что Европа в этой ситуации очень скоро может синтезироваться с исламским и прочим населением и тотально исламизироваться. В сущности, активными актерами, субъектами исторического процесса в такой ситуации становятся уже не только европейцы, но и европейские мусульмане, типичные выразители Контрмодерна. Идет процесс глубокого объединения, срастания ислама – для меня, это яркое выражение Контрмодерна – с европейским Постмодерном. Это объединение европейских интеллектуалов с исламскими фундаменталистами представляет, по-моему, очень интересный феномен. Откуда у этих интеллектуалов такая забота о соблюдении прав этих фундаменталистов даже в самых мельчайших нюансах, откуда у них такая любовь к очевидному Контрмодерну? Ведь в исламе нет никакой демократии. Ее там в принципе не может быть. А между тем это объединение идет.

Еще более острые примеры, и потом станет понятно, к чему я веду в связи с Россией. Буш вошел в Ирак. Одни орут, что он там нарушил права человека. Другие – что он спас мир. Не хочу обсуждать ни то, ни другое. Я хочу понять, что он там натворил. Если он вошел туда, расстрелял 10 тысяч человек, установил порядок, провел план Маршалла и построил иракскую нацию, то это один проект – он провел модернизацию на Ближнем Востоке. Если там в итоге образовалось нечто прямо противоположное, это значит, что либо это просто идиоты, которые ничего не понимают, либо они имеют целью что-то совсем другое по существу, совсем иной проект.

Давайте же посмотрим, что произошло в Ираке. Я утверждаю, что Ирак распался на три крайне негативных очага. Первый – шиитский, который будет управляться даже не из Тегерана, а из Кума, из самой контрмодернистской части Ирана. Ирак – бывшее светское государство – кинули к ногам Ирана. Второй очаг – суннитский треугольник, где Бин-Ладен и аль-Завахири еще покажутся респектабельными профессорами, этакими Паганелями с сачками, по сравнению с теми ребятами, которые будут править в этом суннитском углу. И третий очаг – курдский, где любезный Запад собственными руками нанес нокаутирующий удар своему главному светскому союзнику, Турции.

Для меня это означает, что команда Буша вовсе не ставила своей целью какой бы то ни было план модернизации Большого Ближнего Востока. Потому что ее действия, по существу, направлены на разрушение только-только сложившихся национальных государств арабского мира? А кто всегда

мечтал об этом? Разумеется, Халифат – люди, которые хотели бы на этих руинах возродить исламскую империю, вернуться в прошлое. Иными словами, мы видим, что опять одна сторона постмодернистски разрушает национальные государства, а пользуется этим другая сторона, которая в эту постмодернистскую конструкцию входит, как нож в масло, потому что этот постмодернизм не может ничему сопротивляться.

Я, однако, не верю в то, что реальность можно до конца элиминировать. При температуре минус сорок пиар, действительно, перестает работать, и весь этот Постмодернизм – изнутри, как политическая концепция – обнаруживает свою несостоятельность. И тогда возникает вопрос о том, можно ли защитить проект Модерн. Этот проект во многих своих аспектах, действительно, находится на последнем издыхании. Но это отдельный вопрос, его нужно отдельно обсуждать. Здесь я хочу сказать только, что всё, что было выдуманно целым рядом умных людей, от Хайека до Ханны Арендт, по поводу тождества коммунизма и фашизма, не является правдой. Это идеологическая конструкция, преследующая свои цели – хорошие или плохие, я это обсуждать не буду, скажу только, что коммунизм, по всем своим основным характеристикам, это естественная часть Модерна, а фашизм – такая же естественная часть Контрмодерна. Они были разделены этой баррикадой. Один проект был все-таки, что ни говори, генетически связан с идеей прогресса, гуманизма и так далее, а другой эти идеи отвергал целиком. Но беда в том, что западные теоретики судили об их сходстве или различии на основании других параметров – наличии демократических институтов, открытого общества, как назвал его Поппер, и на подобных вещах. Они на этом зациклились. Мне иногда хочется сказать моим западным коллегам, которые очень любят это открытое общество: представьте себе африканскую страну. В ней все хотят кушать людей. Но одни говорят, что надо кушать всех, а другие – что только детей или женщин, или стариков. Из-за этого разногласия там образовались две партии, образовался их каннибальский парламент, появились две газеты, у которых есть предмет дискуссии. Значит ли это, что там возникло открытое, демократическое общество? Я спрашиваю об этом американцев, они смотрят на меня и всерьез говорят: «Конечно. Начнется с этого малого, а кончится принятием западных ценностей». Я говорю: «Когда кончится?» В таких случаях обычно вскакивают израильтяне и говорят: «Это будет открытое исламское общество, которое будет обсуждать, убивать нас химическим оружием или ядерным. Вот об этом будут спорить обе их партии и парламент. А мы хотим жить!»

Если мы стремимся мобилизовать общество, пусть даже под знаменами модернизационной диктатуры – а она вполне возможна: бонапартизм был такой модернизирующей диктатурой, – то давайте откажемся от наивных представлений, будто главное в Модерне – это то, какие гражданские институты работают. Потому что эти институты могут сформироваться в таком людоедском консенсусе, что нам вся эта демократия покажется Бог знает чем. Если судить только по этим признакам, тогда, действительно,

коммунизм и фашизм были одно и то же. А на самом деле институты у них были одинаковые, а суть – разная. В одном случае исторический проект принадлежал к типу Модерн, а в другом – к типу Контрмодерн.

Демонтаж советского коммунизма устранил все его уродства и обнажил то единственное здоровое, что осталось в нем от Модерна, – либерализм. Либерализм, взятый из западного Модерна. Ведь принцип существования западной системы был очень прост: поскольку инновации, либеральные новшества очень часто задевали органику существования наций, то консерваторы этот процесс тормозили, говоря: «Руки прочь от органики». И в результате между этими либеральными инновациями и консервативной органикой существовал здоровый баланс. Были республиканцы и демократы, были тори и виги, были левые и правые. Но с появлением этого сволочного Постмодерна в ту часть западного проекта, которая была нацелена на инновацию, вошли идеи Постмодерна, который по существу своему отрицает инновацию, стремится к архаизации.

В результате, либералы, историческая функция которых состояла в поиске новых социальных идей для перехода к ХХI веку, восприняли как искомую новинку постмодернистскую идеологию, заведомо исключаящую любую подлинное социальное новаторство. И получилось, что Постмодерн, настоящая задача которого – уничтожить Модерн, был объявлен искомым путем спасения Модерна! Иначе говоря, либералы перестали выполнять свою историческую функцию, они вышли в аут со своим постмодернизмом. И на сцене остались одни консерваторы – Буш и его команда. А что такое консерваторы в собственном соку? Это тоже уже не прежние консерваторы, историческая функция которых состояла в сдерживании либералов, в создании здорового баланса, который позволял бы продвигаться, сохраняя верность проекту Модерн, в рамках этого проекта. А эти новые консерваторы, неоконсерваторы, как они себя называют, первым делом наехали на Ирак. Ну, хорошо, посмотрим, проводят они там модернизацию или что-то другое. Нет, не проводят. А проводят, наоборот, вторичную архаизацию, разрушение национального государства. Так в чем же их проект? В чем мы участвуем? И тот же самый вопрос к России – что происходит на территории России? Здесь тоже намечается этот распад, тоже происходит эта архаизация. Вот сейчас все спрашивают, что происходит на Украине – что, там торжествует свобода? Да при чем тут свобода? То, что происходит там теперь – это распад на несколько племенных регионов: русско-донецкий, бандеровско-львовский, киевский. Теперь что-то будет еще и в Крыму, где радикальный исламизм так и мечтает построить «открытое» украинское общество. В Таджикистане происходит классический возврат к племенной структуре, в Армении вот-вот возникнет моноэтническое Карабахское племя. Когда процесс демодернизации охватывает страну, нация уже не может существовать, она распадается на племена. Если идет процесс демодернизации, государство начинает трещать, потому что оно национальное. И тогда возникает самый главный вопрос: чем на это ответить?

Что такое российский кризис сегодня? Российский кризис, по всем чертам, это кризис агрессивной демодернизации. По степени вертикальной мобильности, по уровню образования, здравоохранения, демографии, по всему – это демодернизация. То есть вторичная архаизация общества. Ну, то, что элита государства может существовать в Постмодерне, а остальное общество в Контрмодерне – это вообще-то вполне нормально: Африка так существует. Но тогда надо понимать, что действительно происходит в Африке. Вот недавно все пришли в ужас (кроме нас, к сожалению) от того, что произошло в Юго-Восточной Азии, где 300 тысяч человек погибли от природной катастрофы. Но, между прочим, незадолго перед этим в Африке спокойно и безо всякого обсуждения обществом за пять лет было вырезано 3–4 миллиона. Просто так. Это тоже новые черты постмодернистской ситуации.

Если говорить о логике развития российского кризиса, то это гигантская раскручивающаяся спираль этакой вот демодернизирующей архаизации, которая является частью общемировой спирали, поддерживается процессами извне и имеет собственную внутреннюю логику развития. И поэтому сегодня политическая власть в России имеет одну ответственность: остановить этот процесс демодернизации и повернуть его в сторону модернизации. Но наша власть не может этого сделать. Она катится вниз, потому что у нее нет ни идеологии, ни стратегии, ни формулы мобилизации, ни команд, ни каких-либо активных методов, при помощи которых можно было бы мобилизовать общество и повернуть процесс. Воронка демодернизации и архаизации углубляется, и в этом суть кризиса. Не в том, любят Путина или не любят. Не в том, что завтра сделают Касьянов или Rogozin. Это все рябь, это все абсолютная мелочь по отношению к главной компоненте процесса, к судьбе Модерна и национального государства.

Те, кто считает, что на осколках этого Модерна будут существовать очаги европейской или какой-то другой жизни, заблуждаются. Поверьте мне, на осколках Модерна может возникнуть только еще одна Африка. Кавказские народы, освободившиеся от России, будут жить, как зулусские племена, и никого с этого момента интересоваться не будут ни в каком виде, кроме как в зулусском. Но если кто-то думает, что русский народ на центральной российской равнине не будет приравнен к зулусам... Еще как будет. Он станет именоваться русским племенем. И жить он будет в архаической резервации.

К сожалению, в российской политике я замечаю все больше черт этой архаизации и Постмодерна, соединенных вместе. Они подстегивают кризис, и мы катимся вниз по вот этому стратегическому мегатренду, где рука об руку едут Постмодерн и архаика, двигаясь в сторону общей для них цели – демодернизации.

Чем это кончится: судорогой какого-нибудь фашистского Контрмодерна или просто тем, что так оно и будет идти до беспредела? Честно говоря, я не знаю, чем закончится эта кризисная петля. Но я все еще верю, что

в обществе найдется модернистский стержень, что пружина этой воли к модернизации все-таки стянется и обратный процесс возникнет. Другой вопрос в том, как он может реализовывать себя в условиях регресса, каковы здесь формы борьбы и возможности самоорганизации, но сегодня для меня главный вопрос стоит именно так, как я постарался вам его представить. Я думаю, что уже исчерпал свой лимит; спасибо вам большое, я готов ответить на вопросы.

Обсуждение

Из зала: Где в вашей картине находится глобализация?

Кургинян: Постмодерн.

Из зала: Просто Постмодерн?

Кургинян: Просто Постмодерн.

Из зала: В плане проектов Модерна в России вы назвали коммунизм и православие. То, что должно быть создано сегодня, – это нечто новое или вы озвучили призыв к чему-то старому, к чему-то из этих двух?

Кургинян: Насчет православия это вопрос отдельный. Но вообще-то я хотел вот что сказать. Все эти споры: Россия–Запад, Россия–Восток, Россия–Евразия – всё это фигня. Россия – это «альтернативный Запад», не больше и не меньше того. Вся война, всё противостояние Запада и России связаны только с тем, что Россия и Запад невероятно близки друг к другу. Так воюют только с близкими, так выясняют отношения только, так сказать, с женой в скандальных семьях. Россия, будучи православной христианской страной на фоне католически-протестантского христианского Запада, была ему православной альтернативой. Став коммунистической страной, Россия стала альтернативой западному Модерну. Коммунизм не есть Модерн в чистом виде. Сталинская модернизация не есть модернизация, строго говоря. И дело не в том, что она была кровавой – модернизация везде в мире была чудовищно кровавой. А дело в том, что у нас она происходила альтернативным способом – это была модернизация без разрушения традиционного общества. Вообще говоря, по теории, такого быть не должно, нельзя модернизировать страну без разрушения традиционного общества. Значит, это была альтернативная Модерну форма развития.

На сегодняшний день есть классический ресурс Модерна и есть то, что может подняться вслед за Модерном. Есть гигантские перспективы науки и технологии, есть сложнейшие социальные возможности. Назовите это сверхмодерном, назовите это супериндустриализацией или как-то еще, но у Модерна есть гигантская повестка дня, еще не выработанная на сегодня. В сущности, этим всем и должны бы были заниматься нормальные либералы или демократы. Они должны были искать и продвигать эти новшества перед лицом того гигантского антропологического и цивилизационного барьера, который встал перед человечеством на рубеже XXI века. Но вместо

всего этого, в качестве ответа на все эти вопросы, мы получили Постмодерн. В этом смысле обновление Модерна, сверхмодерн, альтернативный Модерн – все это реально и, я уверен, все это будет вырабатываться западной цивилизацией. Потому что если западная цивилизация – а мы часть ее – не выработает этой новой повестки дня в XXI веке, точнее, в первом его десятилетии, она умрет. И замечательные авианосцы армии США помогут здесь не больше, чем ракеты СС-18 Советскому Союзу, поверьте мне.

Для меня альтернатива заключается в том, чтобы мобилизовать основы Модерна в новых его ипостасях в западной цивилизации XXI века. Западу нужен новый проект, вот в чем главное. И я убежден, что если бы Россию так не грохнули и не превратили в бегущее по кругу *déjà-vu* – в эту самую дурочку, главную фигуру Постмодерна, – то именно Россия должна была сыграть основную роль в ответе на этот вызов. И тогда мы бы находились на тех уровнях глобальной системы, в том виде, который исключил бы то обращение с нами, которое мы имеем сейчас.

Из зала: Фактически людоедство в Африке всегда процветало не при демократии, которой в большинстве тамошних стран не было и нет, а при диктатуре. И возникает вопрос: случайна ли ваша попытка связать процветание людоедства на государственном уровне с демократией или вы это искали намеренно?

Кургинян: Я говорил о том, что, например, при Хомейни восторжествовала демократия, разве это неправильно?

Из зала: Конечно, неправильно, потому что Хомейни откровенно подтасовал результаты первых выборов в парламент после захвата власти. Это была очень наглая и очень циничная подтасовка, до которой даже мы пока не дошли.

Кургинян: И приход Гитлера к власти тоже, по-вашему, не был демократическим?

Из зала: Конечно, нет, потому что его назначил престарелый и выживший из ума Гинденбург.

Кургинян: Хорошо, согласен. Я вижу, что позиции у нас с вами одинаково идеологизированы. Ваша позиция заключается в том, чтобы показать, что любое нарушение демократии якобы доказывает, что не демократия привела к фашизму, к Хомейни или к чему-то аналогичному. Но я вовсе не хочу сказать, что при демократии обязательно реализуется людоедство. Я просто вижу, что такое «демократия», принесенная американцами в Ирак. И я знаю, что такое будет демократия в Палестине.

И второе: я совершенно не спорю с тем, что диктатура может загнивать. Диктатура может загнивать, она может уничтожать страну. Есть диктатуры ликвидации, застоя. Но есть и просвещенная диктатура, о чем прекрасно писали все классики европейского Просвещения. Есть модернизационная диктатура. И такая модернизационная диктатура принципиально отличается от диктатуры демодернизации, застоя, стагнации, маразма – это разные типы диктатур.

И конечно, диктатура не спасение, никоим образом не спасение, диктатуры вообще чудовищны. У меня никакого влечения к диктатуре. Всякое влечение к потере свободы отвратительно. Вопрос заключается в том, что нация часто способна решать свое «быть или не быть», только выйдя за рамки демократического консенсуса. Но это, конечно, не значит, что во всех случаях выбор стоит так – либо демократия, либо ничто.

Из зала: Как мне кажется, противостояние тут состоит в следующем. Есть картина мира, в которой, по вашей терминологии, Постмодерн создает коалицию с Контрмодерном с целью разрушения Модерна. Но есть и другая точка зрения. В мировоззрении многих людей в Европе и в России, которые связывают себя с либеральной идеологией и так называемыми демократическими ценностями, мир выглядит по-иному. Согласно их картине мира, модернизация на самом деле продолжается, и ваш Постмодерн – это как раз продолжение безальтернативной модернизации. Если же при такой модернизации получается видимый регресс, то не из-за Постмодерна, а по причине неправильного употребления модернизационных механизмов.

Я понимаю, к чему ведет ваша картина мира: она, наверное, могла бы мобилизовать какое-то количество людей. В том смысле, что она хороша для того, чтобы, наконец, встать и что-то решительное сделать. Понятно также, к чему ведет другое мировоззрение: на практике оно ведет к мысли, что главное идет в ужасном направлении, нужно только заимствовать или создать какое-то количество институций и приемов. В этом смысле мне более симпатично то мировоззрение, которое мобилизует на действие. Но эта ваша картина мира – она просто придумана для целей такой мобилизации или является итогом объективного анализа?

Кургинян: Первое, что я хочу уточнить: я совершенно не претендую на абсолютность своей компетентности, но, поверьте, я все, что мог, по этому поводу прочитал. Скажите мне, кто из крупных западных теоретиков Постмодерна говорит о том, будто Постмодерн продолжает Модерн? Фуко, Деррида, Делез, Гваттари? Есть один человек, который еще молится на Модерн, это Хабермас, но он ненавидит Постмодерн больше, чем я.

В России некоторые из философов – в частности, из друзей покойного Мамардашвили – пытаются расписывать Постмодерн как продолжение Модерна. Но поверьте мне, это лукавство, потому что на самом деле они говорят о каком-то Russian postmodern, который ортогонален Постмодерну как таковому. Я не понимаю такого Постмодерна. Ведь главный тезис Постмодерна – это конец истории. А если конец истории, то какой тут может быть Модерн? Это посягательство на главный пункт Модерна как исторического проекта.

Из зала: Хотелось бы просить вас уточнить, в чем вы видите главную причину того «бегства от идеологии и стратегии», которое вы описали в начале своей лекции. Что было тут ведущим фактором? То ли это отсутствие правового поля, то ли имманентно присущая либерализму опора на самого себя?

Кургинян: Я считаю, что ни то, ни другое. Приведу два примера. Недавно Козырев, бывший министр иностранных дел, откровенничая по телевизору, сказал, что вот мы все думали-думали в 1992 году, что нам делать, какую идеологию придумать, а потом решили, что любая идеология ведет к диктатуре, поэтому не будет никакой идеологии. «Место идеологии займут деньги», – сказал он. Я подчеркиваю, что когда место идеологии занимают деньги, то получается классическая формула формирования криминального государства. Я не против денег и не против того, что деньги должны иметь колоссальное значение в регуляции общественной жизни. Я просто подчеркиваю, что когда деньги претендуют на то, на что они не должны претендовать, когда деньги становятся трансцендентальным основанием культуры, то тогда дело плохо.

Другой пример – Ельцин. Он говорил: «Все ничего. Но когда заработают дремлющие силы рынка...» Смысл такой: я был секретарем обкома, я всем всё навязывал – что сажать, что не сажать. Мне это безумно надоело, я не хочу больше никаких целей. Я хочу только одного – власти без целей. Я буду властвовать, а цели пусть ставит рынок.

Но что такое рынок? Это очень сложный механизм управления. С точки зрения механизма управления, это совсем другие возможности управлять. И вот я спрашиваю: рынок подразумевается как необходимость управлять более современными методами, то есть пересаживаться с телеги на «мерседес», или же рынок – это возможность вообще не управлять? Вся страсть нашей элиты сегодня в том, чтобы не управлять. Ее цели безумно просты: «Не грузи меня». На лице написано: «Не хотим целей».

Если вы спрашиваете, в чем механизм этого отчуждения, то, конечно, он заключается в бегстве от целей, в уверенности в том, что целей не надо, что оно как-то там всё само собой образуется. Кто-то из этих безумцев уже договорился до того, что будет производственный контур менять с помощью рынка. Мне звонили с Запада, спрашивали: «Они что, пьяные? Что они там себе надумали?» Кто в мире менял производственный контур с помощью рынка? Но им не нужны цели, не нужны проекты, не нужны программы – они хотят, чтобы их оставили в покое. У власти.

В итоге мы имеем две характеристики: гедонистический консенсус и криминальный мейнстрим. Вот и все.

Из зала: Наше время изобилует феноменальным количеством новейших реалий. Неужели в этой лавине не просматривается какой-то проект? Нельзя же придумывать его еще двадцать лет, он должен просматриваться уже сейчас.

Кургинян: Хочу сказать еще раз, что я ненавижу Постмодерн и последовательно поддерживаю все, что связано с Модерном. Но я хочу отметить, что иногда к Модерну приводит демократия, а иногда – диктатуры. Бывают и диктатуры, которые уничтожают, ломают Модерн. Нельзя здесь искать рецепта ни в диктатуре, ни в демократии, не уточняя, что это за диктатура и что за демократия. Более того, необходимо понять, что в сегодняшнем об-

шествие с его тягой к порядку и ко всему прочему просто орать об ужасе диктатуры невозможно. Задайте вопрос о качестве диктатуры: что произошло? какие модернизационные задачи решены? открылись ли новые каналы вертикальной мобильности?.. Модернизация невозможна без новой волны индустриализации: идет новая волна индустриализации или же это деиндустриализация?

Что касается новых проектов, то я расскажу в смягченном виде анекдот по этому поводу, а потом отвечу концептуально. Бабушка едет в переполненном автобусе, где ей все время отдавливают ноги. «Ох ты Господи, ах ты Господи! Интеллигентов-то, интеллигентов совсем нет!» Голос: «Интеллигентов до фига – автобусов мало». Смысл заключается в том, что проектов до фига – актёров нет, субъектов нет.

Вам скажут, что есть, мол, такой проект и сякой проект, танатократия и му-му, и все прочее. А я вам говорю, что на самом деле на актуальной политической сцене действуют только три проекта – Модерн, Контрмодерн и Постмодерн. И их нельзя соединить, они не соединяются. Если вам говорят, что мы, мол, будем жить многоукладно: часть в Постмодерне, часть в Модерне – не верьте, так не бывает. И главное, чего не бывает, так это сожительства Постмодерна и Модерна. Это хуже, чем кошка с собакой. Такова моя установка.

Наверное, есть какие-то частные проекты. Но они имеют, в основном, с моей точки зрения, гностический характер. Это проекты сектантские, а я говорю об исторических.

Что касается последовательного Постмодерна, то вы, наверняка, знаете, что он отменяет проект «Человек» и что окончательный объект его атаки – это логоцентризм, это декартов разум, это язык и культура. Почему обязательно нужно слово? Зачем нужен Элюар или Рембо? А почему бы не по-выть? Выть – это тоже форма существования, форма «языка». И потом – почему именно люди? Почему бы не заняться правами бактерий, устроить им представительство в парламенте?

Из зала: По-вашему, в мире сейчас царствует Постмодерн. А сорок лет назад в мире, можно так сказать, еще властвовал Модерн. Вопрос такой: перед каким вызовом Модерн вдруг обломился? Что вдруг такое случилось, что он не смог взять эту планку и стал уступать место Постмодерну?

Кургинян: Очень интересный вопрос... Я считаю, что не Модерн, а сами силы истории спасовали перед игрой. Я ввожу такой термин – Игра. Это более важное понятие, чем Постмодерн. Она началась где-то в 50-е годы. Такой Большой игрой Запада был неокOLONиализм, уход из колоний типа «уйти-чтобы-остаться», потом сюда подключились особого рода спецслужбы, которые сформировались на рубеже 50-х; свою роль сыграло и внедрение восточной философии (буддизма, прежде всего) в тело протестантской культуры. Всё это имело огромное значение.

Я убежден, что первоначальные амбиции тогдашней западной интеллектуальной элиты были другие: установка на то, чтобы похоронить капи-

тализм вообще. Но на деле финансовый капитал прибрал эту интеллектуальную элиту к рукам и натравил ее на промышленный капитал буржуазной элиты. Потому что интересы финансистов и промышленников разошлись. Началось замораживание крупного технического проектирования в преддверии XXI века, замораживание таких разработок, как термоядерная энергия, появился Римский клуб и все прочее, что было связано с фактической остановкой интенсивного промышленного развития. И уже к этому моменту вопрос о продолжении и развитии Модерна как такового был снят.

Но я совершенно не хочу снимать вины и с самого Модерна. Нельзя сказать, что Модерн не спасовал перед вызовом нового времени, новых задач – он частично спасовал. Он оказался слишком прямолинеен. В этом смысле Постмодернизм имеет определенный плюс: это такое выжидание, это переход на нелинейный поиск, на попытку нащупать какие-то новые проекты, что-то нетипичное – что-нибудь ухватить. В Постмодерне есть отрицание возможности будущего – это негатив, который я ненавижу, а есть позитив, когда он просто всматривается во все подряд. Где следующий большой нарратив? Откуда можно что-то выдернуть?

Если же вернуться конкретно к России, то тут есть свой большой вопрос – почему она не подхватила проект Модерн, когда вышла из застоя? Почему не произошла модернизация элиты в эпоху СССР, в сущности, начатая горбачевским процессом и многим из того, что происходило в преддверии горбачевизма? Нарождавшийся тогда новый политический класс, оказавшись в условиях интеллектуальных, информационных вызовов, нуждался в такой модернизации, в интеграции в своей структуре совершенно новых компонентов. Но он этого не хотел. Он не хотел интегрировать в себя новые пласты и субстраты, не хотел делиться властью и идти на эксперименты. Он искал другие пути самосохранения. И два крупных человека в значительной степени, вольно или невольно, подсказали ему эти обходные пути. Это были Сахаров и Солженицын. Их призывы – к демократизации и так далее – сыграли большую роль в том, что энергия, которую можно было и нужно было направить на модернизацию, ушла от этой цели двумя другими руками.

В сущности, политический класс спасся путем разрушения СССР. Политический класс решил, что лучше он не будет модернизироваться, а запустит в стране демодернизацию, чтобы фактически сохранить власть. На мой взгляд, всё, что происходило в России за последние двенадцать лет, и есть вот это самосохранение находящегося у власти политического класса. И сегодня вопрос, как всегда, заключается в том, способна ли интеллигенция – или то, что от нее осталось, – снова стать самостоятельной силой и способна ли она действовать в собственных интересах?

У политического класса есть две возможности модернизироваться, спасая себя и страну. Английский путь, изначально связанный с Кромвелем, когда люди смешиваются и создают новый правящий класс, и путь французский, когда класс как таковой не модернизируется, но вводится в дейст-

вие некий важный инструмент модернизации, который называется гильотина. Гильотина вырубает пустую социальную нишу, освобождается место для новых людей. И так раз за разом. Революция – вырубили. Термидор – снова вырубили. И так далее. Да, трясло долго. И вы все можете увидеть результаты этой тряски хоть сегодня, потому что все эти широкие парижские проспекты потому сделаны такими широкими, чтобы каждый раз можно было снова вытащить пушки и палить по баррикадам. Но и память о самих баррикадах тоже сохранилась, и если кто-нибудь сегодня снизит там дотации в сельскохозяйственном комплексе хотя бы на 3%, то тракторы немедленно всё перегородят. И мне, когда я приезжаю в Париж, каждый раз стыдно. Ровно настолько, насколько элементы французского буржуазного ханжеского общества меня раздражают, ровно настолько вот этот дух непрестанно движущейся модернизации вызывает у меня какое-то новое ощущение оптимизма.

Так что вопрос у нас заключается в том, решится ли наша интеллигенция и сможет ли, найдет ли в себе силы взять барьер, когда на нынешнем, новом этапе сверхмодернизации – именно сверх-, а не постмодернизации – от нее фактически требуется стать главной движущей силой и самостоятельным производительным классом нового общества? Или же она до последнего издыхания так и будет бежать за кем-то и думать о том, при каком очередном патроне стать очередным убогим клиентом? Между прочим, я повторяю сейчас ровно то же самое, что говорил в начале 90-х годов. Просто ситуация сейчас намного более трагическая: интеллигенцию почти доби́ли. А какая может быть модернизация без интеллигенции?

...Я еще раз подчеркиваю, что фашизм не есть Постмодерн, фашизм это Контрмодерн. И этот Контрмодерн не кончен, он продолжается. Неофашизм осуществил глубочайшую трансформацию, перед которой надо просто снять шляпу. Они проявили фантастическую живучесть. Но это именно Контрмодерн, европейский Контрмодерн. Особенно германский, который опирался на собственное язычество, на прусскую армию, на аристократию, на очень консолидированные группы внутри буржуазных консервативных пластов.

Да, мы тогда этот Контрмодерн остановили, потому что тогда мы были ключевым отрядом Модерна. И если для Черчилля в коалиции мы были случайным компонентом (Черчилль понимал, что на следующем этапе он будет воевать с нами, он уже в 1943 году знал, что он произнесет Фултонскую речь), то для Рузвельта мы не были случайным союзником. Рузвельт искренне считал, что вполне может возникнуть ситуация, когда произойдет более глубокая смычка американских либеральных и наших тогдашних советских основ. Рузвельт предлагал это Сталину. И эта конвергенция могла произойти. Но против этого были брошены невероятные силы. И каждый раз, когда снова возникал шанс реализовать такую конвергенцию, включались те или иные механизмы, чтобы рассечь, развести нас в разные стороны. И в конечном итоге мы видим сегодня, как эта третья сила добивает

ялтинских хищников. Потому что я не вижу не только триумфа России, я не вижу и триумфа Америки.

Кое-кто говорит, что достаточно двух отборных дивизий... Если бы можно было найти те две отборные дивизии, то все свелось бы лишь к тому, насколько быстро это опять превратилось бы в реакционно-постмодернистскую ситуацию. Ко мне в эпоху Лебеда приезжали интересные ребята. Со зрачками, которые расползлись на весь глаз, в таком они были ажиотаже. Впрочем, держали себя в рамках, до паранойи не доходили. И они мне излагали примерно такую же модель. Полковник Пупкин придет к гаду-олигарху, завернет руку, сломает сустав – дальше детально и правильно объяснялось, как нужно ломать сустав, – потом проводом электрическим обмотает, ток пустит: «Давай деньги, гад!» Олигарх отдает деньги, полковник привезет их куда надо, все будет в порядке, Россия процветает. «Мы все спасем! Не то, что вы, с этими своими сложными идеями!» Я говорю: «Не верю». Они говорят: «Во что не верите? Что он завернет руку?» – «Руку он завернет абсолютно правильно, сустав будет сломан по всем основным осям. Все в порядке: это он знает». – «Тогда что, он провод применит неверно?» – «Нет, про провод он с Афганистана знает. Это он обязательно сделает. Сказать, что это очень приятно наблюдать, я не могу, но он это сделает». «Так во что же вы не верите?» – спрашивают они. – «А не верю я в то, что он деньги привезет. Он денег не привезет. Он начнет действовать в рамках современной логики». Я говорил об этом в 1996 году. И смотрите, что сегодня происходит. А вот в 1917 году, как ни называйте то, что тогда случилось, но часть немецких денег большевики все-таки довели. Часть довели.

Не дивизии нужны, а чтобы успели довести и не украсть все по дороге. Хотя бы часть довести, я не требую, чтобы довели все. Теперь смотрите, что для этого нужно и что отчасти было в том самом 1917-м. Сегодня все говорят: «Большевики все лгали, их нарком продовольствия, этот Цюрупа, был жирный и все время жрал, когда вокруг голодали, а все рассказывали, будто он падал в голодные обмороки». А я говорю: «Мне плевать, был он жирный или нет. Мне плевать, как он там питался. Главное состояло в том, что посредством этих рассказов народу внушалась некая идеальная моральная норма – что человек, заправляющий продовольствием страны, стоящий, что называется, у прилавка, сам должен падать в голодный обморок». Мне плевать, каким на самом деле был Робеспьер. Но главная моральная норма, которая внушалась народу, состояла в том, что он неподкупный. Революция всегда направлена против коррупции и хочет установить неподкупность. Поэтому что всегда делает любая революция? Она какой-то коррумпированный пласт жизни вырубает и тут же пытается все снова сшить на почве моральной неподкупности, на почве нравственности и национальной традиции. Вырубается какой-то пласт, а уже на следующем этапе всё прежнее начинает восстанавливаться.

А что сделали здесь? Здесь обрубали сук, на котором сидят. Наворова-

ли все, что смогли, но никто не сказал: «Это плохо, с этим надо кончать». Я помню того же Ходорковского – он пришел в Финансовый институт, зал битком набит, ректор, администрация – и сказал: «Мы работали нечестно, это плохо кончилось. Вам придется работать честно». И в зале раздался гомерический хохот молодого поколения наших будущих воров. Публика стала расходиться. Они не хотели дальше слушать. Они хотели научиться у Ходорковского одному: как им украсть на новом этапе. А он им говорит, что их поколение должно с этим покончить. Почему? Почему он мог украсть, а следующие не могут?

Подорваны моральные основы общества. Как их восстановить? Я не знаю. Это первое. И второе. Русская нация – это очень нехарактерная нация. Ее, по сути, еще только нужно пытаться создать. И надо было начать создавать, еще в 1991 году. И многие об этом тогда писали. Но прошло десять лет, и нация не создана. Нет нации как субъекта Модерна. А все наши так называемые «русские коды», все наши национальные чаяния испокон века ориентированы не на национальный, а на глобальный проект. Может быть, можно сейчас убедить русских в том, что именно их миссия – спасти Модерн во всем мире? И тогда этот проект, может быть, станет глобальным. Но тогда это будет консервативный проект.

А может быть, русских надо вооружать неким совершенно новым глобальным проектом. Я только знаю, что пока у нас не запахнет глобальным проектом, не русские будут кого-то зачищать, а русских будут зачищать всюду. Я был на разных территориях Северного Кавказа, я видел – ислам так и дышит этой колоссальной энергией глобального проекта. И идея о переходе русских в ислам становится, между прочим, все более и более популярной. Так что вопрос о том, хватит ли русского драйва на собственную новую глобальность, и есть вопрос жизни и смерти русской нации.

Из зала: Не считаете ли вы, что Россия оказалась в авангарде Постмодерна и наша элита образовалась как криминальное целое именно благодаря тому, что у нас происходило долгое, медленное, но совершенно необратимое разложение коммунизма, которое при подобном долгом и вялотекущем характере могло дать только такие результаты, и никакие другие?

Кургинян: Да, конечно, да. Но только с одним «нет». Тогда в России была энергия. И для того чтобы добить Россию до конца, нужно было не только обеспечить это вялотекущее гниение, но и прибрать к рукам ту разрушительную, скажем так, контрэнергию, которая существовала в диссидентском движении, в интеллигентских кругах, в студенчестве, в рабочем классе – везде. Энергию воли к переменам, которая заявила о себе уже при Хрущеве. Вопрос был в том, куда эта энергия будет направлена, кто будет ее направлять, в чьи руки она попадет. Может быть, она не случайно оказалась в руках правящего политического класса? Но тогда придется признать, что вся эта энергия уже изначально находилась «под контролем», управлялась агентурой. Что, возможно, не так уж далеко от истины. Вполне возможно, что системно весь этот «диссент» изначально был под кон-

тролем определенных органов. Но тогда мы далеко дойдем с сегодняшним диагнозом природы нашей власти.

Если же это не так, то шанс был. Шанс был на площадях конца 80-х годов, шанс был даже в 60-е годы. Он существовал. Вопрос заключается в том, что энергией, которой следовало распорядиться для изменения власти и модернизации политического класса как субъекта этой власти, распорядились для того, чтобы фактически приволочь к власти бандита, собственными руками.

Вспомните «В поисках радости» Розова, все эти шашки, с которыми бежал Табаков. Что тогда говорилось? Говорилось об одном: о нестяжательстве. О какой-то абсолютно нематериальной, идеальной мотивации этой интеллигенции. А кто объявлялся «мещанином»? Сталинские номенклатурщики и все прочие. А что произошло к 70-м годам? Эта же интеллигенция утратила былую аллергию на связь с, так сказать, полубандитским новым классом. Кто и когда сумел это сломать? Какую роль сыграла бахтинская «карнавализация» в том, что была утрачена тканевая несовместимость между «не хлебом единым» и «надо криминал пустить к власти», между идеалами и «дешевая колбаса делается из человечины»? Как произошла эта мутация? Кто так перенаправил энергию?

Я считаю, что шанс был и что энергию можно было направить в другую сторону. А в какой степени всё, что направляло энергию, было под контролем, не берусь судить.



журналист, публицист, редактор, теле-продюсер, участник Ливанской кампании. Автор более 200 публикаций на русском, иврите, английском и французском языках. Живет в США.

О ТОМ, КАК ЕВРЕИ ПРОИЗОШЛИ ОТ СЛАВЯН – И О МНОГОМ ДРУГОМ

Сколько вопросов у идиша? «У москвички – две косички. У узбечки – двадцать пять», – повторяли мы в детстве стихи Агнии Барто. «А у еврейки, сколько у нее косичек?» – задавал вопрос коварный бес сомнения. «У евреев не плетут косичек, – отвечал строгий голос, знающий, как должно быть. – У евреев плетут на субботу тесто для специальной булки – халы. И вообще, зачем о евреях, когда в Америке негров линчуют». И все же, если «в Стране Советской всех ребят Октябрь сдружил навеки», то почему не надо про еврейкины косички? «Смотри, три школьника идут! Их летом ждет Артек. Один – латыш, другой – якут, а третий друг – узбек...» Видимо, узбек хорошо ложился в рифму стихов про «братство навек», хотя уже мало кто из историков спорит, что русские и турки (а узбеки говорят на языке тюркской семьи) – братья не только «советские», но и, похоже, по языку и крови. Ну, а как с другими членами братской семьи народов? С евреями, например? Ведь похоже, что говорящие на идише восточно-европейские евреи тоже связаны со славянами кровными узами. Тогда почему они говорят на идише? Вопросы, вопросы... Сколько у этого идиша вопросов?!

А ведь, действительно, у этого загадочного идиша великое множество вопросов. Легендарный Макс Вайнрайх (1894–1969), автор фундаментальной четырехтомной «Истории еврейского языка», как-то заметил, что в идише довольно мало, скажем, названий цветов и растений, зато целых три

слова, обозначающих вопрос: германское *фрагэ*¹, арамейское *кашэ* и древнееврейское *шайлэ* (два последних – это *кушия* и *шеела* в современном иврите). Как бы опровергая Вайнрайха, американский исследователь идиша Мордке Шехтер выпустил солидный том *Ди гевикси велт ин идиш* – «Названия растений на идише» (издательство Института ИВО, Нью-Йорк). Если предположить, что сегодня на идише разговаривают лишь в хасидских кварталах, да еще в еврейских домах престарелых, то кому, спрашивается, может понадобиться такая книга? Но для тех, кто верит в великое будущее идиша, здесь вопроса нет. Если идиш нормальный язык, то почему бы ему не иметь своего ботанического словаря? Впрочем, тем, кто сомневается, что народные массы когда-нибудь вновь заговорят на идише, такая книга тоже нужна. Ведь все согласны, что у идиша – великое прошлое. Очень важно сохранить сотни и тысячи народных названий, не вошедших в общие словари. Вдруг найдется какой-нибудь хасид, который заинтересуется: а как называется на идише платан или кизил? Ведь не пристало хасиду заимствовать у соседей английское *dogwood*!² Уж не говоря о таких «некошерных» названиях, как иудино дерево или *băşina porcului* – свинское, так сказать, пуканье, как зовут одуванчик румыны³.

Впрочем, за набожных евреев нечего беспокоиться. У них есть целая наука, как поступать с кошерными растениями, носящими некошерные имена, и наоборот: как быть с некошерными продуктами, имеющими кошерное название. Интересней то, что книга Шехтера начисто опровергает маститого Вайнрайха – на самом деле, в идише названий растений не меньше, чем в любом развитом языке. Один только подсолнечник, к примеру, имеет 12 названий! Шехтер бережно собрал и сберег множество местных названий растений, слышанных в детстве и найденных в старинных книгах.

В последнее время этих и других фактов набралось вполне достаточно, чтобы конструкция истории идиша, выстроенная Вайнрайхом, затрещала по швам. Вкратце конструкция эта такова: евреи Восточной Европы являются потомками евреев Испании и Прованса, которые постепенно переселились в германские земли из-за крестовых походов, чумы, войн, гонений

¹ В тексте встречаются слова из языков, не пользующихся лагинецей (идиша, древнееврейского, арамейского, греческого, старославянского и др., а в некоторых случаях немецкого и украинского). Чтобы не утомлять читателя обилием чуждой в русском тексте графики или фонетической транскрипцией, эти слова приводятся в фонетическом выражении средствами русского языка и выделяются курсивом, как это принято в аналогичных текстах на английском языке. – Автор.

² «Собачье дерево», потому что кизил, который в библейские времена, по христианской легенде, был большим деревом, превратился в куст в наказание за то, что из него сделали крест для распятия Иисуса.

³ Хотя и официальное румынское название этого полевого цветка – *râpădie* («попадья») хасидам, верящим, что при виде попа надо перейти на другую сторону улицы, тоже, надо полагать, весьма не по вкусу.

и других прочих драматических событий, выпавших на их долю. Подобно другим еврейским этническим группам в диаспоре, немецкие евреи создали на основе нескольких местных диалектов свой язык – идиш. Сначала возник западный диалект – в Эльзасе и Рейнской области. Позже говорящие на этом диалекте евреи расселились на территории Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Украины, России и балтийских стран – зачастую по приглашению местных правителей – и принесли с собой свой язык. Идиш следует относить к германской группе языков, поскольку его грамматика преимущественно германская, а словарный запас состоит из примерно 65% слов немецкого происхождения, около 25% славянского, 10% древнееврейского и арамейского.

Теория Вайнрайха подытожила труды многих исследователей и повсеместно утвердилась в науке. Однако более 15 лет назад профессор факультета лингвистики Тель-Авивского университета Пол Векслер выдвинул совершенно новую теорию, относящую идиш к группе славянских, а не германских языков⁴.

Опираясь на огромный лингвистический, исторический и этнографический материал, Векслер предложил пересмотреть и всю историю происхождения восточно-европейского еврейства. По его мнению, евреи Европы (ашкеназы) – не пришельцы с Ближнего Востока, а коренной европейский народ, состоящий в основном из потомков принявших иудаизм западных славян (а также, возможно, небольшого числа выходцев с Ближнего Востока и Балкан). Другой крупной группой, давшей начало ашкеназийскому еврейству, стали евреи, издавна жившие в Киеве и Полесье, а также тюрко-иранские выходцы из Хазарии⁵.

Лишь позже, вместе с немецкой колонизацией западно-славянских земель, восточно-европейские евреи вместе с другими западными славянами перешли на немецкий язык и усвоили элементы германской культуры. Поэтому-то в идише не удастся проследить признаков происхождения от какого-нибудь определенного немецкого диалекта. Основываясь на тщательном лингвистическом анализе, Векслер предлагает считать исчезнувший уже в XIX веке западный идиш и уцелевший идиш восточно-европейских евреев разными языками, возникшими под влиянием немецкого языка у разных по происхождению групп в разное время. Заметим, что такая германизация евреев или западно-славянских племен (венедов, лужицких сер-

⁴ Paul Wexler. Yiddish – The Fifteenth Slavic Language («Идиш – 15-й славянский язык») // International Journal of the Sociology of Language 91, 1991; позже в книге: The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic People in Search of a Jewish Identity («Ашкеназийские евреи: славяно-тюркский народ в поисках еврейской идентификации»). Columbus: Slavica, 1993.

⁵ Возможно, здесь и лежит ответ на одну из загадок русской истории – судьба многочисленного, предположительно говорившего на славянском языке еврейского населения Киевской Руси, отмечаемого в русских летописях и в записках иностранных путешественников? «Понеже их всюду в разных княжениях много», – цитирует летописи русский историк Татишев.

бов, слезян в Силезии, склавинов и полабов) не является чем-то исключительным. Многочисленное славянское население жило в X веке также на территории современной Румынии и Венгрии, но позже слилось с пришлым населением и переняло язык господствующей группы – достаточно вспомнить, что романтическое название венгерского озера Балатон происходит от славянского «болота».

Векслер справедливо отмечает, что поколения исследователей идиша и истории восточно-европейского еврейства выросли на германской культуре, воспитывались в немецких университетах. Вместе со всей германской наукой XIX и XX веков они недооценивали, а то и просто игнорировали роль славянского компонента в истории Восточной Европы, в том числе и в еврейской истории. Известный исследователь еврейского фольклора и обычаев Герман Поллак⁶ выражает этот господствующий взгляд, когда говорит: «Разумеется, Богемия и Моравия испытали некоторое влияние славянской культуры (?! – М. Д.), однако мы не будем рассматривать славянские элементы в этих странах. Богемия и Моравия должны рассматриваться лишь в аспекте их принадлежности к немецкой культуре, поскольку в XVII–XVIII столетиях они принадлежали Германии (?! – М. Д.). Весь регион необходимо рассматривать как единое культурное пространство, а идиш – как его местный диалект».

Таких цитат можно привести множество, однако не секрет, что и Чехия, и Моравия, даже в составе Австро-Венгерской империи, всегда оставались славянскими, а так называемое «немецкое еврейство» начиналось на исконно славянских землях и как народ сложилось в регионе между Вислой, Дунаем и Днепром, который никогда не был немецким. К сожалению, эти устаревшие идеологические схемы до сих пор господствуют в еврейской этнографии. Даже после Холокоста, когда, казалось бы, с духом германского средневекового *Дранг нах остен* и с национал-социалистической мечтой *Lebensraum* («жизненного пространства») навеки покончено, германо-центристская концепция продолжает господствовать в изучении восточно-европейского еврейства.

Недавно умерший израильский ученый Исраэль Та-Шма оставил блестящее исследование на тему известного богословского правила *минег брехт а'дин* («обычай отменяет закон» – *идиш*), доказывающего шаткость мифа о незыблемом в веках законе Торы. Однако тот же Исраэль Та-Шма, считавшийся главой израильской школы изучения восточно-европейского еврейства, не только обходил вниманием славянские элементы в идише, но и вообще исключил из сферы исследования обычаи и обряды, не имеющие корней в Талмуде или не связанные с библейской Страной Израиля. Эта позиция хорошо иллюстрирует характерное для многих исследователей стремление доказать, что, несмотря на смену языков, стран и континентов,

⁶ Herman Pollack. Jewish folkways in Germanic Lands (1648–1806). Hampshire College & Umass, 1971.

еврейство сохраняло нетронутой тысячелетнюю традицию, и все заимствования служили этой охранительной цели: если евреи заимствовали что-то у других, то придавали вещам и понятиям свой, особый еврейский смысл, непохожий на то, что было у других народов. Вот, например, что пишет видный исследователь истории польского еврейства Бернард Вайнриб: «В Европе у евреев появились обычаи, расходящиеся с предписаниями Талмуда... Разумеется, такие заимствования, отклоняющиеся от закона, могли быть допущены лишь в том случае, если они помогали развивать неразрывную традицию – представлять еврейскую жизнь цепью преемственности с древнейших времен. Таким образом, традиция оставалась нетронутой»⁷.

Не случайно большинство исследователей идиша и по сей день не приемлют ни теорию Векслера о славянской природе идиша, ни его мысль о славянской родине ашкеназийского еврейства, ни его представление о еврейской миграции с востока на запад. Однако работы Векслера невозможно обойти молчанием. Они базируются не на каком-то одном ярком открытии, бросающем новый свет на уже известные факты, а на тщательном анализе всей научной информации, собранной еврейской этнографией. Векслера продолжают цитировать, его идеи разрабатываются во всем мире. Недавно появились исследования голландского этнографа и историка еврейства Йица Ван Стратена, доказывающие, что, несмотря на погромы, крестовые походы, голод и эпидемии чумы, никакой существенной еврейской эмиграции из Западной Европы в Восточную не было ни в XI, ни в XII веках⁸. А ведь, по Вайнрайху, это как раз время зарождения идиша, и именно такой миграцией он объяснял резкий демографический рост числа восточно-европейских евреев в XI–XII веках.

Интересно и другое обстоятельство. Если ашкеназские евреи произошли от сефардских, то почему сефарды и ашкеназы используют для одинаковых религиозных понятий разные, пускай и однокоренные, древнееврейские слова? Например, вечерняя молитва называется у сефардов *аравит*, а евреи Восточной Европы звали ее *мойрив*. Судный день у ашкеназов назывался *йом кипер*, а у сефардов *кипур*. Почему сефардские раввины, хоть и не отказывали своим восточно-европейским единоверцам в праве называться евреями, запрещали с ними родниться. Именно в X–XI веках у сефардов в Испании и Португалии появляется принцип «расовой чистоты», выраженный, между прочим, в известном раввинском титуле *сам*, или *сфаради та'ор*, «чисто (кровный) сефард», который до сих пор в ходу у сефардских раввинов. Сефардские и ашкеназийские общины веками существовали параллельно, не смешиваясь ни в Амстердаме, ни в Бухаресте, ни в

⁷ Bernard Weinryb. Reappraisals in Jewish History («Переоценка еврейской истории»). SWBJV, 1974.

⁸ Jits van Straten. Jewish migrations from Germany to Poland: The Rhineland hypothesis revisited («Еврейская миграция из Германии в Польшу: пересмотр гипотезы Рейнских земель»). Mankind quarterly. Vol. XLIV, No 3&4, 2004.

Крым, ни в Иерусалиме, ни в Нью-Йорке. Да и в сегодняшнем Израиле их взаимоотношения далеки от гармонии.

Далее: общепринятая схема истории идиша не способна объяснить, почему в идише древнееврейских слов значительно больше (около 10% словаря), чем в языке евреев Испании, средневековой Франции или еврейско-арабском. Ведь если евреи пришли в Восточную Европу из Западной, то они могли по пути лишь утратить, но никак не обогатить свой древнееврейский словарь. Вайнрайх объяснял этот феномен высокой образованностью ашкеназийских евреев, обогащавших свой язык за счет священных книг. Однако вряд ли ашкеназы в средневековой Восточной Европе вплоть до XVI века были более образованными, чем евреи Испании, Прованса или арабских стран, где в средневековье находились крупнейшие центры еврейской учености.

Эта гипотеза Вайнрайха имеет чисто умозрительный характер. Многие источники указывают на очень низкий уровень талмудической учености, а часто даже на полную безграмотность евреев средневековой Германии. Например, уроженец Германии рабби Ашер бен Йехезкиэль (1250–1327), считавшийся у себя на родине примером еврейской учености, пишет, как, попав в Толедо, выяснил, что его древнееврейский язык ниже всякой критики и он не способен преподавать на нем. В свою очередь ученый раввин из Испании рабби Элиэзер бен Йозель Ха-Леви (1140–1225), принявший раввинское служение в Кёльне, пишет, что пришел в ужас от вопиющего невежества (и нищеты) местных евреев. Он отмечает, что в большинстве общин в Польше, на Руси и в Венгрии нет ученых раввинов, да и во многих местах бедные общины не способны их содержать. Все это далеко от идиллических рассказов о начале еврейского заселения Восточной Европы, куда евреи якобы приезжали по личным приглашениям герцогов, духовных владык и королей. Даже в XVI веке грамматик из Германии Элия Бахур⁹ упрекает своих земляков-евреев в невежестве и вопиющих ошибках в древнееврейском языке.

Гнилая груша Йом-Китура. Пол Векслер отвергает «теорию образованности» Вайнрайха и объясняет проникновение древнееврейского и арамейского в язык ашкеназийских евреев последующей «иудаизацией» местных языческих и христианских терминов. Слова, а особенно термины, казавшиеся ревнителям всего иудейского недостаточно еврейскими, заменялись понятиями из Библии или Талмуда. Например, молитвенный дом на идише испокон веков называли *шул* («школа»), пока «иудаизаторы» не стали повсеместно заменять «нееврейски звучащие» *шул* и *синагога* на ив-

⁹ Впрочем, Бахур, вероятно, не совсем прав. В ранней работе тот же Пол Векслер указывает, что критика Бахура не свидетельствует о низком уровне знаний, а лишь о том, что многие гебраизмы и арамеизмы позаимствованы идишем из разговорного языка поздней древности, где словопользование и даже грамматика сильно отличались от языка Библии или литургических текстов.

ритское *бейт-кнессет*. Народное предание гласит, что называть синагогу *шул* евреи стали потому, что антисемитские власти запрещали евреям молиться, а вот учиться разрешали¹⁰.

От слова *шул* в значении «синагога» и «школа» произошли такие еврейские фамилии, как Шульман, Школьник и Альтшулер. Этимология выводит это слово из греческого *схола* («школа»), отмеченного в таком значении еще в Новом завете. «Деяния апостолов» повествуют, как св. Павел собирает своих учеников в *схоле* в Тираннусе, отличая ее от еврейской синагоги, где апостола не хотели слушать.

Для определения иудейского молитвенного дома в Евангелиях обычно пользовались греческим словом *синагога*, что означает «собрание». В идише слова «синагога» не было вообще, хотя оно было в ходу у говоривших по-гречески евреев Византийской империи и (в арабизированной форме) в языках евреев Иберийского полуострова, ладино и иудейско-португальском. Интересно, что старославянское Евангелие переводит слово «синагога» как *сонмище*. Переводчики Евангелия сочли слово «синагога» непонятным для своих читателей. Неизвестное в библейский период *бейт-кнессет* («дом собраний» – *иврит*) пришло в еврейский язык намного позже, из арамейского, где слово *канэсет* означало «церковь». (Любопытно, что в арабском языке сохранилось четкое разделение: *книса* – «церковь» и *книс* – «синагога»). В наше время под влиянием израильской и американской религиозной агитации *бейт-кнессет* постепенно вытесняет «нееврейскую» *синагогу* из русско-еврейского словопользования. Постепенная иудаизация происходит и со словом *библия* («книга» – *греч.*), которая в еврейском обиходе вытесняется новомодным *Танахом*. У нееврейского читателя создается впечатление, будто речь идет о некоей особой еврейской Библии, отличающейся от христианской по содержанию. Но *бейт-кнессет* и *Танах* – далеко не единственные примеры иудаизации. Доходит до курьезов. В 70-е годы XX века израильское религиозно-просветительское общество «Шамир» выпустило в свет новый перевод Библии на русский язык. Переводчики и редактор (Бецалель Шиф) все, что могло напоминать русскоязычным евреям о христианстве, заменили своими словами, часто неологизмами. Ладно еще, что суббота стала *шаббат*, но и, к примеру, Иерусалим вопреки всем правилам русского языка стал *Ыршалаймом*.

Векслер отмечает еще один интересный феномен – использование в еврейском языке старинных славянских слов из дохристианских языческих ритуалов, как *правн* – «справлять» (обряд) и, особенно, *трейбн* – термин ритуальной обработки мяса. Над загадкой *трейбн* бился еще Макс Вайнрайх, но до Векслера никто не мог предложить удовлетворительного объ-

¹⁰ В «Истории города Глупова» Салтыков-Щедрин называл такие легенды «лыгендами». Понятно, что в своих религиозных «лыгендах» евреи всегда оказываются хитрее и умнее, чем их вечный враг – «гойская» власть.

яснения, как славянское слово *треба*¹¹, употреблявшееся исключительно для обозначения языческого жертвоприношения, попало в идиш. По Векслеру, наличие в идише этого слова, которое исчезло из оборота за несколько веков до общепринятой даты появления самого идиша, следует объяснять влиянием перешедших в иудаизм славянских язычников.

Интересно и то, что основными источниками для образования идишистских слов, означающих магические понятия, тоже были греческий, латынь, славянские и некоторые романские языки. В идише очень мало турецких или арабских заимствований и даже прямых заимствований из древнееврейского языка, и практически нет слов германского происхождения для обозначения религиозных или магических понятий.

Еще один неожиданный и забавный пример иудаизации термина мы находим в упомянутом выше каталоге названий растений Мордке Шехтера. Сорт поздней груши на идише называется *нилэ-барлех* – якобы от древнееврейского слова *нилэ* (*не'ила* – «запирание», по названию завершающей молитвы литургии Судного дня). Тот же сорт зовут еще *йом-кипур барлех* или *кол-нидрей-барлех* по древнееврейскому названию самого Судного дня, а также одной из самых известных молитв литургии этого праздника (*Кол нидрей* – по-арамейски это «Все наши обеты»). Шехтер показывает, что первоначально груши эти назывались куда более прозаически *гнилэ-барлех*, от украинского «гнилые, перезревшие груши», а лишь затем по созвучию были связаны с религиозным понятием *нилэ* (типичный образец так называемой народной этимологии). Векслер полагает, что и идишистское название Судного дня *йомма раба* тоже нееврейского происхождения. Оно скорее связано с многочисленными местными названиями еврейского праздника, означающими «длинный день», а ивритское *Йом-Кипур* пришло в народный обиход значительно позже.

Интересно отметить также другую характерную особенность идиша – если для одного понятия существует несколько синонимов, то идиш почти всегда использует наиболее поздний, по большей части арамейский, а не библейский. Например, арамейские *левонэ* – «луна» вместо древнееврейского *яреах* и *йом-тов* – «праздник» вместо библейских *хаг* или *моэд*. В этом отличие идиша и «ашкеназийского иврита» от стандартного израильского иврита. Создатели последнего сознательно предпочитали древнееврейские библейские слова поздним талмудическим арамеизмам. Будучи сионистами, они стремились воссоздать древний иврит и, по сути, заново создать язык, а вместе с ним и нового человека, свободного от местечковых комплексов. Движимые революционным пылом, творцы израильского иврита сознательно старались отбросить всё, связанное с идишем, хотя для

¹¹ Заметим, кстати, что для христианского обряда в славянских языках используется другое слово – «жертва» и однокоренные ему. Таких исторических загадок в идише очень много. Даже происхождение такого идишистского слова, как *давен* – «молиться», по сей день не имеет удовлетворительного объяснения.

большинства из них идиш был родным языком, и даже меняя словарь, они продолжали думать на идише, сохраняя (часто бессознательно) его ментальные модели. Несомненно, что если бы израильский иврит «воссоздавали» выходцы из Северной Африки или Йемена, то это был бы совсем другой язык, чем тот, который мы знаем сегодня. Особенности израильского иврита легко объяснить, а вот предпочтение идишем самых поздних арамейских слов вместо библеизмов вызывает множество вопросов.

Эту особенность идиша отмечает также профессор Вильнюсского университета Довид Кац. В книге «Слова на огне: Незаконченная история идиша»¹² он тоже, подобно Векслеру, атакует Вайнрайха и всю хрестоматийную историю идиша. Но, в отличие от Векслера, Кац считает, что ашкеназийское еврейство произошло от выходцев из Месопотамии, а идиш – прямой наследник их языка. Кац отрицает теорию расселения евреев через Средиземноморье, Испанию, Западную Европу. Ведь ашкеназийские евреи появились не в портовых городах вроде Гамбурга, как следовало бы ожидать, если бы они мигрировали с Запада. Раньше всего евреи появились как раз на восточном пограничье германских земель, в Регенсбурге и Вормсе, а то и вовсе на западно-славянских землях, незадолго до того завоеванных в ходе германского *Дранг нах остен* (следы этого германского продвижения на славянские земли сохранились в таких названиях, как *Эльба* – когда-то славянская *Лаба* и *Лейпциг* – от славянского *Липецка*). Кац выводит происхождение ашкеназийских евреев от еврейских переселенцев из Месопотамии, а идиш – прямо из арамейского и древнееврейского языков. В свою очередь Векслер приводит огромное число доказательств в пользу происхождения ашкеназийского еврейства от коренных жителей Восточной Европы. Он объясняет происхождение ашкеназийского еврейского народа тем, что, опасаясь немецкой колонизации и крещения, однозначно означавших крепостное рабство, массы полабов, лужицких сербов и других западных славян обратились в иудаизм, который не преследовался немцами так, как язычество. И действительно, в пору крещения западных славян (в VIII–XI веках) иудаизм пользовался в христианском мире относительной автономией. Об этом пишет, например, св. Бернард де Клерво. В раннем средневековье христиане относились к евреям терпимо, принимая их услуги как посредников, купцов и управляющих.

Любопытны также соображения Векслера об эволюции самого названия *ашкеназ*. В Библии оно означало индоевропейский народ – вероятно, скифов. Затем это название было перенесено на европейских тюрок, жителей Малой Азии и Причерноморья, а позже стало обозначать Восточную Европу и славян. Впоследствии слово «ашкеназ» окончательно утвердилось у евреев как название Германии. Векслер полагает, что название евреев именем нееврейской страны несет в себе еще одно ясное указание на их преимущественно несемитское происхождение. Интересно, что и назва-

¹² Dovid Katz. Words on Fire: The Unfinished Story of Yiddish.

ние славян в талмудической литературе («Ханаан») евреи стали применять к себе и к еврейско-славянскому языку *кнааниту*, которым пользовались в Чехии в средние века.

Довид Кац, как уже сказано, полагает, что продвижение евреев на восток Европы шло прямо из Месопотамии. Поэтому он считает идиш не косвенным (через арабский, иудейско-французский, иудейско-итальянский и латинский), а прямым преемником древнееврейского и арамейского языков, на которых говорили выходцы из Месопотамии. Кац считает, что они-то и стали первыми ашкеназийскими евреями. Иными словами, по Кацу, не современный, искусственно сконструированный иврит (который он предлагает попросту переименовать в «израильский язык»), а именно идиш является историческим преемником языка библейских патриархов и мудрецов Талмуда. По Кацу, об этом свидетельствует не только высокий процент гебраизмов в идише, но и наличие в нем многочисленных арамейских предлогов, междометий и местоимений. Объяснение Вайнрайха, будто эти ивритские и арамейские заимствования были взяты «образованными раввинами» из древних письменных текстов, Кац считает несостоятельным. Во-первых, такие заимствования, как арамейские *кимат* («почти»), *махмэс* («из-за», «потому»; в современном иврите *михмат*) и другие, попросту отсутствуют в «ученых книгах», а во-вторых, если бы гебраизмы и арамеизмы постепенно внедрялись в идиш через изучение текстов, они были бы обязаны подчиняться строгим фонетическим законам германских языков, а это не наблюдается. Векслер частично принимает идею Каца о миграции евреев из Месопотамии в Восточную Европу, однако считает, что речь не могла идти о большом количестве переселенцев. По его мнению, мигрировать могли некоторые отдельные ученые раввины, которые позднее внесли свой вклад в формирование идиша.

Немецкий для богохульников. В знаменитом эпизоде «Повести временных лет», так называемом «испытании вер», киевский князь Владимир взвешивает возможность принятия иудаизма. Однако, убедившись, что у иудеев нет ни армии, ни государства, князь заявляет: «Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны: если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям». Перед лицом немецкой угрозы лишенное государства и армии еврейство могло предложить западным славянам лишь возможность разделить с ним собственную судьбу.

Славянские князья Чехии (входившей в состав Великой Моравии) сделали другой выбор – приняли христианство от Византии, призвали легендарных Солунских братьев, создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Такая политика создавала противовес немецкой колонизации, позволила отвести ее угрозу и на века обеспечила самобытность чешского народа и его национальное существование. Интересно, что в этой борьбе чехов за сохранение национальной идентификации есть существенный еврейский вклад. Самая древняя чешская историческая хроника, созданная в начале XIV века Далимилем Межжерицким и известная историкам как Боле-

слова (или Далимилова), рассказывает, как чешские евреи присоединились к чешским христианам для защиты их общей родины от немецкого вторжения в IX–X веках. Хроника содержит фактические неточности, но важно учесть, что рассказ об участии евреев в борьбе славян против немецкой колонизации оставался актуальным и спустя четыреста лет после событий.

Польская легенда, повествующая о событиях IX века, рассказывает, что паны, как обычно, не могли договориться, кого избрать королем. Отчаявшись, они решили назвать королем первого, кто с утра появится в городских воротах. Им оказался еврей Абрам Вол (по другой версии – Проховник). Вол принял у панов корону и, проявив немалую государственную мудрость, примирил их и пошел в поле. Там он нашел крестьянина Пяста и предложил корону ему. Другая версия рассказывает, что этот Абрам попросил у панов на день отсрочки, заперся в комнате и стал молиться. Народ заволновался. Пяст взял в руки топор и призвал народ заставить еврея принять корону. Тогда Абрам вышел и сказал, что теперь он видит, что у поляков уже объявился собственный вождь, и короновал Пяста. Интересно, что восстание в Мазовецком княжестве, в ходе которого повстанцы добивались от христианской династии Пястов возрождения былых вольностей и языческих культов, легенда приписывает *umysłeniam żydowskim*, т. е. «еврейским козням». Как бы то ни было, остается фактом, что евреи Польши пользовались привилегиями, личной свободой и самоуправлением до самого раздела Польши в конце XVIII века.

Еврейство издавна привлекало прозелитов высокой степенью взаимопомощи и проповедью социальной справедливости. Еврейская благотворительность часто распространялась и на неевреев. Недаром христианская церковь всегда старалась отвлечь свою паству от иудаизма. Наиболее ранние выпады против еврейской филантропии принадлежат жившему в V веке легендарному переводчику Библии на латинский язык блаженному Иерониму. Его призывы не принимать помощь от евреев порой напоминают некоторые современные российские писания против западных благотворительных программ, вроде Фонда Сороса. Принимали иудаизм также нееврейские жены и мужья евреек. В замечательном сочинении *Сэфер хасидим* («Книга благочестивых») ¹³, вышедшем в Регенсбурге в 1217 г., рабби Йегуда а-Хасид пишет нечто, что могло бы, пожалуй, ввести в смущение современных поборников еврейской расовой чистоты. В частности: «Жениться на хорошей христианке лучше, чем на плохой еврейке». Веро-

¹³ Кстати говоря, «Книга благочестивых» примечательна не только своей мудростью и гуманизмом. Особенности ее синтаксиса дают возможность предположить, что родным языком рабби Йегуды был какой-то славянский либо же книга является переводом со славянского языка. В своей книге рабби Йегуда а-Хасид упоминает славянские названия языческих духов – в частности, волколака-оборотня, – вышедшие из употребления уже в его время. Что же касается смешанных браков, то следует помнить, что тогда, как и сегодня, до единомыслия в иудаизме было далеко, и среди раввинов имелись прямо противоположные взгляды на этот вопрос.

ятно, среди прозелитов было много женщин. Не этим ли объясняется, что среди современных женских еврейских имен значительно больший процент небиблейских и заимствованных из других языков, чем среди мужских (точно так же как в современном Израиле женщины значительно чаще носят заимствованные и новосозданные ивритские имена, чем мужчины). Видимо, женщины могли носить небиблейские имена, поскольку их не вызывают к чтению Торы в синагоге. Существует поверье, что Бог узнает еврея по его библейскому имени, поэтому к Торе, которую читают перед Богом, вызывают так, чтобы Бог узнал молящегося. Поверье это, между прочим, странным образом переключается с древним языческим поверьем у славян, что все потусторонние силы слепы. Недаром баба-яга чувствует Ивана носом («русским духом пахнет»), а нечисть поднимает веки Вия, единственного среди них зрячего, чтобы добраться до Хомы Брута. Впрочем, этнографам не удалось найти следов Вия в украинском фольклоре.

Много новообращенных в иудаизм было среди слуг и рабов в еврейских домах и хозяйствах. Не случайно церковь постоянно издавала грозные эдикты, запрещающие евреям держать христианских работников, особенно женщин. И еще одна, самая, вероятно, интересная группа новообращенных состояла из языческих жрецов. Ко времени появления христианства на славянских землях многие славянские племена самостоятельно пришли к идее монотеизма. Самое известное событие такого рода – попытка киевского князя Владимира установить единый и централизованный культ Перуна в качестве государственной религии. Исследователи истории западных славян тоже отмечают появление там элементов единобожия. Поразительно сходство в архитектуре ранних синагог в Восточной Европе со славянскими языческими храмами. Относительно скромный статус раввинов в раннее средневековье в Восточной Европе больше похож на статус жреческого сословия у славян, чем на обычаи евреев Иберии и мусульманских стран. В еврействе эти «волхвы» могли сохранять не только свои обычаи (носить бороду или не есть свинину), но и личную свободу. Есть большая доля истины в шутке Майкла Векса: «Идиш начинался как немецкий для богохульников, на котором можно было отрицать Христа, не подвергая себя большей опасности, чем необходимо»¹⁴.

Шабат в честь богини любви. Пол Векслер считает, что массовое принятие иудаизма славянами не носило драматического и внезапного характера, в отличие от крещения Руси или принятия мусульманства в Золотой орде, хотя историкам известны факты принятия иудаизма князьями и вождями раннего средневековья. Еврейские источники сохранили мало свидетельств перехода славян в иудаизм, но вот, например, младший современник рабби Йегуды а-Хасида Йомтов Липман, служивший раввином Кракова и Праги,

¹⁴ Michael Wex. Born to Kvetch: Yiddish Language and Culture in All of Its Moods («Рожденный для жалоб: Еврейская культура во всех своих настроениях»). St. Martin's Press, 2005.

в своей книге *Сэфер ницахон* («Книга победы», 1410 год) благословляет новообращенных (видимо, поляков и чехов) и призывает читателей всячески их поддерживать. Прозелитизм был затруднен еще и тем, что даже в «плюралистическом раю», как назвал Довид Кац Восточную Европу раннего средневековья, иудейским миссионерам грозили суровые кары (хотя во многих местах обращению язычников в иудаизм власти не препятствовали).

Интересна эволюция греческого слова *прозелит*, поначалу означавшего странника и чужака. В позднюю античность и в раннее средневековье прозелитом называли только обращенного в иудаизм, придавая этому термину точно такое же значение, как и талмудическое *гер* («пришелец, обращенный в иудаизм»). Для новообращенных христиан пользовались словом *неофит*, «новопосаженный, росток». Заимствуя слово *прозелит*, европейские языки, в том числе русский и английский, утратили специфический иудейский оттенок слова.

Возможно, евреям Восточная Европа действительно казалась землей обетованной, зато язычество там беспощадно искоренялось огнем и мечом в течение столетий. Не потому ли славянские язычники так охотно переходили в иудаизм? Но уже начиная с IV века церковные владыки, синоды и соборы, равно как и светские власти, издавали множество суровых запретов против перехода в иудаизм вообще и крещеных славян в особенности. Уникальное свидетельство этого содержится в письме первого христианского монарха Болгарии Бориса-Михаила римскому папе Николаю I, написанном в 866 году. Борис жалуется на иудейских прозелитов, которые не только сами приняли иудаизм, но еще и обращают в него других. Русский летописец XII века тоже сетует, что евреи «имели великую свободу и власть... они же многих прельстили в их закон, и поселились домами между христиан». Синод в Бреслау (Польша) жалуется в 1267 году, что крещеные поляки могут стать легкой добычей иудейского прозелитизма: «Польская земля пока лишь юный росток на древе христианства, и христианский народ с легкостью заражается иудейскими предрассудками и развращается евреями, живущими среди них». Впрочем, эдикты против перехода в иудаизм издавались и там, где никакого иудейского прозелитизма не было. Как это часто бывает, антииудейские призывы церковных иереев далеко не всегда отражали действительную картину – много чаще они служили чисто политическим или пропагандистским целям. Так, папа Григорий IX в послании к немецким прелатам (1233 год) называет разговоры о переходе в иудаизм «пустой риторикой» (на средневековой латыни это обозначало красноречие и болтовню). Впрочем, далее он делает исключение для неких германских земель, хотя и не указывает каких.

Сегодня в еврейских источниках можно часто встретить утверждения, что те или иные еврейские этнические группы – грузинские, индийские, эфиопские, кавказские, йеменские, крымские и даже североафриканские – происходят от обращенных в иудаизм местных жителей. Но говорить это про ашкеназийских евреев как-то не принято. Возможно, потому, что по-

давляющее большинство евреев-исследователей сами из ашкеназов. А может, и по политическим причинам – из-за напряженности на Ближнем Востоке, где историю используют как оружие в долгом и кровавом конфликте за землю и воду. Вот ведь даже знаменитый израильский исследователь еврейской мистики Гершом Шолем, известный широтой взглядов и терпимостью, говорил студентам: «Зигмунд Фрейд утверждал, что евреи позаимствовали в Египте свою религию, а теперь Артур Кёстлер пытается отобрать у нас все остальное»¹⁵.

В иудаизации всего нееврейского не было ничего уникального. Точно так же происходил процесс христианизации языческих обрядов в христианстве. Однако христианство никогда не делало большого секрета из того, что активно пользовалось языческими традициями – возводило храмы на месте капищ, переименовывало языческие обряды и сохраняло языческие элементы в христианских праздниках, таких как масленица, колядки, радунница или Иван Купала. (До сих пор в народе Рождество называют языческим именем Зимний коловорот. Многие святые, вроде Ильи-громовика или св. Власия, носят явные черты языческих богов Перуна и скотьего бога Велеса.) Так же и в иудаизации переделке на иудейский лад подвергалась не только речь, но и языческие и христианские обряды, распространенные среди евреев. Например, известная всем субботняя хала. У ашкеназийских евреев так называется особый плетеный хлеб. Религиозные евреи производят название халы от библейского *халá* – части теста, отбираемой в ритуальных целях. Вот только распространенные у ашкеназов названия халы были далеки от библейских. Третий том «Атласа по истории и культуре ашкеназийского еврейства» (Институт еврейских исследований) посвящает несколько страниц названиям халы в разных регионах – от Беларуси до Франции: *берхес*, *китке*, *штрицл*, *дачер* и даже... *койлич*. Да-да, кулич, оказывается, тоже не чужд субботнему еврейскому столу! Слово «кулич» греческого происхождения, где *коллиес* означает хлеб круглой формы. У евреев Франции *колиц* обозначал халу, по крайней мере с XI века.

Подробный разбор других ашкеназских синонимов халы увел бы нас далеко от темы. Скажем лишь, что *берхес*, вероятно, тоже неиудейского происхождения. Хотя среди религиозных евреев *берхес* принято возводить от *брохэ* («благословение»), но известно, что у древних германцев (а также

¹⁵ Шолем имел в виду гипотезу Фрейда о том, что Моисей заимствовал идею единобожия у египетского фараона-солнцепоклонника Эхнатона, а Кёстлер в книге «Тринадцатое колено» утверждал, что все ашкеназийские евреи произошли от хазар, принявших иудаизм в VIII веке. Кстати, тот же ответ Шолем дал редактору американского журнала *New-York Review of Books*, который просил его написать рецензию на сенсационную книгу Кёстлера. Если такова была реакция Шолема, что уж говорить о нынешнем поколении исследователей? Увлекательно написанные труды учеников Шолема – Моше Иделя и Йегуды Либеса – порой дают совершенно антиисторическую, идеализированную картину еврейской жизни, словно протекавшей в каком-то параллельном пространстве, без всяких влияний внешнего мира.

у предков современных чехов и словаков) женщины отрезали косы в дар языческой богине плодородия Берхте, или Перхте. (В некоторых районах Германии память о старой богине сохранилась даже в названии праздника *Perchettennacht* – «ночь Перхтен».) Позже косу сменил символический хлебец *берхи-брод*. Некоторые этнографы (Экштейн, Трахтенберг и др.) связывают еврейский обычай накрывать халу платком с языческим обычаем посвящения женской косы богине, после чего женщины покрывали голову, расставаясь с девичеством. У евреев тоже принято перед свадьбой состригать женщине волосы и покрывать голову косынкой. Вспомним, как гнилая груша превратилась в «йом-кипурную». Но раввинов, видимо, смущала память о языческом прошлом этого названия халы, и в результате в течение нескольких сотен лет сомнительное *берхес* сменилось вполне еврейской «халой».

Существует еще одна гипотеза, связывающая слово «хала» с именем доброй, но далекой от иудаизма феи Фрау Холли («святая госпожа» – *нем.*; на западном идише – *holekraß*). По народным поверьям, Фрау Холли защищала детей от злых ведьм. В Духов день фее подносили специальный хлеб. Праздник Фрау Холли отмечали в первую ночь Нового года. Для нее пекли особый фигурный хлеб, называли ее в песнях святой и царицей. Интересно, что субботу евреи тоже встречают накануне вечером, называют святой и царицей, а в субботнем ритуале этнографы находят следы древних свадебных обрядов встречи невесты. Не случайно в субботнее песнопение включены стихи из «Песни песней» – древнего любовного сочинения, которое христианство и иудаизм толкуют как любовь к Богу. Мотивы «Песни песней» до сих пор звучат в свадебных обрядах палестинских и сирийских крестьян. У балканских славян долго сохранялись обряды поклонения фригийской богине плодородия Сабатис. В культе этой богини тоже явно прослеживаются иудейские элементы.

Разумеется, еврейская суббота вовсе не заключается в поедании плетеной булки. Евреи почитают субботу больше любого праздника, поскольку праздники установили люди, а День субботний – сам Господь. В субботу еврею запрещена работа и еще 39 видов деятельности. Для евреев суббота – действительно царица, невеста. «В субботу евреи не работали, не разводили огня, не рвали бумаги, не касались денег, не делали ничего, что имело вкус рабства, – писал замечательный еврейский писатель Морис Самуэль. – И никак нельзя было заставить или подкупить еврея нарушить субботу. Ведь суббота и праздники – это все, что оставалось ему. Суббота была последней цитаделью его свободы»¹⁶. Не обладая армией, полицией или законодательной властью, евреи заставили своих соседей кое-чем поступиться ради субботы. Несмотря на недовольство церкви, ярмарочные дни повсеместно в Европе проводились в святой для христиан воскресный день.

Суббота была еще и днем учения, дискуссий о религии, этике, морали и вере. Целый народ, год за годом, поколение за поколением отдавал один

¹⁶ *Moris Samuel. The World of Sholom-Aleihem Shoken. NY, 1965.*

день в неделю семинарам о религии, нравственности и долге. Впрочем, это не мешало тому, что они далеко не всегда жили в согласии с законом Торы. Так, мудрецы Талмуда запрещали жертвовать пищу богам и духам, видя в этом проклятое язычество, но, тем не менее, ашкеназийские евреи в XVII–XVIII веках, пытаясь задобрить бесов перед церемонией обрезания новорожденного, подносили им пищу. Посещавшие Восточную Европу ученые сефардские евреи из мусульманской Иберии приходили в ужас от огромного количества мистических верований и распространенности народной магии у местных евреев. Не то чтобы сами сефарды были чужды магии и суеверий. Однако они признавали лишь «научно» обоснованную магию, базировавшуюся на талмудических текстах¹⁷.

Более того, веками евреи в Восточной Европе пользовались авторитетом у нееврейского населения в вопросах магии, особенно в вопросах снятия наговоров, дурного глаза, изгнания духов и реинкарнации. Юдофильские легенды о раввинах-врачевателях и добрых волшебниках, равно как и юдофобские – о связи евреев с дьяволом, – существуют в фольклоре всех европейских народов, а вера в особую еврейскую магию живет кое-где и по сей день. Во время поездки по Карпатам несколько лет назад я по совету друзей запасся в одной еврейской организации дешевенькими мезузами – ритуальными амулетами, защищающими дом от злых сил. Мои мезузы пользовались огромным успехом у крестьян в селах и городках Лемкивщины – самобытном этнокультурном регионе Украины. Не единожды я видел мезузы, прибитые к косякам дверей в сельских домах и даже в пастушеских хижинах-колыбах на *верховинских* пастбищах. Еврейские обереги и магия были в почете у местных лемкив и гуцулов, хотя после Холокоста там выросли два поколения, не помнящие евреев, и лишь руины еврейских кладбищ¹⁸ в городках и местечках напоминали о том времени, когда здесь бурлила еврейская жизнь и подавляющее большинство населения этих местечек составляли евреи.

¹⁷ Аналогичная ситуация сложилась, кстати, и в новое время, когда виднейший еврейский историк XIX века Генрих Грец объявил пронизанный мистицизмом хасидизм дикостью, а еврей-рационалисты провозглашали всякую мистику и народные верования «нееврейскими»; сегодня, напротив, наблюдается обратное движение – реформистские раввины вводят в богослужения хасидские элементы, а мистика каббалы, порой смешанная с буддизмом и другими дальневосточными культовыми практиками, находит широчайшее признание среди светских евреев. Впрочем, и сейчас, как всегда, имеются и другие мнения, и некий сверженный редактор выбросил из труда еврейского путешественника XII века Птахи из Регенсбурга многочисленные описания еврейских суеверий и магических практик, распространенных в то время (Цит. по: *A. Nahama, G. Sievernich. Jüdische Lebenswelten: Katalog. Berlin, 1991*). А ведь раввины в Европе никогда не устранили охоты на ведьм.

¹⁸ В отличие от христианского кладбища, называемого *цвинтар*, еврейское кладбище называлось *квур*. Вероятно, от названия захоронения *квурс* – на идише (мн. число от древнееврейского *кзвер* – «могила»).

Кабан на еврейских знаменах? Во многих случаях еврейский народ прямо отклонялся от четких заветов прошлых веков. Жившие в Месопотамии мудрецы Талмуда считали белый цвет счастливым, а красный по большей части считался цветом злых сил и дурного глаза. В Талмуде есть прямые запреты мужчинам носить одеяния красного цвета. Однако у ашкеназийских евреев, как у их германских и славянских соседей, красный цвет издавна считался счастливым. Согласно Талмуду, обвязывать красной нитью кисть или палец – запрещенный языческий обряд. Несмотря на это, хасиды до сих пор повязывают красную нитку для защиты от злых сил, хотя даже в идишистском фольклоре есть мотивы, связывающие красный цвет со злом. Несмотря на суровые постановления раввинов, традиционный иудаизм всегда мирно сосуществовал с народной мистикой и обрядностью, справедливо полагая еврейским почти все, что прижилось у евреев. Поколения ученых раввинов не ставили задачу докопаться до первоначального намерения автора священных текстов. Напротив, они полагались больше на свою житейскую мудрость и толковали святыне тексты согласно меняющимся жизненным обстоятельствам, помогая народу выжить и сохраниться в трудные времена. А когда раввинское мнение входило в конфликт с народными чаяниями, оно тихо им уступало. Так, раввины XVIII века считали помидоры нееврейской едой. Они называли его *хозер-аплэх* – «свинные яблоки». Однако помидор не исчез с еврейского стола, а изданный в Москве в 1989 году Русско-еврейский словарь под редакцией Моисея Шапира уже называет помидор помидором.

Вероятно, характер исполнения запрета на свинину у ашкеназийских евреев тоже имеет больше отношение к славянским верованиям, чем к древнему иудейскому закону. Многие этнографы связывают интерпретацию кашрута у ашкеназов с пищевыми запретами славян. Под красными стягами с изображением дикого вепря выходили полабы и лужицы на отчаянные и безнадежные битвы против закованных в броню крестоносных немецких рыцарей. Дикий кабан был тотемным символом у многих западно-славянских племен. У них строго соблюдалось табу на свинину. В Талмуде¹⁹ почти не встречается упоминание о свинине. Там все запрещенное называется *давар ахэр* – «другая, запретная, нечестивая вещь». Тут ни убавить, ни прибавить. «Печать Бога – это правда», – учил рабби Ханина.

Впрочем, еврейский народ давно уже определил свои сложные взаимоотношения со свининой не только категорическими раввинскими запретами, но и поговоркой, которую часто вспоминают герои Шолом-Алейхема: «Если жрать свинину, так уж чтоб по бороде текло».

¹⁹ Вавилонский Талмуд, Трактат Санхедрин 64а. Еврейская пословица, взятая нами из замечательной книги «Народ слов» Мириам Вайнштейн (*A Nation of Words by Miriam Weinstein*. Steeeforf press, 2001), говорит: «Добавлять к правде – значит отнимать от нее».

Пристрастие к ношению длинной бороды религиозные евреи тоже объясняют нерушимой традицией со времен библейских патриархов – по библейскому завету: «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей» (кн. Левит 19:27). Однако многие исследователи и здесь видят связь с древнеславянскими обычаями. Ведь в средневековой Европе художники изображали евреев бритыми. В богато иллюстрированных манускриптах пасхальной Агады евреи тоже изображали себя безбородыми. Да и в мусульманских странах евреи стригли бороды согласно моде своих соседей. Зато нестриженные бороды издревле бытовали у славян, особенно в жреческом сословии. Известно, что волхвы не стригли волос и бороды. Векслер отмечает, что на средневековых картинах и рисунках, изображавших восточно-европейских евреев, исполняющих религиозные церемонии, те неизменно были с бородой и длинными волосами. Интересно, что русские православные священники тоже унаследовали от языческих волхвов традицию не стричь волос и бороды. У православных греков обычай не стричь бороду неизвестен. Так что, бородатый ортодоксальный раввин, переходящий улицу при виде бородатого батюшки, имеет с ним гораздо больше общего, чем оба могут себе представить.

Кстати, наиболее раннее упоминание этого важнейшего для иудаизма термина «рабби» встречается как раз в Евангелиях, например у Матфея, где народ кричит Иисусу: «Рабби! Рабби!» (Матф. 23:7). Очевидно, русские переводчики Евангелий решили, что слово *рабби* могут неправильно понять, и перевели его как «учитель». Англоязычные переводчики, воспринимающие библейский текст как одно целое, во всех доступных нам библейских переводах оставили «рабби», как в греческом оригинале. Интересно, что название жены раввина в идише – *рабецин* – Макс Вайнрайх толкует как *рабби* со старофранцузским женским суффиксом *-issa* (ср. баронесса) и идишистским окончанием женского рода *-ин*. По-итальянски жена раввина действительно называлась когда-то *rabissa*. Не углубляясь в сложные вопросы фонологии, скажем, что в идише *-с-* никогда не переходило в *-ц-*, а западный идиш, где только и могла появиться идишистская *rabissa*, не знает двойных суффиксов. Более вероятная этимология – старинный славянский суффикс *-ица*, что-то вроде *рабаница*. Славянский суффикс *-ица* в идише довольно продуктивный – например, не нуждающееся в переводе *нудница*. Однако слова с таким суффиксом не означали чью-либо жену ни в идише, ни в славянских языках. *Нудница* редко бывает женой *нудника*, а *жрица* или *медведица* никак не жены жреца или медведя, уж не говоря об имени языческой богини Радуницы. Впрочем, похожая форма есть и в греческом языке. Более того, со II и вплоть до начала мусульманского завоевания в VII веке в византийских синагогах в Греции, Италии и на Мальте часто встречаются женские имена с титулами *пресвитересса* или даже *архисинагогисса* – т. е. старейшина синагоги.

В средневековых иллюстрациях к пасхальному молитвеннику Агада много непривычного – например, невозможные в иудейской практике молитвенные накидки (*талит*) красного цвета; или евреи, украшенные свинными ушами (!) во время исполнения пасхальных обрядов (в так называемой «Птицеголовой Агаде» XIII века из Баварии); и даже женщины, изучающие Тору вместе с мужчинами (!!) (в знаменитой Дармштадской Агаде 1430 года). Впрочем, о важной роли женщин в тогдашней еврейской религиозной жизни свидетельствует большое число женских имен среди жертвователей на синагогу. Даже если Моррис Самуэль в своей замечательной «Похвале идишу»²⁰ ошибается, считая, что *рабецин* происходит от греко-латинского названия женщины-раввина, все равно идиш сохранил и другое значение этого слова – «образованная женщина».

В современных ортодоксальных синагогах женщины строго отделены от мужчин и не допускаются ни к чтению Торы, ни к ведению службы, ни к изучению талмудической премудрости. Однако в раннем средневековье в Европе мы не находим никаких свидетельств якобы извечной традиции разделения мужчин и женщин в синагоге. Вплоть до эпохи крестовых походов, принесших в Европу мусульманские обычаи и нравы, средневековые синагоги в Германии и славянских землях не имели женской галереи. Лишь начиная с XIII века их стали достраивать к существующим синагогам. В 1212 году была добавлена женская секция к синагоге XI века в Вормсе (на том же этаже, что и мужская). В разрушенных нацистами древних синагогах в Шпеере и Кёльне (обе построены в конце XI века) женские галереи были добавлены в конце XIV века, а к построенной в XIII веке пражской синагоге Пинкуса женскую секцию добавили лишь около 1600 года. Остатки старинной синагоги в Регенсбурге, построенной в XIV веке, и вовсе не имеют женской галереи. В Польше синагоги с женскими галереями стали строить еще позже, где-то с начала XVI века. Таким образом, очевидно, что положение еврейской женщины в раннем средневековье больше напоминало их статус в славянском языческом обществе и сильно отличалось от талмудических норм, созданных в Месопотамии и Палестине. Недаром упоминавшийся выше рабби Йегуда а-Хасид из Регенсбурга без всякого осуждения пишет, что евреи в основном ничем не отличаются от окружающих народов. Вероятно, процесс иудаизации в его XIII веке еще не дал плодов.

Интересно, что у евреев – выходцев из Северной Африки понятие «рабби» в ходу до сих пор. Так именовался, например, почитаемый североафриканский цадик (праведник – *иврит*) и наследник целой династии чудотворцев рабби Исраэль Абу-Хацира (1890–1984), живший в израильском городке Нетивот. Он пользовался известностью далеко за пределами общины выходцев из Марокко как целитель и кудесник «Баба Сали» (Сали – принятая

²⁰ *Morris Samuel. The Praise of Yiddish. NY, 1971.*

среди евреев Магриба форма имени Исраэль)²¹. Титул *баба* – общепринятое титулование раввинов у евреев Северной Африки. Это арабизированная форма греческого слова «папа». Арабский язык не воспринимает звука «п», особенно в ударной форме в начале слова. От того же слова произошло русское слово «поп». Жившие в мусульманском окружении евреи веками называли своих раввинов *баба* («отче»). Зато восточно-европейским евреям распространенное в Талмуде обращение отче – *абба* – как синоним арамейского *рабби* (напр., Вавил. Талмуд), видимо, показалось слишком христианским. Здесь мы видим еще один пример иудаизации, только уже еврейских терминов, бывших в употреблении у христиан. Ведь слово *абба* – «отец» – одно из немногих арамейских слов, встречающихся в Евангелии (напр., Марк 14:36) и отсюда проникших во многие европейские языки в качестве титула священника или монаха. Настоятель монастыря у католиков – аббат. Отсюда и слова «аббатство» и даже «аббатиса», возможные лишь в несемитском языке. Ашкеназийские евреи не продолжили талмудическую традицию звать раввинов *абба*, а уж тем более не стали называть раввина попом или папой, в то время как их единоверцы в исламских странах не чувствовали здесь никакого неудобства. Интересно, что слово «поп», обычное не только у православных греков и румын, но и у православных славян – сербов, македонцев и болгар, – в русской православной церкви употребляется значительно реже – здесь предпочитают пользоваться словами «батюшка», «отче», а для целей богослужения – греческим *иерей* (священник).

²¹ С этим *рабби* связана интересная история. Последний год жизни он сильно болел, и его почитатели ломали голову, кто же будет наследником. Не то чтобы Господь не благословил раввина сыновьями, но его старший сын Барух Абухацира вел светский образ жизни и был известен своими скандальными похождениями, да к тому же отсидел солидный срок в израильской тюрьме за хищения и злоупотребления служебным положением. Однако, вернувшись после похорон, последователи святого *рабби* увидели, что Барух занял отцовские апартаменты, назвался Баба Барух, надел отцовскую мантию-*галабю* и как ни в чем не бывало стал вести прием верующих. Некоторая часть почитателей Баба Сали не захотела последовать за сыном, который, хотя и унаследовал отдельные отцовские способности по части чудес, однако прославился больше противоречивыми политическими заявлениями и скандальными конфликтами с другими раввинами-каббалистами. Эти верующие пошли за внуком Баба Сали, *рабби* Яковом Абухацирой из Беэр-Шевы, прозванным *ха-Рав*, т. е. Раввин с большой буквы. Однако *ха-Рав* тоже стал объектом полицейского расследования по подозрению в манипулировании общественными средствами, вымогательстве и коррупции. *Ха-Рав* уехал в Швейцарию на отдых на неопределенное время, а его политические друзья между тем уладили дело. Ведшего дело раввина начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Мишу Шаули повысили в чине до полковника и отослали подальше – на должность атташе по делам полиции в израильское посольство в Москве, а сам *ха-Рав* отделался лишь уплатой подоходного налога на доходы от чудес, благословений и заговоров. Однако, вернувшись из Швейцарии, раввин обнаружил, что кроме привычной конкуренции со стороны дяди Баба Баруха у него появилась еще и конкурентка – его племянница раббеин Сима, открывшая свою контору по совершению чудес неподалеку от места захоронения Баба Сали.

Галут как туризм. Довид Кац не может простить Государству Израиль одного – уничтожения идишистской культуры. Ведь идиш был живым языком миллионов, а иврит – мертвым языком. Зачем же нужно было уничтожать живое, чтобы возродить труп? Кац, как мы видели, даже отказывает ивриту в праве называться историческим преемником древнееврейского языка. И он не одинок в этом. Векслер тоже считает иврит перелицованным идишем²².

Но если Пол Векслер пишет сухим, научным языком, непростым для понимания, то книга Довида Каца написана увлекательно, даже поэтически. Автор влюблен в идиш, в идишистскую культуру и верит в их великое будущее. Его книга вовсе не исчерпывается лингвистическими гипотезами. Она полна драматизма. Ее главный герой – наш народный язык – показан в неустанной борьбе за легитимизацию. Книга Каца заставляет пересмотреть многие устоявшиеся взгляды. Например, принято считать, что идишистская народная литература – продукт светского еврейского движения XIX века. Но Кац выявляет ее существование в более ранние времена, задолго до начала секуляризации еврейского общества – от каббалистических сочинений на идише, лубочных хасидских историй и притч, а главное – публикаций на идише книги, прославлявшей основателя хасидизма Баал-Шем Това. Вторая великая книга идишистской литературы, волнующая нас до сего дня, это, по мнению Каца, рассказы хасидского рабби Нахмана из Брацлава, опубликованные в 1815 году, за полвека до официальной даты возникновения идишистской литературы, которая отсчитывается от публикации в 1864 году повести Менделе Мойхер-Сфорима *Дос клеине мэнчеле* («Маленький человек»).

Разумеется, книга Довида Каца, как и раньше Векслера, вызвала шквал критики. Против нее выступили не только консерваторы, безоглядно держащиеся за полувековой давности теорию Вайнрайха, но и специалисты, выдвигавшие вполне резонные возражения. Они говорили, что «переселенцам из Месопотамии», говорящим на иудейско-арамейском языке, неоткуда было взяться в VIII–X веках. Талмуд был завершён к концу VI века – к тому времени евреи по-арамейски уже не говорили. Наступал VII век, и вместе с мусульманской экспансией началась эра арабского языка. После Талмуда на иудейско-арамейском языке (его отличительное качество – громадное количество гебраизмов) народ уже не говорил. Кстати, здесь лежит

²² Структуре иврита посвящена книга Векслера «Раздвоение современного иврита: Славянский язык в поисках семитского прошлого» (*Paul Wexler: The Schizoid Nature of Modern Hebrew: A Slavic Language in Search of a Semitic Past*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991). Не так давно оксфордский профессор Гилад Цукерман прислал мне синопсис своей книги «Миф иврита», где анализирует несемитскую, синтетическую, «камуфляжную» структуру иврита. Книга скоро выйдет в свет. Для современного иврита Цукерман тоже использует название «израильский язык» (или попросту Ivrit), а за словом Hebrew он предлагает оставить традиционное значение древнееврейского языка.

один из самых замечательных парадоксов еврейской учености. В Талмуде поражает его удивительное «разноречие» (пользуясь термином Бахтина), то есть смешение языка народного и библейского, разных диалектов и стилей арамейского и разных пластов древнееврейского. Все это был сложный, комплексный и единый язык еврейского народа. Мудрецы и ученые редактировали Талмуд как раз для того, чтобы сохранить это языковое наследие и сделать его понятным для последующих поколений. Однако после завершения Талмуда и до появления мистического учения Каббалы в средневековой Испании и Провансе на этом иудейско-арамейском языке не было создано ничего значительного. После VI века религиозные произведения стали писать на древнееврейском, а возникшая под мусульманским влиянием еврейская философская литература создавалась на арабском. Яркой иллюстрацией такой тенденции стало творчество жившего в Месопотамии Саадии Гаона (892–942). Саадия не только писал философские произведения по-арабски для интеллектуалов, но и перевел для простого народа на арабский язык книги Ветхого завета. До начала исламского периода евреи, не понимавшие древнееврейского языка, могли читать Библию по-арамейски в каноническом переводе Онкелуса или в других, вошедших в религиозный иудейский канон. Выход перевода Саадии означал, что в начале X века народ уже не знал арамейского. Кое-где в деревнях Галилеи арамейский язык звучал еще 500 лет назад, а в Сирии до нашего времени неподалеку от Дамаска он сохранился в нескольких селах. Но подавляющее большинство евреев, около 90% тогдашнего еврейского народа, проживало в больших городах мусульманского мира.

Однако, к счастью, говорит Кац, судьба еврейского языкового наследия решалась не там. Когда после завершения Талмуда арамейский постепенно из языка простонародья стал языком высокой учености, знание его – в отличие от знания древнееврейского языка Библии и большинства молитв – стало достоянием лишь интеллектуальной элиты евреев из Месопотамии. Их миграция в Восточную Европу и привела, в конце концов, по мнению Каца, к появлению идиша, сохранившего огромное число арамеизмов²³.

Пол Векслер продолжает публиковать замечательные работы. Вскоре в Германии, в издательстве Гейдельбергского университета «Карл Винтер»,

²³ Кац не случайно не упоминает евреев из Страны Израиля. Там языковая картина была значительно сложнее, чем в Вавилонии. Палестинские евреи на побережье говорили по-гречески, в сельской местности, в Галилее, – на западных диалектах арамейского, значительно отличавшихся от талмудического арамейского, вошедшего в идиш. Векслер, напротив, не противится зачислению евреев Страны Израиля в число предков ашкеназийских евреев. У народов вовсе не обязательно один предок, считает он, и потому включает в число предков восточно-европейского еврейства не только славян, но также греческий, турецкий и иранский компоненты. Необходимо отметить, что все исторические и этнографические доказательства как у Векслера, так и у Каца не имеют самостоятельного значения, а лишь подкрепляют серьезные лингвистические доказательства, на которых эти ученые базируют свои выводы.

выйдет в свет его монография «Историческая фонология русского языка». Есть основания полагать, что замечательная писательская интуиция казахского поэта Олжаса Сулейменова, предложившего прочесть «Слово о полку Игореве» как тюркское, а не славянское произведение, получит неожиданную поддержку со стороны маститого специалиста по сравнительной лингвистике. Описанный Векслером процесс иудаизации языка, на котором говорили евреи, не закончился в средневековье. Ярким примером такой иудаизации в наше время является, например, язык новообращенных российских евреев, «вернувшихся к ответу» (то есть к иудаизму). Он и по делу, и без всякой надобности, к месту и не к месту чрезвычайно перенасыщен гебраизмами и... идишизмами. Точно такой же процесс, между прочим, происходит и среди студентов религиозных учебных заведений в Израиле и в Америке. Здесь их сленг даже обрел специальное название «фрумспик» (от *фрум* – «религиозный» на идише и *speak* – «речь» по-английски). Майкл Векс шутит: «Основное предназначение идиша, весь смысл его существования – это дать евреям возможность разговаривать на языке, отличающемся от *гоиша*, говорить на еврейском языке, а не на нееврейском...» Как когда-то арамейский, теперь уже идиш из простонародного превращается в язык избранных, указывающий на принадлежность к элитарному сообществу. И не только в религиозных кругах. «Времена меняются. Вместе с ними меняются моды и ценности. И то, чего стеснялись наши родители, может стать источником нашей гордости, а то, что мы сегодня порицаем, завтра может стать предметом гордости наших детей, – пишет в своей новой книге Пол Кривачек. – Использование идишистских словечек, казавшееся раньше дремучей местечковостью, стало теперь *hip* – крутым. И даже на Би-Би-Си теперь идиш в ходу»²⁴.

Заметим, что не только на Би-Би-Си. Слово *хуца* – нахальство, дерзость, смелость – давно в ходу в Америке, а недавно строго следящая за стилем консервативная «Уолл-стрит джорнал» поразила своих читателей выражением «они получают *бобкес*». *Бобкес* – или в другом произношении *банкес* – хоть и происходит от славянского слова «бобы», прямого отношения к бобам не имеет. Боб на идише – *бебл*. Скорее *бобкес* – это похожий на бобы овечий или козий помёт, и фраза означает, что ничего «они не получают». Что-то вроде русского «остался на бобах» или польского *zadac bobu*, «задать бобы», то есть оставить кого-то на бобах. Еще несколько лет назад невозможно было себе представить идиш на страницах «Уолл-стрит джорнал».

Даже если редакторы уже тогда знали это слово, вряд ли его поняли бы читатели. Теперь же в редакции, очевидно, уверены, что их читатели от Гонконга до Монтевидео понимают это еврейское словечко. Впрочем, дело не в отдельных словечках. Как раз здесь, позаимствовав слово из славянского языка, идиш придал ему совершенно особый, еврейский смысл. Дру-

²⁴ Paul Kriwaczek. Yiddish Civilization. Alfred A. Knopf, 2005.

гой пример, который приходит на ум, – *нудник*, еврейский зануда, совершенно непохожий на зануд других стран и народов.

«Ашкеназийское еврейство не столько языковое или религиозное меньшинство, сколько одна из наций – создателей современной Европы, более многочисленная, чем многие другие», – заключает Пол Кривачек в «Еврейской цивилизации». Кривачек утверждает: «...идиш означает просто еврейский, а наши отцы и бабушки говорили на идише, подразумевая еврейский язык». Он отказывается видеть в истории евреев лишь «длинную сагу постоянных погромов, притеснений со стороны властей и антиеврейских церковных эдиктов, резни, изгнания, пыток, костров и пожаров». Вместо этого автор отмечает «пусть не такие частые, но счастливые моменты, вероятно, более важные вехи, отмечающие успех, а то и славу еврейской цивилизации, ее вклад в европейскую экономику, общество, религию и интеллектуальный прогресс».

А что же насчет гонений? – спросит читатель. – Простить и забыть? Но как можно забыть, как можно перестать сетовать и обличать?

«Как и вся еврейская культура, отмеченная печатью еврейской склонности одновременно исследовать и вышучивать всё на свете, так и вся Библия пронизана жалобами (*кветч – идиш*), – пишет Майкл Векс. – Значительная часть Торы – это беспрестанные сетования на сынов Израиля, которые постоянно виноваты во всем на свете. Иудаизм окончательно сформировался в *галуте*, то есть в изгнании. А что такое изгнание без жалоб? Это уже не изгнание, это обычный туризм».

Не идет прямо, заходи снизу. Вернемся к началу. Замечательный знаток еврейского языка Макс Вайнрайх упрощал для ясности, приводя лишь три идишистских слова для обозначения «вопроса». На самом деле синонимов значительно больше. Есть еще *сугия*, *шеильта*, *баайя* и другие, изобретенные пытливым еврейским умом слова для классификации вопросов и проблем сложного мира. Покойный иерусалимский профессор-лингвист Хаим Рабин, один из создателей иврита, как-то рассказывал нам на лекции, что на заре современного иврита избегали пользоваться словом *баайя*, предпочитая международное «проблема». Его поколение получило религиозное еврейское образование и понимало всю проблематичность введения богословского термина в разговорный язык. Однако они предпочли свое, и вот так из идиша пришел к нам еще один «вопрос», обогатив современный иврит.

Один из древнейших методов библейского комментария строился на том, что текст Торы рассматривали как ответы на незаданные вопросы, а искусство комментатора состояло в том, чтобы понять, какой же вопрос был задан. Вопросы, сопровождавшие становление культуры ашкеназийских евреев, продолжают возникать, а ответы на них естественным образом складываются из новых вопросов. И один из самых интересных – почему почти ни одна работа о еврейском языке идиш не обходится без замечания, о том, что идиш давно похоронили, а он... гляди-ка, живет себе и

процветает? И если судить по числу и тиражам книг еврейской тематики, выходящих в свет на этом языке, идиш не только «живей всех живых», но и вызывает интерес гораздо больший, чем иной язык и культура народов, насчитывающих десятки миллионов человек. Еще в 60-е годы минувшего века Лео Ростин выпустил замечательную серию книг о вторжении идиша в американский обиход²⁵.

До сих пор не нашлось переводчика, способного адекватно перевести эти полные замечательного еврейского юмора книги на русский язык. Из всех ныне живущих, вероятно, лишь Михаилу Жванецкому, знай он еврейский язык, была бы по плечу такая задача. Да и на иврите книг Ростина еще долго ждать. Не так-то просто переводить книги об идише на современный сабровский иврит, стремительно адаптирующий модели своего ближневосточного окружения. Зато все более удлиняется список книг об идише, выходящих в лучших западных академических издательствах²⁶.

Не страшно, что в университетах идиш – не живой язык, даже не сленг, а лишь предмет изучения. Макс Вайнрайх как-то заметил, что «язык – это диалект, обладающий армией и флотом». Карлин Романо в статье «Язык – это перо сердца: идиш "умирает", идиш живет» (в «The Chronicle Review») перефразирует Вайнрайха: «Язык – это диалект, обладающий посвященным ему университетским факультетом». Книги продолжают выходить и вызывать вопросы и споры. Ведь если умирает язык, то вместе с ним как бы умирает целый набор уникальных идей, определений и моделей нашего мира. И если даже нам скажут, что нет смысла цепляться за уходящее старое, то несомненно, что уходящий язык и его идеи, саму душу народа можно сохранить в переводе на другой язык. Особенно если не стремиться к занудливой дословности, а смело возрождать смысл и душу идиша другими, собственными словами. Как гласит еврейская пословица: *Кейн нит арибер, геит мин аронтер* – «Если не идет прямо, заходи снизу».

²⁵ Leo Rostin. Joys of Yiddish. McGraw-Hill, 1968 и Joys of Yinglish. McGraw-Hill, 1989.

²⁶ Здесь и замечательная, заслуживающая отдельного разговора книга профессора Давида Роскиса «Мост грусти: Забытое искусство еврейского рассказа» (*David G. Roskies's A Bridge of Longing: The Lost Art of Yiddish Storytelling*. Harvard University Press, 1995), с любовью написанная книга Мириам Вайнштейн (*Miriam Weinstein's Yiddish: A Nation of Words* Steerforth Press, 2001) или книга американо-израильского исследователя Бенджамина Харшава «Смысл идиша» (*The Meaning of Yiddish*. University of California Press, 1990), пишущего об идише как о «сплаве характера простого народа с гордостью и вдохновением гибнущей аристократии духа».



доктор исторических наук, журналист, редактор американского журнала «FrontPage Magazine». Живет в США.

СИМПОЗИУМ: С ФРАНЦИЕЙ ПОКОНЧЕНО, НЕ ТАК ЛИ?

Глазов: Глядя на пылавший несколько недель назад Париж, невозможно было отделаться от мысли: неужели мы видим закат Франции? И каким зловещим предзнаменованием это может обернуться для остальной Европы? Более того: каким образом Франция и весь остальной континент могут – если еще могут – защитить себя?

Совершенно очевидно, что главную роль в парижских бунтах играл радикальный ислам. Однако некоторые критики защищались от этой очевидности заявлениями, будто эти бунты, да и весь парижский кризис вообще не имеют никакого отношения к исламу. Но если это не ислам, то почему же тогда не бунтовали другие французские меньшинства – например, азиаты? В самом деле, почему все эти бунтующие толпы, разрушавшие и поджигавшие общественную и частную собственность, состояли исключительно из арабов и мусульман, вопивших «Аллах акбар»?

Чтобы обсудить эти и иные вопросы, мы пригласили на наш очередной симпозиум *Мохаммеда ибн-Гуади*, исламоведа из Страсбургского университета, преподающего семитские языки в Швейцарии, статьи которого публикуются в «Фигаро», «Ле пойнт» и других французских журналах; д-ра *Ганса-Петера Раддатца*, специалиста по исламу и автора книги «Von Allah zum Terror? Der Djihad und die Deformierung des Westens» («От Аллаха к террору? Джихад и деформация Запада»); *Оливьера Гуитта*, вашингтонского консультанта по европейским и ближневосточным проблемам и терроризму; и *Нидру Поллер*, американскую писательницу, живущую в Париже с 1972 года, выпускницу Университета штата Висконсин и Университета Джона Гопкинса, которая как писатель наблюдает и анализирует текущие события с начала палестинской интифады 2000 года.

Господин Гуитта, начнем с вас. Начнем с простого вопроса: что, французские цыплята отправились, наконец, на боковую?

Гуитта: Да, похоже на то. Но, как мне кажется, недавние бунты в пригородных городах – это только верхушка айсберга, и мы еще увидим продолжение.

Письмена были на стене, по меньшей мере, лет пятнадцать, но сменявшие друг друга французские правительства, будь то левые или правые, их игнорировали. Ведь уже начиная с 1990 года, когда вспыхнул первый из этих бунтов, в предместье Лиона, французская полиция постоянно предостерегала администрацию, указывая на растущую угрозу насилия в этих пригородах, которые превратились, по сути, в ничейную землю, на стремительную радикализацию мусульманской молодежи и на потенциальную угрозу «домашнего» терроризма.

Но бывший премьер Жюспен говаривал, что не хочет читать эти полицейские отчеты, потому что они его слишком угнетают. Видимо, французские лидеры полагали, что достаточно не обращать на это внимания, и проблемы эмиграции, интеграции и радикального ислама исчезнут сами собой. Сейчас мир убедился, что они ошибались.

Будем справедливы – Франция пыталась найти решение всех этих вопросов. Этим решением были деньги. Деньги – вот как называлась их «отмычка»: осыпав пригороды миллиардами долларов в 1990-е годы, французское правительство совсем недавно, перед самой вспышкой нынешнего насилия, выработало новый план, по которому туда предполагалось вложить еще 36 миллиардов.

Беда в том, что все эти попытки не затрагивали корня проблем. Сейчас большая часть французской прессы объясняет восстание тем, что Франция-де не хочет интегрировать это, в основном мусульманское, население. Но лишь немногие комментаторы отважились признать, что изрядная часть мусульманской молодежи вовсе не желает интегрироваться, потому что они считают себя не французами (хотя имеют французское гражданство), а прежде и более всего – мусульманами. Это настроение является результатом пропагандистской деятельности таких организаций, как французское отделение Мусульманских братьев, Союз исламских организаций Франции, Таблия, а также люди, подобные швейцарскому исламисту Тарику Рамадану.

Глазов: Итак, мы видим критиков, которые осуждают Францию за то, что она не ассимилировала население, которое не желало ассимилироваться. Прекрасно. Но если какие-то группы не желают ассимилироваться и презрительно отбрасывают саму идею мультикультурализма, почему западные общества вообще должны их принимать к себе? И еще – если эти французские иммигранты так ненавидят Францию и не хотят интегрироваться во французское общество, почему они остаются во Франции? Почему бы им не отправиться назад, к себе на родину? Что вы скажете, г-жа Поллер?

Поллер: Проблема в том, что большинство этих иммигрантов родились во Франции. Многие из них – это третье поколение. Невозможно понять то, что происходит сегодня во Франции, если не задаться вопросом, почему эти разъяренные молодые люди, большая часть которых родилась во Франции, вообще называются «иммигрантами»? Обычное предположение состоит в том, что бесчувственное и негостеприимное французское общество отказывается их интегрировать. И это якобы объясняет их гнев, а этот гнев, в свою очередь, оправдывает их насильственные действия, так что, согласно этой логике, решение должно состоять в таком преобразовании французского общества, чтобы эти иммигранты равномерно присутствовали на всех его уровнях, и тогда их фрустрация уступит место удовлетворению, и здоровая конкуренция откроет путь к общественной гармонии.

В действительности, схема, которая якобы может привести к гармоническим отношениям между этими иммигрантами и принявшими их европейскими обществами, придумана уже давно. Она называется Еврабия. И ее конечная цель состоит вовсе не в интеграции мусульман в европейское общество, а в «гармоничном слиянии» европейского и мусульманского обществ под флагом так называемого «евро-средиземноморского диалога». Этакая дружественная беседа...

Сердцевину этой идеи «евро-средиземноморского диалога» (которая на самом деле имеет целью удовлетворить, прежде всего, мусульманские, а вовсе не средиземноморские страны) составляет стремление превратить мусульманских иммигрантов в Европе в некую особую этническую группу, за которой из поколения в поколение будет сохраняться статус иммигрантов, потому что это привилегированный статус, дающий им дополнительные права и сводящий к минимуму их ответственность.

Разумеется, все подобные умозрительные схемы являются свехупрощением. На самом деле миллионы мусульман эмигрировали в Европу вовсе не ради «евро-средиземноморского диалога» с европейскими обществами, а по тысячам личных, главным образом, экономических причин. В то же время, став иммигрантами, они вынуждены действовать не только сами по себе, но и под влиянием определенных геополитических проектов, затеваемых элитами принявших их стран и воплощаемых в виде всевозможных побуждений, приманок и других видов скрытого давления.

Сегодня схема «евро-средиземноморского диалога» лопнула на глазах у всего мира. Я согласна с Оливьером Гуитта – нынешнее восстание лишь начало куда более серьезных неприятностей. Бунтарские настроения назревали в течение десятилетий и начали выплескиваться на улицы с конца 2000 года в виде пропалестинских демонстраций, проходивших под лозунгом «Смерть евреям!» Последние пять лет имидж Франции был наглухо укутан в белоснежную тогу невинности. Правительство похвалялось своими достижениями. Печать воспевала Францию без границ, без насилия, без врагов – за исключением разве что Израиля, Соединенных Штатов и Великобритании. Франция величественно возглавляла различные мирные иници-

циативы. Но за этой дымовой завесой тлело и разгоралось разрушительное пламя насилия. Французское общество оказалось совершенно неподготовленным не только к его вспышке, но и просто к признанию того, что эта вспышка действительно произошла. Правительство оказалось парализовано. И будет еще хуже. Потому что реакция на первый взрыв свелась к тому, что дымовая завеса стала еще гуще.

Притворяясь, будто все можно уладить посредством диалога, демонизируя израильское и американское правительства, которые защищают себя с помощью решительных и мужественных военных действий, отрицая, что внутри французского общества существует зло и ему следует противостоять, правительство Франции и с готовностью подпевающие ему интеллектуалы поставили своих граждан в совершенно неразрешимую ситуацию. Если полиция не может их защитить, что им остается делать? Стоять беззащитными перед бушующей толпой насильников? В конце концов, они не иммигранты, они французы. Они не могут вернуться на родину.

Глазов: Кошмар...

Гуади: Да, это звучит более или менее кошмарно. Видите ли, проблема иммигрантов назревала во Франции в течение нескольких десятилетий. Одной из причин этого было явное противоречие, существующее во французской системе. Франция не признает этих мусульман и африканцев особым этносом. Французы думают, что раз они родились во Франции, то они французы и поэтому должны говорить по-французски, а не по-арабски или по-африкански. В определенном смысле такой подход можно понять. Но, с другой стороны, правительство позволяет этим людям сохранять двойное гражданство – Франции и страны исхода их родителей. Как могли они сочетать верность и преданность Франции с верностью и преданностью какой-то другой стране, которую не знали и на языке которой не говорили? Я думаю, что французы, к сожалению, недостаточно вникли в эту проблему.

Многие арабы, которые покинули свои страны в 60-е годы и переехали во Францию, до сих пор имеют лишь удостоверения постоянных жителей (эквивалент *грин-кард*). Они сорок лет живут во Франции с этим удостоверением, не выражая никакого желания приобрести французское гражданство. А между тем у них есть дети, родившиеся уже во Франции. И заметьте – многие из этих людей не являются религиозными мусульманами.

Еще одна причина кризиса состоит в том, что имидж Франции в глазах самого французского общества ныне весьма подмочен. Франция в конфликте сама с собой. Она переживает кризис идентичности. Быть французом сегодня – совсем не то, что было раньше. И я не думаю, что все эти проблемы удастся так скоро решить. Заскорузлость французского общества такова, что пройдет еще немало десятилетий, прежде чем французская иммиграционная политика будет изменена. Эта политика срослась с идеологией. Общественность не желает этого признать, но французское общество уже стало мультикультурным.

А кроме всего, в такой стране, как Франция, где религиозная традиция

почти полностью исчезла, ислам вполне естественно заполняет возникший вакуум.

Глазов: Иными словами, существует некая потребность в чем-то духовном, и воинственный ислам заполняет этот вакуум во французском обществе?

Раддати: С виду это действительно так, но на самом деле такие утверждения давно устарели. Вот уже двадцать лет, как со всех сторон только и слышно, что западное общество якобы утратило духовное содержание и жаждет обрести какие-то новые ценности. Но если бы это было так, почему до сих пор никто не поспешил предложить такие ценности – ни во Франции, ни в какой-либо другой западной стране?

В этом плане мне нравится выражение г-жи Поллер «белоснежная тога невинности». Оно отлично передает ту циничную невинность, с которой все уважаемые политики умывают руки, едва лишь речь заходит о мусульманской иммиграции и, соответственно, интеграции. По всей Европе только и слышно: «Дело не в исламе». Ну, и в результате, как правильно отметил г-н Гуитта, не происходит ровным счетом ничего, кроме растущей радикализации исламской иммигрантской молодежи на манер «Мусульманских братьев».

Что касается так называемых «ценностей», то у всех такое впечатление, будто эти ценности могут быть выработаны только элитами. Однако вопреки все еще господствующим традиционным представлениям, элиты сегодня не представляют национальные интересы или интересы большинства общества – они преследуют лишь сверхнациональные цели. Посмотрите хотя бы, как Европейское сообщество воынит с вступлением в ее ряды Турции, защищая свою «общеевропейскую идентичность»! Но ни французские, ни немецкие, ни какие-либо иные европейские правительства почему-то совершенно не заинтересованы в сохранении своей национальной идентичности.

Вот почему нам снова и снова твердят, что Запад сам повинен в том, что не сумел интегрировать мусульманских иммигрантов – неважно, в третьем поколении или недавно прибывших. Поскольку интересы элиты не совпадают с интересами нации, элиты попросту пытаются выиграть время. В дальнем плане они даже предпочитают исламизацию европейских демократий демократизации мусульманских общин в Европе, потому что второй путь требует куда больше трудовых и социальных затрат.

Я мог бы согласиться с утверждением г-на Гуади, что ислам заполняет духовный вакуум, при условии, что мы говорим об элитарном политическом исламе, сохраняющем приверженность не только своей идеологии, но и своему принципу экономической застойности. Никакой иной «духовности» я в исламе этих бунтующих юнцов не вижу. И в этом плане пресловутый «евро-средиземноморский диалог», равно как и все другие такие «диалоги» с их застывшими клише: «мир», «терпимость» и пр. – вполне осмыслен. Он осмыслен потому, что за последние два десятилетия французские

налогоплательщики ухлопали кучу денег на такие «диалоги», причем все эти деньги достались мусульманской стороне, а французы получили взамен гражданскую войну. Главная беда в том, что политические элиты обманывают своих граждан, растрачивая их деньги, ну, и, разумеется, попутно обманывая самих себя в отношении своего будущего.

Гуйтта: Я согласен с Мохаммедом Гуади, что вопрос стоит шире, чем одна лишь проблема мусульманского меньшинства во Франции, потому что французская модель, даже если она когда-либо существовала, сегодня уже мертва. Во Франции никогда не было «французской мечты» (наподобие мечты американской), зато сегодня уже существует «французский кошмар». В действительности французская система велфера обанкротилась, и Франция больше не может, да и не хочет следовать прежним путем. Эта система частично ответственна и за нынешнюю ситуацию в стране. В самом деле, широкий ассортимент субсидий, сопровождавший эту систему, поставил людей в полную зависимость от государства. Во всем, начиная с безработицы, минимальной заработной платы, жилья, многодетности, зимнего отдыха и так далее, многие люди полагались больше на пособия, чем на работу, которая давала им куда меньше. Ну, и конечно, при всем этом Франция была второй в мире страной по уровню налогов, ее экономика разваливалась, утечка мозгов достигла апогея и так далее. Страна шла прямиком в тупик.

Возвращаясь непосредственно к бунтам, никто – за исключением французских властей и французской прессы – не может назвать случайностью, что большинство бунтовавших составляли мусульмане. Действительно, почему азиаты – в основном, китайские и вьетнамские иммигранты, кстати, тоже весьма многочисленные – не принимали участия в этих беспорядках, даже если жили в тех же предместьях? И потом, учитывая языковой барьер, который отделяет их от французского общества (и которого нет у мусульманских иммигрантов из бывших французских колоний), можно было бы ожидать, что им будет особенно трудно интегрироваться во французском обществе, – но они успешно интегрируются. Почему же для француза арабского происхождения, родившегося и воспитанного во Франции, это оказывается непреодолимой трудностью? Разумеется, нельзя сбрасывать со счета также антибелый расизм, свойственный этим молодым мусульманам. Антибелые беспорядки, произошедшие в Париже в минувшем марте, во время студенческих демонстраций, уже предвещали то, что случилось потом.

Еще одна проблема, осложняющая положение мусульманской общины во Франции, состоит в ее необычайной многочисленности. Некоторые официальные лица в частном порядке говорят, что она достигает не пяти, а целых восьми миллионов. К тому же мусульманские женщины во Франции рожают много больше детей, чем немусульманки, и некоторые демографы предсказывают, что в ближайшие 25 лет мусульмане составят 25% населения страны. Чтобы избежать постоянного «социального беспокойства», как

премьер де Виллепен изящно назвал недавние бунты, французское правительство должно теперь как-то интегрировать всю эту массу людей. К сожалению, дело выглядит так, что нынешнее поколение уже потеряно, в основном благодаря промывке мозгов со стороны радикальных исламистов, которые вбивают своей молодежи в головы, что ислам – это решение всех вопросов. Единственная надежда Франции состоит в том, чтобы попытаться подавить или даже вообще искоренить это разрушительное влияние. Но это будет весьма нелегко, если вспомнить, что регулярно поступающие сообщения говорят о все более распространяющейся исламизации французского общества, идущей в школах, больницах, учреждениях и даже в частных компаниях.

Присоединяясь к позиции г-жи Поллер, я могу лишь добавить, что уму непостижимо, как могли все французские правительства, начиная с 1970 года, не видеть, к чему все идет. Еще в 1960-е годы де Голль говорил о трудностях интеграции мусульманской общины во Франции. Он говорил тогда: «У тех, кто выступает за интеграцию алжирских мусульман, куриные мозги. Попробуйте-ка интегрировать воду и масло. Можете как угодно встряхивать бутылку. Не пройдет и минуты, как они снова разделятся. Неужели кто-то всерьез думает, что французская нация в состоянии абсорбировать 10 миллионов мусульман, которые завтра превратятся в 20 миллионов, а послезавтра – во все 40?»

Но де Голля никто не услышал, даже его политические преемники. О какой интеграции может идти речь, когда позволится, чтобы законы страны исхода были выше законов страны проживания? К примеру, многоженство во Франции формально запрещено, но его терпят и даже материально поощряют, потому что таковы обычаи страны исхода. Как можно интегрировать людей, не уважающих законы страны, в которой они живут?!

Глазов: По мне, все это выглядит так, будто с Францией покончено. Она сама покончила с собой. Не так ли, г-жа Поллер?

Поллер: Да, Франция покончила с собой. Но дело-то в том, что Франция все равно остается с нами, она все равно остается проблемой, вызывающей к решению. Когда кончается с собой индивидуум, он попросту исчезает. Но страны остаются в географическом пространстве даже после того, как их сердца перестают биться. И поскольку я бесконечный оптимист, я не могу окончательно расстаться с надеждой. На самом деле мне было бы легко это сделать – я не французка, у меня нет там корней, я могла бы умыть руки и вернуться домой. Однако мне кажется более разумным еще немного побороться за спасение Франции, прежде чем совсем списывать ее со счета. Для западного мира было бы лучше иметь Францию в числе союзников в борьбе с исламским джихадом. Для исламского мира как целого было бы лучше, если бы Франция смогла оправиться и заявить о себе как о суверенной стране, имеющей право самой определять пределы терпимости, характер своих ценностей. Распространение захватнического ислама наткнулось сейчас на американскую военную реше-

мость и было бы хорошо, если бы этот ислам столкнулся также с европейской культурной решимостью.

Нельзя просто выбросить Европу на свалку и сказать «гуд бай». Здесь есть слишком много такого, что стоит спасать. Если бы Франция – страна, которая некогда возглавила «Еврабийское» предательство Европы, – сумела измениться, это было бы встречено общеевропейским одобрением.

Но возможно ли это? И да, и нет. Если из человеческой истории можно извлечь какой-то универсальный урок, то урок этот, на мой взгляд, таков: «Увы, слишком поздно». Всякий раз, когда мы начинаем понимать, что мы наделали, все вместе, оказывается, что уже слишком поздно что-либо изменить. И, тем не менее, народы что-то в себе меняют и изменяются.

Давайте подумаем, как можно трансформировать Францию в динамичную, современную, демократическую страну, открытую всему миру? Ключ к этому в слове «демократия». Как американка, живущая во Франции вот уже три десятилетия, я постепенно начинаю понимать антидемократический характер французского общества... и я думаю, даже европейского общества в целом, в той или иной степени. Нами правят жалкие элиты, посредственности, сидящие в правительственных дворцах, высокомерно перелистывающие свои бумажки, болтающие о пустяках. Они не думают о деле. Но они захватывают все больше власти и злоупотребляют ею.

Хотя де Голль и предупреждал о невозможности интеграции мусульман во французское общество, но ведь именно он проводил ту внешнюю политику, которая, в конечном счете, и привела к целенаправленному привлечению мусульманского населения во Францию. Сегодня невозможно даже назвать точные цифры – сколько их во Франции: 10 процентов? 15? 25? Мы знаем только, что в последние три десятилетия имел место беспрецедентный приток мусульман. И мы знаем, что во всем мире мусульмане оказываются в конфликте с окружающим населением. Потому что ислам как религия затрудняется жить в мире с Другими.

Как же Франция может интегрировать такое население? К тому же столь многочисленное. Она не смогла бы интегрировать даже аналогичный приток иммигрантов из Америки, если бы большинство из них относилось к бедным, малообразованным, отсталым и невежественным слоям населения. Но Америку во Франции можно и модно поносить как угодно. Стоило Жозефу Бове обрушиться с нападками на закусочные «Макдональдс», как он тут же стал французским национальным героем. Но упаси вас Боже сказать, что Франция не может абсорбировать 5, 8, 10 или 15 миллионов мусульман, – вас тут же объявят вонючим расистом.

Сегодня во Франции еще сохранилось достаточно французов, чтобы возродить ее суверенность. Не путем отката к узколобой крестьянской ментальности Жозефа Бове, а ценой честной готовности принять на себя риск и опасности современной демократии.

Да, это те же самые рецепты, которые мы предлагаем Ближнему Востоку, – свободный рынок, свободная печать, подлинная демократизация.

Французские выборы 2007 года будут в этом смысле решающими. Правительство, которое привело страну к ее нынешнему состоянию, должно быть отстранено. Однако нет гарантии, что его сменит подлинно эффективное правительство.

Еще одно замечание относительно того «нового бравого» европейского ислама, который нам обещали авторы «евро-средиземноморского диалога» – и не просто обещали, но и уверяли, что он уже существует в действительности. Посмотрите, что он нам принес на самом деле: 19-летняя марокканка, которую облил бензином и поджег ее отвергнутый дыхательный аппарат; бельгийская жена исламиста, которая взорвала себя в ходе террористической акции в Багдаде; подпольные ячейки террористов, оперативные ячейки бомбистов, ячейки поддержки, тайные сети финансирования террора, французские джихадисты в Ираке, джихадские бомбы во Франции, кварталы французских пригородов, находящиеся в полном подчинении Вакафа, хронический антисемитизм... Этим ли должны гордиться порядочные, свободолюбивые мусульмане, надеявшиеся найти убежище во Франции?

Я уверена, что американские военные действия в Ираке и Афганистане приносят больше пользы мусульманскому миру, чем многолетние причитания всех борцов за права человека, вместе взятых.

Гуади: Как правильно указал Оливьер Гуитта, если, следуя французской печати, отрицать связь между радикальным исламом и бунтами, то станет невозможно объяснить, почему в эти бунты не вовлеклись другие иммигрантские меньшинства во Франции. С другой стороны, я полагаю, что и умеренные мусульманские организации допустили ошибку, утверждая, что ислам не имеет никакого отношения к беспорядкам, и одновременно используя фатву для успокоения бунтовщиков, что равносильно признанию, что эти бунтовщики преимущественно мусульмане.

Я бы хотел еще подчеркнуть, что проблема представительства мусульман во французском обществе осложняется еще одной объективной трудностью. В отличие от христианских и еврейских обычаев, ислам подчиняет себе все стороны жизни верующего. Поэтому бессмысленно пытаться разделить мусульманскую культуру от исламской религии. Арабский язык не знает различий между религиозной и культурной практикой, ислам не различает между «градом земным» и «градом небесным». В такой стране, как Франция, где стремятся элиминировать из жизни все религиозные характеристики, эта особенность ислама вполне может довести человека до шизофрении. Те же люди, которые кричат «Аллах акбар», сражаясь с полицией, в своей повседневной жизни не имеют ничего общего с религией.

Вообще, Франция, как и арабский мир, всегда отличалась сложностью. И тот же де Голль, который утверждал, что мусульман невозможно интегрировать, в своей внешней политике самым энергичным образом поддерживал порой самые реакционные арабские режимы.

Радатц: На мой взгляд, мы слишком ударились в туманные спекуляции. Я уже говорил ранее, что все эти проблемы были известны давным-

давно. Сокращающаяся численность европейского населения – одна из самых давних проблем Запада, но ею по сию пору так никто и не занялся. Иммиграция – побочный продукт этой проблемы, и ею занимались столь же неэффективно, а то и вообще самоубийственно. Впрочем, не исключено, что этот самоубийственный подход составляет интегральную часть некой общей западной парадигмы действий. Мы тут выслушали сетования на самоубийственное равнодушие Запада к невероятному притоку эмигрантов и к попыткам слияния Европы с исламом, к утверждениям о непреодолимой обязательности сохранения окаменевшей религии в исламской культуре и о вытекающей отсюда неизбежности всплеск насилия, жалобы на бездарность правительства, односторонность прессы и т. д. Но если бы этот разговор происходил тридцать лет назад, мы уже тогда услышали бы многое из этого. Именно тогда действия в пользу меньшинств и против большинства были объявлены обязательной сутью мультикультуральной политики. За эти годы к ним добавилось разве что еще одно требование – безопасность. Сейчас мы наблюдаем все более расширяющийся разрыв между политическими и экономическими интересами. На словах все толкуют о «сотрудничестве во имя мира и процветания», а на деле растет сотрудничество европейских правительств с самыми авторитарными режимами к югу от Средиземного моря, в духе сотрудничества Соединенных Штатов с Саудовской Аравией, и все во имя пресловутой «безопасности». Безопасность стала магическим словом. Мы подкармливаем эти репрессивные режимы в надежде поставить под контроль исламистов, которые тем временем получают все большую свободу действий в сфере идеологической пропаганды и стратегии возведения в Европе все большего числа мечетей. Мы поддерживаем приятные отношения с саудовским и марокканским королями и в то же время игнорируем усилия либеральных арабо-исламских кругов, выступающих против репрессий и коррумпированности этих монархов. А деньги, направляемые в рамках решений Барселонской конференции на развитие этих стран, в основном оседают в карманах тамошних элит или разбазариваются на бесчисленные конференции.

В результате мы получаем весьма любопытный новый вид «безопасности». Магрибцев, которые борются за демократию и права человека, нужно держать в узде, потому что они, видите ли, подрывают легитимность своих режимов и тем самым похожи на исламистов. Страшась как исламских радикалов, выступающих от имени религии, так и исламских либералов, выступающих от имени демократии, европейские правительства невольно перенимают политику и практику исламских режимов. Эта политика представляет собой всего лишь новый вариант формулы «разделяй и властвуй». Хорошей ее иллюстрацией является сегодня Ливия. Ее уже вывели из «оси зла» и приняли в хорошее общество, куда входят лишь страны свободного рынка. И это при том, что Каддафи произвел лишь чисто косметические изменения в своей внутренней политике. Зато он позволяет своей элите и западным компаниям набивать карманы прибылями

за счет всякого рода сомнительных сделок. Не секрет, что между ливийским «фюрером» и итальянским «кабальеро» Берлускони наладились вполне дружественные, мафиозные отношения. А поскольку такого рода делишки давно уже практикуются и во всех бывших французских колониях, то не следует удивляться тому, что месье Ширак до самого последнего времени чувствовал себя в очень большой «безопасности». Он и его предшественники всячески поощряли ту линию, начало которой положили Соединенные Штаты на Ближнем Востоке, – добиваться экономической либерализации, замурив глаза на политические репрессии. В результате он считал возможным продолжать ту специфически французскую политику «интеграции», которая выводила магрибских иммигрантов с французскими паспортами на своего рода изолированную социальную орбиту и, в конце концов, привела Францию к ее нынешним проблемам, включая рекордный уровень антисемитизма.

Поэтому мне трудно согласиться с надеждами, которые г-жа Поллер возлагает на выборы в Европейский парламент в 2007 году. Как правило, правительства отражают волю своих народов, а народы Европы сегодня все больше думают прежде всего об этой «безопасности». Так что, если не произойдет каких-либо решительных изменений в мировосприятии правящих классов, можно думать, что европейские выборы только укрепят позиции этих в высшей мере оппортунистических элит, поддерживаемых услужливой прессой, и для той же Франции это будет очередной виток агонии демократии и очередной шаг в сторону надвигающегося неофеодализма.

*Перевод с английского – Рафаил Нудельман
(FrontPageMagazine, December 2005)*



кандидат физико-математических наук, прозаик («События и открытия», «Так говорил Сабуров», «Дары нищего», «Изгнание из Эдема. Исповедь еврея», «Роман с простатитом», «Биробиджан – Земля обетованная» и др.), публицист и литературный критик. Член российского отделения ПЕН-клуба, зам. гл. редактора журнала «Нева». Живет в России.

БИРОБИДЖАНСКАЯ СКАЗКА

Беседа писателя Александра Мелихова с критиком Галиной Ребель*

Г. Р.: Александр, позвольте наш разговор о вашем новом романе «Красный Сион»** начать с того, что меня как читателя больше всего в нем «зацепило» и о чем, как мне кажется, в первую очередь должны быть предупреждены будущие читатели. Предупреждены – в смысле проинформированы, заинтересованы и – отнюдь не на легкое чтение – настроены.

Самое сильное, несомненное, болевое и страшное в этой книге – судьба маленького Бенци, его исход из безмятежного, нормального семейного мира, в котором все существует в единственном числе и все это единственное (Мама, Папа, Сестры, Брат) несомненно и прекрасно, – в рассеяние, скитальчество, корчи, умирание души, скользящей до состояния крошечной споры, чтобы могло выжить хранящее ее физическое тело. Судьба мальчика из семьи польских евреев заставляет вспомнить судьбы Кузьмёнышей А. Приставкина, но в сравнении обнаруживается, что тот ужас еще не был крайним, предельным ужасом. Там кошмару, навязанному извне, противостоит скрытая, потенциально возможная благодарная память о канувших в неизвестность родителей, ибо есть подаренное ими, сохраненное и хранящее детей вопреки всему братство, – здесь навязанный извне кошмар проникает в сокровенное, интимное, единственное: навеки

* Сокращенный вариант. – *Ред.*

** Роман «Красный Сион» см. на с. 240.

отчуждает ребенка и от интеллигентски беспомощного, обреченного в троплодитской ситуации отца, и от мгновенно утратившей интеллигентность, а с нею и материнскую самоотверженность и безупречность матери.

Путь Бенци Давидана, ставшего на исторической родине, в подлинном Сионе, писателем Бенционом Шамиром, – это путь необратимых и невозполнимых потерь.

Ваша книга обрушивает сложившиеся стандарты и мифы – про сплоченность еврейского народа, про безоглядно преданную и самоотверженную еврейскую мать, про хитроумие, изобретательность и непотопляемость еврея-Улисса. Так получилось произвольно или вы действительно не разделяете, считаете мифами эти расхожие представления и сознательно оспариваете их? Пожалуй, вы, в таком случае, опровергаете и себя как автора «Исповеди еврея»...

А. М.: Вообще-то я всегда стараюсь каждое принципиально важное свое суждение с равной силой сначала обосновать, а потом опровергнуть – этого требует трагический взгляд на социальную действительность: в ней борются не истина с ложью, а истина с истиной. И если «Горбатые атланты» выражали ужас перед человеческим одиночеством, то следовавшая за ними «Исповедь еврея» выражала ужас перед человеческой сплоченностью. Однако этот ужас был всего лишь субъективным чувством одиночки, чувством, бессильным опровергнуть такое же субъективное чувство коллективиста, который лишь в единстве с другими обретает душевный комфорт.

«Исповедь» – это, если угодно, история обращения трехсотпроцентного русского в стопроцентного еврея. По крайней мере, в один из типов еврея советского. Вначале Лева Каценеленбоген наделен всеми истинно русскими доблестями в тройном размере: рубаха-парень, патриот, храбрец, силач и даже красавец в глазуновском вкусе. И только где-то под майкой прячется едва заметная черная метка – папа-еврей. Пустячок, как выразился Пушкин в «Сказке о царе Никите». Всего-то изредка кто-то дает ему понять, что он не такой, как все, а немножко более жадный, более хитрый, более трусливый... И вот эти капли вытачивают из восторженного пацана взрослого скептика, не склонного приходить в энтузиазм, кидаться в объятия, жертвовать, сливаться с массой... Но тайно завидующего тем, кто на это способен. И стремящегося в отместку оплевать всякое Единство, в котором люди ощущают себя сильными и уверенными.

Помните итоговую формулу Каценеленбогена: нацию создает общий запас воодушевляющего вранья. Ему кажется, что этим он полностью дискредитирует всякое национальное единство: ведь не может представлять ценность то, что основано на лжи! Это взгляд отверженца, которого в Единство не пускают: виноград зелен. Зато Бенцион Шамир, обретший родину, утверждает ровно обратное: все великое основано на какой-то сказке. Собственно, для того же самого он находит более красивое слово, как и рекомендует герой моей предыдущей вещи «В долине блаженных» (Новый мир. 2005. № 7), тоже, кстати, написанной на еврейскую тему. Ни один народ,

считает Шамир, не представляет собой никакой ценности – ценность представляют только сказки, которые он хранит и которые его хранят.

И «Красный Сион» вовсе не обрушивает сказок о еврейской сплоченности, о самоотверженности еврейских матерей и о непотопляемости еврейских Улиссов: до тех пор, пока евреи верили в эти сказки о себе, они им и соответствовали в гораздо большей степени, чем те, кто был подобных сказок лишен. Упадок веры в наследственные сказки – это и есть национальная деградация. Так что я эти мифы не обрушиваю, но только ставлю вопрос: какой уровень страдания и ужаса они способны выдержать?

И, как ни странно, советская сказка о пролетарском интернационализме оказалась на диво прочной. По крайней мере, в особо одержимых ею субъектах. Правда, весьма примитивных. В этом, по-видимому, и заключалась главная слабость советской сказки: она была не способна очаровать интеллектуальную элиту.

Г. Р.: В вашем романе очень выразительно показано, как работает на «низовом уровне» мощная идеологическая пропаганда, подкрепленная к тому же неопровержимыми силовыми государственными акциями.

«Польским вечным жидам», в числе которых Бенци попал под покровительство советской власти, обрекающей собственных граждан на страдания и гибель, было суждено вкусить и то и другое сторицей и при этом стать материалом, удобрением, почвой для взращивания одного из бесчисленных советских фантомов – Красного Сиона. Добровольным, самозабвенным и бескорыстным апологетом иезуитской идеи воздвигнуть альтернативный и демонстрационный еврейский социалистический рай на Дальнем Востоке выступает в романе взрослый друг маленького Бенци, сапожник Берл – один из самых ярких, запоминающихся героев романа. Берлу ни разу не удается сходу, без артикуляционной раскочки («Бери-», «Бори-») выговорить трудное слово «Биробиджан», но он с упоением цитирует на память речи и статьи политических авантюристов, провокаторов и дураков, захлебывающихся славословиями по поводу пролетарско-еврейских свершений под благодетельным патронатом советских вождей и, разумеется, лично товарища Сталина. Бесконечно наивный, в той же мере одержимый, сколь невежественный, Берл невменяем к правде советского бытия, он в упор не видит безнадежного расхождения между пропагандистскими лозунгами и реальностью. Умирая от истязаний, непосильного труда, невыносимых, нечеловеческих условий, этот уродливый горбун-мечтатель, на последней станции своего земного пути состоящий при «стадах Авраамовых» горбатых верблюдов, изо всех последних сил пытается соответствовать внушенной ему еврейско-пролетарско-социалистической мечте и, в качестве моральной самокомпенсации, чувствует себя Моисеем, не достигшим Земли обетованной.

Разумеется, он безумец, слепец. Но вот вопрос: без этой слепой мечты, без этой фанатичной веры в заведомо неосуществимую идею как было выжить не только физически, но и морально, душевно, духовно

тем, кто оказался между двумя Молохами – немецко-фашистским и советским? Адекватно оценивавший ситуацию отец Бенци выбрал самоубийство. Берл лелеял безумную мечту, которая, тем не менее, давала силы жить немалому количеству его таких же ослепленных советской пропагандой соплеменников. Так что был этот Красный Сион – чистой воды провокация? Беломорско-Балтийский канал национального назначения? Или все-таки шанс выжить? Актуализация национального мифа во имя спасения нации? И почему вдруг сегодня мы обратились к этой теме?

А. М.: На ловца и зверь бежит. Я как раз заканчивал «Долину блаженных» – размышление о путях такой малочисленной и кратковременной, но на редкость яркой социальной группы, как советские евреи, – когда издатель Константин Тублин, «Лимбус Пресс», предложил мне написать книгу о Биробиджане* и даже выдал очень приличный аванс. И это пришлось абсолютно «в тему».

Для меня история человечества есть в первую очередь история зарождения, борьбы и распада коллективных фантомов, и никакая государственная пропаганда, никакая политическая провокация не добьются успеха, если им не удастся оседлать какую-то вечную или, по крайней мере, долговечную грезу. Пример тому – распад Советского Союза с его невиданной пропагандистской машиной и глухой цензурой.

То же самое можно сказать и о Красном Сионе: без наложения двух грез – о еврейском государстве и о слиянии всех наций в одну, грез взаимосключающих – хотя этого в ту пору почти никто не понимал, – биробиджанский фантом раскрутить бы не удалось. Что это было? Как во всех масштабных исторических событиях, смесь наивной веры и изощренного цинизма, романтики и прагматизма. Одна задача была чисто хозяйственно-политическая: вывести излишек населения из-за черты оседлости, где нищета и безработица достигали чудовищных размеров, притом что это была приграничная полоса, от населения которой требовалась особая лояльность! Вместе с тем стихийная миграция наиболее активной части местечкового еврейства в большие города и даже в сельскую местность Украины, Белоруссии, Крыма порождала недовольство местного населения, и советская власть с этим была вынуждена считаться. А тут требуется укрепить границу с расправляющей плечи японской милитаристской грезой. Так почему бы не убить двух зайцев разом?

Однако сам Калинин, инициатор дальневосточного проекта, долженствовал составить конкуренцию ближневосточной еврейской грезе, похоже, искренне верил в то, что говорил. Еврейская, мол, нация верная и заслуженная, а своей республики или хотя бы области не имеет; без крестьянского базиса еврейская нация обречена на растворение; Биробиджан нужно превратить во всемирный центр еврейской социалистической куль-

* См. «Nota Bene». № 9–10.

туры – и так далее. Ведь ленинская национальная политика была задумана весьма хитроумно, не всякий и разберет. С одной стороны, пролетарская солидарность выше национальной, все нации должны слиться в одну (в какую – вопрос тонко обходился), с другой – всем нациям предоставляются возможности для свободного развития вплоть до отделения. Так что и сливаться – это по-ленински, и выделяться – тоже по-ленински. Каждый имел возможность слышать то, что ему по душе. Хотя во вполне доступных сочинениях Ленина и Сталина можно было прочесть, что право наций на самоопределение не более чем тактическая уловка. Ибо любая угроза национальным фантомам заставляет нацию сплотиться вокруг своей элиты («буржуазии»), а потому, чтобы разрушить национальные чувства, нужно, прежде всего, сделать вид, что им ничего не угрожает.

Кроме того, Ленин считал главной опасностью для своего излюбленного фантома – интернационального – русский национальный фантом, «великорусский шовинизм», как он его именовал, а потому для его разрушения считал целесообразным временно поддерживать конкурирующие с ним грезы малых наций, полагая, что, когда придет время, с ними легче будет справиться. Сталин же с самого начала был склонен коренником запрягать самую сильную лошадь – русскую, чем и навлек на себя упреки в «истинно русском» настроении. Однако во время войны Сталин снова вернулся к этой идее, поскольку справедливо сомневался, способна ли интернациональная идея так уж сильно чаровать широкие массы. Он снова поставил на самого сильного, по возможности убирая с его глаз все, что может раздражать.

С того-то времени и начали сначала прижимать, а потом и уничтожать тех, кто слишком всерьез принял декларации о свободном развитии всего национального. В конце 40-х биробиджанские поэты и прозаики поплатились именно за то, чего от них требовали: за воспевание своей малой декретной родины как чего-то обособленного, ибо иначе ничего воспеть невозможно. Мой виртуальный персонаж Мейлех Терлецкий – типичный певец Биробиджана, сочетавший героическую романтику с крайней наивностью, чтобы не сказать – примитивностью.

И, тем не менее, если бы евреи из западных областей переселились в Еврейскую автономную область, доля выживших оказалась бы намного больше. Те же, кто верил в биробиджанскую сказку, вроде моего Берла, были бы просто счастливы. А вот папа Бенци... Я не могу сказать, что он оценивал ситуацию адекватно, адекватно оценивают ситуацию только животные, а человек, пока он остается человеком, всегда служит каким-то воображаемым объектам. Папа продолжал служить личному достоинству, думать о репутации своего народа – и убил себя. Зато мама отбросила все красивые мнимости, полностью подчинилась обстоятельствам – и выжила.

Не всякая греза была спасительной – папу его греза погубила. Сестру Рахиль, пытавшуюся сохранить стыдливость в скотских условиях, – тоже. И брат Шимон по прозвищу Казак попытался оставаться крутым – и угод-

дил в тюрьму. Да и сам Бенци выжил благодаря тому, что свернулся в спору, начал замечать лишь полезное и опасное...

Г. Р.: При всей значимости национального измерения человеческого бытия, ваша книга наглядно демонстрирует, как в нечеловеческой ситуации с человека сдираются все цивилизационные, в том числе национальные, оболочки, и он остается зверенышем-сиротой, инстинктивно цепляющимся за жизнь. Но, едва отодвинувшись от смертельной черты, ощутив ослабление смертельных тисков, тело вновь востребует душу, а душа – сказку, легенду, дающую брэнному частному существованию непреходящий смысл, укореняющую его в прошлом, гарантирующую если не личное, то родовое будущее. Избавленный польско-советскими договоренностями от советского рая, едва не погибнув на не менее жестоком и мучительном, чем предыдущие, пути в Эрец-Исраэль, Бенци попадает в «несомненный рай» – подлинный, реальный, вымечтанный предками Сион. Но жизнь его в Земле обетованной не описана, а лишь намечена легким пунктиром, дана в ее итоговом внешнем воплощении (известный писатель, лауреат множества премий, доктор философии), в ее семейной неурядице и безрадостности.

Как это ни парадоксально, Бенцион Шамир не только личного счастья, но и вожденной сказки, мифологического оправдания своей жизни не обрел там, где, казалось бы, сам бог велел это сделать и куда вроде бы вела логика текста. Ожидаемого противопоставления подлинного Сиона мнимому (Красному) Сиону в романе нет. Израиль здесь – лишь некие условные координаты, в которых герой невнятно и несчастливо существует между двумя своими российскими эпопеями. Почему так? Ваш герой навсегда загипнотизирован, отравлен прошлым? И то, что было адом, теперь кажется несостоявшимся раем? Или здесь проявляется то самое меркурианство (см.: *Юрий Слѣзкин. «Эра Меркурия: Евреи в современном мире»*), которое не позволяет еврею приткнуться к месту, врасти в почву, которое мечту о Сионе делает важнее, в том числе и с точки зрения национальной самоидентификации, чем реальный Сион?

А. М.: Ну, если в историю растоптанной сказки о дальневосточном Сионе включить подробную и яркую картину Сиона ближневосточного, то, прежде всего, изменится предмет повествования. Но не менее важно и то, что, телом выбравшись из ада, душой, воображением Бенци остался в нем до конца своих дней. Это, кстати, подтверждается и научными исследованиями: люди, прошедшие лагеря смерти, вместо того чтобы радоваться жизни, уже не могут ей верить, слишком хорошо разглядев ее без покрывала иллюзий. Как и мой Бенци, который каждую свою возлюбленную воображает в вонючем вагоне, в вошебойке и постоянно прикидывает, сколько беженцев на соломе разместилось бы в каждом знаменитом храме.

Хотя из старости эта цыганская жизнь уже и впрямь представляется ему почти райской: все были вместе, все были живы и еще не превратились в тех уродов, которых в конце концов выплюнул пощадивший их ад. Жизнь

с близкими, вповалку, на соломе, манит его сильнее, чем одиночество в процветающей Земле обетованной.

Нет сомнений, что наши фантазии определяют наше счастье и наше несчастье в ничуть не меньшей степени, чем реальные события. И греза о Сионе для национальной самоидентификации, безусловно, была гораздо важнее, чем обретенная территория. Могу повторить: всякий народ создается и сохраняется не кровью и не почвой, а системой коллективных наследуемых грез.

Г. Р.: Насколько вы в своем повествовании опирались на реальные факты, судьбы, документы?

А. М.: Общая структура скитаний маленького Бенци полностью соответствует историческим фактам, этот путь проделал мой покойный друг, прекрасный израильский писатель Бенцион Томер. Однако все материальные детали пришлось выдумать, поскольку серьезные люди о таких пустяках не упоминают. Но вернемся к переходу трагедии в фарс. Для меня различие между ними целиком определяется масштабом личности, на которую обрушилось несчастье. А масштаб этот определяется исключительно той системой иллюзий, внутри которой пребывает сам эксперт. Здесь действует своеобразный принцип относительности: пребывая внутри системы, ты лишаешься возможности оценить ее критически, поскольку сами твои критерии истинности, ценности ею же и порождены. Невозможно проверить точность весов, пользуясь теми же самыми весами.

Да, сказка о национальном государстве внутри интернационального, с нашей точки зрения, смехотворна. Но Мейлех Терлецкий отдал ей свою единственную жизнь! И потому он такой же герой, как какой-нибудь Курций, отдавший жизнь во имя великого Рима, как какие-нибудь триста спартанцев и прочие общепочитаемые герои. Ибо и они герои лишь внутри каких-то сказок. Которым просто повезло.

И неувяемость, убожество этого Мейлеха Срульевича Терleckого и его супруги есть не что иное, как убожество любой Дульсины, которую рассматривает равнодушный взгляд постороннего, живущего другими фантазиями. И герой мой, «настоящий» писатель, погружается вовсе не в убожество, а в истинную трагедию, которая не сумела обрести тех форм, которые считаются почтенными и красивыми меж людьми господствующей культуры, господствующей системы мнимостей. Пошлость – это вовсе не ординарность или низкопробность, пошлость – это имитация изысканности. Бенцион Шамир, читая убогие сочинения героического Терleckого, в миниатюре проходит ту давилню, которую прошли все советские писатели той поры, окруженные десятисортными эталонами. А потому тексты реального биробиджанского писателя Бориса Миллера используются не для их дискредитации, а, напротив, для их реабилитации. Вся биробиджанская часть романа – призыв сквозь убогую оболочку разглядеть вечную трагедию обманутой веры.

ДАЛЕКОЕ
БЛИЗКОЕ



историк, ответственный редактор тематических программ Русской службы радио «Свобода». Живет в Чехии.

1950-е: СОВЕТСКАЯ РЕАКЦИЯ НА ИНОСТРАННОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ

Несмотря на значительное количество накопившейся уже литературы по истории иностранного радиовещания на Советский Союз, советская рефлексия на радиопередачи из-за рубежа до сих пор не являлась предметом научного исследования¹. (Исключением является тема «глушения», обстоятельно изученная Р. Плейкисом².) Основная причина сложившегося положения – недоступность для исследователей советских документальных источников по этой теме. Эту трудность мне отчасти удалось преодолеть.

В результате в данной статье **впервые** вводится в научный оборот **комплекс документов, до сих пор неизвестных** или, по крайней мере, **не использованных исследователями** советской истории. Это **ОЗП (Особые закрытые письма)** – связанные с иностранным радиовещанием и прессой материалы совершенно секретного «Служебного вестника иностранной информации ТАСС». К ним примыкают «Информационные сведения ТАСС, направленные в ЦК КПСС, Совет Министров СССР (переводы статей, записи выступлений политических деятелей, радиоперехваты)». Источниковые потенции двух этих групп предоставляют историкам

¹ Под «советской рефлексией» я имею в виду совокупность реакций на иностранные передачи как общества в целом и отдельных его социальных групп, так и власти – ее оценку эффективности и опасности для нее иностранного вещания и ее мер противодействия «вражеским голосам».

² Плейкис Р. Радиоцензура. Вильнюс, 2003.

возможности, гораздо более широкие, нежели тема настоящей статьи. Они позволяют по-новому подойти к проблемам механики выработки многих решений в советских верхах, требуя при этом, разумеется, предварительной детальной источниковедческой критики и анализа становления и истории этих материалов.

Точно так же **впервые** для изучения истории западного радиовещания на Советский Союз я привлекаю в этой статье **материалы советского уголовного делопроизводства** (выявленные российскими исследователями «крамолы» и «инакомыслия» документы советского уголовного делопроизводства – рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР³). Эти материалы впоследствии – ведь к научному изучению советской рефлексии на западное вещание мы лишь приступаем – необходимо будет дополнять как недоступными ныне для исследователей документами КГБ СССР, так и нарративно-мемуарными источниками, исходящими от советских слушателей западного радио и «борцов» с ним (а также с этими слушателями)⁴.



Первоначально я планировал хронологически определить начало рассмотрения обозначенных вопросов мартом 1953 г. Это не только дата смерти И. В. Сталина (5 марта), но и время, когда начала свою работу радиостанция «Освобождение» (1 марта 1953 г.), трансформировавшаяся позже в Русскую службу RFE/RL. Однако изучение политической про-

³ См. подготовленный к печати сборник: Государственная архивная служба РФ. Государственный архив РФ. *Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежнев. 1953–1982 гг.: Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР* / Под редакцией В. А. Козлова и С. В. МIRONENKO. При участии Э. Ю. Завадской и О. В. Эдельман. Всем им, а также Ю. Г. Орловой, оказавшей серьезную помощь в выявлении и копировании используемых в настоящей работе архивных материалов, и Н. П. Геворкян – первому читателю и критику этого текста – автор выражает искреннюю благодарность.

⁴ Мне в разное время довелось обсуждать проблемы иностранного радиовещания на СССР с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, бывшим Президентом СССР и Генеральным секретарем КПСС Михаилом Горбачевым, его помощником и бывшим зам. заведующего Иностранным отделом ЦК КПСС Анатолием Черняевым, бывшим зам. заведующего Иностранным отделом ЦК КПСС Вадимом Загладиным, сотрудниками ЦК КПСС Коликовым и Ониковым, а также сотрудниками КГБ СССР, чья деятельность так или иначе пересекалась с «вражескими голосами» – генералом Калугиным, полковниками Нечипоренко, Карповичем и другими. Мой скромный опыт подсказывает, что с интервьюированием этого «контингента» и работой по сбору материалов «устной истории» иностранного радиовещания на Советский Союз нельзя медлить: одни из «борцов» и слушателей безвозвратно уходят от нас, другие в силу возраста теряют память, третьи под воздействием изменений политической конъюнктуры становятся менее открытыми и разговорчивыми...

блематики последнего года жизни Сталина и его личных проблем, с одной стороны, и знакомство с материалами ОЗП – с другой, заставляют меня отодвинуть начало рассмотрения проблем по крайней мере к январю 1953 г. Это позволяет сопоставить сталинское восприятие западного радиовещания (в два последних месяца жизни советского диктатора) с отношением к западному радио преемников Сталина, рассмотреть динамику изменений в этой сфере и более полно оценить трансформацию советского отношения к иностранному радиовещанию вплоть до прекращения его глушения.

Кремль

Итак, 1 января 1953 года. 73-летнему «вождю всех времен и народов» остается два месяца жизни. Многое из того, что влекло и волновало его ранее: вино, женщины, немногочисленные друзья и многочисленные враги (или те, кто так воспринимались) – безвозвратно кануло в прошлое. Из прежних «любвей» остались лишь две – власть и кино. Чаше, чем в прежние годы, Сталин поздними вечерами привозит на «ближнюю дачу» узкую «команду» приближенных (в последние месяцы его жизни их количество сократилось до четырех⁵), потчует их и заставляет уже в который раз смотреть старые фильмы. При этом он умудряется еще сочинить грандиозный и никогда не реализованный план пересъемки своих любимых кинокартин⁶. Эти дачные «кинозастолья» и заменяют в последние месяцы жизни вождя кремлевские заседания Президиумов ЦК и СМ СССР. Рабочий день Сталина в Кремле в это время сокращается. Помимо приема посетителей, он складывается из знакомства с важнейшей государственной информацией: донесениями послов и внешней агентуры, ежедневными сводками министерств госбезопасности и внутренних дел, докладами министров и т. п. – обычное «чтение» главы государства, по результатам которого принимаются в ряде случаев высочайшие решения. (Особенностью этой работы у Сталина является преобладание над другими видами документации полицейской и внешнеполитической информации, что вполне согласуется с тезисами Ханны Арентс о превращении полиции в тоталитарной системе в основную силовую структуру и переориентации внешней политики на мировое господство⁷).

При этом Сталин систематически получает информацию о зарубежном радиовещании. Она поступает к нему либо в виде упомянутых мной ОЗП, либо в составе «**Информационных сведений ТАСС**», направлявшихся в ЦК КПСС и Совет Министров СССР и включавших в себя, помимо так на-

⁵ Берия, Булганин, Маленков, Хрушев.

⁶ См. об этом подробнее: *Тольц В.* Финал. Фильмы в сумерках.

⁷ См.: *Х. Арентс.* Истоки тоталитаризма. М.: Центрком, 1996. С. 597.

зываемых «радиоперехватов»⁸, переводы статей из иностранной прессы и записи выступлений зарубежных политических деятелей. Архивная атрибутика адресатов «Информационных сведений ТАСС» – ЦК и СМ – не должна вводить нас в заблуждение: в сталинское время их получателем, кроме самого Сталина, был **лишь один человек – Г. Маленков**. Материал изготовлялся в 4-х экземплярах; два из них получал Сталин, 3-й – Маленков, 4-й сохранялся в деле 4-го отдела ТАСС.

Тематика радиоперехватов, поступавших Сталину в течение двух последних месяцев его жизни, определялась иерархией вопросов, которые он рассматривал в этот период для себя как наиболее важные. Это прежде всего «**еврейская проблема**», эскалацию которой в последний год сталинской жизни современный российский историк определяет как «*антисемитскую агонию диктатора*»⁹. Судя по радиоперехватам, поступавшим в Кремль, Сталина интересовала, прежде всего, западная общественная и государственная рефлексия на его антисемитские акции и изменение в этой связи его **имиджа** в глазах зарубежного общественного мнения¹⁰. Сталин, как мы знаем, вообще

⁸ «Радиоперехват» в этот период представлял собой перевод транскрипта сделанной из эфира звукозаписи. Как правило, перевод должен был быть полным и буквальным. Эта особенность текста подчеркивалась обязательной компонентой в заголовке – «**протокол[онная] запись**». Но иногда текст радиоперехвата содержал отмечаемые составителем ОЗП и «Информационных сведений...» лакуны, связанные с дефектами радиоприема или – крайне редко! – превращался в пересказ (к примеру, см. перевод с японского – ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 477. Л. 1–4). Под таким текстом, являвшимся, как и большинство сталинских документов, «совсем секретным», ставились инициалы исполнителей – автора перевода и машинистки. «Шапка» документа содержала также сведения о количестве экземпляров, в котором он отпечатан, сведения о дате составления документа и его «исходящем номере» («исх. №»), как правило, включающем аббревиатуру «сс» (совершенно секретно). В заголовке обязательно содержалось указание на источник информации (радиостанцию), язык и время радиопередачи. (О других особенностях заголовка, а также об обязательно завершающих документ сведениях о его **рассылке** см. далее в основном тексте.)

⁹ Костыренко Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М.: Международные отношения, 2001. Косвенным подтверждением первостепенности для Сталина в этот период «еврейской проблемы» является, на мой взгляд, то, что первые тайные и публичные шаги преемников скончавшегося 5 марта вождя (освобождение жены Молотова и опубликованное 4 апреля «Сообщение МВД СССР» о деле «кремлевских врачей», еще недавно именовавшихся «убийцами в белых халатах») были связаны с ревизией именно этой «проблемы».

¹⁰ Не случайно, думаю, составители радиоперехвата выделили из сонма западных передач о сталинском антисемитизме короткое сообщение из обзора британской печати Би-Би-Си: «*Портрет доброго старого дядюшки Джо навсегда исчез. Вместо этого нам нарисован страшный портрет грузинского тирана, злого и невежественного, который, так же как и Гитлер, способен не только к безумным международным авантюрам, но и может допускать пагубные ошибки в своих суждениях*».

весьма внимательно относившийся к формированию и «подаче» своего образа, использовал радиоперехват именно для контроля над тем, как образ этот воспринимается за рубежом. Информацию о публичной и засекреченной политической рефлексии «заграницы» он получал из уже упомянутых донесений послов и внешней агентуры. Отчасти публичная информация такого рода дублировалась радиоперехватами¹¹. Подчеркну: ОЗП и «Информационные сведения» этого периода были прежде всего **контрольной информацией** и не несли в себе **контрпропагандистской нагрузки**. Задачи контрпропаганды еще не были актуальными, поскольку и вещательная мощность западных радиостанций была невелика, и аудитория их слушателей в СССР тоже. Лишь в стандартных тассовских заголовках радиоперехватов¹² можно обнаружить элемент, формально схожий с позднейшей контрпропагандой. Однако это внешнее сходство не должно вводить нас в заблуждение: составители радиоперехвата не могли даже дерзнуть подвергать контрпропагандистскому воздействию единственного, по сути дела, потребителя их продукции. Эти шаблонные заголовки – просто способ «отмежеваться» от идеологически «чужовишных» для их составителей текстов «врага», стремление продемонстрировать вождю свою полную лояльность¹³.

Содержание и функции радиоперехвата первоначально не изменила и смерть вождя. Но это событие внесло сумятицу в сознание поставщиков радиоперехвата в Кремль – 5 марта они ненадолго перестали понимать, кому теперь служат. В этот день в Кремль была отправлена короткая **информация, уникальная** тем, что изготовлена она была для единственного (!) потребителя:

¹¹ См., напр., радиоперехват «Голоса США» о бегстве в американскую оккупационную зону Берлина советского солдата Куликова и о новогоднем обращении Эйзенхауэра «к молодежи, находящейся за железным занавесом» (документы от 2 января 1953 г.).

¹² Напр.: *«Приемы злобной антисоветской пропаганды "Голоса США", "К провокационному выступлению Эйзенхауэра", "Антисоветская пропаганда Токийского радио в связи с разрывом Советским Союзом дипломатических отношений с Израилем"»* и т. п.

¹³ Вот характерный пример пугающего составителей радиоперехватов текста, от которого они не могли не «отмежеваться» (ОЗП от 1 января 1953 г.): *«Мы сами знаем, что есть, конечно, неустойчивые головы, слабые души, которые не в силах думать критически, самостоятельно и независимо, а потому они послушно повторяют то, что им говорят, и верят тому, что им говорят. И тому, что Сталин – великий гений, и тому, что советская политика ведет к миру, и тому, что в СССР царит свобода. Но при этом мы сами не сомневаемся, что истинно верующих так мало, что о них и говорить не приходится. Все же остальные только притворяются, будто они верят, а в душе хорошо понимают положение вещей и правильно его расценивают».*

Исх. № 461

5 марта 1953 г.

Совершенно секретно

Экз. № 2

Парижское радио о высказываниях Смита и Дэвиса

(Париж, вещание на балканские страны, французский яз., 5 марта, 23 часа, проток[ольная] запись).

Триумвират в составе Молотова, Маленкова и Берия возьмет на себя руководство Советским Союзом. Таково мнение бывшего посла США в Москве генерала Смита. Таково также мнение Дэвиса, который был первым американским послом в Советском Союзе.

Отп. 2 экз.

[№] 1 – тов. Г. М. Маленкову; [№] 2 – в дело 4-го отдела ТАСС¹⁴.

Разумеется, составители радиоперехвата не могли руководствоваться американскими прогнозами (кстати, оказавшимися неточными!) о том, кто отныне является их «клиентами» в Кремле. Однако уже к 8 марта **новые получатели** транскриптов зарубежных радиопередач определились¹⁵. Это (в порядке перечисления в документах) Маленков, Берия, Молотов, Хрущев.

«Четверку», естественно, прежде всего интересовало, что говорят **за рубежом о них** самих и их приближенных, а также **о балансе сил и интересов в советских верхах**, который, как мы знаем теперь, был в ту пору весьма подвижным. Этот интерес вполне совпадал с интересом к ним зарубежного радио. Вот лишь некоторые образцы такого рода информации, поступавшей в Кремль в этот период:

ШВЕЙЦАРСКИЙ КОРОТКОВОЛНОВЫЙ ПЕРЕДАТЧИК, французский яз., 7 марта, 14 ч. 45 м. <...>

В руках Маленкова – контроль над партией. В руках Берия – милиция, а Молотов оказывает определенное влияние на административные органы. Что касается армии, то следует предположить, что такие руководители, как Булганин, Соколовский и Василевский хранят верность системе, которой они обязаны своей карьерой. <...> Таким образом мы не думаем, что в данный момент могли произойти важные изменения. <...>

Маленков не любит Европу. Впрочем он ее и не знает. Он лишь в течение короткого промежутка времени был в Праге. Маленков считает, что Советский Союз должен прежде всего заботиться о распространении своего влияния в Азии и об увеличении своей экономической и военной мощи¹⁶.

¹⁴ ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 478. Л. 1.

¹⁵ Обстоятельства и механику принятия этого решения, а также способ доведения его до составителей радиоперехвата еще предстоит исследовать.

¹⁶ ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 478. Л. 86–90 (комментарий Рене Пайо).

8 марта 1953 г.

<...> Сегодня радио «Голос Америки» заявило в передаче для коммунистических стран через несколько часов после того, как Георгий Маленков пришел к власти в России, что это может означать лишь начало борьбы за власть. Его назначение не означает, что серьезная проблема преемства в Советском Союзе разрешена навсегда.

В радиопередаче на 46 языках было указано, что «окончательный переход власти может быть решен лишь после длительной борьбы между высшими представителями, которой часто сопутствуют насилия, интриги и предательства».

Еще не известно, сможет ли Маленков удержаться у власти, и успокоятся ли его, видимо, потерпевшие поражение соперники, или же они затеют заговор с целью добиться его падения? Сравнительно быстрое назначение «неулыбающегося и сурового» Маленкова, видимо, свидетельствует о желании Кремля избежать борьбы за власть¹⁷.

Вполне понятно, что кремлевскую «четверку» интересовали также падшие **оценки перспектив империи**, которую они получили в наследство от Сталина:

«Голос Америки» утверждает, что это заявление до некоторой степени подтверждает сообщения о том, что Маршал Сталин умер раньше, чем это было объявлено, и что его смерть скрывалась для того, чтобы создать подобие единства. «Как бы ни отразилась смерть Сталина на советской правящей касте и на русском народе, одно исторически бесспорно: тоталитарная система, оставленная в наследие Сталиным, рухнет в один прекрасный день из-за своей собственной внутренней слабости. Это единодушный вывод историков, задача которых заключается в том, чтобы изучать и оценивать уроки мировой истории»¹⁸.

Некоторое время после смерти Сталина составители радиоперехвата продолжали по инерции особенно внимательно отслеживать темы, особо интересовавшие в последние месяцы жизни уже мертвого теперь диктатора (упомянутую «еврейскую проблему» и советско-израильские отношения¹⁹, радиопередачи, так или иначе связанные с Югославией²⁰, убийство лидера которой Сталин планировал в последний период своей

¹⁷ ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 478. Л. 82–83.

¹⁸ Там же. Л. 83.

¹⁹ См., напр.: ОЗП. № 1047. 21 июля 1953 г. Л. 01–02–зп (ГАРФ. Ф. Р-6991. Д. 497. Л. 172–173).

²⁰ См., напр.: Гнусное заявление Дидиера («Голос США», русский яз., 6 апреля) // Информационные сведения ТАСС. Иск. № 648 сс от 7 апреля 1953 г. (ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 478. Л. 163); Титовское радио о демонстрации в Горице // ОЗП. № 1047. 21 июля 1953 г. (ГАРФ. Ф. Р-4459. Д. 497. Л. 179).

жизни²¹). Политически подборки такой тематики были вполне оправданы, ведь новое решение этих проблем оставалось для преемников Сталина первостепенно актуальным. Традиционно продолжала освещаться в радиоперехватах и интересовавшая Сталина тема перебежчиков и разоблаченных шпионов²².

Вместе с тем «новые времена», «новые» вожди и новые политические проблемы диктовали и **новую тематику радиоперехвата**. Важное новое направление в интересах получателей радиоперехвата – информация о западной реакции на **тайно начатый в СССР процесс десталинизации**²³. Упомянутая выше нестабильность положения в самом верху советской партийно-государственной «пирамиды» побуждала «четверку» потребителей радиоперехвата внимательно «вслушиваться» в то, что говорят «вражеские голоса» **о политической линии, поступках и судьбах их соратников**

²¹ См.: Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль, 1930–1950 годы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997; Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. КГБ: Спецоперации советской разведки. М.: Олимп/Астрель/АСТ, 2000. С. 576–590.

²² Ср., напр., направленные Сталину 1 и 2 января 1953 г. транскрипт передачи из серии «Заметки бывшего советского гражданина» («Голос США», русский яз., 31 декабря [1952 г.] – ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 481. Л. 31–33); а также сообщение о бегстве из Восточного Берлина советского солдата Куликова (*Приемы антисоветской пропаганды «Голоса США», русский яз., 2 января [1953 г.] – ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 481. Л. 105*) с полученным его преемниками сообщением о бегстве на Запад пяти советских офицеров, которые *«обратились к западным державам с призывом использовать ослабление советского режима в связи со смертью Сталина для широкого психологического наступления с целью свержения большевистского господства»* // Информационные сведения ТАСС. Исх. № 827 сс от 13 мая 1953 г. (ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 478. Л. 246). О перебежчиках и разоблаченных шпионах см. также: *Лондонское радио* о приговоре суда в Целле и БРК о перебежчике из ГДР // ОЗП. 23 июля 1953 г., лл. 05–06–зп (ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 497. Л. 225, 227).

²³ *Антисоветская пропаганда американского радио на Венгрию* (Радио «Свободная Европа», венгерский яз., 8 апреля 1953 г.) // Информационные сведения ТАСС. Исх. № 666 сс от 9 апреля 1953 г. – ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 478. Л. 185); *«Сталин умер месяц тому назад, однако новые советские руководители позаботились о том, чтобы прекратить чествование Сталина в советской печати и радио. В других странах за железным занавесом имя Сталина еще используют в связи с обязательствами и другими видами коммунистической эксплуатации, но прославление Сталина прекратили во всем коммунистическом мире»*; *Измышления Американской радиостанции* (Радио «Свободная Европа», венгерский яз., 4 мая 1953 г.) // Информационные сведения ТАСС. Исх. № 787 сс от 5 мая 1953 г. (ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 478. Л. 227); *«Кремль намерен покончить с культом Сталина. Коммунистическая партия Франции хотела в ряде французских городов установить памятники Сталину. Однако, Кремль неодобрительно отозвался об этой идее и коммунисты Франции вынуждены были, естественно, прекратить начатое мероприятие»*. См. также радиоперехват о Василии Сталине – Информационные сведения ТАСС. Исх. № 812. 10 мая 1953 г. (ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 478. Л. 237).

из сталинского окружения²⁴. Подборки радиоперехвата этого рода родственны традиционному для партийного делопроизводства сбору **«компромата»**. «Героям» информации этого рода, как правило, о ней не сообщалось. Весьма показателен в этой связи радиоперехват о маршале Г. К. Жукове, являвшемся с марта 1952 г. первым заместителем, а с февраля 1955 по октябрь 1957 г. министром обороны СССР. (В 1953–56 гг. он был также членом ЦК КПСС, а в 1956–57 гг. кандидатом в члены и членом Президиума ЦК КПСС.) Сбор радиокопромата на него мы фиксируем уже в октябре 1954 г.²⁵ Сам Г. Жуков никогда этого радиоперехвата не получал. Однако ему, как и еще 16 высшим советским получателям «радиоперехвата», был в июле 1956 г. направлен радиоперехват передач РСЕ и Би-Би-Си, содержащий «компромат» на Н. Хрущева – сообщения о его нетрезвых «необдуманных заявлениях» на приеме в честь начальника штаба ВВС США генерала Туайнинга²⁶.

Персональные изменения в советском руководстве в 1950–60-е гг. и мятежные потрясения внутри коммунистического блока влекли за собой **периодическое расширение круга кремлевских и околосклевских «потребителей» информации западных радиостанций и некоторые последующие изменения тематики радиоперехвата**. Несомненно, что получение ОЗП в полном объеме (особенно «по-сталински» – в 2-х экземплярах) служило четким признаком принадлежности к высшей советской иерархии. А исключение из списка получателей или сокращение объема получаемой информации коррелировало с сокращением партийно-государственной значимости того или иного лица, а то и с «вычеркиванием» его из политической (иногда – впоследствии – и физической) жизни²⁷. Во всех

²⁴ О Булганине, Соколовском и Василевском см.: Информационные сведения ТАСС. Исх. № 507 сс от 8 марта 1953 г. (ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 478. Л. 88); о Поскребышеве – Информационные сведения ТАСС. Исх. № 773 сс от 29 апреля 1953 г. (ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 478. Л. 217–218); о Ворошилове – Информационные сведения ТАСС. Исх. № 795 сс от 7 мая 1953 г. (ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 478. Л. 230–231); о Штеменко – Информационные сведения ТАСС. Исх. № 882 сс от 23 сентября 1954 г.

²⁵ Пересказ в программе РСЕ (Радио «Свободная Европа», венгерский язык, 22 сентября 1954 г., 16 час.) статьи Гаррисона Солсбери в «Нью-Йорк таймс», содержащий настораживающую получателей радиоперехвата фразу **«Советские военные руководители группируются вокруг Маршала Жукова»** (Информационные сведения ТАСС. Исх. № 882 сс от 23 сентября 1954 г. – ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 547. Л. 61), разослан «девятке» (Булганину, Ворошилову, Кагановичу, Маленкову, Микояну, Молотову, Первухину, Сабурову, Хрущеву).

²⁶ Информационные сведения ТАСС. Исх. № 581 сс от 12 июля 1956 г. Утверждения американской радиостанции (Радио «Свободная Европа», венгерский яз., 11 июля, 10 часов); Би-Би-Си (Лондон, русский яз., 11 июля, 17 ч. 15 мин.) – ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 38. Д. 693. Л. 63–64.

²⁷ Исключением из этого является карьера А. А. Громыко, ставшего в феврале 1957 г. министром иностранных дел СССР. В 1958 г. его имя исчезает из списка получателей ОЗП. Однако это связано не с понижением статуса (Громыко – наряду со Сталиным, Маленковым, Булганиным и

случаях задача, которая ставилась порой перед «вещателями» на Советский Союз (и часто казавшаяся им глупой), чтобы их слушали «*Политбюро, Центральный комитет, аппарат ЦК, те, кто стояли наверху советского общества*»²⁸, решалась вполне успешно. Однако исследования показывают, что количество этих «кремлевских слушателей» было невелико – в 1950-х гг. оно не превышало 44 человек.

Общество: попытки количественных оценок интереса к иностранному радио

Количество «несанкционированных сверху» слушателей западных радиостанций советской власти никогда не удалось выяснить. Когда после частичной отмены глушения «Голоса Америки» (сент. 1959 г.) и Би-Би-Си (март 1960 г.) заведующему Отделом пропаганды и агитации ЦК Л. Ф. Ильичеву было поручено оценить величину аудитории западных «голосов», он смог сообщить Президиуму ЦК КПСС лишь следующее:

В настоящее время в Советском Союзе имеется до 20 миллионов радиоприемников, способных принимать иностранные радиостанции. Точную картину того, насколько слушаются в СССР иностранные радиостанции, в т. ч. «Голос Америки» и «Би-Би-Си», представить трудно, но имеются косвенные сведения, говорящие об определенном интересе к иностранным радиостанциям»²⁹.

Выражение «*определенный интерес*» вполне соответствовало отношению к западным радиостанциям Н. С. Хрущева (через три года он скажет на заседании Президиума ЦК: «*Будут некоторые слушать – пусть слушают*»³⁰). Однако приводимые Л. Ф. Ильичевым примеры свидетельствуют о большем: интерес к западным радиопередачам был явлением весьма распространенным и демократичным:

В марте с. г. (1960. – В. Т.) было установлено, что в Таджикистане иностранные радиостанции слушаются не только на квартирах, но и в об-

Хрущевым, – получавший ОЗП в 2-х экземплярах), а с уникальными возможностями министра автономно получать зарубежную информацию в объеме, который превышает возможности ее «переработки». Исключение Громыко из списка получателей ОЗП – косвенный признак кризиса этого «института»: монополия на «антисоветскую» западную информацию начинает разрушаться.

²⁸ Цитата из интервью автора статьи с одним из бывших руководителей Русской службы Би-Би-Си Фрэнком Уильямсом.

²⁹ РГАН. Ф. 89 (Конституционный суд над КПСС). Пер. 46. Д. 14. Л. 1–2.

³⁰ Президиум ЦК КПСС. 1954–1964: Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления. Т. 1. М.: РОССПЭН, 2003–2004. С. 702.

ественных местах (чайханы и т. д.), прежде всего из-за низкого уровня республиканского вещания. ЦК КПСС особо обратил внимание ЦК КП Таджикистана на эти факты.

В Грузии, Азербайджане, Пермской, Московской, Луганской и др. областях широкий размах получила переделка радиоприемников для слушания иностранных радиостанций. Отдельные инвалиды войны, знающие радиотехнику, и отчасти радиолюбители за 250–300 рублей встраивают в приемники, имеющиеся у населения, коротковолновый диапазон, начиная от 10 метров на этих волнах можно принимать только иностранные радиостанции. Даже в Москве, в ГУМе и др. магазинах часто к людям, покупающим приемник, обращаются лица без определенных занятий с предложением построить в приемник дополнительный коротковолновый диапазон.

Председатели Узбекского, Львовского, Одесского, Томского и др. радиокомитетов при беседах в Отделе пропаганды и агитации ЦК КПСС подтвердили, что имеются факты регулярного слушания на местах программ «Голоса Америки» и «Би-Би-Си». Об этом же свидетельствуют вопросы, задаваемые докладчикам и лекторам, а также письма, поступающие в ЦК КПСС, Радиокомитет и другие организации³¹.

Сопоставление приведенных Л. Ф. Ильичевым данных с результатами социологических исследований, проведенных через 16 лет, в 1976 г., под эгидой КГБ, выявляет тенденцию к увеличению аудитории слушателей западных радиостанций в СССР в социальных группах, ставших в это время предметом особого внимания КГБ:

...по данным исследования «Аудитория западных радиостанций в г. Москве», проведенного отделом прикладных социальных исследований ИСИ Академии наук СССР, с большей или меньшей регулярностью радиостанции слушают 80% студентов и около 90% учащихся старших классов средних школ, ГПТУ, техникумов. У большинства этих лиц слушание зарубежного радио превратилось в привычку (не реже 1-2 раз в неделю зарубежные радиопередачи слушают 32% студентов и 59,2% учащихся).

Исследование «Формирование мировоззрения и ценностной ориентации студенческой молодежи г. Омска» показало, что передачи зарубежных радиостанций периодически прослушивали 39,7% из числа анкетированных студентов. Подобная картина выявилась и при изучении влияния финских телепередач в Эстонской ССР. Чаще других к каналу финского телевидения обращаются лица в возрасте до 30 лет³².

³¹ РГАНИ. Ф. 89 (Конституционный суд над КПСС). Пер. 46. Д. 14. Л. 1–2.

³² Ф. Д. Бобков, начальник 5-го управления КГБ СССР. «Аналитическая справка о характере и причинах негативных проявлений среди учащейся и студенческой молодежи» (12 декабря 1976 г. направлена Ю. В. Андроповым в Политбюро ЦК КПСС) – см.: Постановление Секретариата ЦК по этому вопросу // «Советский архив» Владимира Буковского. 1.1, 0137, 28 дек. 1976.

За этими цифрами – серьезная озабоченность «органов» сложившимся положением. И хотя бы уже поэтому существующие сомнения в достоверности приведенных КГБ данных³³ и разноречивость мнений о количественной оценке аудитории западных «голосов» в СССР не должны отвлекать нас от не менее важных вопросов, которые до сих пор не стали объектом научного исследования:

- кто слушал иностранное радио;
- почему они это делали;
- какие выводы делались слушателями на основании иностранных передач;
- какие последствия это имело?

Общество: динамика изменений восприятия западных передач

Ответить на поставленные выше вопросы невозможно без оценки мировосприятия слушателей иностранных радиопередач, их отношения к «стране и миру».

Во второй половине 1940 – начале 1950-х, т. е. в период становления западного вещания на СССР и формирования первой генерации слушателей «голосов», стоит, прежде всего, отметить уникальную «военную» (а нередко и «эсхатологическую») специфику советского мировосприятия. Когда вчитываясь в судебные документы по 58-й статье тогдашнего УК (это «политическая» статья, предусматривавшая наказания за «антисоветскую деятельность»), явственно проступает: под влиянием сложно переплетенного букета разновеликих и часто противоречащих друг другу факторов – общей атмосферы холодной войны (да и не так давно закончившейся войны «горячей» – Второй мировой) и под воздействием ее наращивающего мышцы казенного мифа, советской пропаганды, сопоставления реалий советской повседневности с обрывочной информацией о жизни за рубежом и локальных военных действий там (напр., Корейской войны) – собственная государственная власть в глазах, по крайней мере, части советского населения предстала как оккупант, советская жизнь как оккупационный порядок, а «иноземные силы» – как освободитель от «Красного дракона». (Особенно много было таких на территориях, сравнительно недавно ставших советскими – в Прибалтике, Западных Украине и Белоруссии, в Молдавии.) В этом «контексте» зарубежные радиостанции (а ведь и «Голос Америки», и «Освобождение» не раз говорили, что им безразлична жизнь советского народа) воспринимались как **олицетворение ожидаемых освободителей, как «инстанция», которую можно было молить об этом.** И находились люди, которые делали это.

Вот, к примеру, «Письмо из ада» (это авторский заголовок!) литовского

³³ Напр., мнение, высказанное в интервью, данном автору статьи бывшим заместителем заведующего Международным отделом ЦК КПСС В. В. Загладиным // *Толъц В. Родина слышит...* Ч. 5.

колхозника Петрокаса И. Р. (В апреле 1957 г. письмо было послано в редакцию радиостанции «Голос Америки» и пришло... в КГБ.) Описав бедственное положение литовского крестьянства, автор обращается к зарубежным соотечественникам-католикам: *«Дорогие литовцы и другие не коммунисты. Берегитесь красного дьявола, чтобы он и вас не погубил и вашего добра. А этот красный дракон проглотит все. Пусть лучше погибает весь мир, чем будет управлять им коммунизм»*³⁴.

Или вот дело кочегара В. Д. Налетаева³⁵, вручившего в Свердловске американскому журналисту, сопровождавшему в поездке по СССР вице-президента США Р. Никсона, письмо³⁶ следующего содержания: *«Президенту США и Великому Американскому народу. Мы ждем от вас нашего освобождения от коммунистического рабства. Русский народ. 29 июля 1959 года»*³⁷.

Примеров текстов подобного содержания довольно много. Они отражают весьма распространенные в советском обществе (особенно в первой половине 1950-х гг.), но слабо еще изученные умонастроения, которые я кратко охарактеризовал бы так:

- **жажда войны как кары властям,**
- **вера, что она скоро начнется,**
- **и стремление к освобождению, пусть ценой гибели.**

(Эта готовность к массовой гибели в ожидаемой войне причудливо сочетается с верой в собственное спасение!) Понятно, что такое восприятие желаемого будущего включает в себя старый как мир принцип:

• **враг моего врага (в данном случае – советской власти) – мой друг, союзник и защитник.**

Причем представления об этих возможных «друзьях» порой проявлялись в текстах весьма фантастического содержания. (Достаточно вспомнить уже описанный в литературе случай: в соответствии с советским официальным канонам выложенный камешками вдоль железнодорожного полотна в начале 1950-х лозунг «Да здравствуют Эйзенхауер и Гитлер!»)

Судебные дела, связанные с «антисоветскими» высказываниями 1950-х годов, разнообразно иллюстрируют описанное мною мировосприятие. Смерть Сталина гальванизировала ожидание перемен, характерное для послевоенного времени, давно уже определенного в поэзии и историографии как «пора несбывшихся надежд». Многочисленные комментарии иностранных радиостанций о возможных «переменах в Кремле» служили для слушателей и тех, кому они эти комментарии пересказывали, подтвержде-

³⁴ ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 82267. Л. 2–3.

³⁵ Налетаев В. Д., 1922 года рождения, прежде судим по ст. 58–10 УК РСФСР, кочегар из г. Свердловска, осужденный 21 сентября 1959 г. к 7 годам лишения свободы.

³⁶ Из дела: *«С отъездом из г. Свердловска, американцами полученное письмо от Налетаева оставлено на столе 324-го номера гостиницы "Большой Урал", где проживал журналист Мартин Пауль»* (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 86761. Л. 3).

³⁷ Там же. Л. 2–3.

нием «правильности» такого рода настроений и чаяний, хотя тексты западных комментариев весьма отличались от того, о чем говорили между собой советские люди:

Узнав о болезни Сталина, заключенный Лобачев Ф. Н. нецензурно выругался и сказал: «Может умерт – нам будет легче». В материалах дела утверждается, что Лобачев с конца 1951 г. ругал советское правительство, Сталина, колхозы, говорил, что ждать амнистии нечего, на всех стройках работают заключенные, освободить их могут только американцы, когда победят СССР³⁸.

Настасюк Г. И., колхозник из Молдавии, узнав о смерти Сталина, сказал: «Хорошо было бы не только Сталин, но и все коммунисты в течение 3-х дней погибли, тогда и колхозов не было бы». В 1949–1952 гг. Настасюк ругал колхозы, говорил, что колхозники за работу ничего не получают, что Сталин руководит неправильно, весной будет война с американцами и советская власть падет³⁹.

Из дела, в котором прямо упоминаются иностранные радиопередачи. Обвиняемый по нему 33-летний электромеханик из г. Гори Сурков в апреле 1953 г. был приговорен к 10 годам лишения свободы:

На судебном процессе [свидетель] Казакова Т. С. показала: «<...> 6 марта 1953 г. <...> Сурков сказал, что он слышал "Голос Америки" и, что передавали, что Вождь находится на краю гибели, и его место займут руководители партии, и высказался нецензурно про одного из руководителей партии. Потом в цеху сказал мне, что "теперь начнется борьба за престол"»⁴⁰.

Вообще в уголовных делах того времени слушание иностранных радиопередач выступает как дополнительное доказательство преступной сущности подсудимых, а иногда и как идейный источник их «преступной» (по советским понятиям) деятельности.

Панфилов Ф. Н., железнодорожный контролер, 5 марта 1953 г. на Курском вокзале в Москве сказал сослуживцу по поводу смерти Сталина, что «свято место пусто не бывает», и что, вероятно, на это место уже есть кандидаты и может быть не хуже Сталина. В 1948–1953 гг. в разговорах критиковал советских руководителей, колхозы, говорил, что за границей живут лучше и так далее. Слушал и пересказывал передачи «Голоса Америки»⁴¹.

Соколова В. И., учительница из Горьковской области, 6 марта 1953 г. в учительской комнате пересказала содержание передачи «Голоса Америки» о смерти Сталина и слух об отравлении Сталина врачом; кроме того, в

³⁸ ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 40208; Ф. Р-9474. Оп. 41. Д. 1454.

³⁹ Там же. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 42080.

⁴⁰ Там же. Д. 38703. Л. 26.

⁴¹ Там же. Д. 43129.

марте 1952 г. на уроке истории «искажала советскую действительность»: сказала, что в 1928 г. при строительстве бумажного комбината выписывались машины и специалисты из Америки⁴².

Об «Америке» и «загранице» вообще у жителей «одной шестой» земной суши, отгороженной с началом холодной войны от остального мира железным занавесом, в начале 1950-х годов были весьма смутные и фрагментарные представления. В их основе было разное: и живые воспоминания старших и жителей недавно присоединенных к Советскому Союзу западных территорий о повседневности «проклятого капитализма» и «царизма» – как всегда, о прошлом вспоминалось чаще всего хорошее и привлекательное, контрастирующее с сегодняшним днем. Был и личный опыт победителей: солдаты, вернувшиеся из побежденной Германии и других стран Европы, восторженно рассказывали о благоустройстве тамошнего быта, о «богатстве» (в сравнении с советской бедностью, конечно) тамошнего люда, о симпатичных ребятах – союзниках, американцах и англичанах, столь непохожих на монстров в касках с карикатур в советских газетах... Многое давали и так называемые «трофейные фильмы». (Я думаю, это была большая политическая ошибка Сталина – выпустить их в советский кинопрокат.)

Весьма значительную роль в формировании массовых советских представлений о Западе и капитализме сыграла и советская пропаганда. Она столь яростно и топорно отрицала очевидное, что часто добивалась лишь недоверия к себе: вместо мрачного образа «буржуазного мира», «царства эксплуатации и чистогана» в сознании подавленного послевоенными тяготами нищего народа неконтролируемо возникал образ заграничного (особенно американского) «земного рая»⁴³. Показательно, что уже в начале 1960-х годов двое заключенных писали жалобы и заявления, в которых требовали выслать их из СССР, «в любую капиталистическую страну, чтобы я умер как раб, но в капиталистической стране»⁴⁴. Исследователь советской «крамолы» О. Эдельман справедливо от-

⁴² ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 40. Д. 559.

⁴³ Одним из многочисленных примеров трактовки советской пропаганды «с обратным знаком» служат показания Майорова, осужденного в 1964 г. за антисоветскую пропаганду и агитацию (ст. 70 УК РСФСР): «я прочитал книгу *"Лицом к лицу с Америкой"* (советское пропагандистское издание о первой поездке Н. С. Хрущева в США; авторы – группа советских журналистов, в числе которых зять Хрущева А. Аджубей – были удостоены за это сочинение Ленинской премии. – В. Т.), где американский безработный пишет письмо Хрущеву. Там он говорит, что он ехал на собственной машине, включил приемник и заслушался его речью. На следующий день я на работе во время перекура сказал, что читал книгу, в которой американский безработный имеет собственную машину, а у нас работаешь, и никогда не в состоянии купить себе машину. Следовательно это сформулировал так: восхвалял американский образ жизни и хаял советский» (ГАРФ. Ф. Р-81131. Оп. 31. Д. 98849. Л. 3–7).

⁴⁴ Там же. Д. 94674. Л. 18.

мечает, что «можно говорить о советской коммунистической идеологии как мифе, построенном "по всем правилам" этого жанра»⁴⁵:

Мифологизирующее сознание воспринимало мир как дуалистические оппозиции, а потому сомнения и личный опыт могли привести к выворачиванию данного советской пропагандой мифа наизнанку, но без разрушения устойчивых культурных стереотипов. Просто теперь хаос отождествлялся с СССР, а космос – с заграницей <...>. Политические и житейские реалии, с которыми сталкивался и о которых размышлял советский человек, вписывались в парадигмы мышления, существовавшие в сфере коллективного бессознательного. Холодная война, опустив «железный занавес», не только усилила международную изоляцию СССР, державы, и до тех пор замкнутой и занятой построением социализма «в отдельно взятой стране», но и подчеркнула разграничение пространства на два мира. Пропандандой муссировался мрачный образ буржуазного мира, а особенно его олицетворения – США.

Одновременно в крамольном народном сознании возникает образ Америки как «земного рая». Америка, да и любая страна Западной Европы, мыслилась как антагонист СССР во всем, и если пропаганда утверждала, что там «все плохо», а у нас – хорошо, то, раз у нас плохо – следовательно, там, наоборот, хорошо»⁴⁶.

Принципиально эти невольные результаты советской пропаганды «с перевернутым знаком» вполне соответствовали целям иностранной радиопропаганды «западного образа жизни» и «западных ценностей». Однако некоторых конкретных выводов, которые делали советские люди о западной жизни, никто из западных «бродкастеров» предвидеть не мог⁴⁷:

«Если бы эти валенки показать в Америке, то от них бы отбежали люди на километр. В Америке тоже носят валенки, но такие, какие в СССР, носят только 16 человек, которые в Кремле»⁴⁸. И если советская пресса твердит об отсутствии в США настоящей демократии, власти денег, подкупе избирателей, то отсюда делается несколько неожиданный вы-

⁴⁵ Рассматривать коммунизм как классическую мифологическую систему ранее предлагал М. Элиаде (*Аспекты мифа*. М., 1995. С.182–183; *Мифы, сновидения, мистерии*. М., 1996. С.25 [Myths, dreams and mysteries]; *Священное и мирское*. М., 1994. С.128 [Le sacré et le profane]). О. Эдельман приводит современные примеры выявления древнейших элементов в советском обыденном мышлении. См. также исследование В. Н. Топорова, посвященное анализу надписей на стенах в местах общего пользования (*Топоров В. Н. Петербургские тексты и петербургские мифы* (Заметки из серии) // *Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического*. М., 1995. С. 368–399), и монографию В. Паперного о советском монументальном искусстве (*Паперный В. Культура Два*. М., 1996).

⁴⁶ *Крамола: инакомыслие СССР при Хрущеве и Брежневе*. 1953–1982 гг.

⁴⁷ Примеры почерпнуты нами из сб.: *Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе*. 1953–1982 гг.

⁴⁸ ГАРФ. Ф. Р–8131. Оп. 31. Д. 84264. Л. 29.

вод: «В Советском Союзе неинтересно голосовать, так как за отданный голос ничего не будешь иметь, вот в Америке другое дело, за отданный голос имеешь деньги»⁴⁹.

Столь же непредсказуемой оказалась реакция советской аудитории на многочисленные сюжеты западных радиопередач о низвержении с кремлевского Олимпа тех или иных «небожителей» 1950–60-х гг. Здесь сказалась традиционная черта народного характера, культивируемая русской литературой – «милость к падшим», позднее нашедшая яркое выражение в трансформации массового отношения к низвергнутому Горбачеву. В 1950-е гг. объектами такого внезапно проснувшегося сочувствия стали никогда не пользовавшиеся популярностью Берия (после его ареста и казни)⁵⁰, изгнанные из партии Молотов, Маленков, Каганович «и примкнувший к ним Шепилов», удаленный от эпицентра власти Ворошилов⁵¹, попавший в опалу Жуков⁵². Подобную трансформацию (правда, в более узкой, либерально-интеллигентской среде) претерпело отношение слушателей «голосов» к Хрущеву. Люди, которые во время его правления насмехались над ним («кукурузник», «турист», «царь Никита» и т. п.), высмеивали и, подобно западным радиопередачам, выражали недовольство его внутренней и внешней политикой (освоением целины, кукурузной «эпопеей», подавлением восстания в Венгрии, организацией кубинского кризиса и т. д.), после низвержения Хрущева, в условиях частичной реабилитации Сталина во второй половине 1960-х годов, стали сочувственно вспоминать о Хрущеве как о «борце с культом» и человеке, выпустившем «народ» из лагерей. Столь же сочувственно относились и к другим персонажам западных радиопередач, насильственно вычеркнутым из официальной советской истории⁵³. Особенно это отношение к «деканонизированным геро-

⁴⁹ ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 87037. Л. 6.

⁵⁰ Российские исследователи зафиксировали 65 высказываний «антисоветского содержания» о нем, из них – 52 с «положительной оценкой» (см.: Крамола...).

⁵¹ «Весной 1960 г. <...> А. Суязов говорил, откуда нам знать, что творится в правительстве. Говорил, что Молотов, Ворошилов построили советскую власть, прошли трудный путь, а теперь они стали плохие. Часто Суязов говорил, что рабочие США живут лучше, чем в СССР. Мы спорили, говорили – читай газету. А он говорил, что в газетах пишут неправду. А вот он слушает "Голос Америки" и говорит, что знает всю правду о жизни в США» (см.: ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 96116. Л. 32–35).

⁵² См.: Крамола... С. 157 (комментарий О. Эдельман): «нам известно 21 сочувственное упоминание о Жукове; в то же время, стоило ему оказаться вновь "у дел" и принять участие в пленуме об антипартийной группе, как ему, наряду с Хрущевым, были предъявлены упреки (7 зафиксированных нами случаев)».

⁵³ Это отношение объединяло людей самых разных взглядов и убеждений, высказывания которых соединялись порой в причудливую и противоречивую мозаику. Показательный пример: некто Ефремов Н. Е., убежденный в том, что «евреи нас загнали в мешок, осталось только завязать. В Америке жизнь лучше. Ни в одной капиталистической стране нет таких жестокых

ям» советского прошлого усилилось после июня 1956 г., когда западные радиостанции стали передавать «секретную речь» Хрущева на XX съезде КПСС и комментарии к ней⁵⁴.

В общем, следует констатировать, что с середины 1950-х гг. то, что высокопоставленные чины ЦК и КГБ именовали «фактами регулярного слушания» «голосов», несмотря на все помехи, создаваемые глушением иностранных передач, постепенно превратилось в общенациональную традицию, позднее зафиксированную даже в фольклоре:

Есть обычай на Руси
Ночью слушать Би-Би-Си.

Можно отметить даже, что распорядок жизни некоторых слушателей «подстраивался» под расписание этих передач и возможности их качественного приема⁵⁵. При этом картина мира, возникавшая в умах слушателей, несколько отличалась от того, что буквально говорилось в иностранных передачах⁵⁶, однако в основном соответствовала информационным и пропагандистским целям западного радиовещания на Советский Союз.

законов как у нас. В тюрьмах сидят много колхозников за 5–10 к[з] солом. В Америке заключенных кормят лучше, чем у нас. Вот прилетит самолет из Америки, выбросит оружие заключенным, и они с оружием выступят против своего правительства. У Сталина жена еврейка и протаскивает евреев на руководящие посты, после смерти Сталина евреям жить не дадут», при этом «хвалил Троцкого как хорошего оратора» (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 40424).

⁵⁴ Российскими исследователями документов Верховного суда и Прокуратуры СССР зафиксировано в них 53 упоминания имени Троцкого, из них 52 – положительных, 19 упоминаний Бухарина и 9 – Рыкова (все положительные), 7 – Зиновьева (из них 6 – положительные). Дважды назывались имена Тухачевского и Блюхера как выдающихся полководцев гражданской войны, однажды – Я. Гамарника, один раз «пожалели даже о бывшем наркome внутренних дел Г. Ягоде». – *Крамoла... С. 157* (комментарий О. Эдельман).

⁵⁵ См., напр., показания свидетеля по делу работника Петропавловского порта Новикова Г. М., осужденного в 1958 г.: *«После работы никогда не задерживался. На вопрос, почему торопишься, он говорил, что нужно послушать передачу "Голос Америки", днем слышно плохо, а ночью – хорошо»* (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 89266. Л. 8).

⁵⁶ См., напр., там же, л. 8–10: *«он заявлял, что если придут на Камчатку американцы, то ему дадут первый стул, коммунистов будут вешать... Говорил также, что американцы будут бомбить логово Москве, у нас ничего нет, воевать нечем. Высказывался и о Венгрии, говоря, что если бы не наши войска, то в стране установился бы такой же строй, как в Австрии. Плохо высказывался о событиях в Египте и всецело был на стороне англичан. Наш строй Новиков не любил... Он мне говорил, что американское радио сообщает, что у нас неустойчивое правительство, правду можно узнать только по передачам. Из передач он также узнал, что в правительстве Буланина не будет, что радио американское высмеивает колхозный строй. Он предлагал мне купить приемник, так как у меня квартира отдельная, можно слушать "Голос Америки" свободно... Я рассказывал Новикову об Америке, так как сам был в этой*

Наиболее распространенным типом социальной активности, инспирированной западным радиовещанием, несомненно, являлся **пересказ передач «голосов» и их обсуждение**. Можно сказать, что с середины 1950-х гг. это занятие становится популярным в самых разных слоях советского общества⁵⁷. **Записи иностранных радиопередач** на долгие десятилетия оказываются составной частью идеологического багажа советских «крамольников» и «инакомыслящих», а также – в случае их обнаружения органами сыска – доказательствами криминальной деятельности⁵⁸. О высокой степе-

стране, но я ее не восхвалял... разъяснял ему, что "Голос Америки" передает неправду. Он говорил, что Америка – страна чудес <...> О Египте и Венгрии Новиков говорил не по-советски... Заявлял, что Америка спасла нас в Отечественную войну <...> В отношении супругов Розенберг он говорил, что они продали секрет атомной энергии, если бы не это, то у нас не было бы атомной бомбы. Он высказывал свое мнение против принятия Китая в ООН и говорил, что законные представители – это чанкайшисты... Говорил, что Россия вяжется в дела Венгрии и ее народа, якобы душим волю народа... Все выступления капиталистических заправил он одобрял, и наоборот, все выступления наших руководителей... в частности т. Хрущева – охаивал... Новиков говорил, что какая у нас демократия, у нас ведь только одна партия, а в Америке много...».

⁵⁷ См., напр., дело москвича Бояринова В. И. (1953 г.), который, будучи пьяным, разорвал четыре траурные газеты с портретами Сталина и вместе с друзьями распространял содержание передач «Голоса Америки» и Би-Би-Си (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 45697). В 1957 г. Латышев А. А. «под действием прослушанных радиопередач американской радиостанции "Голос Америки"» распространял листовки (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 78034. Л. 7). В дополнение к уже приведенным «демократическим» примерам приведем лишь один «элитарный» – отрывок из докладной записки в ЦК КПСС Председателя КГБ при СМ СССР И. А. Серова об академике Л. Д. Ландау (20 января 1957 г.): «Ландау подавляющее время находится дома, регулярно слушает передачи зарубежного радио и, принимая у себя многочисленных посетителей, передает им антисоветские материалы загранрадио. Основные темы разговоров его и его окружения – антисоветские темы, высказывания зарубежного радио и циничные обсуждения отношений с различными женщинами» – см.: Новое время. 1998. № 50.

⁵⁸ См., напр.: 1963 г. – дело И. И. Кука, И. И. Унгера, В. Г. Нейфельда, В. А. Кука, рабочих из г. Томска, осужденных 7 февраля 1963 г. за создание подпольной организации «Группа НТС»: идея объединиться в организацию возникла у них после прослушивания магнитофонной записи радиопередачи «Народно-трудового союза», транслировавшейся радиостанцией «Свободная Россия» (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 94153); 1972 г. – дело П. И. Якира, у которого на обыске изъяли «документы радиостанции "Свобода", эмигрантской антисоветской организации НТС и др.» (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 8176. Л. 10–13); 1975 г. – дело Ермакова Г. И.: «Ермаков полностью признал себя виновным и показал, что на преступный путь стал под влиянием антисоветских передач зарубежных радиостанций, что все вмененные ему в вину анонимные письма антисоветского содержания умышленно написаны им искаженным почерком и затем разосланы адресатам. <...> Проведенным на квартире Ермакова обыском были обнаружены и изъяты его дневниковые записи, в которых изложено содержание антисоветских зарубежных

ни общественного доверия к достоверности информации, передаваемой «голосами», свидетельствует случай, когда на авторитет иностранной радиостанции ссылается изготовитель листовки «антисоветского содержания»⁵⁹. Уже отмечалось, что иностранные радиопередачи инспирировали попытки «обратной связи» с радиостанциями, вещавшими на СССР⁶⁰. К этому следует добавить и письма «в защиту» иностранного радио, адресованные в советские инстанции⁶¹. Известен случай, когда «потребность

передач радиостанций "Немецкая волна", "Би-би-си", "Голос Америки" (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 36. Д. 6263. Л. 20–22.); 1977 г. – дело Москвина О. Н.: «С 1974 г. делал магнитофонные записи транслируемых западными радиостанциями глав из произведений Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", "Ленин в Цюрихе", "Бодался теленок с дубом", работы Р. Медведева "О социалистической демократии"» (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 36. Д. 7528); 1982 г. – дело повторно осужденных за «антисоветскую пропаганду и агитацию» свердловчан Л. Г. Шефера и В. А. Ельнина, у которых при обыске были изъяты магнитофонные записи передач «Голоса Америки», «Немецкой волны».

⁵⁹ См. дело Савина В. И. (1955 г.), осужденного на 7 лет лишения свободы за распространение следующей листовки: *«Товарищи! Передаем последнее сообщение Голоса Америки. Мы празднуем 1-е мая, выпиваем и веселимся, в то время когда 1000 несчастных русских людей не имеют куска хлеба. Посмотрите на вокзалах, сколько несчастных, освободившихся из заключения, умирают с голоду из-за того, что их не берут на работу. А сколько их гибнет в лагерях от непосильного труда и лишений. Несколько раз в разных местах заключения восставали они, и каждый раз их расстреливали в стране, которая считается Гуманной. А так ли это? А знаете ли вы, что при постройке через реку Амур погибло 10000 юношей и девушек. И в то время, когда коммунистические заправилы кричат о мире и запрещении атома, в это время подтягивают свою вооруженную силу к границам и выпускают атомные и водородные бомбы. Например, взрывом атомного завода был уничтожен Аишхабад. В Норильске работает водородный завод под № 503/1. Долой коммунизм, чуму народа! Да здравствует подлинная демократия! Агент БОАК Синичкин»*. На следствии Савин объяснил, что БОАК означает «Боевая организация антикоммунистов» и взято им из радиопередач «Голоса Америки» (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 67339. Л. 17–18).

⁶⁰ См. выше о делах Петрокаса И. Р. и Налетаева В. Д.

⁶¹ См. анонимное письмо С. Ф. Левина, осужденного (1957 г.) за это и за распространение листовок: *«Мы, советские патриоты, требуем уничтожить позорную, варварскую систему глушения иностранных радиостанций. Этот железный занавес в эфире был создан кровавым Сталиным, который больше всего на свете боялся правды. Вы ратуете за мир и международное сотрудничество, но железного занавеса не убираете. Вы тоже боитесь правды? Но правда все равно доходит до народа, и народ постепенно теряет доверие к вам. Или вы опасаетесь дурного влияния на народ западной пропаганды? Но наш народ не ребенок, его на мякине не проведешь. Даже четверть века сталинской свистопляски не сбили его с толку. Ленин не боялся критики, откуда бы она ни исходила. Даже злобную сатиру Аверченко он обратил на пользу Советской власти. Ленин любил народ и верил в него. Узкободая сталинская диктатура презирала народ и боялась его. Наша страна самая лучшая, наши идеи самые передовые, наша политика самая справедливая, но методы нашей пропаганды самые драконовские, самые демагогические, самые лживые. Вот что ужасно!»* (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 1 . Д. 9588. Л. 1).

слушать зарубежные передачи» и стремление «защитить» иностранные радиостанции инспирировали создание **подпольной организации** и даже действия, имеющие характер **террористической акции**⁶². Пожалуй, можно согласиться с высказанным российскими исследователями мнением, что *«лишь немногие подпольные организации заимствовали»* из иностранных радиопередач *«идеи западной демократии»*⁶³. Однако вопрос о генезисе многих социально-политических идей, циркулировавших в советском обществе 1950-х гг. и в последующее время, до сих пор является изученным недостаточно. Поэтому вывод российских историков о том, что *«радиопередачи зарубежных радиостанций "Голоса Америки", Би-Би-Си, "Свободы", "Свободной Европы" были популярны как неподцензурный источник информации, но не генератор идей»* (выделено мной. – В. Т.)⁶⁴, представляется преждевременным. Не вызывает возражений их констатация очевидного: *«Прослушивание "голосов" было достаточно распространенным явлением среди всех общественных слоев в СССР»*⁶⁵. Во второй половине 1950-х гг. это «прослушивание» оказалось для советского общества **стабильной базой информации**⁶⁶, не только дополняющей официальную, но и альтернативную ей.

Власть: неудачные попытки противодействия

Власть четко осознала политическую опасность накопления такого информационного «багажа» после подавления Венгерской революции (1956 г.), когда угрозы *«устроить как в Венгрии»*⁶⁷ постоянно замелькали в устных высказываниях, анонимках, листовках, надписях на избирательных бюллетенях и инспирировали создание ряда нелегальных объединений. Все это побудило Кремль не только значительно **увеличить свою репрессивную активность**⁶⁸ в 1957–58 гг., но и **заняться анализом** того, кто и почему противостоит режиму. Упомянутая нами докладная записка

⁶² См. дело Ханженкова С. Н. и других (1962–64) – попытка взрыва «глушилки» в Минске (ГАРФ. Ф. Р–8131. Оп. 31. Д. 95626).

⁶³ Крамола... С. 130.

⁶⁴ Там же.

⁶⁵ Там же.

⁶⁶ Именно из этого источника общество узнавало о многом происходящем, и это позволяло некоторым принять деятельное участие в событиях, о которых сообщали «голоса». Примером могут служить поэтические чтения на площади Маяковского в Москве.

⁶⁷ Крамола... С. 50 и сл.

⁶⁸ См. закрытое письмо ЦК КПСС от 19 декабря 1956 г. «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов». Современные исследования показывают: *«Снизившись до минимума в 1956 г., судимость за контрреволюционные преступления в 1957 г. резко пошла вверх – 2.498 чел.»* (Крамола... С.50).

Л. Ф. Ильичева⁶⁹ может быть рассмотрена и в этом политическом контексте как свидетельство попыток оценить масштабы наносимого иностранным радиовещанием «вреда». Для разработки мер противодействия «чуждому идеологическому влиянию» был проведен куда более детальный, чем ранее⁷⁰, **анализ работы Информационного агентства США (USIA)**, изложенный в январе 1958 г. в совершенно секретном докладе председателя Госкомитета по культурным связям с зарубежными странами (ГККС) Юрия Жукова⁷¹. Скептически высказавшись по поводу перспектив дальнейшего развития глушения западных радиопередач⁷², Жуков, видевший свою главную задачу в пропаганде «советских достижений» за рубежом, высказался за частичное прекращение глушения⁷³. В качестве мер по улучшению

⁶⁹ РГАНИ. Ф. 89 (Конституционный суд над КПСС). Пер. 46. Д. 14. Л. 1–2.

⁷⁰ См., напр.: Справка о внутреннем и зарубежном радиовещании США. 22 марта 1954 г. (ГАРФ. Ф. Р–6903. Оп. 3. Д. 98. Л. 2–5).

⁷¹ Изложение и публикацию отдельных приложений к документу см.: Власть. № 20 [422]. 22.05.2001.

⁷² *«По утвержденному плану в соответствии с Постановлением Совета Министров от 23 августа 1954 года для забивки иностранных станций должно быть установлено более 800 передатчиков, из них около 100 мощных передатчиков. Всего по забивке иностранных станций должно работать около 1000 передатчиков. Следует подчеркнуть, что введение в действие всех намеченных технических средств радиозащиты создаст еще большие помехи приему советских радиопередач. При всем том следует учесть, что сама по себе забивка иностранных передач не является достаточно эффективной. Хотя на нее расходуются огромные средства (так, строительство станций – глушителей, предусмотренных Постановлением от 23 августа 1954 года, обойдется свыше 1 млрд рублей), она не дает и практически не может дать полного заглушения антисоветских передач на всей территории СССР. По справке Министерства связи, приложенной к проекту Постановления от 23 августа 1954 года, полное заглушение враждебных радиопередач при условии выполнения плана строительства 800 передатчиков специально для забивки будет достигнуто лишь в 64 крупнейших городах СССР. Почти на всей остальной территории СССР антисоветские радиопередачи все равно будут по-прежнему прослушиваться. <...> Но даже в указанных выше 64 городах полное заглушение антисоветских радиопередач будет возможно только при том условии, если наши враги не введут в эксплуатацию ни одной новой радиостанции для вещания на СССР, что мало вероятно. Вернее будет предположить, что в ответ на строительство станций-глушителей противник будет вводить новые мощные радиостанции для антисоветского радиовещания. Таким образом, прием иностранных радиостанций будет по-прежнему возможен на преобладающей части территории СССР. Разница будет лишь в том, что этот прием можно будет вести на меньшем количестве волн, чем сейчас».*

⁷³ *«Прекращение забивки антисоветских передач дало бы возможность пополнить технические средства зарубежного радиовещания мощностями около 4070 кВт, т. е. увеличить эти мощности на 30%. <...> Мы считали бы возможным сохранить забивку лишь в наиболее крупных центрах, направляя главным образом против передач станций "Освобождение", "Кавказ", "Байкал" и им подобных, занятых наиболее активной пропагандой подрывной деятельности на территории СССР. Все высвобождающиеся таким образом мощности следовало бы передать на активное вещание, направленное против буржуазной радиопропаганды».*

контрпропаганды он смог предложить лишь копирование принятой в USIA системы руководства и принятия планов, а также дальнейший сбор данных об эффективности советской пропаганды в той или иной конкретной стране. Кроме того, Жуков предложил ЦК поручить МИДу и возглавляемому им ГККС «провести с США и Англией переговоры о нормализации отношений в области радиовещания, имея в виду прекращение забивки в случае достижения соглашения о прекращении холодной войны в эфире»⁷⁴. Следует признать, что ни одно из предложений Жукова не предусматривало действенных мер противостояния западному радиовещанию. В сентябре следующего 1959 г. идеи о сокращении глушения стали частично реализовываться, но в целом его предложения приняты не были. Направленный Жуковым в ЦК в качестве грозного предостережения перевод выступления бывшего заместителя госсекретаря США Уильяма Бентона в конгрессе США, который, в частности, заявил: «Добраться до умов русских нам важнее, чем попасть на Луну»⁷⁵, – так и остался без ответа. И хотя в последующие периоды (уже выходящие за временные рамки этого доклада) традиционное расширение сети глушения продолжалось⁷⁶, а противостояние западному радиовещанию не раз еще оказывалось в центре внимания высших партийно-государственных структур⁷⁷, Запад по разнообразным информационным каналам, в том числе и посредством радиопередач, «до умов русских», как и до Луны, «добрался». В 1950–60-е гг. сегодняшних последствий этого никто, ни на Западе, ни на Востоке, предсказать не мог.

⁷⁴ См.: Справка «По вопросу о влиянии забивки антисоветских радиопередач на передачи советского радио, направленные за границу» // Власть. № 20 [422]. 22.05.2001.

⁷⁵ «Нам следует, – говорил Бентон, – немедленно приступить к постройке широкой системы более мощных радиопередатчиков, направленных на железный занавес, мы должны проводить с большей энергией любую идею, которая содержит в себе какую-либо разумную возможность разрушения этого занавеса... Мы должны помнить, что особенно необходимо достичь среднего руководства в Советском мире; это – новый и быстро растущий класс хорошо образованных инженеров, специалистов и административных работников... Среднее руководство склонно поддерживать мероприятия по децентрализации и выступает за более высокий уровень вознаграждения за лучшие способности. Оно включает в себя ученых и инженеров, многих представителей искусства, администрацию системы образования, сельского хозяйства, транспорта, угольной и обрабатывающей промышленности, здравоохранения, строительства и финансовой системы, а также, по крайней мере, часть офицерского корпуса. До тех пор пока у среднего руководства нет постоянного потока точной информации о характере и намерениях американцев, оно полностью предоставлено слухам и официальным каналам советской пропаганды... Основной целью американской политики должно быть установление контакта с этой мощной группой» // Власть. № 20 [422]. 22.05.2001.

⁷⁶ См.: Плейкис Р. Радиоцензура. Вильнюс, 2003.

⁷⁷ См. напр.: Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления. Т. 1. М.: РОССПЭН, 2003–2004. С.702.



историк, автор ряда исследований русского эпоса, а также идеологии современного русского национализма. Живет в России.

ГИТЛЕР, СТАЛИН И МИХАИЛ ЛЕВИТИН. МАЛЕНЬКИЙ ЭПИЗОД ВЕЛИКОЙ БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД

Как по количеству жертв среди мирного населения, так и по намеренной жестокости его истребления Ленинградская блокада остается в истории явлением уникальным, сопоставимым только с ужасом нацистских лагерей смерти. Конечно, пытка жителей осажденного города голодом – явление, известное с глубокой древности, однако в прежние времена подобная практика являлась только средством принуждения осажденных к капитуляции. В планах же Гитлера капитуляция Ленинграда заранее исключалась, и его целью было уничтожение. Решение о судьбе города и его обитателей было принято до начала войны, и 1 июля 1941 года начальник Генштаба германских сухопутных войск Франц Гальдер записал в своем дневнике: *«Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы»*. Как свидетельствует Гальдер, Гитлер заявил, что это будет *«народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и москвитов (русских вообще)»*.

Актуальные военные задачи Третьего Рейха, лидеры которого планировали уморить значительную часть «туземцев» голодом, чтобы обеспечить продовольствием немецкую армию, идеально соответствовали их перспективным планам. Европейская часть России должна была войти в состав территории великой нацистской империи и подвергнуться германизации, предполагавшей самое решительное сокращение численности местного населения. В соответствии с Генеральным планом Ост «лесная зона» российского Севе-

ра превращалась в слабозаселенный непромышленный регион, где не было места крупным городам. Наконец, в случае Ленинграда Гитлер руководствовался и соображениями иррационального характера. Город, носивший имя Ленина, представлялся ему важнейшим духовным центром большевизма, в то же время он являлся старой имперской столицей России. Отсюда страстное желание убрать этот город с географической карты – уничтожая Ленинград, Гитлер символически изгонял из истории воспоминания и о коммунизме, и о российском имперском величии. По этой причине он отказал даже представителям своего военного флота, которые просили о том, чтобы после захвата города в их распоряжение были предоставлены имеющиеся там портовые сооружения. Территория в устье Невы должна была превратиться в пустыню, нагромождение безжизненных развалин.

По всем этим причинам Ленинграду было отведено почетное первое место в списке российских городов, которые нацисты обрекли на уничтожение. На протяжении июня–августа 1941 года Гитлер многократно напоминал своим генералам о необходимости ускорить наступление на Ленинград, торопил, настаивал, ободрял. После взятия Смоленска заставил приостановить движение войск на Москву, лично приехал в ставку группы армий «Центр» в Борисове, чтобы проследить, как танки будут развернуты в сторону Ленинграда. Вскоре после этого Гитлер счел необходимым посетить и ставку группы армий «Север», дабы подбодрить командование войск, на которых возлагалась задача уничтожения города. Когда немцам стало известно о приказе Ворошилова, согласно которому жители Ленинграда должны были превратить каждый дом в крепость, министр пропаганды Геббельс возликовал. Уже 23 августа – через два дня после отдачи приказа – он записал в своем дневнике, что теперь у немецких войск появилась замечательная легенда, которая позволит объяснить миру их действия. Конечно, Ленинград должен быть уничтожен в любом случае, но, ссылаясь на приказ Ворошилова, можно будет сказать, что немецкие солдаты просто были вынуждены разрушить непокорный город-крепость и истребить его жителей, зараженных неискоренимым большевистским фанатизмом.

Планы были столь чудовищными, что некоторое время Гитлер хранил их в тайне от собственных генералов. К примеру, командующий группой армий «Север» фельдмаршал фон Лееб еще 17 сентября отмечал в своем дневнике, что он до сих пор не извещен о судьбе города, который, как он полагал, вот-вот должен быть захвачен его войсками.

Впрочем, сентябрьское наступление происходило во многом по личной инициативе фон Лееба, ибо уже в начале сентября, когда немецкие войска оказались на ближних подступах к городу, Гитлер приказал перебросить ударные части – танки и авиацию – под Москву. Гитлер был убежден, что сопротивление защитников Ленинграда уже сломлено, и предпочитал не входить в город, чтобы не брать на себя обязательств по жизнеобеспечению его жителей. Российский хлеб предназначался только немецким солдатам, поэтому миллионам ленинградцев надлежало погибнуть голодной смер-

тью в результате блокады. Когда 12 октября 1941 года эта установка была доведена до сведения фон Лееба, последний был ошеломлен и наивно спросил Гитлера, что же ему делать, когда навстречу немецким войскам потянутся толпы голодных женщин с детьми на руках. Фюрер объяснил фельдмаршалу, что войскам надлежит стрелять, и тогда женщины останутся. И хотя фон Лееб предупреждал Гитлера об опасности нервных срывов, которые в результате этой операции могут постигнуть доблестных немецких воинов, тот настоял на своем. Исчерпав аргументы в пользу более гуманного решения, командующий группы армий «Север» подчинился и отдал приказ стрелять в сдающихся мирных жителей. Чтобы побережь нервы своих подчиненных, заботливый Лееб распорядился заминировать подступы к боевым позициям – гибель ленинградцев на минных полях казалась ему предпочтительнее, ибо в этом случае психика немецких солдат не подвергалась бы такой угрозе, как при расстрелах.

В 20-х числах сентября немецкое наступление на город было окончательно остановлено, и армия Лееба начала окапываться, однако директивы Гитлера требовали дальнейших мер по ужесточению блокады. В рамках этого плана в октябре 1941 года было предпринято наступление на Тихвин, и немцам удалось оседлать железнодорожные пути, шедшие к восточному побережью Ладоги, откуда продолжал снабжаться по воде Ленинград. В результате норма питания горожан упала до 250 граммов хлеба для рабочих и 125 граммов – для второй категорий снабжения, т. е. для всех прочих.

Гитлер с интересом выслушивал сведения о страшных последствиях голода среди ленинградцев. Стенографировавший беседы вождя Третьего Рейха Генри Пикер записал в своем дневнике 19 мая 1942: *«В заключение разговор зашел о случаях людоедства среди партизан и в Ленинграде, где теперь в неделю умирает примерно 15 000 человек»*. Гитлер был очень доволен и еще раз напомнил о необходимости усилить кольцо блокады.

В 1941–1942 годах рядом с великолепными ленинградскими дворцами валялись мертвые тела людей с проваленными от голода скулами, у многих из которых икры были вырезаны трупоедами. Это зрелище стало столь обычным, что никого уже не удивляло. Кажется, что на возмущение у большинства горожан просто не хватало сил. В холодных ленинградских домах лежали на неубранных постелях тысячи людей, тщетно пытавшиеся сберечь в своих телах угасавший огонек жизни. Умирали один за другим. Особо ужасной была судьба маленьких детей, которым случалось пережить своих родителей. Они понимали, что остались одни и теперь уже никто не придет им на помощь, погибали в ужасе и безнадежности. Впрочем, не менее страшными были и отчаянные попытки не замечать этот кошмар, имитируя продолжение жизни. В пытавшихся работать ленинградских театрах актеры умирали от голода прямо на сцене. Оказавшийся в блокадном городе весной 1942 года писатель Виталий Бианки был особо потрясен видом женщин, пытавшихся сохранять привлекательность: *«Самое ужасное – на дистрофическом изможденном, бетонно-сером лице – ярко накрашенные, мертвые губы»*.

Мужчины отличались в этом отношении от женщин лишь отсутствием помады, людей же со здоровым цветом лица можно было увидеть только в Смольном, где окопалась городская администрация. Впрочем, даже те счастливы, которые получили от советской власти привилегию выживания, не всегда обладали достаточно прочной психикой, чтобы ею воспользоваться. Окружающая реальность была ужасной до невыносимости, и в то время, когда стол партийного руководителя Ленинграда Андрея Жданова украшали фрукты, доставленные на самолетах с Большой земли, среди представителей власти более низкого звена в 1941–1942 годах свирепствовала настоящая эпидемия самоубийств.

После войны советская власть старательно боролась с воспоминаниями о блокадной судьбе города. Сводя счеты с репрессированной в 1949 году ленинградской партийной верхушкой, руководство страны решило даже вовсе упразднить память об этом событии, чтобы не позволить Ленинграду как-то выделяться среди прочих советских центров. В 1952 году разгромили музей блокады – сожгли портреты погибших, переплавили трофейное оружие, запретили все публикации на блокадную тему. В 1958 году эту страницу истории все-таки вернули, однако и тогда власти внимательно следили за тем, чтобы воспоминания о военной поре не изобиловали слишком мрачными сюжетами, которые не вписывались в официальную патриотическую легенду об отважных советских гражданах, неизменно веривших в победу и мудрость партии. Когда в 1979 году Даниил Гранин и Алесь Адамович попытались издать свою «Блокадную книгу», основанную на дневниках ленинградцев, ее удалось напечатать только в Москве, причем авторы получили множество замечаний Главлита, требовавшего изъять все упоминания о воровстве и мародерстве, бездарности и равнодушии партийных властей, обрекших город на вымирание. Предусмотрительная советская власть ограничила даже число жертв блокады – ни в коем случае цифра не должна была превысить 600 тысяч. Когда стали известны документы, согласно которым только за 1941–1942 годы в городе похоронили миллион двести тысяч человек, страшная новость была принята в штыки.

Более миллиона судеб, оборвавшихся на полувздохе, и за каждой из них своя история... Впрочем, отмена цензуры сталкивает нас с проблемой иного рода, ибо такое количество информации просто невозможно воспринять. По понятным причинам вспоминают, прежде всего, ученых и деятелей культуры, прочие же, сами по себе мало кому интересные обитатели блокадного Ленинграда, имеют очень мало шансов быть упомянутыми поименно. Однако и в судьбах людей, вполне по житейским меркам заурядных, обнаруживаются иногда весьма необычные, достойные внимания обстоятельства. Об этом напомнила копия судебного дела одного из жителей Ленинграда, переданная мне его внучкой. Жизнь этого человека завершилась весной 1942 года, однако, даже умирая, он сумел осуществить некоторые заветные свои помыслы, и думаю, что об этом стоит рассказать подробнее.



До 1941 года судьба Михаила Исааковича Левитина казалась вполне благополучной, хотя, как можно догадаться, были на его пути свои сложности. Достаточно лишь того, что этот уроженец белорусского городка Петрикова в 1927 году – в 20-летнем возрасте – расстался со своими родителями, отправившимися на поиски счастья в Америку. Почему не уехал наш герой, на что надеялся? «Молодость» и «оптимизм» – слова не однокоренные, но, несомненно, родственные. Далекая Америка была так далеко, и покидать ради нее родную землю, расставаясь навеки с друзьями и знакомыми, забыть о планах и надеждах – нет, на это способен не каждый. К тому же юность нашего героя пришлось на время нэпа, с его так ошеломившим после ужасов гражданской войны изобилием продуктов. Пребывавшие в европейских центрах русские эмигранты, исповедовавшие евразийскую идеологию, тогда даже встревожились: не соблазнит ли сытая жизнь советских людей, не забудут ли они о духовных достижениях коммунистического строя, пожелав возродить капиталистические порядки? Волновались, конечно, зря. Советские граждане иллюзий на реставрацию капитализма не питали, но все-таки надеялись на лучшее, полагали, что самые страшные бедствия уже позади. Михаил и его старшая сестра явно разделяли подобные убеждения, так что родителям пришлось уехать без них.

Надо сказать, что иллюзии благополучного существования рухнули очень скоро. Уже через год после отъезда старших Левитиных советский народ столкнулся с последствиями сворачивания нэпа, с реалиями политики индустриализации и коллективизации, когда сорвавшиеся со своих насиженных мест миллионы голодающих крестьян бежали в городские центры, надеясь найти здесь пропитание для себя и своих детей. Уже некому рассказать, как ощущалось все это в городе Петрикове, но, похоже, что жить здесь в начале 30-х стало неуютно. Пути младших Левитиных разошлись – сестра Михаила перебралась в Чернигов, где стала мелким советским чиновником, Михаил же решил попытать счастья в Ленинграде, устроившись столяром на комбинат «Рабочий». Позднее один из свидетелей по делу Левитина отметил в своих показаниях, что тот является *«каким-то инженерно-техническим работником»*. По-видимому, наш герой, обладавший законченным средним образованием, несколько выделялся среди прочих рабочих, был похож на инженера. Тем не менее у него хватило осмотрительности остаться на заводе, в институт Левитин учиться не пошел. В перспективе это был очень мудрый шаг. Даже в послевоенное время, когда Сталин развернул в стране свирепую антисемитскую кампанию, которая должна была покончить с *«засоренностью»* (таким был наиболее популярный термин) кадров еврейским элементом, Левитин имел бы шанс уцелеть – до уровня рабочих карательные акции доходили редко. Закон существования в советской стране был прост – чем ниже, тем безопаснее. В советской стране это был самый надежный способ выживания. Убежденную коммунистку Элизабет Порецки, после выполнения очередного шпионского задания за границей оказавшуюся впервые на своей ду-

ховной родине в Москве, радушная советская власть поселила в огромной коммунальной квартире, где она узрела множество странных и совершенно неожиданных для себя людей. Шел 1932 год, и на общей кухне бабушки и няни толпились вперемешку с офицерами Генштаба, в одной из комнат жила машинистка, которая, чтобы прокормить свою дочь, подрабатывала проституцией, в другой – обитал военный врач, безуспешно боровшийся с общественной антисанитарией, рядом с полковником, служившим в охране Кремля, обитала некая Аннушка, упорно твердившая, что *«все большевики антихристы, и Господь их накажет в свое время»*. Однако особо запомнился Порецки местный умелец дядя Вася, носивший звучное прозвище «сюринтенданта». Он иногда заходил в комнату Порецки, просил поставить ему на фонографе запись русских песен и, слушая их, плакал от удовольствия. Как с изумлением обнаружила Порецки: *«Дядя Вася совершенно не задумывался о большевиках, его абсолютно не интересовала политика, и никогда он ни на что не жаловался. Я думаю, что наш "сюринтендант"... был по-своему счастлив»*. Добавлю, что в отличие от высокопоставленных друзей Порецки, обреченных сталинским режимом на уничтожение, «сюринтендант» Вася имел все шансы выжить.

Вряд ли Левитин был в состоянии воспользоваться опытом дяди Васи – не думать о большевиках и не интересоваться политической, – однако в реальности достаточно было не говорить на подобные смертельно опасные темы. У нашего героя нашлись дела поинтереснее. Судьба его определилась после встречи со стройной красавицей Клеопатрой, вобравшей в себя гремучую смесь армянской, греческой и русских кровей. К началу 1941-го года в этой семье было уже четверо детей – три девочки и один мальчик. Говорят, что в счастливых семьях девочки рождаются чаще. Бог ведает, однако, глядя на фотографию Левитиных, не сомневаешься в том, что эта семья была счастливой. Маленький, смешной Левитин сидит рядом со своей романтической красавицей и детьми, влюбленно прижимая к себе младшую дочь. Похоже, что этот человек обладал счастливым даром жить, погрузившись в свой семейный мир. Земшарная республика Советов, великая советская империя – все эти величественные фантомы беспокоили убежденных коммунистов, подобных друзьям Порецки, наш же герой предпочел оставаться беспартийным. Семья, работа – вот реальность жизни, что же касается войны и мира, эти вопросы Левитин предпочитал оставить мудрому руководству страны. В 1935 году отменили карточки, и хотя прежнее нэповское изобилие уже не вернулось, жизнь стала налаживаться. Многие советские граждане с облегчением встретили пакт Молотова–Риббентропа, появилась надежда, что войны удастся избежать. Евреи, кажется, составляли при этом исключение, так как их волновали известия об антисемитских акциях нацистского режима. Однако Левитин лишнего не болтал.

Пока Левитины наслаждались своим семейным счастьем, Гитлер приговаривал их к смерти. По двум пунктам обвинения сразу. Во-первых, в отличие от других жителей России, которых Гитлер рассчитывал использовать в ка-

честве подневольных рабочих, ленинградцы должны были исчезнуть, чтобы не обременять фюрера заботой о своем существовании. Семья же Левитиных была обречена на смерть и независимо от места обитания – евреи и люди, связанные с евреями супружескими узами, подлежали уничтожению в любом случае. И хотя окончательный приговор еврейскому народу прозвучал несколько позже, в январе 1942 года во время конференции высших администраторов Рейха, проходившей в берлинском пригороде Ванзее, немецкие войска стали осуществлять «окончательное решение» еврейского вопроса сразу же после перехода советской границы. Об этом позаботился Гитлер, издав особое распоряжение об уничтожении евреев-комиссаров, в число которых попадали все солдаты-евреи. Не избегли этой участи и мирные жители. Массовые расстрелы начались уже в последних числах июня, в сентябре пришел черед таких значительных акций, как уничтожение в Бабыем Яру около ста тысяч евреев Киева. В те же самые дни немецкие солдаты собрали еврейских обитателей ленинградского пригорода Пушкино, отвели их под конвоем в идиллический Александровский сад, где всех расстреляли и здесь же закопали трупы – прямо напротив дворца, из окон которого в свое время любовался ухоженными парковыми аллеями Александр III, непреклонный антисемит и германофоб, надеявшийся разгромить Германию и расчленив ее на несколько небольших немецких государств.

В это время Ленинград был окружен кольцом немецких войск, передовые части которых могли видеть город в полевой бинокль. Занимавшиеся уничтожением евреев сотрудники айнзатцгруппы «А» с вожделием смотрели в сторону городских кварталов, подсчитывая, сколько же еврейских недочеловеков им предстоит выгнать из этих домов для последующего уничтожения – каким-то образом план полного истребления ленинградцев не отменил этой стандартной процедуры, сопутствовавшей немецкой оккупации. Каждое ведомство работало по своему собственному графику. К тому же, приговорив к смерти всех жителей Ленинграда, немцы все-таки разыгрывали еврейскую карту – раскидывали листовки, в которых объяснялось, что война продолжается только в интересах евреев и надо скорее сдаваться немецким войскам, выдав им еврейских поджигателей войны. Только листовку «Бей жида-политрука, морда просит кирпича» распечатали на Восточном фронте тиражом 18 миллионов экземпляров, а ведь было и множество других подобных листовок!

Семена упали на плодородную почву. Опубликованные отчеты ленинградского УНКВД содержат значительную по объему информацию об антисемитских и пораженческих настроениях, доходивших иногда до своеобразных бабьих бунтов. С идеей о том, что война ведется для защиты еврейских интересов, могла конкурировать только уверенность в том, что все евреи убежали в Ташкент.

Левитин не знал, что все евреи уже в Ташкенте, он думал о семье. Война стремительно приближалась к его жене и детям... В августе, когда немецкие танки обошли Лужский рубеж и помчались к городу, отрезая его от

всех транспортных коммуникаций, Левитин отправился в военкомат и был зачислен в дивизию НКВД. Оценив энергию новобранца, командование назначило его начальником боепитания 1-й батареи 8-го специального полка. В задачи Левитина входило получение вооружения со складов, и наш герой вложил в эту работу все присущее ему усердие. Особым удобством его должности являлось то, что она требовала частых перемещений по городу, позволяя заскочить при случае к жене и детям, иногда Левитину удавалось даже переночевать дома. В городе не хватало дров, дети мерзли по ночам, и чадолюбивый Левитин принес домой из части теплое одеяло. Начальство смотрело на это сквозь пальцы, никому не хотелось разбираться с подобными мелочами накануне отправки на фронт. И осталось бы это мелкое самоуправство без внимания, если бы Левитин не оплошал – тут-то ему все и припомнили.

Пока дивизия Левитина готовилась к отправке на фронт, ее бойцы из сообщений Информбюро узнавали, что немцы захватывают все новые и новые российские города. Над ленинградскими улицами летали немецкие самолеты, а советской авиации почему-то не было видно. Снабжение горожан существенно сократилось, обреченные на полуголодное существование люди чувствовали себя обманутыми – в течение многих лет советская пропаганда твердила им о военном превосходстве, о войне, в которой малой кровью и на чужой земле будет достигнута быстрая победа, однако в действительности все оказалось совсем иначе. Сентябрь 1941 был в Ленинграде временем расцвета пораженческих настроений, и даже партийное руководство не верило в возможность отстоять город. Сталин послал в Ленинград первого заместителя наркома НКВД Берии – Меркулова, который приводил в исполнение секретный план «Д»: организовал минирование всех стратегически важных городских объектов, мостов, железнодорожного узла и запертых в устье Финского залива кораблей Балтийского флота. Город готовили к сдаче. Любопытно, что все это происходило на фоне передислокации немецкой ударной группировки, устремившейся теперь в московском направлении. Когда Жукову разведка доложила, что немецкие танки убывают в сторону столицы, он не поверил – пообещал расстрелять за дезинформацию и запретил передавать эти сведения в Ставку. Впрочем, и узнав о перемещении немецких войск, Сталин продолжал считать, что Ленинград обречен. Опубликованы записи состоявшихся в 20-х числах октября 1941 года телефонных разговоров, в которых Сталин торопил с прорывом блокады, дабы иметь коридор, по которому могли бы выйти из окружения войска. Как говорил Сталин, восстановление связи с Ленинградом *«необходимо для того, чтобы снабжать войска Ленфронта, но и, особенно, для того, чтобы дать выход войскам Ленфронта для отхода на восток – для избежания плена в случае, если необходимость заставит сдать Ленинград»*. В общем, еще неизвестно, как сложилась бы судьба города, если бы советским войскам удалось тогда выполнить приказ Сталина и прорвать блокаду в районе побережья Ладоги. Сталин был готов прика-

зять оставить город, взорвав заминированные центры коммуникаций, однако удержавшие окружение немцы лишили его такой возможности.

И независимо от планов командования чувство обреченности охватило очень многих ленинградцев. Левитин не мог с этим смириться, он был взволнован и возмущен. Окончательно добили его профессиональные обязанности оружейника. Миллионы трехлинейек, находившиеся на армейских складах, расположенных на советской границе, достались в ходе летнего наступления немцам, и оружия катастрофически не хватало. Как пишет об этом переводчик Сталина В. М. Бережков: *«Я был свидетелем разговора Молотова с командиром одного из отрядов, оборонявших столицу. Тот жаловался, что у него на пять ополченцев только одна винтовка, и слезно умолял помочь. Но Молотов, знавший положение дел, жестко ответил: "Винтовок нет, пусть сражаются бутылками..."»* – имеется в виду знаменитый «молотовский коктейль». В Ленинграде, похоже, не хватало и бутылок. Из складов извлечены были на свет Божий хранившиеся там с царских времен старые английские и японские винтовки, большая часть которых была нефункциональной. Вооружая своих сослуживцев таким псевдооружием, Левитин впал в отчаяние. Безумно хотелось поделиться с кем-то своими чувствами, пожаловаться, возмутиться. Возмутился. И нашел где – в дивизии НКВД. Забыл о том, что он здесь белая ворона, что вокруг бдительные сотрудники органов, профессионально привыкшие бороться с идеологической крамолой.

Вот как рассказал следователю об этом печальном происшествии выпускник Можайской школы милиции двадцатидвухлетний Максим Федорович Соколовский: *«7 октября вечером находясь в помещении партактива автобазы... Левитин, в присутствии меня и Васильева, Шустрова, заявил: "Советская власть и партия вместо того, чтобы заниматься строительством дворцов Советов, театров и кино, а вопросам обороны не уделяло должного внимания, отправляла хлеб за границу немцам и финнам, а теперь когда началась война, то оказалось что оборона у нас плохая, немцы забирают города, для армии не хватает вооружения, техники, самолетов и танков. Красноармейцам выдают старые и негодные винтовки, у нас своего вооружения нет, а выдают английское и оказалось, что всё наше вооружение только в газетах. В нашей печати пишут о превосходстве нашей авиации в воздухе, а на самом деле немецкие самолеты летают у нас как дома, поэтому Ленинград и горит каждый день и при появлении немецких самолетов наши истребители убегают, население голодает, т. к. рабочим выдают 200–400 грамм на день...»*. О том же свидетельствовал и двадцатishестилетний Николай Петрович Петров, по словам которого, Левитин вел разговоры такого содержания: *«Почему у нас всё получается наоборот. Мы воюем не на земле противника, как нам говорили раньше, а на своей собственной земле и с хорошей техникой сдаем города... Мы все время сдаем города, немцам осталось дойти до Москвы всего 250 км... и Москва может быть в таком же положении, как сейчас Ленинград»*.

Особый интерес представляет свидетельство Василия Павловича Васильева – позднее, на допросе, Левитин вспомнить этого человека не мог, да и сам Васильев, похоже, Левитина не знал, так как называл его в своих показаниях членом партизанского отряда. Можно догадаться, что это уже результат работы следователя, который привлек постороннего человека, необходимого ему в качестве третьего свидетеля. Будучи мужчиной пожилым и серьезным – как-никак преподаватель политшколы милиции, Васильев поставленную перед ним задачу выполнил добросовестно. Только в должности Левитина ошибся, что же касается паникерских разговоров – все, о чем говорилось в донесениях Соколовского и Петрова, запомнил и подтвердил.

Конечно, сослуживцы Левитина тоже слушали сводки Информбюро, в которых говорилось о превосходстве немецкой армии в глубь России, они тоже видели полное превосходство немецкой авиации в небе над Ленинградом, однако пришедшие в дивизию НКВД сотрудники советских правоохранительных органов понимали, что говорить об этом не следует. Как обнаружилось в ходе суда, позволив себе заметить превосходство немцев в воздухе, Левитин тем самым *«восхвалял авиацию противника»* – одно только это оценивалось как преступление. Что уж говорить о порицаниях в адрес родной партии и правительства, которые будто бы недостаточно подготовились к войне. Ну и что, что советские войска отступают. Забыл Левитин о том, что партия всегда права, ой забыл...

Дальнейшее было вопросом времени и наработанной техники. Октябрь 1941 года был для Ленинграда месяцем тяжелым, однако война войной, а особисты свое дело знали. За Левитиным установили слежку, дабы собрать материалы, которые должны были подтвердить его антисоветскую сущность. Улов, надо признать, оказался не очень богатым, однако кое-что выяснить все-таки удалось.

Левитин не подозревал о том, что стал объектом чекистской разработки, и уже через день после первого разговора совершил новое преступление. Как сообщил Соколовский, *«9 октября Левитин вернулся из города, рассказывал... что он ходил в город, чтобы достать выпивки да ничего не достал, и что его встретила дочь, которой он передал хлеб и якобы его дочь настолько была голодной и так у него просила хлеба, что у него слезы выступили на глазах. При этом добавил. Вот как теперь голодают наши семьи и рабочие. На мой вопрос к нему Левитин ответил: а куда я могу отправить свою семью и что бы могла сделать моя жена с четырьмя ребятами»*. Поразительное дело! Соколовский как будто бы не верил рассказу Левитина: *«якобы его дочь настолько была голодной и так у него просила хлеба...»*. Конечно, и он, и те особисты, которые подшили донос к делу, прекрасно знали, что ленинградцы голодают, однако разговоры об этом рассматривались как антисоветская агитация.

Дальше – больше. Через три дня после встречи с дочерью Левитин узнал, что Петров отправляется на машине в город, и попросил доносчика, которого он имел наивность считать своим приятелем, отвезти жене и де-

тям хлеб и галеты. Желание Левитина поделиться с семьей своим пайком было вполне законным – однако, оказавшись в его квартире, внимательный Петров сумел опознать там казенное ватное одеяло, под которым согревались теперь дети. О чем немедленно сообщил особисту, завершив свои наблюдения следующим выводом: *«Изучая Левитина по работе и его отношение к службе, я считаю что Левитин не благонадежный человек, он считает личные интересы прежде государственных»*.

Специфика жанра требовала развития сюжета, и тут заработала фантазия доносчиков. Они рассказали, будто бы Левитин самовольно выдал кому-то, чью фамилию им не удалось запомнить, два пистолета, к тому же оказалось, что он без энтузиазма отнесся к приказу командира, распорядившегося срочно завершить ночью работу, которую можно было бы сделать в дневное время. Наконец, бдительный Соколовский заметил, что Левитин переночевал самовольно дома. Круг замкнулся, преступника пора было брать. 25 октября – в то самое время, когда немецкие войска, прорвав оборону советских войск на Волхове, двигались в направлении Тихвина, Левитина взяли под стражу и доставили к следователю. Услышав предъявленные обвинения, Левитин приложил отчаянные усилия, чтобы доказать свою невиновность. Нет, он не решился полностью отрицать доносы, однако попытался пересказать их содержание по-своему – более благозвучно, фиксируя внимание на своей ненависти к врагам: *«7 октября я был в парткоме автобазы и там <...> при разговоре на военные темы сказал – "надо собрать все вооружение, которое у нас имеется, и не дать возможности разбойничать фашистским самолетам. Я возмущен, что фашисты разбойничают, жестоко расправляются с населением, особенно с евреями. Я говорил, что нам нужно иметь больше вооружения и говорил, если бы меня спросили, я бы не строил дома Советов, дворцы, красивые жил дома, а обратил бы все средства на вооружение, строил бы больше танков, самолетов, пушек и проч. вооружения. Немцам и финнам хлеба не давал бы, а тогда бы возможно мы воевали бы на территории врага, а в данное время враг воюет на нашей территории. Больше я ничего не говорил"»*. Потом Левитин вспомнил даже Кутузова, говорил, будто бы его стратегию взял на вооружение наше мудрое командование, чтобы, как когда-то Наполеона, заманить врага в глубь страны. Попытался оправдаться и за свое преступное чадолюбие: *«Не помню какого числа я делился с военнотружущащими 8 с. роты о том, что я был дома дал дочери и детям хлеба. Она у меня спросила можно ей есть этот хлеб сейчас или ждать мамочки. Я ей отрезал и дал съесть сейчас же хлеб. Никаких выводов не делал и о том, что голодают наши семьи и рабочие не говорил никогда»*. Однако, как ни крутился Левитин, как ни увиливал, спастись ему не удалось. Не помогло ему и то, что свидетели на заседание суда не явились, так как дивизию срочно перебросили в другое место. В течение двух дней суд все выяснил и принял решение.

Уже осознав неизбежность осуждения, солдат Левитин как о величайшем одолжении просил только об одном – позволить ему сражаться. Заявил в по-

следнем слове: *«Прошу направить меня на фронт, чтобы я мог спасти свою семью, свою Родину»*. Думаю, что судей особенно разозлила назойливая сентиментальность нашего героя. Просил бы, как положено приличному солдату, умереть за родину, за Сталина, может быть, и позволили бы, а умирать за семью – на что это похоже? Такому человеку на фронте не место!

Штрафбатов осенью 1941 года еще не было, и обычным наказанием за паникерские разговоры являлся в это время расстрел. Согласно представленной Берии справке Наркомата внутренних дел *«О деятельности Особых отделов и заградительных отрядов НКВД с начала войны по 19 октября 1941 года»*, за первые четыре месяца войны чекистами было арестовано 657 364 человека и расстреляно 25 878. Это приблизительно две дивизии – в то самое время, когда так не хватало солдат! Разумеется, на самом деле погибло больше, ибо скольких людей расстреляли заградительные отряды, не считал никто – это было просто невозможно. Да что там солдаты – казнили даже пожилых ученых, посмеавших высказаться на актуальную тему военного положения. Так в начале 1942 года за пораженческие разговоры был расстрелян член-корреспондент АН СССР, профессор кафедры теоретической механики матмеха Владимир Сергеевич Игнатовский и доцент кафедры дифференциальных и интегральных уравнений того же факультета Николай Артамонович Артемьев, 18 сентября 1942-го такая же судьба постигла видного нумизмата Николая Павловича Бауера... Однако в случае Левитина гуманный суд ограничился тюремным заключением. Приговор гласил:

«Левитина М. И. по ст. 58–10 ч. II УК РСФСР лишить свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком на восемь лет с поражением в правах предусм. "а", "б", "в", "г", "е" от 31 УК РСФСР сроком на 3 года по отбытию лишения свободы, без конфискации имущества за отсутствием такового. Срок меры исчисления с 25.X. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

Очевидно, гуманные судьи учли социальную благонадежность преступника – все-таки рабочий, пошел в армию добровольцем. Можно подумать, что повезло. В реальности это не подлежавшее обжалованию судебное решение означало приговор к смерти от голода. В Ленинграде умирали от голода самые разные люди, что же касается заключенных, то невыносимость их положения в какой-то момент осознали даже власти. 13 октября 1942 года областной прокурор обратился к заместителю председателя облисполкома В. Д. Семену с просьбой пересмотреть заниженные нормы питания, принятые в тюрьмах. Увы, до этого счастливого дня герой моего повествования не дожил. Как констатировал врач, прибывший в камеру № 135 тюрьмы № 11 УНКВД ЛО, *«Левитин Михаил Исаакович 18 апреля 1942 г. скончался от авитаминоза и дистрофии»*.

Вполне обычная, можно сказать, заурядная для того времени история. Почти в то же время гениальный генетик и селекционер Николай Вавилов умер от дистрофии в Саратовской тюрьме, где получали все-таки большую

норму питания, нежели заключенные Ленинграда, однако и этого для поддержания жизни не хватало. Сколько людей умерли от дистрофии в ленинградских тюрьмах, неизвестно – если и сохранились в архивах сведения, они не опубликованы. Похоже, однако, что таковой была судьба большинства. Во время блокады тюрьма с неизбежностью превратилась в дом смерти.

Оглядываясь назад, можно сказать, что солдат Ленинградского фронта Левитин имел очень мало шансов пережить войну. В ходе Любаньской операции, которая длилась с января по июнь 1942 года, немцам удалось окружить и уничтожить в районе Волхова силы 2-й ударной армии, общей численностью около 120 тысяч человек. Даже заматерелые немецкие солдаты, прозвавшие зону боев за коммуникации 2-й ударной армии «задом земли», испытали шок, захватив в июне последний лагерь 2-й ударной, который находился рядом с поселком, носившим зловещее название Мясной Бор. Немцы увидели здесь множество обессиленных людей, лежавших на земле и не обращавших на них никакого внимания. Кора на берегах, которые окружали этих мучеников войны, была ободрана до уровня человеческого роста. Как рассказывал Гитлеру Георг фон Кюхлер, сменивший фон Лееба на посту командующего группой армий «Север», пленных было около 10 тысяч, но *«в сводках эта цифра не фигурировала, поскольку на болотистой местности было совершенно невозможно оказать им помощь, и они все погибли»*.

Второй раз части несчастной 2-й ударной были уничтожены спустя всего три месяца при очередной попытке прорыва блокады, когда войска Эриха Манштейна вывели из строя более 113 тысяч советских солдат, 40 тысяч из которых были убиты. Добавьте к этому участников Петродворцовского и Стрельненского десантов, погибших в бессмысленных наступлениях во имя реализации тактики «активной обороны»... Известны случаи, когда немецкие солдаты просто не выдерживали той бойни, в которой им приходилось участвовать, сходили с ума – фон Лееб не зря беспокоился о психике своих подчиненных. Общие потери личного состава Ленинградского и Волховского фронтов, вместе с Балтийским флотом, составили более двух с половиной миллионов человек, из числа которых *«безвозвратных потерь»* – то есть убитых – насчитывают восемьсот двадцать две тысячи.

Как и каждый солдат, Михаил Левитин, конечно, надеялся выжить, однако, стремясь защитить от врага свой дом, он был готов умереть, то есть стать одним из более чем восьми сотен тысяч бойцов Красной армии, погибших под Ленинградом от немецких пуль и снарядов. Не повезло – оказался в числе более чем миллиона ленинградцев, погибших во время блокады от голода. Главной бедой нашего героя было то, что довелось ему родиться во время, смертельно опасное для жизни, все остальное – уже производные обстоятельства. Вождь Третьего Рейха приговорил Левитина к смерти по расовым и геополитическим соображениям, а привели этот приговор в исполнение по приказу Сталина – для порядка и поддержания дисциплины. Чтобы не болтал лишнего, не умничал и не задавал ехидных вопросов про обещанную быструю победу. Не принял Левитин счастливый

билет в виде американской визы, а в мире, где распоряжались Гитлер и Сталин, шансов выжить у него практически не было.

Клиническая картина дистрофии известна, так что сухие строки личного дела, в котором сообщается о смерти Левитина, можно дополнить вполне достоверными медицинскими подробностями. После кровавого поноса, опухания ног и катастрофического похудания наступает помутнение сознания, лицо приобретает серый цвет, веки становятся кровавыми, кожа покрывается трещинами. Наблюдавший эту картину в Ленинграде Бианки уверял, что *«продолавшие всю дистрофию до конца умирают безропотно, почти безболезненно – обычно во сне»*. Хочется надеяться, так было и с Левитиным.

О чем думал Левитин, пока сохранялось еще сознание, что чувствовал он, сидя в камере, ощущая, как жизнь по каплям оставляет его маленькое исхудавшее тело? Вспоминал ли о родителях, жалел ли, что не последовал их примеру? В любом случае главной темой тюремных размышлений нашего героя была семья. Жена и дети находились совсем рядом, где-то в соседнем районе, они умирали от голода, а он ничем не мог им помочь.

Голод – страшное испытание, и, как свидетельствуют очевидцы, блокада обнажала суть каждого человека. Особое впечатление произвели на меня записи из дневника Николая Пунина – известного российского искусствоведа, бывшего какое-то время мужем Анны Ахматовой. Начало войны он встретил в состоянии, я бы сказал, презрительного высокомерия, рассуждал о том, что *«война – это скучнейшая вещь»*, *«раскаленная чушь»*, которая погрузила всех окружающих в свою бессмысленную суету, тогда как открывшаяся ему истина пребывает совсем в другом измерении. И покуда прочие жители Ленинграда суетились, запасаясь продовольствием и уезжая куда-то в Среднюю Азию, Пунин наслаждался тишиной и одиночеством и предавался величественным размышлениям о душах погибших, подымающихся в небесный эфир. В том же духе были разговоры с любимой женщиной Тиной, записанные Пуниным 22 октября: они беседовали о чистоте белого снега, о том, что суетное пространство войны не может стать подлинным временем. Однако уже через четыре дня после этих величественных рассуждений следует запись: *«Все то же; все хуже. Вчера ослабел и был так голоден, что ночью взял из Тининой коробочки хлеб и кусочек ветчины и откусил, и все равно не спал с утра»*. Только не надо думать, что бессонница была вызвана переживаниями из-за кражи – Пунин вспоминал всю ночь, что за день до этого он посетил семью брата, где ели суп и его не угостили. Вот и все, и никаких изысков, хотя снег в Ленинграде не стал менее белым. С этого времени сознание Пунина переключилось на задачу выживания, и эстетика куда-то испарилась.

Голод ломал всех. По воспоминаниям Дмитрия Сергеевича Лихачева: *«Оставляли умирающих: матерей, отцов, жен, детей; переставали кормить тех, кого "бесполезно" было кормить; выбирали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших – искали у них золотые*

вещи; выдирали золотые зубы; отрезали пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших – мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей; готовы были отрезать мясо у себя для детей... В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие – злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог.

В общем, осталось только понять, видел ли Бог те ужасы, которые совершались в то время на грешной земле. Такое впечатление, что грани миров смешались, и жители Ленинграда уже при жизни попали в какой-то из кругов Дантова ада. И в одном из закоулков этого царства мук и скорби был заключен бедняга Левитин, чье физическое угасание в тюремной камере бесконечно отягощалось мыслями о тех муках, которые испытывали его жена и дети. Скорее всего, о смерти младшей девочки, умершей в первую блокадную зиму, Левитину узнать не довелось, однако наш герой безусловно понимал, что семье его угрожает гибель от голода. Это было общей судьбой ленинградцев, причем положение семьи Левитина было даже хуже, чем у многих других. Расправившись с «паникерами» и носителями «антисоветских настроений», мудрая советская власть не забыла и о членах их семей, посвятив им изданный в первые же дни войны – 28 июня 1941 года – совместный приказ НКГБ, НКВД и Прокуратуры СССР № 00246/00833/пр/59сс «О порядке привлечения к ответственности изменников родины и членов их семей». К тому же, оказавшись в тюрьме, Левитин лишил свою семью даже того небольшого, что причиталось семьям погибших на фронте – возможности получать пенсию за кормильца. Было от чего прийти в отчаяние. Сколько дней и ночей провел наш герой в размышлениях о судьбе своих близких, в безнадежности и муке. Однако в какой-то момент он нашел решение! Он все-таки придумал, как можно им помочь.

На шее Левитина висел жетон – для опознания личности в случае гибели. Можно сказать, повезло: уже очень скоро – в начале 1942 года – жетоны эти выдавать перестали из-за того якобы, что они наводили солдат на грустные мысли о смерти. На самом деле, мудрые руководители страны таким образом немного сэкономили – теперь павшим на войне считался только тот, кому удалось погибнуть в присутствии товарищей. Те же, кому случалось погибнуть в одиночестве, попадали в число пропавших без вести, ибо без жетона идентифицировать останки было невозможно, и семьям таких солдат пенсия не полагалась. Глядя на свой жетон, Левитин вдруг осознал, что если этот маленький кусочек металла будет найден на каком-то теле рядом с линией фронта, то никто не станет копать в документах, и обладатель жетона без каких-либо разбирательств будет сочтен солдатом, погибшим в бою. А это позволит семье получить пенсию!

Дело оставалось за малым – доставить жетон из тюрьмы на линию фронта. На свободе у Левитина оставался только один близкий человек, ко-

торый, к тому же, был предельно заинтересован в успехе этого предприятия, – жена. Надо было передать ей жетон и объяснить, что делать.

Как он сумел уговорить охранника – Бог ведает. Вообще-то конвойным солдатам с заключенными и говорить-то не полагалось, однако, похоже, что во время блокады не до того было, чтобы внимательно следить за дисциплиной. Другой вопрос, как удалось Левитину уговорить охранника, побудив его к соучастию в обмане советской власти? Речь ведь шла о вещах серьезных – Левитин получил 8 лет за пару неосторожных слов, и в случае разоблачения охранника могло ожидать наказание не менее строгое. Может быть, понимал человек ситуацию, может быть, у него самого брат или приятель так же пропадал ни за что, и посочувствовал охранник опухшему от голода доходяге, который угасал на его глазах? Или нашелся у охранника какой-то интерес? Однако что мог предложить ему Левитин? А вот это понятно. Напомним, что наш герой был осужден *«без конфискации имущества за отсутствием такового»*. Единственное, чем мог распоряжаться в тюрьме Левитин, была его убогая пайка хлеба. Однако в блокаду за такое сокровище могли при случае и убить. Для охранника хлеб был очень ценной наградой.

В таком случае, устраивая дело с жетоном, Левитин шел на самоубийство – как минимум, существенно ускорял свою гибель. Однако если подумать, это было просто неизбежным, ибо смерть Левитина являлась обязательным пунктом его гениального плана. Отдавая жетон, он не мог позволить себе выжить, ибо в таком случае обман легко раскрывался. Значит, Левитин понимал, что он в любом случае обречен, и решил умереть с пользой для семьи. Поступок, надо сказать, неординарный. Это ведь не подвиг Александра Матросова, закрывшего грудью вражескую амбразуру. Такие деяния совершаются в горячке боя, с ощущением нравственной поддержки товарищей, да и решение реализуется мгновенно: шаг – и в вечность. Рвавшийся на фронт Левитин о такой кончине мог только мечтать, однако его смерть была долгой и мучительной. Осуществляя свой план, Левитин сознавал, что он один, что идет сейчас против всего мира, однако не дрогнул и своего добился!

В общем, получила Клеопатра Левитина заветный жетон вместе с инструкцией мужа, ставшей в то же время и его завещанием. Реализовать план Левитина в блокадном Ленинграде было вполне возможно. На юге линия обороны проходила на ближних подступах к городу, и проложенная в мирное время трамвайная линия оканчивалась на территории, где теперь окопались немцы. Уже после войны Клеопатра Левитина рассказала своим дочерям о том, как добралась она тогда до последней, уже прифронтовой трамвайной остановки, где и распорядилась жетоном, как муж велел.

Сложно, однако, теперь понять, чем помогла ей эта хитрость. До весны 1942 года на деньги в Ленинграде купить было просто нечего, по этой причине за пенсиями люди и не ходили даже – жалко было тратить силы. Позднее, правда, зашевелилась потихоньку городская жизнь, и рынок зара-

ботал, однако и тогда на пенсию было особенно не разжиться. Впрочем, заместитель Жданова Алексей Кузнецов еще зимой организовал помощь семьям погибших солдат, создал особые бригады, которые помогали им заготавливать дрова. Может быть, эти дрова согрели осиротевшую семью Левитина, может быть, статус солдатской вдовы как-то помог Клеопатре поскорее попасть в число эвакуированных на Большую землю, может быть, еще что-то произошло, о чем теперь неизвестно. Как бы там ни было, Клеопатра Левитина уверенно говорила о том, что семью спас жетон Михаила – а уж ей виднее. Не на все, правда, сил хватило, младшую девочку от смерти не уберегла, зато трое детей спаслись. Уже в 1942 году семейство Левитиных было перевезено через Ладогу, блокада для них закончилась, и началась новая жизнь – голодная, убогая, страшная, но оставлявшая шанс выжить. Левитины этот шанс использовали.

Все проходит на этом свете. Через 22 года после смерти Михаила Левитина – в 1963 году – прокурор Ленинградского военного округа даже утвердил его реабилитацию. Нет, не из-за вздорности обвинений, а из-за их недоказанности – поскольку свидетели на суде заслушаны не были. Таким образом, нельзя считать достоверным содержание доноса, согласно которому Левитин плакал, встретив свою голодную дочь, этот грех великодушная советская власть Левитину простила. Впрочем, и 1963 год сейчас уже глубокая история. Прошли с того времени еще четыре десятка лет, нет теперь советской власти, нет даже города Ленинграда, есть Санкт-Петербург, окруженный Ленинградской областью. Однако и после падения коммунистического режима продолжают тысячи людей по всей России почитать мудрого полководца Сталина, под чьим руководством страна победила немецких врагов, залив поля сражений кровью миллионов своих сыновей. Появились теперь и множество молодых людей, которые празднуют день рождения Гитлера, а в день победы над нацистской Германией оскверняют памятники погибших во время войны солдат – своих прадедов. Это происходит по всей стране, даже на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга, где покоятся останки жертв блокады, 9 мая 2005 года намалевали свастику какие-то несовершеннолетние сопляки. Замечательно, однако, что живут в городе потомки тех, кто погиб в страшные военные годы, что есть среди них внуки и правнуки погибших, теперь даже уже и праправнук Михаила Левитина. Цепenea от голода в страшной ленинградской тюрьме, придумал он, как спасти близких, отстоял семью и от Гитлера, и от Сталина. Можно сказать, победил всех. Такая вот удивительная история.

ДАЙДЖЕСТ



кандидат физико-математических наук, прозаик («События и открытия», «Так говорил Сабуров», «Дары нищего», «Изгнание из Эдема. Исповедь еврея», «Роман с простатитом», «Биробиджан – Земля обетованная» и др.), публицист и литературный критик. Член российского отделения ПЕН-клуба, зам. гл. редактора журнала «Нева». Живет в России.

КРАСНЫЙ СИОН*

Повесть

От автора. Тема этой повести навеяна судьбой моего покойного друга – прекрасного израильского прозаика, поэта и драматурга Бенциона Томера. В разгар войны, еще ребенком, ему пришлось проделать путь беженца из польского местечка через русский Север, Среднюю Азию и Тегеран до самой Палестины, которая еще не была государством, но уже была родиной. Мальчиков и девочек, преодолевших этот путь, в Израиле до сих пор называют детьми Тегерана. Бенцион Томер был одним из этих детей. Моя повесть – попытка воздать восхищение этим редким человеком и любовь к нему.



Пишущий эти строки, конечно, не Шекспир и даже не Ростан, но он готов мысленно плюнуть в лицо тому, кто скажет, что в наш век уже нет судеб, достойных их пера!

Бенцион Шамир далеко не сразу признал свое поражение – признал, что он, классик израильской прозы и драматургии, не может найти нужных слов, чтобы хотя бы начать такую пустяковую работу, как написание своих же собственных воспоминаний. Для того мира, каким он представал маленькому Бенци в первые годы его жизни, никаких слов и не требовалось – все вокруг было не просто единственным в своем роде, но даже единственно возможным. Единст-

* Журнальный вариант. В полном объеме книга опубликована издательством «Лимбус Пресс», 2005.

венно возможный Папа, единственно возможная Мама, единственно возможные сестры – смешливая Фаня и задумчивая Рахиль, единственно возможный брат Шимон, за свою отчаянность носивший единственно возможное насмешливое прозвище Казак, единственно возможный дом с белой скатертью, хрустальными книжными шкафами и черным резным комодом, на котором вечно поблескивали бронзовые подсвечники на шестиконечных звездах, образованных наложением двух треугольников. Шестиконечные звезды назывались моговидами и означали, что когда-нибудь Папа, Мама, Фаня, Рахиль, Шимон и Бенци отправятся на свою древнюю родину, к какому-то сказочному Сио...

А вот и нет, Сион не излучал никакой сказочности. Папа всегда говорил о будущем переезде в Палестину так же буднично, как если бы речь шла о переезде на новую квартиру в городе, столь же обыкновенном, как какая-нибудь Вена, Прага, Париж, где Папа и Мама когда-то жили и учились, – интересных, но уже, конечно, не таких единственно возможных, как их миленький Билограй, Билограйчик – не большой, не маленький, а именно единственно возможный. И обращенный к младшему любимому сынишке всеми почитаемого доктора самым дружелюбным из всех своих лиц – освещавшихся при виде маленького Бенци почти такой же приязнью и надеждой, как и при лицезнении выдавшего виды кожного докторского саквояжика (одни взирали на саквояжик с надеждой, что он им поможет, другие – что он им не понадобится).

В последнее время в разговорах об отъезде зазвучали почему-то вполголоса и другие страны – Америка, Канада, даже Австралия, но что-то неприятное было с ними связано, все время всплывало какое-то тревожное слово: виза, виза, виза, виза, виза...

Как все дети, Бенци, в ту неправдоподобную пору еще не Шамир, а всего лишь Давидан, тянулся не к комфорту, а к дружелюбию, не к рассудительности, а к экстравагантности и потому постоянно забредал от центральных домов Билограя к окраинным домишкам у безымянной речушки, впоследствии ненадолго обретшей имя лишь благодаря упоминанию в приложениях к пакту Молотова–Риббентропа. И что из того, что сегодня Бенцион Шамир назвал бы билограйские дома домишками, а домишки развалюхами! Что из того, что стоячая речушка больше походила на канаву, затянутую бьющей в глаза среди сизой золы импровизированных помоек зеленую ряски, которую с неиссякаемым аппетитом поглощали утки, стучащие плоскими клювами, словно швейные машинки в прибрежных халупах! Все это было первое и единственное, а потому лучшее в мире.

Не считая, конечно, расцветающего за невидимыми пашнями и заводами Страны Советов сказочного Красного Сиона, чье настоящее имя загадочный друг маленького Бенци сапожник Берл и сам каждый раз выговаривал немного по-новому – то Берибиджан, то Борибиджан, – чтобы спохватиться и настойчиво пригвоздить по складам: Би-ро-би-джан.

Каморка Берла была особенно уютна после холодноватой пустоты докторского дома – она была битком набита через много что прошедшими башмаками и сапогами, самодельными, полусъеденными ножиками, обретенными новую

жизнь баночками, замысловатыми обрезами кожи, деревянными человеческими ступнями, – в самом же центре восставала из чурбака перевернутая чугунная нога, на которую Берл насаживал очередной башмак и, сторбившись, самозабвенно вколачивал в его подметку и каблук гвоздик за гвоздиком, выхватывая их из рта, словно жевал какую-то нескончаемо костлявую рыбу.

– Твой папа хороший человек, настоящий буржуй никогда бы не поехал из Варшавы в такую дыру, – добив очередную жертву, отирал руки Берл о свой кожаный передник, такой же желтый и растрескавшийся, как Папин саквояж, и с наслаждением расправлялся.

И тут обнаружилось, что он горбат, горбат, как его нос крючком – самым настоящим крючком, за который, будь Берл куклой, его можно было бы уверенно зацепить и подвесить хотя бы и за краешек его некрашеного стола.

– Твой папа очень хороший человек, с бедных евреев он старается ничего не брать, а для настоящего буржуа что еврей, что татарин, – повторял Берл после приличествующей паузы, отдающей должное душевным качествам Бенциного папы. – Я видел его отца – настоящий варшавский космополит, его дом там, где хорошо его семье. Твой папа другой, ему нужен дом не только для своих детей, но и для всех евреев. Как и мне. Но мне легче, у меня нет детей, есть только братья. Все бедные люди всех народов – братья.

– А почему ты тогда с ними все время ругаешься? – любопытствовал Бенци и получал гневный ответ:

– Потому что они никак не хотят понять, что все мы братья. И у нас есть общий отец – товарищ Сталин! Он для нас такой же добрый, как для тебя твой папа. И все-таки как друг я должен открыть тебе глаза: твой папа находится в плену буржуазных предрассудков, – Берл разводил руками, пронзительно кося из-под черных, как сапожная вакса, с серебряными нитями, начесанных на черные же глаза косматых бровей.

Дальнейшее Бенци мог бы свободно излагать и сам: сионисты не понимают, что никакого единого еврейского народа нет, нет никакой единой Земли обетованной – все это буржуазная пропаганда, у трудящихся и у эксплуататоров разные родины, и родина еврейских трудящихся лежит не на Ближнем, а на Дальнем Востоке: там, у самого Тихого океана, на самом краешке Страны Советов строится настоящий, пролетарский Красный Сион. Там никто не попрекнет еврея тем, что он еврей, там люди всех национальностей живут по-братски и даже имеют право отделиться в самостоятельное государство, только это никому не нужно, потому что буржуев там нет, а пролетариям всех стран делить совершенно нечего.

– Зачем же тогда и устраивать какое-то специальное еврейское государство, если всем и так хорошо? – спрашивал подававший большие надежды маленький Бенци и получал прочувствованный ответ из-под загнутого носа:

– А это похоже на то, как люди живут одной семьей, но каждый в своей комнате. В одной комнате говорят по-русски, в другой по-еврейски, в третьей по-татарски... Кому нравится жить среди евреев, говорить по-еврейски, петь еврейские песни – пожалуйста! А кому нравится жить среди татар – пожалуйста,

пускай идет к татарам. Есть евреи, которые становятся русскими, а есть русские, которые становятся евреями. Попадешь в Биробиджан – сам увидишь!

Все это были не пустые фантазии. Какими-то опасными, таинственными путями Берл получал регулярные весточки из дальневосточного Красного Сиона.

– Только никому! Слышишь – даже папе! Если узнают эти фашисты, пилсудчики – все, конец! Пытки, тюрьма! – Берл прижимал к голубым змеящимся губам черный кривой палец, с заговорщицкими ужимками, которым чрезвычайно шел его горб, запирали дверь, специальной тряпкой завешивал маленькое тусклое стекло без переплета и зажигал керосиновую лампу. Затем, горбясь еще сильнее, проворно шаркал к завешенному окошку: там, на узеньком подоконничке, теснилось деревянное корытце с землей, из которой торчали табачные стебли пересохшего укропа.

– Богатые выращивают розы, а мы укроп! – с сатанинской ухмылкой провозглашал горбун и, забрав в жменю потрескивающие стебли, извлекал их из корытца вместе с окаменелой землей.

На дне корытца под старенькой клеенкой плющились распадающиеся газеты и брошюры. Берл натягивал очки без дужек, зааркавив двумя бечевочками свои хрящеватые уши, и благоговейно раскрывал ворсистую тетрадку, си-зую, как зола у билограйской речушки, и показывал ряды каких-то серых затылков, размытых туманом сказочности, перед которыми выступал смазанный старичок с узенькой бородкой: видишь, это Калинин зачитывает декларацию об открытии Еврейской автономной области – у сионистов декларация Бальфура, а у нас декларация Калинина, это второй человек после Сталина, видишь, рабочий, а бородка, как у адвоката, там на это не смотрят – пожалуйста! Сталин грузин, сын сапожника, Калинин русский, сын крестьянина, Каганович еврей, сын такого же голодранца, как я, а все – советские люди! Читай, читай, все люди должны выучить русский язык за то, что им разговаривал Ленин!

Смышленный Бенци уже и впрямь тоже неплохо читал по-русски, но то ли еще ожидало их впереди: русский язык скоро должен был сделаться языком объединившихся пролетариев всех стран, Калинин уже сейчас поверх серых голов обращался прямо к ним. Читай, читай, теребил Берл Бенчика, однако тут же его перебивал, начинал читать сам – уже практически наизусть, все громче и громче, забывая, что под дверью могут подслушивать пилсудчики.

– Видишь, видишь, писатель Бергельсон спрашивает, какую помощь Биробиджану могут оказать еврейские рабочие капиталистических стран, это прямо про нас!

Однако Калинин на границу больших надежд, похоже, не возлагал: евреи из-за границы могли бы присоединиться к советским евреям разве что из маленьких городков и местечек, а в больших городах евреи за мировыми пролетарскими интересами быстро забывают о еврейских.

– Но лет через десять Биробиджан будет важнейшим, если не единственным хранителем еврейской социалистической национальной культуры! – Наверняка сам Калинин произносил свое пророчество далеко не так торжественно, как Берл, всегда в этом месте поднимавший к низенькому потолку свой ис-

кривленный, пропитанный ваксой палец. – Значит, в сорок четвертом году в Биробиджане, всемирной столице трудящегося еврейства!

Берл впадал в транс и читал уже окончательно на память, раскачиваясь, будто за чтением Торы:

Пусть негодные уходят, не всякий способен из местечкового, физически истрепанного человека превратиться в отважного, стойкого «колонизатора». Надо для этого переродиться. А что перерождает? Перерождает суровая, почти первобытная природа области и большой творческий труд, который отсталому, слабому человеку не по плечу. Человек должен там быть крепким – он должен уметь сопротивляться и добровольно сносить большие трудности. Если остающееся первое поколение «колонизаторов» выдержит, то второе поколение будет крепкое. Это будут настоящие советские евреи – в общем, такие, каких в мире не найдешь. Они должны, как первые американские ковбои, завоевывать природу, но американские ковбои были хищниками по отношению к природе и врагами трудовому человеку, а у наших трудящихся масс преобладают общественные инстинкты, которые в десятки раз сильнее. Там каждый человек работал отдельно, только для себя, а у нас коллективно.

Берл приостанавливался, чтобы перевести дух, но не успевал Бенци вообразить горбатого Берла верхом на мустанге, как его уносило новое пророчество: биробиджанская еврейская национальность не будет национальностью с чертами местечковых евреев Польши, Литвы, Белоруссии, даже Украины, потому что из нее вырабатываются сейчас социалистические «колонизаторы» свободной, богатой земли с большими кулаками и крепкими зубами, которые будут родоначальниками обновленной сильной национальности в составе семьи советских народов.

– Биробиджан (ты слышишь?) мы рассматриваем (они рассматривают!) как еврейское национальное государство! Потому что евреи – это очень верная и заслужившая это своим прошлым советская национальность! Верная! А вот Николай выселял нас из фронтовой полосы только за то, что мы евреи! Ты понимаешь? Мы сделаемся такими же, как все, будем шахтерами, пахарями, солдатами – как русские, как татары!

Судьба татар в Советском Союзе представлялась Берлу особенно завидной: бывшие завоеватели, а никто их этим не попрекает – трудящиеся не отвечают за преступления угнетателей!

– Но обрати внимание, что говорит товарищ Шпрах из газеты «Дер Эмес». Дер Эмес – правда! Реакционная еврейская буржуазия всполошилась, Еврейская автономная область стала им поперек горла. Еврейские буржуазные газеты, бундовские и другие социал-фашистские газеты в Америке стараются смазать это дело. Это объясняется тем, что постановление уже сейчас произвело громаднейшее впечатление среди еврейских рабочих масс, а также и еврейской мелкой буржуазии капиталистических стран, нечего уже говорить о такой стране, как Польша, но и в Америке, и ряде других стран. Газеты, которые сколько-нибудь нейтрально относятся к Советскому Союзу, не говоря уже о братских газетах, сейчас пишут о том, что еврейские трудящиеся не только

приветствуют это преобразование, ибо оно показывает им, какой нужен путь для освобождения евреев, показывает общий пример разрешения национального вопроса, но часто прямо ставят вопрос – нельзя ли как-нибудь самим перекочевать в Еврейскую область, чтобы принять участие в этом великом деле.

Товарищ Шпрах решался даже шутить перед столь высоким человеком, он рассказал про письмо какого-то польского еврея, переехавшего в Палестину: у него там квартира с двумя балконами, один с видом на Иерусалим, другой с видом на Иордан, и только нет третьего – с видом на пропитание. А в Биробиджане хоть и нет первых двух, зато третий обеспечен.

С плохой квартирой человек как-то мирится, главное – еда, собственная продовольственная база, кивал Калинин. Даже сквозь трубный глас Берла пробивались его домашние интонации.

Вот тут говорили, рассуждал этот великий человек, что за пять лет в Биробиджане больше построили, чем за пятьдесят лет в Палестине. Повторяю, я рассматриваю Биробиджан с точки зрения больших перспектив, у евреев-пролетариев есть свое отечество – СССР и свое национальное государство, они стали нацией.

Я не думаю, чтобы вся еврейская буржуазия за границей была бы очень недовольна. Я думаю, что все-таки известная часть ее сочувственно относится. Только злейшие враги советского строя относятся к этому враждебно. Все-таки среди еврейского населения фашистских элементов сравнительно меньше. Повторяю, насколько я себе представляю, некоторая часть еврейской буржуазии все-таки положительно относится. *Потому что трудящееся еврейство относится сочувственно.*

Смазанные серые затылки слушали очень внимательно, а товарищ Бранин с автозавода пообещал все рассказать рабочим.

– Я десять лет, – сказал товарищ Бранин, – работаю на заводе имени товарища Сталина. Сейчас мы взяли переходящее Красное знамя. Промфинплан наша кузница выполнила на три дня раньше срока. Приветствую вас, дорогой Михаил Иванович. Я очень рад. Просим к нам на завод приехать.

Какие сказочные слова: ходячее красное знамя, промфинплан...

– И ведь будь уверен – приехал! – торжествовал Берл. – Ты думаешь, какой-нибудь царский министр поехал бы к рабочим?! Да у него бы от спеси печенка лопнула! И ты думаешь, какая-нибудь еще газета будет столько писать про еврейских рабочих и еврейских мужиков? *Колхозников*, – почтительно уточнял Берл. – Не про банкиров, не про заводчиков, министров, артистов, а про рабочих и колхозников? Тракторист Певзнер, пилот Цукерман, доярка Колдобская...

Имена звучали, как сладостная музыка.

Натягивая на горбу ветхую серую ткань, Берл бережно раскладывал на своей железной койке распадающиеся части желтой ворсистой газеты.

– «Биробиджанская звезда»... – смаковал Берл ее название и тут же раскладывал ее идишистскую сестру – «Биробиджанер штерн».

Обе звезды сияли из-под призыва, каждая на своем языке: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!»

– Знаешь, что еще мешает бедным объединиться? – прожигал Берл маленького Бенци сверкающей сапожной ваксой своих глазниц. – Семья! Все хотят устроить своих детишек и забывают общепролетарское дело. Мне легче, у меня никого не осталось. Трудящиеся всего мира – моя семья. Даже мои мелкобуржуазные соседи – тоже мои родственники, только этого еще не знают. Не доросли. Но я их все равно снял на память – на свадьбе у сына Боруха-косого, из своих денег заплатил фотографу!

Под серым тюфяком, сплюсненным, как собачья подстилка, почти разрывая горбом свою потертую блузу, Берл нашаривал мятый, будто жеваный, тусклый портсигар и извлекал из него картонную фотографию.

– Когда доберусь до Биробиджана, портсигар сдам в фонд Осоавиахима – это старое серебро, единственная ценная вещь во всем нашем роду! А фотографию отправлю товарищу Сталину. Видишь, что здесь написано? Да не здесь, на обороте! Читай, ты же умеешь читать по-русски! Это по-русски, просто у меня такой почерк, я же в лицах не обучался: товарищу Сталину от благодарных евреев-трудящихся всего мира!

Берл зачитывал заветное излияние своего сердца с самым что ни на есть разнеженным видом. И все-таки если бы какой-то русский человек увидел их в эту минуту – черно-седого косматого горбуна Берла и темнокудрого херувимчика Бенци, ему бы непременно вспомнилась пословица: связался черт с младенцем.

– А соседи знают? Что ты собираешься их отправить товарищу Сталину?

– Зачем им знать? Они еще не доросли. Но ничего, дорастут – сами спасибо скажут!

Евреи-трудящиеся действительно глядели довольно бодро – свадьба как-никак. Надо же, думали, что смотрят в стеклянный вылупленный глаз, а оказалось, будут смотреть в глаза самому Сталину!.. Бенци видел Сталина в обеих биробиджанских «Звездах» – он был очень умный, добрый и красивый, с усами, почти такими же пышными, как у Пилсудского, только намного более аккуратными. Пилсудский и не захотел бы смотреть евреям в глаза. Бенци лишь через много лет пришло в голову, что на фотографии Берла нет ни хасидов с их витыми пейсами, свисающими из-под черных шляп, ни их жен в шелковых париках; Берла это тоже не смущало – видимо, он считал столь отсталую часть своего народа недостойной быть представителями трудящегося еврейства.

– Хорошо бы нас всех пропечатать в «Биробиджанской звезде»... – с сатанинским видом отдавался Берл на волю сладостных мечтаний (он вольно горбился в такие минуты, когда другие распрямляются). – Как бы туда переправить?.. Но, боюсь, пилсудчики не простят: как же, ихние польские евреи – и в советской газете!..

«Биробиджанская звезда» и впрямь светила всем без разбора – и Фруминым, и Петиним, и евреям, и русским – очевидно, тем, кто пожелал перейти в евреи. Но в самых высоких, звонких сферах – *обком, исполком* – парили Хавкин и Либерберг, в один неожиданный момент, правда, превратившиеся в главарей банды Хавкина–Либерберга, троцкистско-зиновьевского охвостья...

Правильно, непримиримо сдвигал черные с серебром пучки своих бровей

Берл и пригибался, как зубр с могучим загривком, евреи должны первыми изгонять предателей из своих рядов, чтобы никто не мог нас упрекнуть, что мы ставим национальную солидарность выше общепролетарской. Тем более что на смену разоблаченным врагам народа пришел Гирш Сухарев, еще, видно, не определившийся, куда ему пойти – в евреи или в русские.

И все-таки Бенци было грустно узнавать, как много даже среди счастливых биробиджанских евреев тайных и открытых саботажников, дезорганизаторов, бракоделов, прогульщиков, головотяпов, антимеханизаторов, обратников, рвачей... *Летунов...* Летунам не место на социалистическом производстве, провозгласили стахановцы Блюма Ландман и Пинхас Бляхман, мы закрепимся на нашей любимой фабрике пожизненно. А студент Шраер и в самом деле отправился в аэроклуб летать и даже совершил прыжок с парашютом: воздух с легким свистом принял его в свои ласковые объятия. А другой студент, Школьник, отдал свою кровь товарищу, получившему ожоги, спасая из горящего техникума наглядные пособия. Школьник предлагал и кожу, но у друга хватило своей.

Дружба – вот что манило сильнее всего! В Биробиджане все дружили со всеми. Лыжники дружили с танкистами, флейтисты дружили с чекистами, смолокуры с лесорубами, и даже в театре имени Кагановича артисты дружно боролись с троцкистско-бухаринскими выродками: худую траву с поля вон! Оно и правда, гибнет племенная птица, пора вмешаться прокурору... И все же Бенци не очень нравилось, когда ругаются, ему было намного приятнее, когда дружат и сочувствуют.

Его охватывала непривычная серьезность, когда «Биробиджанская звезда» своими лучами высвечивала, как фашистские изверги сеют смерть на полях Китая, Испании, Абиссинии, расправляются с беззащитным еврейским населением фашистской Германии; с ужасом и тревогой всматривались трудящиеся капиталистических стран в свое будущее, несущее им новое угнетение и новую кабалу (это было совсем не то, что *каббала!*), и единственной надеждой для них оставался свет Страны Советов, живущей радостной трудовой жизнью во славу и счастье всего трудового человечества!

Но в остальном-то мире что творилось! В Германии от голода ели собачье мясо, американские безработные продавали глаза, отчаявшиеся женщины убивали по пять детей разом и только уже потом себя, в японской тюрьме заключенных связывали друг с другом проволокой, продетой сквозь отверстия в щеках, а церковь давно сделалась прислужницей фашистов...

Спасения, и правда, можно было ждать только от Страны Советов! Понятно, почему молодежь Еврейской автономной области вместе с молодежью всей страны так радовалась отмене навязанных ей льгот, отсрочек от военной службы, мешающих ей поскорее стать в ряды защитников социалистической родины, исполнить свой священный долг.

Бенци очень нравилось слово «священный» – уж если бога нет, пусть хотя бы что-нибудь священное останется! И волшебный философский камень никому не делся: философский камень большевиков – Сталинская Конституция. «Детище ленинско-сталинской национальной политики, – мурлыкающим го-

лосом перечитывал Берл одно из многих имен Биробиджана. – Прообраз Всемирной Социалистической Республики».

Нет, Бенци определенно больше нравилось читать про друзей, чем про врагов. Ну, относится еврейская буржуазия с презрением к идишу – языку еврейской бедноты, – ну и пускай относится. А мы будем себе спокойненько заниматься боронованием зяби, набираться опыта на пока еще неопытной опытной станции, вместе с гольдами охотиться на лосей, тигров и белок – не пренебрегая капканами, как это делают некоторые легкомысленные удэге.

И кто был непрестанно поглощен всеми этими невероятно увлекательными делами, кому Бенци завидовал от всей души, кого он всегда перечитывал с упоением – это был Мейлех Терлецкий. Вернее, в «Биробиджанской звезде» он подписывался «Михаил», но Берл все равно называл его Мейлехом, потому что так тот подписывался в «Биробиджанер штерн». Это, конечно, все равно, где как удобнее, так и можно зваться – с русскими удобнее быть Михаилом, с евреями – Мейлехом. «Но мы-то с тобой еврей?..» – напористо выгибал спину Берл, хотя это и так было ясно.

Мейлех Терлецкий с евреями был евреем, с гольдами гольдом, с нанайцами нанайцем (в отличие от самого Бенци, по-видимому, прекрасно понимая разницу между теми и другими), с русскими русским, с татарами татаринком, с трактористами трактористом, с рыбаками рыбаком, с пограничниками пограничником. Мейлех Терлецкий воспевал всех и сам со всеми в нужную минуту всегда оказывался рядом. Если в поле выходили комбайны – первым за штурвалом сидел Мейлех Терлецкий; если рыбаки забрасывали сеть в величавые амурские волны – самая большая кетина попадала в руки Мейлеха Терлецкого; если пограничный наряд энской погранзаставы задерживал белокуитайца – в дозоре с бойцами ступал след в след Мейлех Терлецкий.

«Мы родину строим у края страны, где слышится рокот амурской волны...», «То не страна бесплодных древних грез, то не народ Кармеля и Синая...»

Этот поразительный человек и стихи умел сочинять. Он был самой влекущей и жаркой звездой обеих биробиджанских «Звезд» – чего бы не отдал Бенци, чтоб хоть одним глазком взглянуть на эту потрясающую личность!

– Ты думаешь, биробиджанская звезда какая, шестиконечная? – тем временем пригибался к нему крючконосый Берл. – Нет, холера им в печенку! Сейчас за души евреев борются две звезды – шестиконечная и пятиконечная! И пятиконечная победит! Запомни эти башни! – Берл в сотни раз подносил поближе к лампе рваный почтовый конверт с грязно проштемпелеванной крупной маркой, на которой была изображена череда крошечных кремлевских башенок, увенчанных совсем уж микроскопическими красненькими звездочками. – Вот посмотришь, мы с тобой еще увидим эти звезды!

Пророчество Берла, как и положено, осуществилось в самой неожиданной форме и гораздо быстрее, чем при всем их оптимизме могли предположить оба билограйских друга. В одно ирреальное утро на противоположном берегу киснувшей под изумрудной ряской речушки появились пограничные столбы с пятиконечными пламенеющими звездами, а между столбами стали непреклон-

но прохаживаться с винтовками через плечо невиданные прежде солдаты, на пилотках и фуражках которых вполне можно было разглядеть точно такие же, только маленькие, призывно поблескивающие красные звездочки.

Зато на улицах Билограя неведомо откуда, без всяких видимых битв и сражений возникли немцы, точно такие же, какими их впоследствии Бенци тысячу раз видел в кинохронике. Бенцион Шамир даже и не знал толком, успели ли они натворить что-нибудь особенно ужасное – всему младшему поколению Давиданов с первого же дня настрого запретили не только выходить на улицу, но даже и подходить к зашторенным окнам. Отдельные выстрелы были слышны, но стреляли, вроде бы, по немногочисленным собакам – своих-то у себя на родине, наверно, всех уж давно переели...

А буквально через несколько дней Папа в крошечной тьме разбудил Бенци и пугающе ласково предложил побыстрее одеваться, причем соглашался на несколько секунд зажечь спичку лишь в самых крайних случаях.

А еще через полчаса все семейство во главе с Папой спешило к речке, стараясь ступать беззвучно, как бойцы энского погранотряда.

Осенняя ночь была всего лишь прохладная, но Бенци все равно неудержимо трясло мелкой дрожью, как будто он выбрался из горячей ванны в какой-то погреб. Разувшись в невидимой прибрежной золе, о брюках и юбках они уже не заботились. Речушка была мелкая, но Бенци его костюмчик обжимал где-то на уровне груди. А когда вода снова сделалась по колено, перед ними беззвучно возник настоящий пограничный наряд.

Наставив на Давиданов черные силуэты винтовок, черные силуэты пограничников неумолимыми жестами гнали их обратно. «Давай назад! Будем стрелять!» – грозно повторял главный, а Папа вполголоса зывал, умолял, убеждал, Мама сдавленно плакала, повторяя на смеси польских и русских слов: у вас тоже есть матери, у вас тоже будут дети, – но силуэты были неумолимы. Шимон-казак уже завел что-то горделиво-обличительное, что-то вроде «вы сами не лучше...», но Мама успела оборвать его бешеным шипением.

Время шло, на черном небе, словно разгорающаяся печь, начала накаляться безжалостная заря, на пограничных фуражках стали проступать красные звездочки, а мокрые Давиданы продолжали погружаться все глубже и глубже в ил. «Пан офицер!.. – в последний раз взмолился Папа, и Бенци с последней отчаянностью поправил его: – Не пан офицер – товарищ командир!»

И ему показалось, что один из пограничников хмыкнул.

На немецком берегу послышался топот приближающегося конного разъезда. Семейство заголосило, уже не таясь. Бенци же сел прямо в воду и заплакал. Ладно, давайте, только быстро, махнул рукой главный, и Давиданы с чавканьем поспешили под спасительную сень красных звезд. Немцы на битюгах недвижно атели на противоположном берегу.

– Что, пан, опоздал? – насмешливо крикнул их начальнику русский командир.

Несмотря на еще не рассеявшийся сумрак, Бенци навсегда запомнил это сильное молодое лицо, которому плохо удавалось непривычное ироническое выражение.

Зато когда их доставили в штаб, уже были отчетливо видны все трещинки на Папином саквояжике.

В ожидании пока высохнет их одежда, Давиданов, без различия пола и размера, всех обрядили в красноармейское обмундирование, а потом до самого вечера допрашивали и оптом, и в розницу. В тот день Бенци впервые в жизни увидел Папу небритым.

Более того, у Папы на всякий случай – как опасное оружие – изъяли опасную бритву. Зато – как орудие труда – оставили ланцет.

Поселили их в бескрайнем манеже, спешно покинутом стоявшим в заречном городке кавалерийским полком. Над входом в здание склонилась пара дружелюбных лошадиных морд из коричневого крашеного гипса, который маленькому Бенци в отколупнутых местах показался белым камнем.

Необозримый пол манежа был устлан толстым слоем золотой соломы, на которой, издавая наполняющее залу монотонное гудение, лежали, сидели, прохаживались обносившиеся люди – мужчины, женщины, старцы, младенцы... Цыганский табор, однажды ненадолго раскинувшийся на задворках Билограя, был лишь слабым намеком на это мрачное кишение.

Все это были в основном еврейские беженцы, такие же, как Давиданы. Которые с невероятной быстротой и вправду сделались неотличимыми от них.

Наутро Бенци пришлось увидеть Папу не только окончательно небритым и всклокоченным, но и обсыпанным с ног до головы соломенной трухой. Остальные, разумеется, были не лучше, но им это как-то больше дозволялось, Папе же...

И Папа сам это почувствовал. Не отыскав мыла, он, стараясь не морщиться от постоянных микроскопических порезов, сколько мог тщательно, на ощупь побрился ланцетом, оставив свои обычные небольшие усики. Когда он встал и принялся стряхивать с жеваного костюма набившуюся во все щели труху, мальчишка с соседнего лежбища, по возрасту что-то среднее между Бенци и Шимоном, засмеялся с еще никогда не слышанной Бенци злобной радостью и показал на Папу пальцем: «Чарли Чаплин!»

Ближайшие лежбища зашевелились, начали поворачивать головы и мрачно усмехаться. Бенци к тому времени еще не видел чаплинских фильмов, но впоследствии должен был признать меткость наблюдения: оборванец, который из всех сил тщится выглядеть джентльменом, – Папа неосторожно принял на себя именно эту роль.

Вокруг же оказались не знавшие его простые люди, во множестве успешные, сменив под сводами манежа лошадей, окончательно опроститься и твердо усвоить, что такая изысканность, как великодушие, им больше не по карману. Бенци был еще слишком мал, чтобы отчетливо это сформулировать, но ледяной холод в животе и мурашки под волосами с предельной ясностью открыли ему главный ужас их положения: самое страшное, когда наизлейшим врагом оказываются не враги, а товарищи по несчастью.

Шимон-казак вскочил и хотел кинуться на наглеца, но Папа его удержал. С бесконечной серьезностью и грустью он посмотрел Шимону в глаза и произнес: «Все что ты можешь, это сделать из одного безобразия два».

И Бенци понял, что ни папа, ни мама, ни Шимон и никто на свете не сможет больше его защитить.

С этой минуты его душа съежилась в кулачок, свернулась в крошечную спору: из всего прежде бесконечно красочного и многообразного мира он начал замечать лишь опасное и полезное – только то, что может ударить или выстрелить, да еще то, что можно съесть или чем можно согреться.

Он старался пореже выходить из манежа, даже когда это уже разрешили, а штиблетки еще не начали пропускать воду: теперь его страшил неумеренно просторный мир, даже когда дождь сменялся солнцем и под открытым небом становилось несколько теплее, чем под крышей. Набив для тепла в рукава и штанишки свежей соломы – запасы ее оказались неиссякаемы, – Бенци, съезжившись, старался побыстрее прошмыгнуть по чуточку более столичным – мощным улочкам городка, высматривая, где что плохо лежит. Плохо лежало довольно много разных полезных предметов, однако их предполагаемые хозяева внушали ему такой смертный ужас, от которого буквально подкашивались ноги, немели кончики пальцев. Особенно когда, точно с крыши сорвавшись, по булыжнику внезапно прогрохатывала телега.

Впрочем, Бенци теперь при любых незнакомых – да и знакомых тоже – звуках на всякий случай еще глубже втягивал голову в плечики.

Обычно он добредал до самого внушительного здания с огромной, в треть двухэтажного фасада, красной звездой, обросшей по периметру электрическими лампочками, и долго стоял перед ней, как будто тщетно стараясь припомнить что-то. По вечерам звезда, должно быть, испускала совершенно неземное сияние, но Бенци теперь боялся ходить в темноте, а потому вечером в городок не выбирался, хотя даже мама считала это безопасным: к шатающимся повсюду нищим беженцам все уже привыкли, и никто ничего плохого против них не предпринимал. Хотя и подавать уже не подавали – на всех не напасешься, слишком уж много их свалилось на это небогатое местечко: кроме манежа, беженцами была под завязку набита и старенькая синагога.

Все, что у них можно было купить, было уже куплено, а вшей и дизентерии своих хватало. А уж когда самые предприимчивые начали перекупать на полдороге у приезжающих на крошечный рынок окрестных крестьян яйца и капусту, чтобы перепродать их подороже... Такая вещь, как рост цен, не приветствуется ни в столицах, ни в местечках.

Справедливости ради надо, однако, отметить, что к манежу дважды в день подгоняли полевую кухню, но в каждой бригаде, на которые были разбиты обитатели манежа, тщательно следили друг за другом, чтобы никто не захватил две порции. Тем не менее довольно скоро методом сравнения Бенци предстояло убедиться, что кормили их здесь не так уж отчаянно плохо, и его постоянное желание что-то съесть было наполовину тоской по чему-нибудь вкусенькому, домашнему.

Возможно, и Шимон-казак с риском для жизни пробирался через крышу на армейский склад тоже не столько из-за нехватки калорий, сколько из-за нехватки бодрящих впечатлений: ему, с его гордым нравом, было труднее всего пре-

вернуться из блестящего парня в унылого бездомного пса – он предпочитал сделаться волком.

Быть может, превращение в бездомного пса всего труднее давалось папе, но какие нормальные дети думают о таких вещах! Папино дело – служить каменной стеной, а если стена начала осыпаться, уходить в болото, от детей требуется, самое большее, деликатно отвернуться. Папа, понимая это, и сам как-то ступшевылся, старался поменьше обращать на себя внимание. И хотя он по-прежнему не откликался на кличку Чарли, он, еще недавно предмет всеобщей любви и даже гордости! – не слышать ее все-таки не мог. И вместе с тем, покуда ланцет еще был в состоянии что-то сбивать, он не оставлял своих попыток хоть в какой-то мере сохранить привычный облик. Он предлагал охране и своим услуги в качестве врача для товарищей по несчастью, однако ему твердо дали понять, что буржуазные дипломы здесь не в цене. Здесь был свой медпункт.

Мама же с первых дней, казалось, напрочь забыла как о своем благородном происхождении из рода знаменитых знатоков Книги, так и о своем пребывании в гуманитарных учебных заведениях Вены и Парижа: очень скоро ее было уже не отличить от местечковых теток, супруг портных и шорников – та же вечная недалекая озабоченность на мятлом бледном лице, та же куриная хлопотливость, сосредоточенная на чем-то третьестепенном, та же готовность часами дискутировать, где больше витаминов – в луковой шелухе или в капустной кочерыжке... Папа ни разу не притронулся к шимоновским трофеям, отвергая путаные версии их возникновения, – мама же хлопотала над ними почти жизнерадостно.

Словом, мама относительно легко вписалась в новую реальность.

Сестра Фаня, которая постепенно вновь сделалась оживленной и даже смешливой, серьезно приглянулась молодому охраннику в суконном остроконечном шлеме со звездой во лбу. Под сенью этой звезды Фаня подолгу просиживала с ним в караульном помещении, осваивая русский язык, а может быть, и еще что-то, во время увольнений выходила с ним погулять в центр – видимо, тоже полюбоваться на обсиженную лампочками звезду, ибо больше смотреть там решительно было нечего – однако ночевать возвращалась все-таки к семье. Благодаря ей семейство Давиданов спало уже не на голой соломе, а на брезентовом полотнище. Бенци не помнил в точности, когда Фаня выправила советский паспорт и переехала к мужу в палаточный городок: Фаню, избравшую отдельную судьбу, Бенци бессознательно перестал ощущать родным человеком. Устроилась, и хорошо, значит, можно о ней забыть – таков примерно был его тогдашний образ чувствований.

Какие-то обрывки безнадежных взрослых переливаний из пустого в порожнее у Бенциона Шамира сложились в подозрение, что и у остальных членов семьи были шансы получить советские паспорта, но папа полагал, что это раз и навсегда отнимет у них надежду когда-нибудь выбраться из Страны Советов, – вслух и прямо это не произносилось. А кроме того, папа держался за их иллюзорную защищенность статусом иностранцев.

Бенциону Шамиру это не казалось смешным, он уже давно понимал, что на свете нет ничего драгоценнее иллюзий – именно из-за чарующих иллюзий всегда

проливались и будут проливаться самые полноводные реки человеческой крови. Потому-то и был так страшен мир, окруживший Бенци за пограничной речушкой, – это был мир без иллюзий, без сказок. А мир без сказок – это и есть ад.

В аду не было ничего чарующего – только скучное (полезное) и страшное (опасное). Потому-то в нем и не нашлось места для кроткой застенчивой Рахили: о тех, кто себя не навязывал, тогда легко забывали. И Бенцион Шамир никакими усилиями не мог вспомнить – какой она стала, Рахиль? Чем занималась? О чем думала эта еврейская принцесса, как ее в ласковые минуты именвал папа, и сам-то оказавшийся порядочным принцем?..

Тех, у кого обнаруживался тиф или дизентерия, увозили в неведомые края, откуда кое-кто все-таки возвращался. Но из тех, кого по ночам увозили черные силуэты с одним карманным фонариком на троих, ни разу не вернулся ни один. И все понимали, что эта болезнь – самая страшная. Наиболее подверженными ей оказались религиозные евреи: борода, пейсы, талес, склонность молиться, хоть как-то выделять иудейские праздники были чрезвычайно опасными симптомами.

С симптомами же менее тяжкими обращались в медпункт.

Почти никаких красок в памяти Бенци не осталось от тогдашней заречной жизни – все было стерто беспросветной тоской; однако красный крест на кирпичном домике главного конюха, исчезнувшего вместе с конницей, как новенький стоял в глазах Бенциона Шамира: красный крест мог соперничать пламенностью с самой красной из красных звезд. Два раза в неделю, каждый раз под новую песенку, домик отпирал полустертый временем фельдшер, до оторопи веселый в этой зоне тоски, суровости и той предсмертной грызни, когда грызутся, чтобы не повеситься.

Пациентов неунывающий эскулап выслушивал посвистывая и тут же выбрасывал рецепт. Кашель? Харкайся, пока грыжа не вырастет, тогда снова придешь – следующий! Живот болит? Пробздишься – следующий! Ухо не слышит? Меньше слышишь, крепче спишь – следующий! В глаз попало? Глаз не п... – проморгается, следующий! Голова? От головы есть одно хорошее средство, девять грамм, получишь у прокурора – следующий!

Рецепты выдавались всем одни и те же, и мужчинам, и женщинам, однако многих защищало то, что они недостаточно глубоко знали русский язык для постижения всех нюансов фельдшерского остроумия – от которого он сам явно млел, в расстегнутом как бы белом халате раскачиваясь на стуле позади обеденного стола (письменным исчезнувший конюх не располагал).

Однако с некоторыми больными он запирался и на десять, и на двадцать минут – почему-то предпочитая пару-тройку любимчиков-ортодоксов со всеми полагающимися бородами, пейсами и ермолками. Шимон-казак, изнывая от любопытства, пытался подглядеть в окно, но окна были непроницаемо забелены изнутри.

Тогда неукротимый Шимон в один из нерабочих дней, используя привычную технику, разобрал потолок прямо над столом и заранее затаился на чердаке – так ему удалось через вполне сносную дыру пронаблюдать от начала до конца прием одного из наиболее неизлечимых страдальцев. Оказалось, что об-

разцовый иудей совершенно свободно тараторит по-русски, по-свойски поминает с фельдшером каких-то их общих знакомых – правда, перейдя к серьезному разговору, больной доверительно перегнулся через стол. Тем не менее суть беседы реконструировать ничего не стоило.

Перлов Хаим Лейбович говорил Пинскеру Шевелю Соломоновичу и Чечик Мордуху Ерухимовичу, что мы, верующие евреи, должны держаться вместе, не брать советские паспорта, а то нас разошлют по всей России и поодиночке превратят в гоим, заставят работать по субботам и есть свинину, в этой стране верующие люди каждый день должны ждать каких-то неприятностей или даже ареста, но надо набраться терпения, и тогда нас всех рано или поздно выпроводят в Палестину.

– Выпроводим, выпроводим, – недобро посмеялся фельдшер, продолжая быстро записывать жалобы пациента. – Колыма большая, всем места хватит.

Выслушав азартный шепот Шимона, папа начал осторожно наводить справки, кто такие эти Перлов, Пинскер и Чечик, но пока он наводил их, все трое успели исчезнуть.

Папа дипломатично пустил слухок, что надо остерегаться тех, кто надолго задерживается в медпункте, однако люди продолжали исчезать: видимо, где-то там и без фельдшера знали, кто чего стоит. Доктора, которые там сидели, умели ставить диагноз, и вовсе не вступая в личные контакты.

Однажды Бенци приснилось, что он стоит посреди незнакомой улицы, а вокруг с треском проносятся по булыжнику и исчезают телега за телегой, на которых, обхватив руками колени и уткнувшись в них лицом, сидят какие-то серые люди со стертыми серыми затылками. Проснувшись, он понял, что это были отдаленные автоматные очереди.

На немецком берегу все той же, сделавшейся пограничной речушки все те же немецкие солдаты, отчетливо различимые в беспощадном ясном свете морозной зари, короткими очередями в небеса, чтобы пули не попали на дружественную советскую территорию, и остервенелыми ударами прикладов в спины и затылки, под лай рвущихся с поводка еще не съеденных собак сгоняли билограйских евреев на проламывающийся лед – и тут же начинали стрелять им под ноги, побуждая бежать на советскую сторону. Жидовские комиссары, надрывался какой-то весельчак на ломаном даже для Бенци русском, это вам подарок от фюрера, вы любите жидов, вот и засуньте их себе в задний ход!

«Жидовские комиссары» в тулупах до земли и в суконных шлемах с красными звездами неподвижно стояли цепью, держа карабкающуюся на берег вопящую толпу под наведенными винтовками; их командир яростно кричал в жестяную воронку: «Идите обратно!!! Будем стрелять!!! Ком цурюк!!!»

После винтовочного залпа, взбившего фонтанчики снега с землей у самых ног окончательно потерявших голову билограйских евреев, они кинулись обратно, где их встретило еще более горячее огневое приветствие. Пометавшись черным стадом в черной воде среди перекошенных сверкающих льдин, толпа человек в двести съехала на кромке внушающего все-таки меньший ужас советского берега.

Отвергнутый обеими сторонами человеческий мусор сидел, сбившись в кучу, обхватив руками колени и прижавшись к ним лицом – только матери утыкали в свои колени захлебывающихся криком младенцев.

Где-то в верхах военные и гражданские чины лихорадочно обменивались докладами и распоряжениями, а мокрые отбросы двух миров, начиная серебриться инеем, все сидели и сидели, свернувшись эмбрионами и втискиваясь друг в друга, как стадо баранов.

Бенци смотрел на эту картину из-за оцепления, лишившись не только дара речи, но и дара какого бы то ни было понимания, – он и сам был бараном в эти часы.

Вдруг до него дошло, что где-то в сбившейся черной куче сидит и Берл, и ему показалось даже, что он различает его серебрищийся горб.

– Береле!.. – изо всех сил закричал он и кинулся.

Папа удержал его и развернул лицом к своей старенькой шинели не по росту, которую ему принесла Фаня от своего жениха (мама сразу же вернулась в манеж, как только увидела, что здесь творится). Но, закашлявшись от запаха шинельного ворса (в манеже все беспрерывно кашляли на все лады), Бенци высвободился и с забытой яркостью снова увидел перед собой каменевшие спиной к нему советские тулупы, вдали за речушкой – немецкие шинели, а у берега недвижные затылки и спины тех, кто целую вечность тому дружелюбно улыбался ему из билограйских развалюх. Дети почти уже не плакали, лишь отдельные упрямы еще издавали едва слышное сипение.

Смотри, смотри! – словно приказал ему кто-то.

И запоминай.

Он совсем не испытывал страха, он совершенно спокойно мог бы кинуться на винтовки, если бы это не было настолько бесполезно.

Но смотреть зачем-то было нужно. И он смотрел.

Папа пытался увести его, но он отказался со взрослой, вызывающей уважение серьезностью.

Он должен был выстоять до конца. Чтобы запомнить все.

Но сколько же могли прожить мокрые люди на морозе?..

И тут небеса смилостивились – ясное морозное солнышко затянуло пасмурностью, начал не по сезону накрапывать дождь; сначала накрапывать, потом лить. Серебрящиеся спины и затылки снова почернели.

И чернели до темноты. А потом продолжали чернеть в свете наведенных на них автомобильных фар – чтобы в темноте никто не пробрался куда не положено.

Лишь на следующий день к вечеру сжалились и государственные небеса, кто-то где-то наконец понял, что от обременительного дара все равно не избавиться, и позволил выпустить из оцепления раненых и женщин с детьми, а для остальных распорядился на нейтральной полосе, вдоль взрытой речушки натянуть армейские палатки. А уже в полной темноте к палаткам подъехала полевая кухня.

Но ни оцепление, ни фары не были убраны. Советская власть тоже не собиралась сдаваться так быстро.

И ее упорство принесло кое-какие плоды. С каждым днем от палаточного стана отделялись все новые черные фигурки, которые брели вдоль пограничной канавы к отдаленному мосту, официально связывающему красную звезду с черной свастикой. Там уже приплясывала, сидела на корточках, грела руки у костерков и грызлась очередь, бесконечная в самом точном смысле этого слова, ибо те, кому было нечего сунуть дежурному чину, были обречены ждать бесконечно. И стремительно взрослевший Бенци надолго почувствовал, какая это, в сущности, человеческая вещь – взятка: даешь что-то бесполезное, вроде сережек с жемчугом или кольца с брильянтом, – и для тебя делают что-то нужное, вместо того чтобы делать что приказано.

Именно эта пьеса – «Очередь в ад», написанная молодым Бенционом Шамиром с элементами еще редкой тогда драмы абсурда, и принесла ему первую славу: люди хитрили и грызлись, чтобы поскорее попасть в газовую камеру. Фотография автора во фраке была помещена во многих нью-йоркских газетах после премьеры в одном бродвейском театре.

В манеж Бенци вернулся воодушевленный:

– Давайте выкупим Берла!

– На какие рубли, мы давно все распродали!.. – голосом нищенки запричитала мама, и Бенци был серьезно потрясен, когда выяснилось, что мама все-таки припрятала свое обручальное колечко.

Но ведь у Берла был еще и портсигар, старинное фамильное серебро!..

Командира оцепления Бенци выделил по фуражке со звездочкой среди суконых шишаков со звездами – и не ошибся.

– Там, у речки... – начал он почти уже без акцента, но красный командир не дал ему закончить: – Ты хочешь, чтоб я их всех отпустил, а сам сел?

И Бенци осенило, что портсигаром должен заинтересоваться фельдшер: такие веселые люди обычно не страдают излишним фанатизмом, сказал бы он, будь он постарше.

– Старинное серебро?.. – усомнился фельдшер, переставая покачиваться. – У сапожника?.. Фуфло, наверно, какое-нибудь.

Однако к оцеплению прогуляться согласился. Посвистывая.

В советских войсках уважали медицину: стоило фельдшеру что-то шепнуть командиру, как тот тут же ему козырнул.

– Как фамилия? Да не твоя, сапожника? – и Бенци похолодел: в Билограе такие изыски, как фамилия, почитались совершенно излишними.

Командир, недовольно крикнув, все-таки зашагал в своей долгополой шинели по невесомому девственному снежку к обвисшим под слоем такого же, казалось бы, снега палаткам. Бенци ясно слышал, как он, переходя от палатки к палатке, повелительно выкрикивает: «Сапожник Берл, с вещами на выход!»

И наконец – Бенци не верил своим глазам! – Берл, окончательно сгорбившийся, обросший седой щетиной, повязанный, словно женщина платком, какой-то серой тряпкой, шаркал по снегу прямо к нему, затравленно озираясь исподлобья. Он надрывно кашлял, как завзятый ветеран манежа, через два ша-

га на третий щедро сплевывая, и на девственнейшем снегу каждый раз вспыхивала новая красная звезда.

В руках Берл держал свою чугунную ногу.

Друзья самозабвенно обнялись. Берловская щетина впиалась не хуже сапожных гвоздей, но Бенци наслаждался этой болью.

Берл прервал объятие только для того, чтобы зажечь на снегу еще одну красную звезду.

– Что с тобой, что они с тобой сделали?.. – страдальчески спросил Бенци, уверенный, впрочем, в тот миг, что самое страшное уже позади.

– Хорошенько по горбу получил от фюрера, – Берл хрипел и диковато озибался из-под платка, похожий на какую-то ужасную бородатую ведьму.

– А зачем у тебя нога?

– У богатых самое дорогое деньги, а у нас орудия производства.

Еще одна красная звезда, еще одна...

– А как же твой укроп? – многозначительным тоном Бенци намекал на его подземный архив.

– Какой уж тут укроп... – не понял Берл.

Неужели он забыл и про Биробиджан?..

– Отставить сопли! – оборвал фельдшер и покосился на начальника оцепления. – Закурить есть? – без церемоний обратился он к Берлу.

– Не курю.

Звезда, звезда...

– А кто тебя спрашивает, куришь ты или не куришь? Портсигар есть?

– Отдай ему портсигар! – страстно прошептал Бенци в ледяное хрящеватое ухо Берла, отодвигая тряпку, – оказалось, ту самую, которой Берл когда-то завешивал окошко.

Теперь они были почти одного роста.

– Портсигар?.. – вслух изумился Берл. – Я его должен отвезти в Биробиджан!

– Чего-о?! – еще больше изумился фельдшер – и разом оборвал разговор: – Не-ет, от дураков нам ничего не надо.

И, посвистывая, зашагал прочь.

– Он же больной, у него кровь!.. – умоляюще закричал ему вслед Бенци, и фельдшер радостно крикнул через плечо: – Горбатого могила исправит!

Берл презрительно сплюнул, но красные звезды на снегу для презрительно-сти пылали слишком страшно.

– Он тебе кем приходится? – мрачно спросил у Бенци начальник оцепления.

– Мы братья, – не задумываясь, ответил Бенци.

– Братья?.. – Берл голил ему скорее в деды. – А, двоюродные, братаны... Лады, забирай его, только по-шустрому. И никому ни слова, понимаешь? Если кто спросит, отвечай: по особому распоряжению! Ты запомнил? *По особому распоряжению!*

Берл, согнувшийся в три погибели, но по-прежнему несгибаемый, нахлобучивал на чугунную ногу очередные оскалившиеся опорки, которым давно было пора обрести заслуженный покой в законной помойной яме, и все так же

азартно вколачивал в них гвоздики, понадерганные из окончательной рвани, от которой отказались и беднейшие из бедных. Он по-прежнему, словно рыбы косточки, выдергивал щетинки гвоздей из стиснутых извилистых губ, уже не голубых, а белых и сморщенных, словно пальцы после ванны. Теперь у него хватало терпения отхаркиваться и сплевывать жидкие красные звезды в специальную консервную банку, лишь израсходовав весь гвоздевой боезапас.

Жить стало лучше, жить стало веселее. Если, конечно, не обращать внимания на практически никогда не стихающие сдавленные рыдания очередной матери, еще не успевшей свыкнуться со смертью очередного младенца (остальные-то с этим уже свыклись, с тем, что, покуда не подошла твоя очередь, надо как-то отвлекаться). Разваливающихся сапог и башмаков вокруг было море разлитое – не только в манеже, но и в самом городке. Бенци ожидал, что с бедных Берл не будет брать вовсе ничего (а богатые к нему почему-то не спешили), но Берл, очевидно, считал их еще не доросшими до истинно братских отношений. Считал не без оснований...

Строго говоря, папа Давидан тоже никак не мог подняться до общепролетарского дела, но Берл, по-видимому, жил по принципу «семья моего брата – моя семья», отец отвечал за сына и был оправдан его достоинствами: получаемые крохи делились на всех – Шимон, судя по его бравому и с каждым днем все более хулиганскому и гойскому виду, делился своей добычей далеко не так неукоснительно.

Берл же прощал политически незрелым членам своего ближнего круга даже самые досадные идейные шатания. Когда они с папой пускались в политические прения, Бенци сжимался от страха, что Берл вот-вот взорвется (папа-то никогда не взрывался...).

На ловца и зверь бежал: из общей кавалерийской уборной Берл немедленно притащил клоч советской «Правды» аж еще за сентябрь. «Польское государство и его правительство фактически перестали существовать, – со значительным видом зачитывал он, водя своим горбатым носом по мятым строчкам. – Тем самым прекратили свое действие договора между СыСыСыРы и Польшей». В семействе Давиданов все уже более или менее понимали по-русски, но мама совершенно перестала интересоваться чем бы то ни было за пределами ближайшего метра и ближайшего дня, Фаня и Шимон постоянно отсутствовали, а Рахиль – Рахиль отсутствовала в памяти Бенциона Шамира – так, грустная тень какая-то...

– Советское правительство, – хриплый голос Берла становился растроганным, и неотложное сплевывание в консервную банку он начинал осуществлять с предельной деликатностью, – советское правительство не может безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными.

Черно-седые колтуны волос и бороды, шелушащийся клюв носа вкупе с как будто бы еще сильнее подросшим и заострившимся горбом делали Берла похожим на какого-то одичавшего лесовика, в которого непостижимым образом вселилась растроганная душа восторженного юнца.

– О евреях-то ни слова, – грустно указывал ему папа. – Это понятно – большим державам не стоит из-за такой мелюзги ссориться с другими большими державами... Пока у нас не будет своего государства, мы так и останемся мусором, который перебрасывают друг другу через забор.

Бенцион Шамир впоследствии даже удивлялся, насколько точными оказались слухи о том, что при советско-германском обмене населением евреям не отыскалось места среди русских, украинцев, белорусов и немцев. Собственно, этих слухов не оспаривал и Берл, но он все равно очень сердился, когда папа подводил под них теоретическую базу:

– Все понятно, мы для них никто.

– Как это никто?! – кипятился Берл, сверкая своими черными резными глазами, сердито отбрасывая от них черно-седые космы волос и оставляя на месте черно-седые пучки бровей. – Мы не никто, мы хозяева страны! Только мы сначала должны доказать свою преданность! А пока среди нас много врагов, много шатких элементов! Нетрудящихся! Когда мы докажем свою преданность общепролетарскому делу, мы сделаемся частью могучего народа – и тогда нас никто не посмеет тронуть!

Торжествующий алый плевок.

– Могучие народы в тяжелую минуту всегда согласятся принести нас в жертву, – грустно вздыхал папа. – Если бы даже Сталин нас любил, у него все равно нашлись бы дела поважнее.

– Для Сталина все важны, – как ребенка, начинал утешать его Берл и сплевывал в банку с таким видом, словно опускал крупную монету в папину копилку. – Для отца все дети важны, и большие, и маленькие. Но Сталин сейчас не может выказать нам свою заботу открыто. Большевиков и так обвиняют, что ими управляют евреи, они должны этот козырь выбить из рук фашистской пропаганды. А в самом Советском Союзе евреи процветают!

Горделивое сплевывание.

Берл помнил неисчислимое количество еврейских комкоров, комдивов, наркомов, обкомов, санупров, худруков, начкадров, песенников, хозяйственников...

– Но остались ли они евреями? – тщетно пытался остановить водопад громких имен папа. – Что хорошо для людей, то может быть убийственно для народа. Для его мечты. Может быть, мы как народ только сейчас по-настоящему начинаем возрождаться. Может быть, ужасы, которые с нами происходят и еще произойдут, послужат каким-то страшным уроком, может быть, наши мучения не напрасны... Кто знает, может быть, мы сделаемся той страшной легендой, которая сплотит и поднимет еврейский дух?... Породит новую общую мечту?.. Может быть, в этом наша историческая роль? Может быть, кто-то из нас не захочет искать успеха в среде более сильных народов, а пожелает спасти остатки своего народа, служить его мечте?..

– Кто бы спорил? – Берл наконец начинал улыбаться своими длинными белыми губами. – Всем умным людям уже давно ясно, как нужно спасать еврейский народ. И где. В Советском Союзе! В Красном Сионе! В Биробиджане. Вы увидите – нас всех скоро туда отправят. Тех, кто выдержит проверку, выкажет

пролетарскую стойкость. Нам нужно только очиститься от антисоветских и клерикальных элементов. Вы посмотрите, они и здесь раскачиваются, обматываются, выискивают, в какой стороне их любимый Сион!..

– Антисоветских элементов твои друзья, по-моему, больше всех плодят сами... – замечал папа как бы про себя (вообще-то с Берлом они уже держались по-свойски). – А что до клерикальных... Еврейская культура вся проникнута религией, все обряды, все ритуалы, все предания... Даже кухня... Я, к несчастью моему, не верую в бога. Но я понимаю, что если из еврейской культуры изъять все, в чем присутствует религия, то не останется ничего. Просто ничего.

– В Биробиджане мы создадим новую, социалистическую еврейскую культуру! Какая и не снилась эксплуататорским классам! Нам только нужно выдержать испытание на стойкость. И мы его выдержим!

И Берл нежно спустил в консервную банку подзадержавшуюся кровавую слизь, а потом любовно посверлил папу из-под черно-седых косм мудрым, прямо-таки сталинским взглядом с ленинской хитринкой (Бенци уже насмотрелся ленинских портретов и даже успел узнать, что именно хитринка является одним из главных атрибутов ленинского обаяния):

– Я уже написал товарищу Сталину. Я написал: испытайте нас, и тех, кто выдержит, можете смело отправлять в Биробиджан.

– Ты и фотографию ему отправил?.. – спросил потрясенный Бенци.

– Не-ет, фотографию я отложил до личной встречи. Приедет же он когда-нибудь в Биробиджан!

Если учесть сверхчеловеческую занятость товарища Сталина, ответ от него пришел сравнительно скоро – товарищ Сталин милостиво повелеть соизволил ниспослать еврейским отверженцам взыскуемое испытание: с приходом тепла их наконец перестали манежить и бросили резать торф.

Бенци запомнился только длиннейший растрепанный сарай с прорехами в соломенной крыше – солома оказалась теперь не только под ногами, но и над головой; все внутреннее полутемное пространство было увешано никогда не просыхающим тряпьем. Когда впоследствии Бенци встречал у русских классиков не вполне понятное слово «овин», ему всегда представлялся именно тот торфяной сарай. Еще в глазах застыли ямы-копанцы, где по колену в кофейной воде с лопатами в руках переводили дух печальный папа и злобно торжествующий Берл, похожий на выгнувшего спину ощерившегося уличного кота. Победный сарказм его относился, по-видимому, к тем нестойким элементам, которые брюзжали, что было бы выгоднее использовать их по специальности – тогда бы и они сумели заработать не только на воду с солью, – и даже собирались писать об этом товарищу Сталину. Не понимая, что именно этим и подрывают доверие к себе, да к тому же бросают тень и на самых стойких. Но ничего, товарищ Сталин сумеет отделить овец от козлий!

Именно тогда у Бенци Давидана зародилась догадка, сделавшаяся центральной идеей творчества Бенциона Шамира: и человек, и народ могут жить лишь до тех пор, пока верят в какую-то сказку. И папина сказка была уже на исходе, а сказка Берла делала его силы, казалось, столь же неиссякаемыми, как

запасы его крови, которую он все никак не мог израсходовать на бесконечные красные звезды, расплывающиеся у него по пятам в торфяных лужах. Оба они – и Берл, и папа – были одеты, как огонь. Впрочем, это выражение, которое на языке блатных означало оборванцев, Бенци узнал уже в Архангельской области, в лагпункте... Ярцево? Ерцево? Или Ернево?..

Какое название гранитно врезалось в память – Няндомы. На этой станции сняли с поезда тело Рахили, умершей от разрыва мочевого пузыря: еврейская принцесса не могла при всех «ходить» в ведро.

Родным даже не позволили вслед за нею выйти из товарного вагона. И то сказать – зачем разводить лишнюю суматоху? Бенци уже давно ничему не удивлялся, он только, съжившись, переживал, пока его еще так недавно благовоспитанная до чопорности мама, словно какая-нибудь билограйская стряпуха, раскачивается, воет, рвет полуседы патлы...

У самой у нее, кстати, с ведром не возникало никаких осложнений: Бенци каждый раз спешил отвернуться, но однажды в его глазах все-таки успело навеки отпечататься, как она внимательно и даже словно бы рассудительно накрывает ведро своим широким подолом. У Бенци же сразу все пресекалось, чуть лишь ему начинало казаться, что на него смотрят. По серьезным делам он терпел, пока весь вагон не стихнет, а по малым, но, увы, неотложным, хоть бы вокруг рушилась вселенная, просовывал свою дудочку в щель меж вагонной стенкой и на пару сантиметров откатывающейся на наружной цепи тяжелой дверью, рискуя нечаянно подвергнуться еще одному, более радикальному обрезанию. В глазах осталась бескрайняя снежная равнина и сбиваемая ледяным ветром одинокая струйка. Сопровождавшая вагон добрая русская тетка в солдатской шинели прикрывала его сзади, жалостливо приговаривая: «Сикай, сикай...». И печально размышляла сама с собой: «Хорошо ребятам, им везде можно... А вот девочкам...»

Она была такая душевная, что ее присутствие не перехватывало его крантик, как это бывало с остальными.

Хорошо хоть она спаслась, еще долго повторяла мама про Фаню, которой было позволено остаться с мужем. Бенцион Шамир и через пятьдесят лет в самых неожиданных ситуациях внезапно видел на внутреннем экране, как Фаня вслед за шелоном бежит под насыпью, неумолимо отставая, отдаляясь, исчезая... Только в зрелые годы Бенци понял, какая она была обаяшка – ладенькая и одновременно пампушистая: у Бенциона Шамира мороз пробежал под его сединами, когда он внезапно узнал Фаню в знаменитой фигуристке Ирине Слуцкой.

Фаню расстреляли в июле сорок первого, вскоре после того как ударные части вермахта наконец-то форсировали билограйскую канаву. Как водится, всех подвернувшихся евреев при помощи местных активистов согнали на лесную поляну, там заставили выкопать не очень глубокий ров, затем каждому, в порядке очереди, выстрелили в затылок, затем закидали землей, которая, как водится, некоторое время продолжала шевелиться, затем при отступлении снова выкопали что осталось, уложили в штабель вперемешку с поленьями длиной в человеческий рост, затем облили дефицитным бензином – словом, рутина.

Что, интересно, случилось с ее мужем? Надежный парень – наверно, тогда же и пал смертью храбрых у стен их новенького общежития младшего комсостава, которое казалось таким раем из этого... Ярцева? Ерцева? Название стерлось, а длинные бревенчатые бараки так на внутреннем экране по-прежнему и чернеют среди снежной белизны.

Бараки набивались слоями, словно кильки в консервную банку, – братскую могилу, как их с обычной своей недоброй меткостью именовали урки. Остаткам семейства Давиданов, пожалуй, даже повезло, что их в числе трех десятков еврейских скитальцев разместили в небольшой кирпичной церкви без креста на ободранной до скелета маковке, откуда постоянно тянулся дым ни днем, ни ночью не гаснувшего костра, в первый же день разведенного на промерзлом каменном полу. Причуды пламени то выхватывали из тьмы, то снова возвращали ей на съедение какие-то согбенные фигуры на заиндевевших стенах, какие-то безумные лики с распахнутыми белыми глазами, которые никак не могла поглотить копоть, забивавшаяся всем в ноздри, втиравшаяся в мельчайшие морщинки, скапливающаяся в уголках глаз, губ... Когда папа и Берл, вернувшись из леса, отогревали руки над адскими углями, Бенци казалось, что все они уже превратились в пещерных людей: Берл, чьи руки при ходьбе теперь почти уже чертили по снегу, совершенно утонул в косматой бородине, а папа, как ни тщился имитировать нестигаемость, в казенном бушлате без карманов и тряпочной шапке с болтающимися завязочками все равно не дотягивал даже до Чарли Чаплина из фильма «Золотая лихорадка».

День казался багровым утром, а утро было неотличимо от ночи. Бенци и вообразить не мог, что оскаленные зубастые звезды могут так осатанело пылать на черном небе, словно пробоины в какой-то бескрайней топке. Под этими-то звездами до предела сжавшиеся под прожигающим их отрепья морозом, нагрузившись пилами и топорами, без конвоя – они не считались заключенными, а бежать здесь все равно было некуда – бригада за бригадой брели к черной стене леса, наставившего в пылающие дырки черного неба свои вершины, заостренные, как кремлевские башни, сбросившие с себя ненужные звездные украшения: красных звезд здесь и так хватало, их оставлял на снегу уже не один только Берл.

Клерикальных элементов среди еврейских колонизаторов уже не ощущалось – даже бдительному Берлу уже не попадалось никаких глупостей, вроде тфилина или талитов, – но элементов нестойких, шатких становилось все больше и больше – начиная с папы Давидана, которого шатало из стороны в сторону все более неотвратно. Да и сам нестигаемый Берл передвигался зигзагами, а чугунная нога его лежала без движения. Работать по субботам пришлось с самого начала, но другое мрачное пророчество клерикалов, увы, так и не осуществилось – никто никакой свинины им не предлагал. Равно как и говядины, баранины и курятины. А тусклую ваксу так называемого хлеба выдавали согласно выработке.

Нормы не могла выполнить ни одна бригада начинающих лесорубов, не располагали они также ни одним из трех китов лагерного благополучия («блат,

мат и туфта – три лагерных кита»). При этом из-за бессилия доходяг, вроде папы, срезали пайку и сравнительно более крепким. У которых слабость вызывала не сострадание, а с каждым днем крепчавшую ненависть. Умерших жалели только самые близкие, но, кажется, и они особенно не интересовались, куда увозят трупы. Похоже, не мороз и не голод, а нескончаемая униженность добила Давидана-отца: из предмета общей любви, почитания и даже гордости превратиться в посмешище и паразита, никчемное существо даже для собственных детей...

Бенци старался не встречаться с ним глазами, чтобы папа не прочел в его взгляде, сколь ужасно и неузнаваемо он переменялся, а Шимон вообще стремился держаться подальше от впавших в ничтожество соплеменников. Он вращался в высшем обществе, играл в карты с урками и даже изредка делился выигрышем. Бенци так и не понял, почему одна часть уголовников ходит под конвоем, а другая разгуливает где попало, – он лишь старался держаться подальше и от тех, и от этих. Рассказывали, что они свободно могут проиграть в карты совершенно случайного человека, и Бенци никак не мог взять в толк, что за радость выигравшему от смерти бог знает кого. Только через много лет он понял, в чем тут сласть – во власти над чужой жизнью и смертью. В ощущении собственной значительности. Потеря которой и убивала его отца.

Шимон разъяснил ему расшифровку слова «урка» – оно возникло из сокращения слов «убийство», «разбой», «кража», аббревиатуру «урк», по словам Шимона, писали на личных делах рецидивистов, в отличие от «мужиков», которых официально именовали «бытовиками». Шимон же сообщил Бенци народную расшифровку магического ВКП(б) – воры, карманники, проститутки (бляди); народ этим как бы давал понять, что партийцы в его глазах не слишком отличаются от урок, однако Шимон стремился походить все-таки на последних. Однажды Бенци заметил, как Шимон, думая, что его никто не видит, в отвесах костра любит фалангами своих пальцев, на каждом из которых, по букве на палец, было выколото его русское имя СЕМА.

Друзей, тем не менее, у блатных не водилось: Шимон едва и впрямь не разорвал свою страшно престижную в здешней субкультуре тельняшку, подобно Муцию Сцеволе, он отдавал руку на сожжение, что проиграл правый глаз, и если до утра не заплатит... Он собственными, пока что двумя, глазами видел ту финку, которой ему выколют проигранное. Тогда-то закопченная, лоснящаяся мама и добыла из своих пятнистых, прожженных юбок заветное обручальное колечко.

Берл еще раз получил по горбу еловым хлыстом и теперь сплевывал не только красную слизь, но еще и какие-то кусочки разжеванной смородины. Однако все это лишь приближало завершение экзамена: всех, кто не согнулся, можно будет смело пропустить в Красный Сион – в тихоокеанскую Землю обетованную.

Зато папа, оставив в костер свой особенно пугавший Бенци страшно сосредоточенный и вместе с тем ничего не видящий взгляд, однажды вечером, неотличимым от ночи, словно с самим с собой, еле слышно заговорил с Берлом, не догадываясь, насколько здесь обострился слух у Бенци, постоянно прислушивавшегося к скрипу встречающих шагов, чтобы успеть вовремя отпрыгнуть в темноту.

– Для чего живет человек?.. – мертвым голосом рассуждал папа. – Для своей семьи?.. Но я для своей семьи ничего сделать не могу... Для своего народа?.. Но я только позорю свой народ... Подожди, не перебивай. Ницше писал о нас: судьба поставила евреев перед выбором – жить или погибнуть, и евреи ответили: жить любой ценой...

– И правильно! – свирепо прохрипел Берл. – Евреи и должны жить любой ценой! Чтобы пережить своих врагов, всех гаманов, и плюнуть на их могилу!

Берл с яростным торжеством плюнул вопреки обыкновению не в банку, которую ухитрился сберечь с идилических манежных времен, а прямо в костер. Бенци показалось, что в холодном воздухе разнесся запах жареного мяса.

– Даже клерикалы так считают, – подбил Берл окончательный, неопровержимый итог. – Еврей имеет право пойти на добровольную смерть, только когда его заставляют отказаться от веры. Только вера для еврея важнее жизни!

– Может быть, именно из-за этого нас больше всего и презирают?.. – опять, словно бы с самим собой, еле слышно откликнулся папа. – Может быть, нас больше уважали бы, если бы мы ставили выше жизни достоинство?

– Достоинство в том, чтобы победить, а не в том, чтобы сдохнуть! На радость врагам!

Берл харкнул в костер с такой силой, что оттуда взвилось облако искр и пепла.

– А может быть, – не сходил с какой-то тяжелой, несдвигаемой мысли папа, – если бы мы бросили наши жизни нашим врагам в лицо, мы сделали бы легендой. А нашему народу красивая легенда о себе сейчас нужнее всего. А вот если мы просто издохнем, как животные...

– Но кто твои враги? – словно ребенка, принялся стыдить папу Берл. – В Советском Союзе никто не желает тебе зла, Советский Союз сам ведет напряженную борьбу с капиталистическим окружением. И мы с тобой тоже занимаем какой-то окоп. А когда мы завоюем доверие, нас перебросят на наш собственный участок. Еврейский. Вот увидишь – скоро станет тепло, откроются дороги, и нас отправят в Биробиджан. Вот увидишь, осталось потерпеть совсем немного!

Прочность его сказки была беспредельной.

Вспоминая этот роковой вечер, Бенцион Шамир вновь и вновь задавал себе бесполезный вопрос: может быть, надо было подойти к папе сзади, обнять, прижаться, поклясться, что от него всем громадная польза... Но слишком очумелым он был тогда. И пришибленным. Кто он такой, чтобы чему-то учить папу?..

И слишком уж чесалась его чернокудрая голова. Он вообще постоянно был чем-то поглощен: то усердно – и в опорках, и в руках – шевелил пальцами, когда они начинали чересчур уж мучительно ныть от холода, то высматривал насекомых в расходящихся швах, то что-нибудь вынюхивал...

Странное дело, не было ни книг, ни развлечений, а все равно не помнилось, чтобы когда-нибудь было скучно.

Папа перерезал себе сонную артерию с виртуозностью одаренного хирурга – надрез был совсем небольшой, а мороженная кровь с бушлата отламывалась

толстыми кривыми скорлупками, будто с огромного крашеного яйца. Процедура, правда, затянулась, по-видимому, надолго, потому что сидел папа на охапке лапника, и по кровавым узорам на снегу было видно, что лапник он собирал, уже выполнив свой снайперский надрез: бережно хранимый и ежевечерне подправляемый ланцет наконец-то пригодился для серьезного дела.

Если он выбрался наружу и сел под церковной стеной, чтобы потеря крови была поддержана морозом, то он все рассчитал правильно. Но если он хотел избавить родных от тягостного зрелища, то идея оказалась крайне неудачной. Его труп смерзся в сидячей позе до такой мраморной окоченелости, что явившиеся на чепэ три мордоворота – один в форме при красной звездочке, двое других в таких же черных бушлатах, как у папы, только новых – никак не могли его разогнуть, чтобы уложить на носилки. Недолго повозившись, они перевернули его лицом в снег, один зажал его бока между ног, а другой сел ему на поясницу и под осатанелыми звездами уминающе попрыгал своим широким стеганым задом.

А вернувшись в церковь, Бенци обнаружил, что и папин кожаный саквояжик наконец-то украден.

Оттепель действительно принесла сначала войну, а потом освобождение: враг моего врага, глядишь, на что-нибудь да сгодится.

Сколько дней или месяцев влачили они по воюющей стране к месту нового назначения, Бенцион Шамир не мог бы сказать даже приблизительно. Взгляд Бенци в ту пору упирался в любой оказавшийся перед глазами предмет и без серьезного толчка извне больше уже не двигался. Поэтому тверже всего ему запомнился деревянный пол теплушки – махрящийся, неизменно рождающий представление о занозах. Но если перед ним оказывалась еда, он начинал жевать, если возникала непереносимая нужда, пробирался к ведру и каждый раз равнодушно отмечал, что, если бы Рахиль сумела дотерпеть до нынешнего лета, сейчас бы и она делала это наравне со всеми без всяких затруднений.

Вот что такое уродливая жизнь, тысячи раз возвращался к этой мысли писатель Шамир: в уродливой жизни людей начинают губить их достоинства – стыдливость, честь, храбрость... Впечатлительность... В те месяцы Бенци не мог думать ни о чем, кроме тоски, духоты, голода, жажды, – да и о них думать было нечего, нужно было только как-то их переносить. Если начинало казаться, что от нехватки многократно отработанного воздуха вот-вот потеряешь сознание, следовало подобраться поближе к окошку. Но если при этом упрешься в чью-то непреклонную спину, нужно было сдаваться и дышать тем, что досталось. Если становилось холодно, достаточно было обнять себя вместе с коленями и хорошенько подражать. Когда вагон раскалялся совсем уж нестерпимо, нужно было раздеваться, кому сколько позволяла его щепетильность. Многим она позволяла почти все, а кое-кому просто все.

Бенци равнодушно фиксировал, что некоторые женщины, несмотря на пережитый и переживаемый голод, оказались обвешаны многослойными складками. Пара парочек, полураздетых, обнимались, скользя друг по другу истекающими грязным потом телами, а третья совокуплялась, даже не дожидаясь

темноты, лишь прикрыв рабочие части куском мешковины, на которой было грубо намалевано белой масляной краской слово «карамель». Бенци уже вошел в возраст, когда подобные вещи вызывают неотвратимый интерес, однако в те дни, когда он пробегал по обнаженной плоти безразличным взглядом, на ум ему приходил единственный вопрос: если бы они так и закоченели в этой позе, как бы их стали высвобождать друг из друга, чтобы положить на носилки? Или так вместе бы и унесли?

Когда удавалось подышать у отъехавшей двери, иной раз на каком-нибудь зеленом взгорке ему попадалась на глаза церковь, кирпичная или оштукатуренная, в кровавых кирпичных звездах, и ему невольно представлялось скопление тел, шевелившихся там на полу. Их эшелон старались не задерживать на больших станциях, но все же нет-нет в дверной проем внезапно впрыгивали, гремели и пропадали неведомые перроны, забытые сидящими, лежащими, пробирающимися людьми – женщины, старики, младенцы, беззвучно разевающие оружие ротика, – и во всем этом столпотворении Бенци не видел ничего особенного: с того дня как он из билограйского дома попал в гудящее лежбище манежа, он уже успел понять, что жизнь теперь всегда будет такой. И запах прокисшего тряпья, давно уже никем не замечаемый, теперь тоже навеки воцарился в мире.

Не вспомнить, сколько пронеслось мимо дверной сцены гремучих встречающих платформ с задранными в пустые небеса пушечными стволами, под одним из которых вечно отбивал в его памяти чечетку лихой красноармеец в пилотке со звездочкой, брызнувшей и растаявшей, как капелька крови. А однажды на неведомом полустанке в чудом павшей на минуту-другую ночной тиши ему послышался монотонный нескончаемый стон какого-то незримого хора. Это было так неожиданно, что спора, в которую свернулась его душа, на миг открылась. Он выглянул во тьму и понял, что стон доносится из стынувшего напротив пассажирского поезда. Это был санитарный поезд. Он недвижно мерцал во тьме и стонал, стонал, стонал, стонал...

В другой раз беспощадным душным днем железнодорожная рулетка вновь свела их эшелон с санитарным поездом на безвестном степном разъезде. Бенци уже много часов покорно изнемогал от жажды и слышать способен был только журчание воды, струившейся где-то совсем рядом. Понимая, что это бесполезно, что за водой ринулись бы все со всеми кружками и плошками, он высунулся на обжигающее солнце и увидел, как из-под соседнего пассажирского вагона, из-под укрывшейся за белесым стеклом уборной с легким журчанием стекает в лужицу на ржавом мазутном щебне струйка красного субботнего вина, какое в незапамятные, кажется, только приснившиеся времена благословлял увенчанный ермолкой Папа, считавший своим долгом свято блюсти народные обычаи, которые одни только, по его мнению, и могли противостоять ассимиляции. Бенци долго пялился на быстро уходящую в щебенку винную лужицу, пока не сообразил, что это не вино, а кровь. Вернее, вода, смешанная с кровью.

Кровь – это было серьезно, кровь заставляла себя уважать, а потому и ви-

деть. И запоминать. Заставляла уважать себя и обмороженная рука Берла, которую он, сторбившись над своей чугунной ногой, время от времени высвобождал из некогда белой, как и полагается подштанникам, а ныне ржаво-желтой пятнистой тряпки и озабоченно снимал с фиолетовой подушечки, обросшей, словно картофелина, кривыми отростками-сосисками, все новую и новую, никак не кончающуюся отстающую кожу. Такие вещи проникали даже сквозь оболочку споры.

Трешинки в оболочке возникали редко и очень ненадолго, но все-таки возникали, и тогда в его памяти навеки отпечатывался то оглушительно грохочущий, размахивающий исполинскими руками железный мост над невообразимой ширию неведомой реки, то желтая кружащаяся степь с гонимыми раскаленным ветром клубками колючей проволоки и разворачивающимся редким строем потеющих смолой телеграфных столбов, на каждом из которых хохлился беркут, то бескрайняя плоская равнина, похожая на дно пересохшей глинистой лужи, где впереди по движению ветер трепал лист газеты, может быть, даже «Биробиджанской звезды», – но с приближением поезда лист тоже непрерывно отъезжал и все трепетал и трепетал впереди, все в том же отдалении.

Зато охел – домик, какие ставят на могилах особенно благочестивых покойников, без обмана уплывал назад. Значит, и здесь уже когда-то были евреи, значит, мы не первые...

Но какие странные раньше водились люди – устраивали с мертвецами целые представления, сооружали домики, вместо того чтобы оттащить куда-нибудь подальше, с глаз долой... У них в эшелоне и сейчас, если у кого-то приключался жар или какой-нибудь нестандартный понос (тут этого не скроешь), то его выставляли на первой же остановке, чтоб других не заразил, а сами тащились дальше.

Правда, теперь, если кому хотелось, можно было остаться с заболевшим. Однако не так уж много находилось охотников.

Казалось, польские вечные жида промчались и проползли через несколько стран и времен года – через страну лесов, через страну озер, через страну степей и пустынь, они пережили и лето, и осень, забирались даже в начинающуюся зиму, и Бенци хотелось одного – чтобы это продолжалось вечно, чтобы не нужно было где-то снова начинать жить, то есть снова чего-то бояться, к чему-то привыкать.

Но пришлось. И ослепительное маленькое солнце из наглой лазури палило ничуть не менее устрашающе, чем оскаленные звезды из крошечной черноты – Ярцева?... Ерцева?..

Бенци, стараясь ничего не видеть, спотыкаясь, натываясь, брел по издевательской жаре среди глиняных оград и был почти счастлив, когда наконец удалось опуститься на пятнистый, какими отныне сделались все тряпочные вещи, матрац, комкастый, как суп с клецками, и плоский, как собачья подстилка. Такими же матрацами был покрыт весь пол окончательно раздавливающей диковинностью своих узоров мечети. (Изразцы, изразцы – в каком позапрошломоднем сне он что-то похожее видел?... А, ими была облеплена печь в билограйском доме...)

Матрац, при всей засаленности и испятнанности, оставался полосатым, но тогда это еще не ассоциировалось с концлагерной робой, и Бенци безнадежно мечтал, протерши среди комков относительно нигде не выпирающую впадину, больше никогда не подниматься с этого матраца, до конца своих дней не выходить из-под этих ужасающих, но, по крайней мере, одних и тех же сводов. Голод, холод, духота, вонь – вещи, конечно, не самые приятные, но в сравнении с необходимостью что-то предпринимать, с кем-то сталкиваться, что-то решать это просто родной билограйский дом с белой скатертью, бронзовыми подсвечниками на шестиконечных звездах, доброй благовоспитанной Мамой и мудрым благородным Папой.

Даже и не вдумываясь специально (эту способность он утратил), Бенци ясно понимал, что если хозяева страны живут вповалку на перронах и в исходящих стоном и кровью поездах, то пришельцам тем более рассчитывать не на что. Поэтому новую степень голода – предоставив еврейским скитальцам частичную свободу, советская власть освободила и себя от большей части и без того немногочисленных обязанностей по отношению к ним – Бенци воспринял с полной покорностью: главное, чтобы не заставляли двигаться, что-то делать, что-то решать.

Так бы и просидеть всю свою жизнь, никуда не выглядывая... Однако пришлось.

Кажется, мама тоже пыталась его тормошить, но, видно, он ощущал ее существом слишком уж незначительным, у которого невозможно разжиться ни хлебом, ни позицией. А вот у Шимона было и то, и другое.

Он выволок Бенци на овевающий теплом страшный осенний воздух, под страшное сияющее небо, от которого нигде не предвиделось спасения, буквально за шиворот – не было воли сопротивляться, да к тому же шиворот и так едва держался на перепревших нитках.

– Посмотри, как торчат, – с усмешкой показал Шимон на изразцовые минареты, – теперь я понял, почему у меня здесь всегда с утра стоит, а в лагпункте не стоял. Теперь всегда пример над головой.

У них в билограйском доме подобные шутки были совершенно немислымы, но с ними-то Шимон и хотел покончить... Бенци растянул отвыкшие губы, понимая, что чужим людям лучше показывать улыбку, если им кажется, что они сказали что-то смешное.

Шимон уже давно говорил только по-русски, на языке хозяев жизни. Он и смотрелся почти что одним из них – в дырявой тельняшке и надвинутой на смоляную бровь пилотке с царственной красной звездой, из-под которой струился смоляной слипшийся чуб, – Шимон-казак, в отличие от Бенци, не позволил остричь себя, как овцу, ради какой-то там борьбы с завшивленностью.

– Помнишь, Маймонид учил евреев не заходить в чужие храмы? Что бы он сейчас запел? Потребовал бы, чтоб мы под забором ночевали? Русские свои церкви позакрывали и правильно сделали – чего дармоедов кормить? Хотя... – Шимон качнул чубом в сторону двухэтажного желтого дома с пятиконечной звездой на крыше, – у них тоже свои попы есть.

– А кого распяли на этой звезде? – без особого интереса поинтересовался Бенци, и Шимон, хмыкнув, задумался.

– Не знаю, Ленина не распинали... Может, всех нас?

И тут же поправился:

– Всех вас. А я распинаться не собираюсь.

Здание внушительно возвышалось над плоскими глиняными крышами; с его фасада с мудрой хитринкой гляделись огромный Ленин и огромный Сталин. Под ними белым по красному разворачивался призыв к земле, которая должна была гореть под ногами оккупантов, но Бенци уже привык относиться к лозунгам как к деталям пейзажа и слов их не запоминал. Он и в лагпункте так ни разу и не вчитался в плакат, под которым проходили шаткие лесорубы, – что-то про труд, доблесть и героизм. Он и вызывающую со всех стен Родину-мать запомнил очень смутно – не к нему она зывала.

– Чучмеки всех малюют на себя похожими, – по-хозяйски указал на владык Шимон своей залихватски изогнутой бровью.

Бенцион Шамир и поныне не ведал в точности, к какой национальности принадлежали коренные обитатели районного центра Партиябад, куда остатки семейства Давиданов были заброшены скитальческой судьбой. Бритоголовый уполномоченный в ките без погон, занимавшийся беженцами, называл местных жителей нацменами, но Шимону, очевидно, было известно более точное название. Один из чучмек в расшитой серебром черной ермолке и халате, от которого рябило в глазах, ехал им навстречу меж изрытых глиняных оград на серенькой ушастой лошадке, хитроглазой, как Ленин и Сталин вместе взятые. За ним открывались глиняные не то горы, не то холмы, испятнанные кустарниками, напоминающие облезлых исполинских леопардов.

– Ишак поехал на ишаке, – прокомментировал Шимон. – Ты не поверишь, у них эти халаты стеганные, на вате! Чтоб лучше потеть. Представляешь, какие они вонючие?

Бенци скучно пожал плечами – мы-то, что ли, лучше?.. Да и какая разница – вонючие, не вонючие... Скользнула лишь безразличная мысль, что те штаны, которые прыгали на уткнувшемся лицом в снег скрюченном папе, тоже были стеганные, на вате.

– Давай, шевели ногами, – тащил его по дышащему теплом глиняному коридору Шимон. – Сейчас увидишь, что такое восточный базар – таких арбузов и в Варшаве не найдешь!

Арбузы... Дико вспомнить, каким праздником казалась в Билограе эта чепуха, красная вода... Вроде той, что журчала из вагонного туалета. А на хлеб и смотреть не хотели...

– У них и хлеба полно, лепешки пачками, сейчас сам увидишь – хватай и рви корочки. Урюки такие фраера, варезку раззавят...

Слушая Шимона, Бенци с едва заметным повышением градуса безнадежности понимал, насколько ему еще далеко до настоящего овладения русским языком.

Но вообще-то ему и это было все равно. С кем ему разговаривать?..

Однако базар неожиданно поразил его. Во-первых, давно забытым *доброжелательным* гомоном, а во-вторых – красками. Горы арбузов, зеленых, как ряска, пирамиды помидоров, алых, как кровь, подносы винограда, золотого, как мед, били по глазам, пробивали до души, будоражили скукоженные воспоминания. Подходи, не стесняйся, клади денги и кушай от души, смеясь золотыми зубами, зазывали чучмеки в расшитых ермолках, смотри, какой диня, можно пушка заряжать!

Дыня и впрямь была неправдоподобно громадная – в мелкую трешинку, как папин саквояжик...

Нельзя сказать, что воспоминание причинило Бенци какую-то особенную боль, но почему-то впервые за много месяцев слезы сами собой покатались из глаз, словно кто-то где-то приоткрыл краник.

– Ну, поехал... – сдвинул смоляные брови под красной звездой Шимон. – Ты что, всю жизнь собираешься пронюхать? Погляди, сколько здесь народу без рук, без ног, без глаз – и ничего, никто не скулит!

Между длинными столами, заваленными горами неуместно праздничной чепухи, и впрямь в немалом количестве пробирались люди, чьи головы, шеи, руки, подвешенные на шее, несомые перед собой на костылях, были обмотаны несвежими, но все же почище берловских бинтами. Это те, кому повезло. А кому повезло меньше, тем и нести было нечего – разве что пустые рукава, приколотые к плечу, пустые штанины, пристегнутые к поясу, пустые глазницы, заткнутые комком завернутой в марлю ваты: война шла считанные месяцы, а тыловой базар был уже наводнен ее продукцией – кто-то, может, и из того самого стонущего поезда.

Однако никто, и правда, не думал скулить, все были оживлены, многие смеялись, обряженные в невиданную помесь затрепанных армейских штанов, гимнастеров и полосатых пижам (тоже еще не ассоциировавшихся с Треблинкой и Освенцимом). И под оболочкой споры шевельнулось что-то, похожее на недоумение, даже на предчувствие, что он вот-вот поймет что-то очень важное. Но его отвлекло большое обваренное лицо, глядящее сквозь толпу розовыми полированными ямками вместо глаз. Лицо тоже не плакало, это Бенци хорошо рассмотрел и запомнил. Правда, ему и нечем было, и Бенци безнадежно ему позавидовал: теперь уже никто ничего с него не потребует, сиди себе до кончания жизни...

Несмотря на тесноту, на всеобщую поношенность, народ наградил слепца кружком пустоты, набросал в лежащую перед ним фуражку мятых советских денег – и, казалось, никого не угнетала та очевидная мысль, что, может быть, ему самому скоро предстоит сидеть в такой же кружке с полированными ямками вместо глаз, а то и вовсе исчезнуть, чего почему-то никому не хочется – ведь вся война еще, собственно, впереди. Да и будет ли теперь что-нибудь когда-нибудь, кроме войны?..

Может быть, русские потому такие бесстрашные, а чурки такие добродушные, что они у себя дома?.. А он, Бенци, теперь до конца своих дней обречен быть бездомным. Они часть какого-то могучего и бессмертного «мы», а он на-

веки одинокая пылинка... Бенциону Шамиру казалось, что он это чувствовал уже тогда.

В соседнем кружке лихо отшлепывал чечетку босыми пятками по глиняной пыли сверкающий белыми зубами и черными глазами цыганенок, точно такой же, как в Билограе. Он радостно выкрикивал какую-то песенку: «Лейтенантик молодой...» Этот везде дома, потому что, на его счастье, никогда никакого дома и не пробовал.

Смотри, тандыр (или тандур?), привел Бенци в чувство Шимон, больновато ткнув его локтем в бок. Бенци очнулся и увидел нечеловечески огромный кувшин, до половины погруженный в пламя. Два жизнерадостных нацмена прямо здесь же раскатывали круглые лепешки из сырого теста, а потом, перегнувшись, приклепывали их к внутренней стенке своего безумного сосуда. И специальной палкой с гвоздем добывали уже готовые, с прожженными дырочками, укладывавая друг в дружку, словно шляпы в варшавском магазине.

– Щас я этих уроков пощипаю... – как бы между прочим обронил Шимон и снова больновато потыкал Бенци в бок своим острым локтем. – Смотри, щас будет козью ножку вертеть...

Шимон показал на красноармейца, уютно сидевшего на перевернутом ведре. Укутанной в серые бинты головой он напоминал курносенького младенца, вынесенного на мороз подышать свежим воздухом, но линиялая военная форма, только без ремня и без сапог, замененных шлепанцами на босу ногу, тут же без остатка смывала это сходство. А пристегнутый к плечу пустой рукав заставлял окончательно забыть о нелепой ассоциации.

Никаких коз поблизости не просматривалось, перед раненым распростерлась только газета, «Звезда Востока», придавленная стаканом крупного табака, цветом напоминавшего сухой укроп на канувшем в небытие подоконнике Берла.

– Махру толкает, – так же непонятно пояснил Шимон и снова больно потыкал локтем в бок: – Зырь, зырь!..

Ничего не понять. Но собравшаяся публика явно ждала какого-то номера, и он начался. Пришлепнув газету тапком, фокусник оторвал от нее на диво аккуратный квадрат, шепоткой просыпал по нему мохнатую табачную дорожку, осторожно поднес к губам, вдохновенным движением провел языком по краю и с каким-то неуловимым использованием колена свернул трубочку; затем забросил ее в рот, загнул уголок и – кто-то из поклонников уже тянул ему зажженную спичку.

Виртуоз блаженно затаился, публика заплодировала. Эта газетная трубочка, понял Бенци, и звалась козьей ножкой.

– Ему в госпитале, кто не курит, собирают доптабак, а на выручку он берет на всю шоблу первача. Знаешь, зачем у галифе эти пузыри по бокам? В один суешь одну бутылку, в другой другую. Слышал песню: три танкиста выпили по триста, а водитель выпил восемьсот? Ты запоминай, пока все на него плят-ся, и надо брать кассу. Учись, пока я жив!

Шимон полосатой молнией метнулся к «тандыру» и с лепешкой в руке молниеносно нырнул в... Но табачный торговец, почти не меняя своей уютной по-

зы, чуть привстал с ведра, протянул ногу в тапке, и – Шимон уже лежал лицом в глиняной пыли, а торговец стоял коленом на его тельняшке, завернув за спину полосатую руку с лепешкой. Бенци и через полвека казалось, что он и здесь продолжал мечтательно попыхивать своей газетной трубочкой.

Еще мгновение – и толпа сомкнулась вокруг них.

Может быть, нужно было броситься на эти спины, закричать, что это его брат, что он больше не будет?.. Кто знает, может, и сработало бы... Но Бенци в ту пору ощущал людей такой же неодушевленной стихией, как жара, ветер, пыль: не станешь ведь умолять солнце, чтобы оно не жгло, не станешь просить ветер и пыль, чтобы они не набивались под веки!..

Да и раздумывать было некогда – толпу уже расталкивала стихия, еще более неумолимая, – военный патруль с винтовками через плечо.

Покрытый глиняной пылью орлиный нос Шимона горел арбузной ссадной, две струйки помидорной крови бежали из него по глиняным руслам на разодранную пыльную тельняшку; пилотки не было, в рассыпавшийся казацкий чуб пыль была втерта так, словно об него вытирали ноги. Бледный, как мертвец, затравленно озираясь, Шимон клятвенно твердил срывающимся голосом: сука буду, не брал, глаз даю, не брал... Но конвой, как и положено стихиям, оставался глух и нем.

На Бенци Шимон даже не глянул, и Бенци тоже не пытался посылать Шимону какие-то сигналы – в нем уже давно отмерли все не приносящие пользы порывы. Ужаснуть его что-либо, не представляющее непосредственной опасности, тоже не могло, но Бенциону Шамиру теперь казалось, что самым ужасным он ощущал общую радостную приподнятость – все обменивались радостными впечатлениями, словно где-нибудь в лесу завалили матерого кабана.

Главным героем, естественно, был тот, кто свалил зверя. Старый разведчик, старый разведчик, одобрительно повторяли все друг другу, хотя победитель Шимона был совсем не старый – он и из детских бинтов своих поглядывал с совершенно детской гордостью.

– Чего смотришь, пацан? – что-то углядел он в глазах Бенци. – Этих шакалов только так и учить! По законам военного времени! Хочешь докурить? – протянул он Бенци свою козью ножку, но Бенци замотал головой с невольным ужасом: его ужаснуло, догадывался Бенцион Шамир, подступающее понимание того, что мучить и убивать друг друга могут не только какие-то чудовища, но и самые что ни на есть милые люди. Смотря какая сказка ими овладеет, тысячи раз повторял Бенцион Шамир. А вообще-то людей превращает в чудовищ чаще всего страх друг перед другом.

– Не хошь, как хошь, налетай, братва, подешевело, турецкий табачок, сорт «Казбек»!

Старый разведчик на все просьбы отвечал прибаутками: просили добавить – он отвечал: «Прокурор добавит!», просили попробовать – предостерегал: «Одна попробовала – семерых родила».

Жизнь сомкнулась над Шимоном даже не злорадным торжеством – жизнерадостным забвением.

Исчезновение Шимона мама тоже приняла на удивление легко: в последнее время она могла говорить только о том, что им в ближайшие недели предстоит голодная смерть. И говорила она об этом без всяких признаков отчаяния, а с какой-то хозяйственной хлопотливостью – непременно прибавляя: ну, за Шимона беспокоиться нечего, он теперь на государственном обеспечении. И так же неизменно задерживала взгляд на Бенци, как бы примеривая и к нему ту же участь. Однако ее тяжелый вздох каждый раз показывал, что она снова убедилась в его полной непригодности для какого бы то ни было карьерного роста.

И, стало быть, в его обреченности. Но походило на то, что эта мысль уже не могла ужаснуть ее намного сильнее, чем самого Бенци, в котором она пробуждала лишь чисто уместное понимание, что надо бы что-то предпринять. Для начала хотя бы перепугаться.

Однако перепугаться никак не удавалось – во время дезинфекций Бенци разве что с некоторым любопытством оглядывал свои голые ноги, все больше и больше напоминающие куриные, свой голый живот, все больше и больше напоминающий живот беременной тетки, которая постоянно попадалась ему на глаза в вошебойке, не проводившей особых границ между полами, как не вдавались в подобные мелочи и сами вши. Пожалуй, это ее не по дням, а по неделям растущий купол, белый с темными подпалинами, был единственным предметом, вызывавшим у него сколько-нибудь осознанную брезгливость: без всего остального – без вшей, без общего сортира – обойтись было нельзя, а без этого можно, это было выбрано по доброй воле.

Бенцион Шамир решительно не мог вспомнить, какой безвестный гений дал матери этот спасительный совет, для ее собственного хитроумия явно недоступный: она привела его в детский дом и объявила приблудившимся сиротой, кормить которого некому – что хотите, то с ним и делайте. И поспешно удалась, прежде чем ей успели что-то ответить, так что директрисе пришлось бы именно что гнать его на глиняную улицу на глазах у доброго товарища Сталина, поднявшего на руки девочку-нацменку.

Вряд ли это могло быть на самом деле, но директриса, холодно блистающая плотной алюминиевой сединой, теперь представлялась Бенциону Шамиру затянутой в портупею с брезентовым ремнем, на пряжке которого была выдавлена пятиконечная звезда.

Заслышав ее чеканный шаг, он заранее вытягивался в струнку у беленой стены и покорно подставлял свою тюремную стрижку в арбузных пятнах зелени для беглого, но внимательного просмотра. Затем она заглядывала в уши, за серый шиворот, и, только сделавшись совсем взрослым, Бенци понял, что это был не очередной урок покорности, а забота: директриса самоотверженно боролась и кое-как справлялась и с педикулезом, и с голодом. Однако Бенци не мог разделить общего восторга, когда им на обед в алюминиевые миски шлепнули по ложке той самой свинины, которой так долго запугивали клерикалы. Это была шефская армейская тушенка, и Бенци, хотя и с содроганием, но беспрекословно проглотил ее вместе с перловой кашей, именуемой шрапнелью, – кто он был такой, чтобы хоть в чем-то иметь свой вкус! В нем уже давно не

осталось даже искорки достоинства – веры в ту сказку, которая только и делает человека человеком: веры в то, что он чем-то отличается от переполняющего мир нагромождения неодушевленных предметов, что он создан для чего-то более высокого, нежели битва за пропитание и ловля вшей, что с ним нельзя поступать так же, как с курицей, которую режут к обеду, или с мокрицей, которую брезгливо прихлопывают подошвой: мир убедительнейшим образом продемонстрировал ему, что с ним можно делать ВСЕ.

Поэтому он никогда не смел поднять глаза на соседей по огромной серой спальне, набитой канувшими в небытие койками Берла, по пропахшей капустой столовой, по разновозрастному классу – маячили в памяти только какие-то серые силуэты, расцвеченные исключительно пятнами зеленки да нашейными красными галстуками (какой ради единообразия повязали и ему). Хотя это были в подавляющем большинстве просто несчастные дети, так же как и он, потерявшие семью в столкновении грандиозных сказок века электричества и квантовой механики. Правда, среди них постоянно рыскали несколько уличных крысят, обещавших в будущем сделаться по-настоящему опасными гиенами. Особенный трепет ему внушал белесый Хиляниченко по кличке Хиля, как и сам Бенци, покрытый фурункулами, посвечивающими из-под зеленки своими гнойными кратерами. Хиля был старше прочих, белесая глиста в сером, всегда разговаривавшая как бы через неохоту, скрипучим потягивающимся голосом и отнимавшая у младших припасенные корочки, словно бы делая им некое презрительное одолжение. Любимым развлечением у него было, тяготясь разговаривая с кем-то через плечо, внезапно сделать как бы взволнованный жест, чтоб как бы нечаянно захватить кому-нибудь по физиономии тыльной стороной ладони, покрытой серыми цыпками. Все у него было «как бы». Как бы в рассеянности он любил душить кого-нибудь под мышкой, а однажды Бенци сквозь слезы, еще загодя выжатые из глаз пронзительной вонью вечношипящей хлорной извести, увидел в многодырном глиняном сортире, как неотличимый от прочих, испятнанный зеленой сосунок сосет у Хили его страшный серый член, и Бенци, словно ожегшись, шарахнулся назад, чтобы и его не заставили делать то же самое. Он понимал, что отказаться не посмеет – кто он такой, чтобы от чего-то отказываться...

На Бенцино счастье Хиля его не замечал, как инфузорию слишком уж микроскопическую: Бенци и учился хуже всех, вернее сказать, даже вовсе не учился, а только делал вид, будто пытается читать чужие страшные книги, написанные чужими страшными буквами, будто пытается писать эти страшные буквы в чужих страшных тетрадах в чужую страшную клетку под чужими страшными картинками на обложке. «Как ныне сбирается вещий Олег», – гласила бессмыслица под одним неизвестно к чему относящимся рисунком...

Бенци даже и не пробовал что-то понимать, ибо понимал слишком хорошо, что в новой жизни все это *больше никогда и никому не понадобится*, и, совсем еще недавно почти вундеркинд, всех восхищавший хваткой памятью и быстроймышленостью, он наверняка оставил по себе тусклый и кратковременный след как умственно отсталый польский беспризорник-цыганенок, временно перекрещенный в Веню.

Этот образ больше всего и устраивал Бенци: лучше всего быть незаметным, безвредным моллюском, когда с дерзким прищуром из-под золотистой косой челки, невероятно аристократической среди испятнанных зеленкой тюремных ежиков, обдавая ветром распахнутой солдатской шинели, гордо расправив цыплячью грудь, казавшуюся тогда несокрушимой, как форштевень дредноута, проносился мимо Витька Гонов по кличке Гончик, оставляя за собой восторженный шепот или потупленные косые взгляды. В присутствии Гончика даже Хиля старался на всякий случай никого не душить, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. У них даже финки были разные – у Хиля какой-то неопрятный обрезок заточенной пилы с обмотанной серой изоляционной лентой хватательной частью, а у Гончика сияющий обоюдоострый клинок мини-шпага с многослойной рукояткой, ошарашивающе праздничной и разноцветной, словно фруктовый ряд на базаре. Пластинки, из которых набиралась рукоятка, назывались «пластиглас».

Интересно, что девочек он совсем не помнил, ибо опасности они не представляли.

Бенци и впрямь сделался чем-то вроде улитки, а потому и не помнил ничего, кроме дорожек, по которым он переползал, стараясь не сворачивать попусту, из спальни в класс, из класса в столовую. И все же он бессознательно тянулся к тем, кто еще помнил его человеком, кто хоть как-то выделял его из того коловращения неодушевленных тел, которое и было подлинной жизнью.

С матерью ему встречаться было нельзя, чтобы не догадались об их родстве, – разве что совсем редко и на бегу. Но вскоре даже и это сделалось почти невозможным, ибо, освободившись от Бенци, мама, словно избавившись от балласта, стремительно взлетела в высший свет районного центра. Сначала кто-то из партийно-торговой знати пригласил ее давать уроки немецкого языка на черный день, намереваясь, если пожелает злая судьба, сделаться фронтовым переводчиком, а если судьба окажется совсем уж свирепой, упростить работу немецких переводчиков. Мама провела дело с таким успехом, что даже вошла в кратковременную моду, пока какой-то добрый человек из райотдела энкаведе не посоветовал как можно скорее прекратить прогерманскую пропаганду.

Однако за это время мама успела обзавестись знакомствами, отмылась, чуточку отъелась, переоделась в дареное платье и, несмотря на внезапно проступившую путаницу седины, сделалась почти неотличимой от немногочисленных светских дам Партиябада. Она перешла на уроки музыки и французского и даже обзавелась собственным топчаном в коридоре за занавеской в доме, настолько изысканном, что Бенци достаточно было заглянуть туда одним глазком, чтобы понять все неприличие своего здесь появления. Самое большее, что удавалось маме, – изредка с оглядкой подловить его за оградой детдома (мама вполне серьезно верила, что за обман ее посадят в тюрьму, – а впрочем, кто их и в самом деле знает...) и незаметно сунуть два-три странных чужих печеньца.

Так что последним зеркалом, в котором Бенци еще напоминал себе человека, оставался лишь его старый друг Берл.

Поскольку это явно не сулило никакой пользы, Бенци и в голову не пришло поинтересоваться, кому принадлежали козы и пара верблюдов, за которыми был приставлен наблюдать Берл. Бенци было достаточно знать, что в глиняном лабиринте, ведущем к Берлу, каждый раз нужно было сворачивать в ту сторону, откуда во время дождя сбегает ручьи. Поэтому в сухую погоду он и не пытался разыскивать старого друга, но, к счастью, дождь в эту зиму, часто смешанный с раскисшим снегом, принимался молотить по головам по несколько раз в день, а мокрые ноги для Бенци теперь были столь же естественным ощущением, как еще недавно зуд во всем теле. В дождь Берл вместе со своими козами забирался под длинный навес на краю глиняного ущелья, пугающее величественного для выходящего по его дну ручья, именуемого Арык, – который во время ливней, однако, впечатляюще вздувал свои грозные грязные мускулы; чтобы согреться, Берл забивался в козье стадо, нервно переступающее своими козыми ножками, и, если бы не красные горящие глаза, его, кудлатого-бородатого, вполне можно было принять за безрогого вожака козьего стада, а проще говоря – дикого козла.

Верблюды же до навеса не унижались, продолжая надменно взирать поверх всего земного, которое они лишь в исключительных случаях достаивали несмываемого плевка, в ожидании таких случаев свисающего с вечно жующих губ гроздью зеленой пены. Верблюды настолько не желали замечать, куда ступают, что Бенци в первую встречу даже спросил Берла, не боится ли он своих горбатых подопечных.

– Зачем мне их бояться? – азартно фыркнул Берл. – Я горбатый, и они горбатые! Пастырь должен быть похож на свою паству! Вернулись дни Авраама и стад его. Но ты должен понять, что верблюд в Азии – важное транспортное средство! Я имею полное право считать себя работником тыла. Кулющим продовольственную базу фронта.

Теперь Берл читал еще более прокуренную и ворсистую, чем «Биробиджанская звезда», районную газету «Звезда Востока», черное имя которой подсвечивалось черной же пятиконечной звездой, испускавшей коротенькие черные лучики. Звезда испускала свой черный свет с макушки острой башни, наверняка кремлевской, хотя настоящие кремлевские звезды явно светили с пада, а не с востока.

Считая себя работником транспорта, Берл, тем не менее, не расставался и со своей верной чугунной ногой, накрепко усвоив жалобу какого-то биробиджанского рабкора на то, что рабочему человеку трудно подбить каблук.

– Осталось перетерпеть последнюю зиму, – напористо внушал он Бенци. – Весной нас обязательно отправят в Биробиджан. Зимы там суровые, всех сразу не разместить. А за лето мы сами выстроим себе дома. Только бы здоровье не подвело...

Он озабоченно изучал последнюю отхаркнутую звезду и удовлетворенно констатировал, что она заметно светлее предыдущей: та была, как спелый арбуз, а эта уже – как неспелый. Зато рука, окончательно превратившаяся в фиолетовую картофелину с пятью отростками, никак не желала светлеть. Ее

бросало из лилового в малиновый, из малинового в пурпурный, а однажды бывшая штанина открыла самую настоящую черноту, непроглядную, как ночное полярное небо, на котором недоставало лишь оскаленных пробоев во всемирную пылающую топку. И Берл впервые за их бесконечные годы знакомства не пытался хорохориться, но просто сидел, выпатив горб и бессильно свесив кудлатую грязно-седую голову, заговаривался и трясся всем своим деформированным телом.

Однако на другой же день после срочной ампутации он, едва шевеля языком, выразил чувство гордости от того, что он лежит в одной палате с настоящими ранеными и руку, в сущности, он тоже потерял на фронте – трудовом. Вся его кудлатость была обрита, впервые открывая для обозрения его заостренный череп, на котором оставили вмятины огромные пальцы бросившего изделие на полдороге нетерпеливого создателя. Берл выглядел неправдоподобно помолодевшим, только нечеловечески белым, белым даже не как мертвец – те-то все были чумазые, – а как... Впрочем, может быть, так и должен выглядеть приличный покойник?

Смерть Берла вызывала у Бенциона Шамира, пожалуй, самые серьезные сомнения: когда персонажи последовательно умирают один за другим, это в конце концов начинает производить комическое впечатление. Как в том еврейском анекдоте: молодой человек женится на старшей из трех сестер – Хая; Хая умирает. Погоревав, он женится на следующей – Циле; Цили тоже умирает. Тогда он берет последнюю, Риву, – и через месяц снова возвращается к ее родителям и разводит руками: вы будете смеяться, но Рива тоже умерла.

Спору нет, смешно. Но что же делать, если все именно так и было?

Что же делать, если на четвертый день белоснежный Берл, погрузив свой горб меж двух кип сплюснутых подушек, еле слышно посетовал, что, подобно Моисею, умирает на рубеже Земли обетованной, а затем извлек из-под свекольной дерюжки одеяла свой недожеванный каким-то чудовищем фамильный портсигар старинного серебра и попросил своего единственного друга, когда тот наконец попадет в Красный Сион, сдать портсигар в фонд поддержки биробиджанских вдов и сирот, а фотографию его семьи (Берл то и дело заговаривался) положить у подножия памятника товарищу Сталину как дар благодарных евреев-трудящихся всего мира вождю мирового пролетариата.

Самая же последняя просьба Берла была обращена к починявшему оконный шпингалет хромоту слесарю, поскольку именно он оказался ближайшим человеком в белом халате. Берл просил, чтобы его погребли там же, где хоронили всех, кто умер от ран, и поставили на его могиле такую же, как у всех, пирамидку с красной звездой на макушке – он уже давно себе такую присмотрел. Растерянный слесарь обещал и обещание свое исполнил.

Но это случилось лишь на следующий день, а в тот вечер, когда ничего не соображающий Бенци с портсигаром в руках добрался до детского дома, в темном коридоре его встретил Хилия и, втолкнув его в пустую темную столовую (на ночь администрация вывинчивала лампочки, остающиеся вне зоны контроля), вырвал портсигар и закатил такую профилактическую затрещину, что,

когда Бенци сумел подняться на ноги, он уже окончательно не мог ощущать ничего, кроме заполнившего всю вселенную электрического звона.

Однако какой-то механизм в нем продолжал все-таки действовать. Он перевалился через раздаточное окошко в темную кухню, на цинковом столе нашарил полусъеденный временем нож с мокрой деревянной рукояткой, сел у изыскающей плиты и острым, как кремлевские башни, кончиком, изо всех сил зажмурившись, сделал как можно более короткий и глубокий надрез.

Не сдержал сдавленного мычания, которое сквозь поднебесный звон и сам едва расслышал, и принялся ждать.

Однако время тянулось невыносимо медленно, уже через минуту ему показалось, что вот-вот забрезжит утро.

Новый надрез, новое мычание.

И снова невыносимое ожидание.

Каждые две секунды он пробовал рукой – какая-то мокрость усиливалась, уже текло за шиворот, но ему требовалось быстрее, быстрее...

И он, дыша пареной капустой, резал и мычал, резал и мычал.

Но только с одной стороны, чтоб было как у папы.

– Эй, это кто тут?.. Ты чего тут делаешь?..

Вспышка осветила проснувшуюся в раздаточное окно голову, и если бы Бенци был способен чему-то изумляться, он бы обомлел: это был Шимон. Только казачий чуб его в отвесах мечущегося пламени был совсем золотой.

Бенци никогда не осмеливался поднять взгляд на Гончика даже сбоку, а потому не подозревал, что он такой же горбоносый, как Шимон.

Пламя погасло, послышался тигриный прыжок. Затем пламя снова вспыхнуло у самых его глаз.

– Нниххерра себе!.. Ты чего это с собой сделал? Какой портсигар?.. Ты чего – из-за портсигара?! Вообще, что ли, охренел?! Что за портсигар-то?.. Кого-кого? Это батю твоего, что ли, так звать? Ну, понятно... Только зачем себя-то пороть?

Меняя спички, Гончик какой-то кухонной тряпкой обмотал Бенци шею и выпихнул его обратно в раздаточное окошко. По-прежнему ничего не соображая, Бенци лишь старался не отстать от мотающихся черных крыльев шинели своего спасителя.

От света, ударившего в лицо, Бенци снова качнулся, как от затрещины. Хиля праздновал удачу – Бенци в первый и последний раз видел его таким веселым: забыв о своей всегдашней тоскливой скрипучести, он припрыгивал задницей на койке, шлепая себя по ляжкам в такт частушке:

Если бы нам Гитлера поймать, да-да,
Знали б мы, его как наказать, да-да,
Привязали б ж...й к пушке,
Х...м били по макушке,
Чтобы знал, как с нами воевать, да-да.

Запавшие в его память песенки, анекдоты, загадки о немцах вообще и о

Гитлере в частности у Бенциона Шамира не оставляли сомнений, что всенародная ненависть к Гитлеру не была пропагандистской имитацией. Но, вспоминая Хилину частушку, он каждый раз дивился, насколько мягкую кару для него изыскало народное воображение.

Гончик стал перед Хилей, неумолимый, как судьба.

– Портсигар, – после подобающей паузы распорядился он и постучал указательным пальцем по раскрытой ладони: – Ложи об это место.

Хиля немедленно вернулся в свою тоскливую скрипучесть.

– Да на хх... На хх.. он мне обоср..ся, этот портсигар х...в...

Протягивая Гончику жеваное серебро, он даже отвернулся, показывая, до чего ему осточертели все эти портсигары.

– Твой? – повернулся к Бенци Гончик. – Не хватает чего-то? Какой фотографии, батиной? Ну ты, хер эмалированный, гони фотографию!

– Да нахх.. мне его фотка, – томился скрипучей тоской Хиля. – Я ее сразу в помойный бак скинул... Да шас, сгоняем кого-нибудь, по-шустрому... Ты, сьявка, вот тебе спичары, чтоб через минуту тут был, ты позл?... С фоткой!

– Не бзди, найдем, – ласково склонился к Бенци Гончик, но Бенци по-прежнему не смел поднять глаз.

Мир уже открыл ему свое лицо, и стереть это знание теперь было невозможно самыми щедрыми подачками.

Тем более что фотография восстала из небытия обмакнутой в какой-то понос – посланник держал ее за чистый уголок, словно дохлую крысу.

– Гороховый суп, – определил Гончик и пригладелся: – Смотри, суки, что делают – они масло себе в суп ложат! А нам и понюхать не дают!

Он поднес за запястье руку посланника поближе к своему шимоновскому носу, внюхался.

– Подсолнечное... Хорошо бы сейчас с лучком!

И подбил справедливый итог.

– Ладно, Венчик, сам отмоешь, подсушишь... Это что, все твоя родня?... И все цыгане?... Ты только не обижайся... Ладно, боль-мень видать, а прополошешь – будет, как раньше.

И действительно, в конце концов стало видно, почти как раньше. То есть очень плохо. И покоробилась фотография ненамного сильнее прежнего. А с масляным пятном так даже стало, вроде, и почетче.

Так что от этого приключения Бенци, можно сказать, даже выиграл: под высоким покровительством Гончика бояться ему стало почти что нечего. Однако он все равно ходил, не поднимая глаз, – мир уже показал ему, на что способен, и поделаться с этим было ничего нельзя. Похоже, даже Гончику история Бенциного спасения доставила гораздо больше удовольствия.

– Слышу, кто-то в темноте мычит, – при каждой встрече со смехом начинал он рассказывать Бенци. – Я даже забздел – что, думаю, за х..ня?..

Бенци старательно растягивал губы, усиленно кивал, но сам он не видел в этом ничего смешного. Как, впрочем, и во всем, что когда-либо было, есть и будет на этом свете.

Когда Бенци покидал детский дом, Гончик долго тряс его руку, и Бенци тоже старался по мере сил трясти мужественную кисть своего покровителя, и ему наконец-то стало немножко стыдно, оттого что вместо благодарности и грусти расставания на душе его недвижно лежало каменное равнодушие и тоска.

Если в русском детском доме для поддержания иллюзии о его цыганском происхождении Бенци было достаточно помалкивать, то в приюте для польских детей от него потребовались серьезные ухищрения: здесь умели отличать евреев от цыган. Наиболее обостренная бдительность требовалась во время общих помывок: Бенци всегда входил последним и уходил первым, целомудренно прикрываясь мочалкой (которые, кстати сказать, здесь росли в огороде подобно огурцам, и каждый мог, имея кастрюлю, выварить из них запутанный пружинящий остов, внутри которого довольно часто еще виднелись семена).

Впоследствии Бенцион Шамир в воспоминаниях так называемых детей Тегерана не раз читал о том, что они подвергались разным антисемитским унижениям, однако самого его в ту пору унижить было практически невозможно: он воспринимал окружающих его людей точно так же, как животных, а потому глупо было обижаться на то, что одна собака кусачая, а другая добродушная – нужно только кусачих обходить, а добродушным, пожалуй, иной раз можно и позволить себя обнюхать. Но уж маме-то мелькать у поезда, махать рукой, обниматься на прощанье ни в коем случае не следовало, чтобы не погубить все дело.

Унижения – их, казалось Шамиру, привносил взгляд из благополучного будущего. В польском детдоме он познакомился с абсолютно ассимилированным еврейским мальчиком, необрезанным, носившим маскировки ради крестик на шее, темно-русый и совершенно неотличимый от поляка. Однако Бенци он раскусил и, улучив минуту, время от времени заводил чрезвычайно напрягавшие Бенци доверительные разговоры. Этот мальчик рассказал, что, когда немцы заняли его местечко, а он, гонимый голодом, наконец-то решился выйти во двор, там сидел веселый немецкий солдат, аппетитно отрезавший краюху хлеба. Поймав голодный взгляд мальчишки, он весело протянул ему отрезанный кус, а потом указал на им же, может быть, и оставленную кучу свежего парного дерьма. С веселой улыбкой он показал благодетельствованному, что от него требуется: обмакнуть хлеб в дерьмо, а потом съесть. Мальчик не поторопился с исполнением приказа, и тогда немец уже на полном серьезе направил на него автомат и передернул затвор. И мальчик обмакнул и съел. И чем же, скажите на милость, можно было после этого его унижить? Выкриком? Тычком?

Бенцион Шамир столько всего перечитал про армию Андерса, чьим именем в освобожденной от власти Советов Варшаве была названа одна из центральных магистралей, что теперь испытывал серьезное опасение как-нибудь нечаянно выдать прочитанное за лично пережитое. Разумеется, он не мог присутствовать при разговоре едва не изгнанного из своей столицы на Волгу вождя советского народа с изгнанным из своей столицы на Темзу вождем польского народа при участии будущего национального героя генерала Андерса, сколачивающего новую армию из польских граждан, подобно племени иудей-

скому рассеянных по лику Страны Советов, но у него было полное впечатление, что он собственными глазами прозаика видел интерьер этого кабинета, собственными ушами драматурга слышал этот исторический диалог.

Андерс: Я полагаю, что в моем распоряжении окажется около ста пятидесяти тысяч человек. Но среди них много евреев, не желающих служить в армии.

Сталин: Евреи плохие солдаты.

Сикорский: Среди евреев, вступивших в армию, много торговцев с черного рынка, контрабандистов. Они никогда не будут хорошими солдатами. В польской армии такие люди мне не нужны.

Андерс: Двести пятьдесят евреев дезертировали из военного лагеря в Бузулуке, когда поступили ошибочные сведения о бомбардировке Куйбышева. Более пятидесяти евреев дезертировали из пятой дивизии перед раздачей оружия.

Сталин: Да, евреи плохие солдаты.

Бенцион Шамир слушал этот разговор и не обижался. Если судить по нему самому, каким он был в ту пору, от Москвы до самых до окраин было не сыскать такой забитой, шелудивой дворняжки, которая могла бы посостязаться с ним в трусливости. Все люди, без единого исключения, превращаются в животных, если отнять у них сказку, которая их воодушевляет, и лишь редкие одиночки становятся бесстрашными волками, готовыми рвать и своих, и чужих, – остальные превращаются в шакалов да облезлых шавок, шарахающихся от каждого чиха и способных огрызнуться лишь на проверенно более беззащитных.

Поэтому даже о самых мерзких эпизодах своей тегеранской одиссеи, пока еврейских детей не отделили от поляков, Бенцион Шамир не мог с уверенностью сказать, что это было, – проявления идейного антисемитизма или тьякканье злобных шавок, выискивающих кого-нибудь, совсем уж беззубого. Сам он тоже лишь читал и слышал о том, как доблестные польские солдаты выбрасывали из поезда, идущего через пустыню в прикаспийский Красноводск, выявленных евреев, однако ничего неправдоподобного в таких историях не усматривал, равно как не усматривал никакого сарказма в выражении «доблестные польские солдаты»: вполне может быть, что кто-то из этих самых мерзких антисемитов пал смертью храбрых где-нибудь под Монте-Кассино. Один и тот же человек может стать и мерзавцем, и героем – смотря по тому, какая сказка им овладеет. Их воспитатель в тегеранском сиротском доме, прошедший сентябрьский кошмар тридцать девятого, когда польская пехота и кавалерия пытались стать на пути немецких танков, под огнем выволакивал на себе смертельно раненного поляка, и последние слова, которые тот выплевывал вместе с кровью, были проклятия грязным жидам, умеющим устраиваться в тылу.

По-настоящему, давно понял Бенцион Шамир, ненавидеть людей можно только за одно – за то, что они люди. Никто из людей не представляет собой ни малейшей ценности, не обладает ни малейшими достоинствами: ценность представляют только те сказки, которым они служат, только эти сказки рождают и доблесть, и гнусность.

А в каких обстоятельствах полякам приходилось отстаивать свою сказку – уже после падения советской власти были опубликованы донесения агентов

Коминтерна, которыми советская контрразведка наспиговала нарождающуюся польскую армию: соединения Андерса почти целиком состоят из антисоветчиков и буржуазных националистов, кои перековке уже не подлежат, а могут быть только ликвидированы – такие вот рекомендации относительно своих польских товарищей по оружию получало советское правительство от их соплеменников, живущих другими сказками. Сказки с людьми не церемонятся – ни с русскими, ни с евреями, ни с поляками.

А надо ли живописать уже столько раз описанный путь от советского Красноводска до иранского Пехлеви, от Пехлеви до Тегерана, надо ли изображать палаточный дом для еврейских сирот в Тегеране, где впервые появились посланцы папиной Эрец-Исраэль – впервые реально забрезжившей будущей родины? В тегеранском лагере хватало и грызни, и воровства, и припрятывания всего на свете (Бенци даже в уборной не расставался с портсигаром Берла), но там он впервые за целую вечность испытал совершенно невообразимое чувство: для каких-то уверенных взрослых людей он является значительной персоной – то есть имеет какое-то значение, как он себя чувствует, что он любит, что знает, как держится. Ему перестали казаться нелепой бессмыслицей арифметика и география, иврит и спортивные игры, чтение вслух о том, чего не было, и выпуск стенной газеты о том, что все равно уже случилось. Именно там он вдруг обратил внимание, что его солагерники делятся на мальчиков и девочек и что девочки чем-то интереснее мальчиков. И вновь появившиеся в его жизни шестиконечные звезды, которыми для придания торжественности был многократно украшен их временный лагерь, на многие годы связались у него с воспоминанием о воскресающей душе – о внимании к бесполезному, растворяющему тюремные створки, где издыхала свернувшаяся в спору, забытая и забитая душа.

Об этом Бенциону Шамиру тоже было неловко упоминать – слишком уж прямолинейной сионистской пропагандой это выглядело. Но что делать, если именно так все и было?.. Что делать, если Бенци на собственной оживающей душе убедился, что это вовсе не пустые слова – Родина-мать зовет! Если только, разумеется, она действительно родина, то есть чарующая сказка, посылающая тебе знаки любви через моря и пустыни.

Об этом Бенцион Шамир мог бы рассказать немало, если бы только осмелился, если бы не побоялся показаться смешным либо фальшивым.

А вот о переезде через Каспийское море – что он мог прибавить к чужим описаниям, если мир на миг приоткрылся ему лишь в Красноводске, ныне Туркменбаши, – ударили в глаза по-настоящему, без метафор, зеленая вода и по-настоящему розовые горы, похожие на исполинские ядра грецкого ореха. Какие подробности он может рассказать, если в открытом море он всю дорогу старался не поднимать глаз, чтобы не привлечь к себе чей-нибудь оскал? На пароходе он оказался рядом с малышом, который тоже не сводил глаз с палубы, но не тупо, как Бенци, а очень внимательно, явно что-то высматривая. Наконец кто-то поинтересовался, что он там выискивает, и мальчик простодушно поведал, что проверяет, нет ли здесь мышей: мама когда-то рассказала ему, что ду-

ши умерших превращаются в мышей, и теперь он ни на миг не прекращает поиски умершей мамы, умершего папы, умершей старшей сестренки...

– Жид! – определил какой-то знаток народных поверий, и мальчика тут же законопатили куда-то в трюм, чтобы в качестве нарушителя неких международных соглашений на берегу без промедления передать в руки персидских властей.

К счастью, польский представитель в Пехлеви сжалился и сумел отстоять этого мышиноного охотника, так что он умер от гнойного аппендицита только в Карачи, куда их всех переправили морем, когда Ирак и Турция с Сирией по серьезным государственным соображениям отказались пропустить через свою территорию несколько сотен сверхплановых палестинских колонистов.

Надо, впрочем, признать этот шаг вполне дальновидным: при обходном пути количество нежелательных переселенцев заметно сократилось.

Когда Бенцион Шамир прослеживал по карте их тогдашний маршрут, ему начинало казаться, что не одни только стихии – что само время восстало против них. Персидский залив, Оманский залив (как всякого нормального мальчишку, его уже понемножку начали снова волновать эти имена) – кажется, за четыре-пять дней уж как-нибудь можно доползти – почему же они тащились так долго, что успели заново обзавестись вшами, чесоткой?.. Нечем дышать, нечем и негде мыться – все это было, как всегда, только почему так долго?..

Бенци, однако, все равно не прекращал при каждом удобном случае бросать взгляд на одну черноглазую девочку, до бесполезной боли в груди напоминавшую ему Рахиль, – бросал и мгновенно отводил глаза, и все же почти каждый раз успевал вздрогнуть, столкнувшись с ней глазами. Как она была одета, он не замечал, уже давно привыкнув считать всяческие обноски нормальной одеждой, но он не мог не обратить внимание, что она никогда не чешется при всех (чтобы она вовсе не чесалась – такое допустить было невозможно). Он сам тоже терпел, покуда хватало сил, и только когда зуд становился непереносимым, забирался в какой-нибудь укромный уголок и со сладкой мукой драл себя когтями, где мог достать.

А когда перед прибытием в порт обрушился страшный шторм и все валялись вповалку, и блевали куда придется, потому что выходить на палубу было строжайше запрещено – могло смыть, то Бенци с новообретенной Рахилью долго держался среди самых стойких. Но когда он наконец почувствовал, что извержение – дело ближайшей минуты, он ринулся по уходящей из-под ног гремучей заблеванной лестнице на волю, на открытый воздух: лучше смерть, чем позор! Из последних сил он повернул ручку, оттолкнул сопротивлявшуюся, словно живая, стальную дверь и – и был повержен не только в трепет, но и в восторг: беснующиеся косматые валы были не просто ужасными, но невероятно праздничными – зеленая их вода просвечивалась насквозь ликующим солнцем, – и тут мощный гребень ударил через борт, стремительно покатился к его ногам... Бенци дернулся было поскорее захлопнуть дверь, но, собрав всю волю, перенес теплый шипучий удар по коленям и еще успел послать вслед откатывающемуся врагу наконец-то вырвавшийся на волю фонтан.

Путь от Карачи до Адена и далее по Красному морю до Суэца запомнился

не столько изнурительной жарой, сколько дизентерией: все гальюны были намертво оккупированы, у каждого корчилась длиннейшая очередь; то и дело кто-нибудь не выдерживал и устремлялся на палубу, но успевали отнюдь не все, многие до конца плавания так и продолжали исходить зловонием.

Бенци повезло – он добежал. Палуба переливалась всеми оттенками слизистой партиябадской глины, по которой расходились арбузные разводы. Но некоторые пятна смотрелись нежным напылением, словно бы исполненным каким-то тонким пульверизатором. Над одним из таких пятен он увидел свою новую Рахиль, уткнувшуюся антрацитовым колтуном в колени и придерживающую на весу подол серого платья, который все равно уже был обмакнут в разлитый по палубе гороховый суп.

Предаваться впечатлениям, однако, не оставалось ни мгновения – промедление было смерти подобно: Бенци едва успел сорвать штаны, но ударившая струя все же ухитрилась обдать его пятки.

К счастью, любой позор смывается кровью: через несколько часов Бенци уже пускал задницей кровавые пузыри. Матросы, работая у помпы, как на пожаре, время от времени смывали за борт всю эту палитру, но она тут же восстанавливалась вновь. На этом фоне пересечение минного поля, когда всю ночь не снимали спасательные пояса, прошло почти незамеченным. При подходе к Суэцкому порту Бенци и сам себе напоминал скелет. И все равно он на всю жизнь запомнил, что родина действительно встретила его со слезами на глазах: у обожженных, потных посланцев Эрец-Исраэль едва удерживались непролившиеся слезы.

А у него в тот миг в организме уже не оставалось ни единой свободной капли влаги (зато пот сжигал все потертости, подобно серной кислоте). Все те же, кто иссох еще в море, столь гостеприимно раскрывшемся для евреев во время предыдущего исхода, в торжестве не участвовали. Холодильника на судне не было, поэтому умерших упрятывали в мешки из-под риса, из-под макарон, добавляли по вкусу балласта и с минимальными церемониями отправляли в Красное лазурное море, гостеприимно расступавшееся и тут же смыкавшееся над их головой, словно веселый базар над Шимоном.

В мешке из-под сахара туда же отправилась и ненадолго обретенная новая Рахиль.

Поэтому в чистом, проветренном госпитале Бенци долго лежал без движения, ощущая лишь, как затягиваются палящие опрелости, и вскакивая исключительно в уборную. Однако английские медикаменты, диетические отвары и ласковые клизмы сделали свое дело, и Бенци с последней партией тегеранских сирот в неправдоподобно благоустроенном вагоне наконец-то пересек границу Земли обетованной. Увидев пограничный столб «Египет–Палестина», все словно обезумели – плакали, хохотали, обнимались, кружились, а Бенци смотрел на них с каким-то даже грустным недоумением: как можно радоваться, когда столько людей до этой радости не дожили?.. И как можно знать, какие еще сюрпризы в следующие мгновения подбросит эта запредельная бессмыслица, именуемая пышным словом «судьба»?..

Зеленые поля, белые дома, пальмы, расставленные специально для того, чтобы не оставалось сомнений в ирреальности происходящего, – да, это был несомненный рай. Из которого нужно быть готовым в любую минуту оказаться изгнанным.

В кибуце его приняли так, как не всюду принимают и родных. Женщины отнимали его друг у друга, чтобы заново потискать и омыть новыми слезами; мужчины ласково трепали по плечу, по спине, по отросшим кудрям – и его отрешенность понемногу начала переходить в растерянность. А когда после веселого гомонящего обеда в светлой проветренной столовой веселые дежурные начали собирать со столов невообразимую недоеденную роскошь – отборный виноград, солнечные апельсины, которые Бенци видел второй раз в жизни, безмятежные помидоры, впервые в жизни открытые черноглазые маслины, дышащий свежестью белый хлеб, исторгающее слюнку тушеное мясо – и сваливать все это в помойный бак, которого растворившемуся семейству Давиданов хватило бы на целый месяц привольной жизни, – тут Бенци потерял последний рассудок и бросился доставать из бака наиболее драгоценные куски. И тогда он увидел, как текут слезы не только у женщин, но и у веселых сильных мужчин.

Каких он больше никогда не встречал. Сапожники, скрипачи и математики, сделавшиеся садоводами, полеводами и скотоводами, всегда готовые оставить скрипку и доску в аудитории, чтобы отправиться чистить хлев... Когда Бенциону Шамиру в многочисленных интервью задавали вопрос, насколько жизнь в современном процветающем Израиле изменилась к лучшему в сравнении с первыми годами трудов и сражений, он всегда отвечал с полной искренностью: то, что вам досталось, это объедки.

Он имел в виду объедки сказки.

По обычаю многих переселенцев, избирая в новой стране новую фамилию, Бенцион, Сын Сиона, выбрал достопочтенное имя легендарного червя, обтачивавшего камни храма Соломонова. Но в глубине его души, поскольку оно звучало неотличимо, это имя перекликалось с тем конспиративным укропом, который когда-то скромно желтел в окошке билограйской халупы его друга Берла, нашедшего последний приют под пятиконечной красной звездой. Богатые разводят розы, а я развожу укроп, каждый раз вспоминал Бенцион Шамир, беря в руки жеваное серебро заветного портсигара.

Он довольно быстро составил себе если и не самую героическую, то вполне пристойную биографию. Отличник учебы, а также боевой и политической подготовки, прибавив себе год, он оказался самым молодым офицером израильской армии во время войны за независимость. Хотя, памятуя о своем советском прошлом, он давно свыкся с мыслью, что он трус, на фронте обнаружилось, что он нисколько не трусливее прочих: приказывали идти под пули – шел, приказывали до последнего лежать за пулеметом – лежал. Оказалось, что не страдания и даже не страх смерти когда-то раздавили его волю, а мерзость и безобразие. Ощущение собственной ничтожности. В бою под огнем бывало невыносимо страшно, но – он все равно продолжал ощущать себя большим и красивым, он все равно продолжал оставаться частью какого-то бессмертного

и прекрасного единства – в столкновении же с Хилей он оказывался почти таким же ничтожным и мерзким, как и тот.

Нечего было беречь. А теперь появилось. Теперь у него появилось то единственное, ради чего стоило рисковать жизнью, – сказка.

Тем более что в сказочном Тель-Авиве на берегу сказочного моря его ждала сказочная девушка, принцесса из Штутгарта, напоминавшая ему и ту, и другую Рахиль, но несравненно более утонченная, потому что ей не пришлось окунаться в грязь: ее семейство догадалось выбраться из Германии раньше, чем начались все эти кошмары.

Именно этой вершинной Рахили Бенци и доверил хранить портсигар Берла, покуда он не вернется с поля боя со щитом или на щите.

Жара, пыль, жажда были для него делом привычным. А опасность смерти или увечья – чем-то крайне, конечно, неприятным, зато красивым.

А однажды с небольшим отрядом Бенци попал в окружение. Пытаясь проваться, они заблудились в пустыне и, уже начиная погибать от жажды, в конце концов выбрались к иорданской укрепленной высотке, так что, когда на окрик у них хватило сил поднять головы и посмотреть вверх, на них внушительно смотрели сразу два ручных пулемета.

Рисковать жизнью на поле боя были готовы все, просто погибать не хотел никто – бойцы без слов побросали свои чехословацкие винтовки на раскаленный щебень.

Война продлилась еще недостаточно долго для того, чтобы умами противников овладела воодушевляющая сказка о том, что противостоят им не люди, а чудовища, – поэтому особых зверств пока не творила ни та, ни другая сторона. Пленников всего только посадили на обжигающую щебенку и продержали несколько дней, пока не отыскался какой-то сарай. Да еще Бенци крепко досталось прикладом по спине, когда он попытался встать, чтобы помочь раненому. Но раненый вскоре умер, а кровохарканья, в отличие от Берла, у Бенци не открылось, так что все кончилось благополучно.

Истязали не столько люди, сколько стихии – солнце, воздух и вода, вернее, ее отсутствие, потому что подвозить вовремя и менять протухшую мешала главная царящая над миром стихия – безразличие.

Бенци пришлось и копать канавы для фундамента, и месить босыми ногами бетон, прислушиваясь к своим внутренностям, не забралась ли и туда старая боевая подруга дизентерия, косившая народ налево и направо, и никто не был виноват ни в тепловых ударах, ни в разрастающихся язвах, ни в обезвоживающихся организмах: что делать, если солнечный огнемет непрерывного действия выдерживает не всякая голова, что делать, если жидкий цемент непрерывного действия выдерживает не всякая кожа, что делать, если протухшую пищу и воду дискретного действия выдерживает не всякий желудок...

Нет сомнений, что подавляющее большинство знакомых Бенциона Шамира считали его счастливым человеком, однако опытный инженер человеческих душ хорошо понимал, кого считают счастливым, – того, кого недолголюбивают, а если любят, то не хотят расстраиваться, думая о его несчастьи.

Да, для постороннего, равнодушного глаза все у него было более чем прилично – известный писатель, лауреат десятка литературных премий, завсегда-тай правительственных приемов, доктор философии, защитивший любопытную диссертацию об эволюции образа еврея и образа немца в русской литературе, ветеран войны, успевший впоследствии послужить родине и в качестве дипломата, а затем и ближайшего помощника знаменитого генерала, чьим именем названа одна из крупнейших тель-авивских магистралей... Ну да, ему, конечно, пришлось когда-то пережить несколько нелегких лет – но кому тогда было легко? Время было такое – война. Кто тогда не голодал, не скрывался, не терял близких? Зато без этого погружения во мрак и будущий успех не выглядел бы столь ослепительным!

Более того: после многолетних бесплодных запросов неожиданно-негаданно отыскались навеки, казалось, канувшие во тьму хлопотливая старушка-мать признанного писателя и его пятидесятилетний старший брат Шимон.

Шимон прибыл на родину предков с мучительно знакомым черно-седым детдомовским ежиком и со сверкающей нержавеющей улыбкой меж ввалившихся щек. Как выяснилось, демонстрировать постоянно приподнятое настроение Семка считал делом чести, доблести и героизма. На груди у него синели гордо развернувшиеся в профиль Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, а на коленях краснели пятиконечные звезды, извилистыми лучами напоминавшие морские звезды. Тем не менее, политические взгляды Шимона, судя по другим татуировкам, отличались крайней эклектичностью, поскольку на обоих веках у него было выколото «Раб КПСС». Правда, последнюю надпись можно было различить, только когда он спал, а всю остальную эмблематику – когда он перед помывкой обнажал свое мосласто-ребристое бледнокожее тело.

Хотя и в этих торжественных случаях идеологической проникновенности серьезно препятствовал высокохудожественно исполненный пурпурным по белому мощно эрегированный мужской орган, выныривавший из-под резинки трусов аж до самого узловатого пупка, над которым, изображенный с еще большей тщательностью и любовью, располагался как бы в рассеянности приоткрывший лиловые губки орган женский; когда Семка садился и втягивал неожиданно многоскладчатый живот, органы сливались воедино. Многократное повторение этой процедуры вызывало, по словам Шимона, бурные овации по всем бесчисленным «зонам», от Мурманской до Чукотки, куда его ни забрасывала лагерная судьба.

Шимон, едва ступив на Землю обетованную, уже в аэропорту Бен-Гурион клятвенно заверил, что работать не собирается – пусть работает медведь, у которого для этого есть целых четыре лапы, или в крайнем случае трактор – он железный. И обещание, судя по дальнейшему, исполнил.

В первое время он появлялся у младшего брата довольно часто, всегда очень крепко, однако, по его мнению, недостаточно выпившим. Прежде всего он внушал Бенци необходимость быть скромным – чтоб Бенци не воображал, что если он писатель, то он такой уж чересчур культурный, – Шимону самому не раз доводилось, по сути дела, заведовать кавэче. Бенци уже знал, что так на-

зывается культурно-воспитательная часть, а потому никаких вопросов не задавал. Тем более что убедительным свидетельством его скромности все равно могла быть только скромная сумма, выделенная на приобретение двух-трех бутылок полюбившейся Шимону лимонной водки «Кеглевич», а также приличествующей этому элегантному напитку закуски. В противном случае Шимон грозил дать по кумполу какому-нибудь чучмеку, как он, будучи консерватором, именовал евреев-сефардов, которых люди его круга обычно называли арсами (слово «арс» в Тель-Авиве означало примерно то же, что слово «ишак» в районном центре Партиябад).

– Хочешь, чтобы в газетах написали: брат знаменитого писателя ограбил нацмена?! Хочешь?! – напористо допытывался Шимон, и Бенци всегда отвечал с совершенным чистосердечием:

– Не хочу.

Шимон держался так, словно Бенци в чем-то его предал, словно он, Шимон, сражался с какими-то врагами, покуда Бенци за его спиной отсиживался в тылу. И хотя сражался именно Бенци, а сидел, наоборот, Шимон, тайная правота Шимона не составляла секрета для Бенциона Шамира: самого страшного на войне он не испытал, потому что там не было мерзости, только чистый ужас.

Шимон очень быстро развеял по ветру четверть века настаивавшуюся сказку о погибшем брате, однако так до конца и не сумел переработать страдание к себе в беспримесное отвращение. Несмотря на всю безжалостную реальность, в душе Бенци все-таки продолжало теплиться то единственное, что только и может сближать людей, – общая сказка. Хотя это, скорее всего, была уже лишь сказка об общей сказке.

Тем не менее, и ее оказалось достаточно, чтобы Бенцион Шамир каждый раз ощущал долго не стихавшую боль, когда что-нибудь вновь и вновь напоминало ему о Шимоне, который однажды наконец-то исполнил свою угрозу – причем с большим перевыполнением: разбойное нападение, нанесение увечий, представляющих угрозу для жизни потерпевших, нарушение неприкосновенности жилища с применением технических средств и, в довершение всего, вооруженное сопротивление полиции, вынудившее ее открыть огонь на поражение. Все это выглядело таким нарочитым нагромождением нелепостей, что в любом сколько-нибудь рассудительном человеке возбуждало прежде всего подозрение о завуалированном самоубийстве.

История, как и сулил Шимон, в газеты попала, но никакого ущерба репутации Бенциона Шамира не нанесла. Во-первых, мало кто знал, что есть общего между писателем Шамиром и уголовником Давиданом. Во-вторых, все, кто к нему хорошо относился, лишь выражали сочувствие (мысленно поздравляя его с освобождением); те же, кто относился к нему неважно, просто радовались за себя и за торжество справедливости: историческая родина сомкнулась над головой Шимона-казака отнюдь не с большим сочувствием, чем базар Партиябада.

Мать снова на удивление спокойно приняла уже окончательную разлуку со своим сыном – скорее всего, она мысленно простила с ним много лет назад,

после того как имела неосторожность разыскать его в Советской России и наволноваться и наплакаться во время предыдущих его отсидок, в удесятеренном объеме, в сравнении с Бенци, вкусив прелести общения с Шимоном плюсю тюремные передачи минус доходы, которыми располагал классик ивритской литературы Бенцион Шамир.

Белая и легкая, как пух на ее головке, она, казалось, беспокоилась об одном лишь здоровье, а хлопотала только о том, как бы подешевле приобрести помидоры для салата да куриные лапки для холодца на тель-авивском рынке – «шукке», – да еще сэкономить шекель-другой на электричестве и пресной воде. Бенциона Шамира это даже раздражало бы, если бы он не понимал, что, бескорыстно служа деньгам, человек на самом деле рассказывает себе какую-то сказку о своей мудрости, могуществе и дальновидности. Страстное корыстолюбие всегда лишь маска какой-то сказки. Как все у хомо сапиенса, чья главная жизнь протекает в его воображении.

Хотя мать получала вполне приличную, по ее вывезенным из Страны Советов стандартам, пенсию, а также хорошую (Бенци передергивало) компенсацию от германского правительства за убитую Фаню, она постоянно сетовала на мелочность водяного счетчика, установленного в ее бесплатной «амидаровской» квартире: в Союзе-то вода была бесплатная... Бенци всегда при этом чувствовал себя виноватым и старался сунуть ей какую-то сумму, соразмерную его вине.

Но вот когда она принималась жаловаться на бездушный бюрократизм немцев, не желавших выплачивать компенсацию за папу Давидана, за дочь Рахиль из-за такой пустой формальности, что умерли они не в германской, а в советской зоне ответственности, – ведь если бы немцы не начали свою политику вытеснения евреев, то и ... не понадобилось бы...

И однажды Бенци не выдержал:

– Мама, – спросил он как можно более ласково и кротко, – подумай: неужели ты хочешь взять с них деньги за нашего папу, за нашу Рахиль?..

– Но ведь им уже не поможешь, – голосом нищенки запричитала мать, судя по стремительности ответа, уже давно его заготовившая. – А нам бы эти деньги не помешали...

– Мамочка, – Бенци вложил в это слово все скудеющие запасы своей нежности, – если бы мы умирали от голода, я бы взял эти деньги. Но ведь мы не умираем, мы можем себе позволить эту роскошь – ничего у них не брать.

– Да-а... – тянула мать партию побирушки. – Но нельзя же вечно ненавидеть...

– Я не питаю к немцам ни малейшей ненависти. Я считаю, что немцы раскрыли миру правду не о том, каковы *они*, а о том, каковы *люди вообще*. Немцы всего лишь разрушили утешительную сказку, что человек творит зло только из-за голода и дикости. Они отняли надежду, что гигиена и всеобщая грамотность изгонят из мира хотя бы самые чудовищные формы зла. И теперь у людей нет никакой надежды...

Мать взглядела в него внезапно помудревшим взглядом и вдруг произнесла твердым упавшим голосом:

– Люди сочинят новые сказки. Они не согласятся жить и мучиться.

– А я хочу мучиться. Это единственное, что я могу сделать для нашего папы, для Фани, для Рахили... Даже для Шимона. Помнить и мучиться.

– Но ты же этим не причинишь нашим мучителям ни малейшего вреда... – чуть ли не впервые за годы в Эрец-Исраэль в материнском голосе прозвучала материнская забота.

– А я и не хочу никому никакого вреда. Я бы не казнил даже самых главных, тех – в Нюрнберге. Чтобы ни у кого не возникало иллюзий, будто за то, что они сделали, можно чем-то расплатиться. Чтобы никто не мог подумать, что мука, гибель стольких людей как-то могут быть отомщены. Как-то могут быть искуплены. Что можно считать вопросом закрытым и жить дальше. Я хочу, чтобы он вечно оставался открытым. А для этого наша боль должна вечно оставаться неотомщенной. Вечно неискупленной. Не для того, чтобы вечно ненавидеть – для того, чтобы вечно помнить. А отомщенная, искупленная обида легко забывается...

Бенци понимал, что пора бы остановиться, но уж очень хотелось в первый и в последний раз выговориться до конца:

– Я не хочу, чтобы выстраданное нами знание было снова стерто утешительными сказками – жертвы были не напрасны и тому подобное. Тогда-то они и сделаются окончательно напрасными. Пусть лучше люди живут с чувством, что жертвы были напрасными. Это все-таки лучше, чем ничего.

Мать задержала на нем непривычно пристальный взгляд и поняла, что выбор у нее невелик: или она будет мучиться вместе с сыном, или он будет мучиться один. А потому к этой теме больше не возвращалась – только здоровье, только погода, только цены, только соседи. Ведь это и есть конечный вывод земной мудрости?..



театральный режиссер, кинооператор.
Живет в США.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ *

В историях и анекдотах часто раскрывается национальный характер. Вот израильский анекдот. Водитель переехал перекресток на красный свет. Его останавливает полицейский и говорит: «Ты почему переехал перекресток на красный свет?» – «Почему я переехал перекресток на красный свет?» – переспрашивает водитель. – Потому что это то, что там горело».

А вот эпизод, произошедший лично со мной. Стою я на остановке автобуса и жду. Жду минут пятнадцать. Наконец на большой скорости показывается автобус, подъезжает поближе, и вдруг, вместо того чтобы замедлить ход, подъехать и забрать меня и еще двоих пассажиров, водитель увеличивает скорость и несется к перекрестку. В этот момент свет меняется на красный, и водитель автобуса тормозит (в отличие от водителя автомобиля в анекдоте выше) и останавливается. Я подбегаю к передней двери, стучу, и меня впускают. «Ты почему на остановке не остановился?! – бросаюсь я к водителю. – Ты что, не видел, что тебя люди ждут?» – «А я очень хорошо разогнался, – объясняет водитель. – Жалко было скорость сбрасывать».

Следующий эпизод произошел с моими родителями примерно через месяц после их эмиграции в Израиль. Отец, будучи врачом, в день приезда торжественно прикрепил к почтовому ящику свою «докторскую» табличку и ежедневно в два часа дня открывал и закрывал ящик, проверяя почту. Через некоторое время в пустовавшем до того ящике появилась бумажка. Родители взяли словари и засели за перевод. После четырех часов работы над текстом они выяснили, что налоговое управление просит их немедленно заплатить двести тысяч лир, а в случае неуплаты отберет все имущество, продаст детей с молотка и по-

* Нева. 2005. № 8.

садит отца на ближайшие семьсот пятьдесят лет в тюрьму, причем для особо опасных государственных преступников.

Ночь родители не спали. Пересчитав и реалистически оценив все свое имущество (включая автомобиль и фамильные драгоценности), они поняли, что «стоят» меньше трети требуемой суммы. Ни занимать, ни в ближайшем будущем получить такие деньги не представлялось реальным. Поэтому рано утром, никому ничего не сказав, родители собрали отцовские вещи, почистили все его медали, купили сухари и пошли сдаваться.

При входе в налоговую инспекцию они показали пришедшую им по почте бумагу, и их отправили к Ривке. Ривка сидела в огромном зале с еще шестьюдесятью инспекторами. В зале было шумно, перед столами инспекторов стульев не было, поэтому родители долго стоя ждали, когда Ривка обратит на них внимание.

«Вот, – сказала мама на смеси идиша, русского, иврита и английского, – вот ваша повестка. У нас таких денег нет». И она легонько подтолкнула отца в спину. Ривка посмотрела на повестку. «Нет?» – переспросила она. «Нет», – в унисон подтвердили родители. Ривка еще раз посмотрела на повестку, потом порвала ее и бросила обрывки в мусорный ящик. «На нет и суда нет», – сказала она и снова занялась своими бумагами, а родители вернулись домой. За исключением небольшого (но обширного) инфаркта у отца, никто об этом эпизоде ни в семье, ни в налоговой инспекции больше не вспоминал.

Не знаю, что эти три короткие истории говорят вам, а для меня они очень важны в понимании национального израильского характера. Ну, а теперь перехожу к главной истории, а именно – к рассказу о моем превращении из гнилого интеллигента в солдата Армии обороны Израиля.

Когда меня забрили в ЦАХАЛ (точнее будет сказать, «коротко постригли»), мне было двадцать шесть лет. Я уже почти полтора года жил в Израиле, но из-за того, что общался практически только со своими бывшими земляками, мои знания иврита были минимальными, чтобы не сказать – нулевыми.

Полдня великовозрастных новобранцев (в тот день нас оказалось около пятидесяти евреев, приехавших из двенадцати стран) водили по огромному лагерю распределения и одевали, обували, выдавали различный солдатский инвентарь, так что к обеду на руках у каждого оказался плотно набитый огромного размера тюк, а на шее болталось по паре тяжелых солдатских ботинок. И вот со всем этим скарбом, измученные, ничего не понимающие, голодные, мы выстроились в очередную очередь. «Что теперь?» – спросил я по-английски у стоящего впереди йеменского еврея, который вежливо ответил мне по-французски. Что именно он ответил, я не понял, зато понял, что по-французски. Через минут двадцать подошла и моя очередь. Я втащил свой тюк в дверь маленького домика и оказался в комнате, в которой стояло два стола, а за ними сидели офицер и приятная девушка в солдатской форме.

Офицер что-то сказал и показал рукой на стоящий перед его столом стул. Я понял, что надо сесть, сел и протянул офицеру сопроводилку – бумагу с моей фамилией и отметками о том, какой скарб мне был уже выдан.

Офицер сказал что-то девушке-сержанту (к этому моменту я уже разглядел

ее лычки), она почему-то радостно вскрикнула, затем порылась и принесла ему мое личное дело, с любопытством на меня поглядывая. Листая мое дело, офицер что-то говорил звонким мальчишеским голосом, иногда поглядывая на меня и добро улыбаясь. Когда он поднимал голову, я тоже улыбался и кивал.

Наконец офицер закончил листать мое дело, посмотрел мне прямо в глаза и сказал что-то, очевидно, очень важное, но совершенно мне непонятное. Сказал и замолчал. И некоторое время, улыбаясь, смотрел на меня. Девушка-сержант тоже смотрела и тоже улыбалась. Мне захотелось сделать им что-то приятное, и так как я запомнил последнее произнесенное офицером слово, то его-то я совершенно неожиданно для себя и повторил. Звучало это как «хатканим», или «цанфаким», или что-то еще такое же мистически непонятное. Офицер вскочил, обошел стол и пожал мне руку. После чего снова уселся за стол, записал что-то в мое личное дело, сделал пометку в сопроводилровке, вручил ее мне и снова пожал руку.

Когда, так и не поняв, что произошло, я вышел из домика, то немедленно наткнулся на одного американца, с которым мы вместе стояли две или три очереди назад. «Эй, Гэри! – сказал я. – А что в этом домике делают?» – «Распределение по родам войск, – ответил Гэри. – Кстати, тебя-то куда?» Я подумал и попробовал еще раз воспроизвести то самое слово: «Понцхуним». «Цанханизм, что ли?» – почему-то удивился Гэри. «Во-во, оно!» – «Так это же десантные войска. Элитные части. Прыгать будешь. И курс молодого солдата у них не четыре недели, а шесть месяцев в особо трудных условиях и без единого отпуска. Ты-то зачем им нужен со своим варикозным расширением вен, гастритом и пожилым возрастом? Да и берут туда только волонтеров...»

Гэри ушел. Я понял, что если не предприму каких-то немедленных и отчаянных действий, то должен буду в течение долгих месяцев прыгать из летящих на большой скорости и высоте самолетов, а приземлившись, бегать, стрелять и поспевать всюду за восемнадцатилетними призывниками, вместе с которыми для начала обязан пройти шестимесячную непрерывную боевую подготовку, без единого дня отпуска. И я рванул назад, к симпатичному офицеру и девушке-сержанту, так быстро решившим мою судьбу.

Я влетел в комнату, где в это время находился другой призывник, бросил мешок на пол и с помощью тех двенадцати слов, которые знал на иврите, произнес речь. Говорил я следующее: «Молодых мальчишек хочу нет! Прыгать больно! Хочу скорее автобус билет!» – после чего, исчерпав весь свой запас слов, от отчаяния стал изображать стреляющего из пулемета чапаевца.

Двое серьезного размера молодых людей с повязками на руках, неизвестно откуда появившиеся в комнате, быстро скрутили меня и вынесли из помещения, при этом, как пушинку, подхватив мой неподъемный мешок и упавшие с шеи ботинки. Меня почти не били, так как вскоре выяснилось, что определен я не в десант («цанханизм»), а в артиллерию («тотханизм») и что молодой офицер улыбался и долго говорил мне что-то по причине полного совпадения наших имен и фамилий и по этому поводу не поставил мне формально штамп и отправил в столовую, как других, а вышел из-за стола, пожал руку и пожелал

всего наилучшего. Словом, я попал в артиллерийский полк в Синае и на всю жизнь стал артиллеристом.

Так получилось, что очень скоро мое имя стало известно если не во всей Армии обороны Израиля, то, по крайней мере, во всех ее артиллерийских частях. Я горд тем, что то, что стало называться впоследствии «трюком тунейца-профессионала» и изучается теперь на всех курсах по работе с призывниками, пришло в голову из всех служивших в ЦАХАЛе евреев именно мне.

Идея была проста и лежала на поверхности. На курсе молодого бойца нас все время заставляли что-то делать. Одним из основных занятий сержантского состава было отслеживать, чтобы мы ни секунды не сидели без действия. Еще я заметил, что, если солдат занят каким-то, с точки зрения командного состава, полезным делом (выкапыванием ямы или чуть позднее закапыванием ямы, перенесением боеприпасов ближе к штабу или дальше от штаба), его никогда не оторвут и не пошлют в другое место делать что-то другое.

Дальнейшее было делом техники – я нашел шестиметровый, практически невесомый обрезок доски, положил его на плечо и пошел по лагерю. Меня никто не останавливал, и я, скоро обнаглев, заходил под таблички «Вход строго воспрещен» и «Только для офицеров». Мимо меня, «не видя», проходило мое и не мое начальство, и никому из них не приходило в голову, что какой-то идиот в солдатской форме может просто так, по собственному почину таскать на плече доску. С их точки зрения, солдатики кто-то куда-то с какой-то целью с этой доской послали.

На обед и на ночь я прятал доску под вагончик, в котором спал, а утром после завтрака снова клал ее на плечо и шел гулять по лагерю. Ко мне пригладелись, привыкли и стали пропускать всюду, даже без доски. Поэтому я принял решение обедать только в офицерской столовой, иногда по два раза в день. Продолжалось это райское состояние ровно две недели, пока, хорошо выспавшись под офицерским клубом, я с доской на плече не вышел на плац к полку, выстроенному в каре в честь неожиданного приезда командующего артиллерийскими войсками...

Последствием было – три дня непрерывного мытья посуды и чистки картошки, после чего ко мне подошел ротный и сказал: «Конечно, ты хулиган и вонючий обманщик, но мозги у тебя работают. Поэтому мы решили учить тебя на наводчика третьей пушки. Учиться будешь у Шмулика, понял?» Полностью эту речь я понял, когда попросил его через год повторить ее еще раз. Тогда же я понял, что стану наводчиком третьей пушки и что это большая честь и доверие людей, которые воюют бок о бок с тобой и, предлагая тебе стать наводчиком третьей пушки, вручают тебе отчасти ответственность за их жизни.

В нашем полку было три самостоятельно действующих батареи, каждая состояла из четырех самоходных пушек и кучи вспомогательного и командного транспорта и персонала. Каждую пушку обслуживал добрый десяток человек. Обычной задачей батареи была поддержка танков или пехоты и подавление артиллерии противника. Стреляли наши пушки на двадцать–тридцать километров и на таком расстоянии попадали по квадрату двести на двести метров

(в отличие от имеющихся на вооружении у арабов русских пушек, точность которых, слава Богу, была километр на километр).

Когда батарея выезжала на позицию и получала координаты цели, то пристреливалась по нему только одна пушка, а остальные выставлялись по ней. Так вот, пристреливалась как раз третья пушка (по батарейному расположению стоящая рядом с бронетранспортером командира), и скорость ее пристрелки, а значит, и жизни тех, кого батарея прикрывала, зависели от расторопности и сообразительности двух человек – старшего офицера батареи и наводчика третьей пушки, коим на нашей батарее был легендарный Шмулик. И вот теперь на эту роль предназначался я.

Утром следующего дня ко мне подошел Шмулик. Роста в нем было от силы метр шестьдесят, ручки маленькие, пальчики толстые. Другими опознавательными знаками были несуразно сидевшая форма и красный диплом математического факультета Московского государственного университета. Правда, тогда, на матмехе (на гражданке), Шмулика звали Илюшей.

Кроме скорости пристрелки, Шмулик был известен следующими двумя эпизодами. Во время ночного дежурства, когда единственным местом, где Шмулик не должен был находиться, был круг света от горящего посередине лагеря фонаря, Шмулик читал под этим самым фонарем толстую книгу – то ли по математике, то ли по физике. Только что приступивший к своим обязанностям новый командир полка решил лично проверить посты, обнаружил Шмулика в круге света и, тихонько подойдя, украл у него валяющийся на песке автомат. Затем, наставив этот самый автомат на Шмулика, сказал: «Ефрейтор – Шмулик тогда только что получил это высокое армейское звание, – почему ты сидишь под фонарем?!» Не отрываясь от книги и не поднимая головы, Шмулик ответил: «Потому что в темноте, остолеп, трудно читать».

Командир полка был настолько ошарашен логикой ответа, что, вместо того чтобы немедленно арестовать Шмулика, спросил: «А что ты читаешь?» Шмулик впервые обратил внимание на спрашивающего и, несмотря на то, что ему не понравилось, что при разговоре этот одетый в офицерскую форму человек наставляет на собеседника автоматическое ружье, решил все-таки остаться в рамках вежливости и ответить. Он сказал: «Тебе, недоумок, не понять» – и снова уткнулся в книгу.

«А ты попробуй», – настаивал обидевшийся командир полка. Шмулик снисходительно произнес название книги, в котором слово «интеграл» было самым простым и понятным. Командир полка впервые проявил некоторую заинтересованность и сказал что-то, что, по последующему рассказу Шмулика, не было уж совсем откровенной чушью. Шмулик сказал, что книга тупая, и кто этого не понимает, явно страдает мозгозамороженностью и дебилизмом. Командир полка что-то на это ответил, и завязалась беседа, которая продолжилась до утра и в которой простые смертные не поняли бы ни одного слова.

Комполка оказался доцентом физического факультета университета Тель-Авива и то самое, что с увлечением ругал Шмулик, читал там студентам. Когда Шмулик демобилизовался и был приглашен руководить группой математи-

ков при командующем ВВС Израиля, он разыскал нашего командира полка и привел в свою группу. Но это произошло много позже после того, когда Шмулика застукали читающим книгу на ночном дежурстве.

Второй эпизод был такой: посредине тренировочного лагеря начальство решило организовать газон. Шмулику как самому бесполезному (как тогда считало начальство) солдату дали семена и приказали окучить землю и высадить траву и полевые цветы. Около месяца Шмулик поливал газон и незаметно для себя привязался к вылезшей зелененькой травке. А через месяц на плац опустились три вертолета, из которых вышли тогдашний министр обороны Моше Даян и куча генералов и, сгибаясь вполювиную, пошли от воюющих вертолетов к штабу. Впереди министр, за ним толпа военных, а навстречу генералы и офицеры из лагеря. И встретиться они должны были точно на газончике Шмулика.

«Моше! – закричал Шмулик, бывший Илюша, который должен был стоять по стойке "смирно" и молчать. – Эй, Моше! Куда идешь – там же газон, не видишь, что ли?!» И легендарный Моше Даян, министр обороны Израиля, остановился, посмотрел под ноги, потом помахал рукой Шмулику, что, мол, понял и извиняется, и обошел газон, а за ним обошли траву и все сопровождавшие его генералы.

Так вот, этот самый Шмулик печальными своими карими еврейскими глазами смотрел на меня, всем своим видом показывая, что учить меня на наводчика – дело сложное, ему совершенно ненужное, а главное – бесполезное. Наглядевшись и, очевидно, убедившись в чем-то, что он давно подозревал, Шмулик вздохнул и сказал: «Еврей (звучало это как "евггей") не любит, когда по нему стреляют. Ой, не любит. Поэтому евггей ногговит стггелять быстггее».

После чего Шмулик рассказал мне историю нашего артиллерийского самоходного полка, начав ее так: «Два наводчика тому назад...»

Итак, два наводчика тому назад американцы решили распродать вывезенное из Вьетнама и ненужное вооружение. В списке были тяжелые дальнобойные самоходные орудия, на которые подали заявки бельгийцы, японцы и израильтяне (*автор не ручается за точность информации и просто пересказывает рассказанную ему историю*). При продаже любого оружия в сделку входит также обучение представителей покупателя, и поэтому на полигоне в Неваде были собраны на двухмесячные курсы представители вооруженных сил государств – будущих пользователей самоходок. Примерно через месяц начальник курсов сообщил израильскому военному атташе, что в то время, как бельгийцы и японцы посещают занятия, представители ЦАХАЛа пропали и, по слухам, ошиваются в Лас-Вегасе.

Атташе, активировав секретные контакты, нашел пропавших на озере Тахо и потребовал отчета. Солдаты же израильской армии утверждали в свое оправдание, что пушку уже знают вдоль и поперек и готовы в честном поединке (если им только прикажут) перестрелять не только бельгийских и японских конкурентов, но и американских инструкторов. Атташе в свою очередь образно объяснил героям ЦАХАЛа, какой величины будет клизма и куда именно она будет вставлена, если на отчетном показе что-то будет не так.

В день окончания курса на трибунах расселись как представители вооруженных сил стран-покупательниц, так и около шестидесяти атташе стран – пользователей американского оружия. Упражнение, которое показывалось, состояло в следующем: на плац перед трибуной со скоростью тридцать километров в час вылетала самоходка в сопровождении командирского бронетранспортера. Проверяющие давали координаты «противника», и после того как офицер в бронетранспортере производил расчет, в каком направлении поставить пушку, пушка «окапывалась» (вкапывала щит, погашающий отдачу), затем выставлялась в правильном направлении и, приняв уточненные данные, производила выстрел. Затем получала от командира, работающего по рации с наблюдателем, новые данные, снова выставлялась, стреляла подаваемыми с земли снарядами (стреляли обычно вилкой: недолет, перелет) и третьим снарядом должна была на двенадцатой минуте поразить цель: квадрат в двести на двести метров, удаленный на десять–двадцать километров от позиции батареи.

На этом ставшем легендарным отчетном показе в Неваде первыми выехали американские инструкторы. Остановились по команде. Через две минуты получили направления стрельбы (за это время выложив позади пушки необходимое снаряжение и снаряды), повернули пушку, окопались, получили уточненные координаты... выстрелили на восьмой минуте первый раз, на десятой – второй, а на двенадцатой точно поразили цель.

За ними выехали бельгийцы, выполнив упражнение чуть менее четко, но ровно через четырнадцать минут попали третьим снарядом по искомому квадрату. Японцы ввели некоторое усовершенствование во взаимодействии расчета и поразили цель на одиннадцатой минуте.

Наконец на плац вылетела израильская самоходка, получила приказ остановиться и, не дожидаясь данных от старшего офицера, начала окапываться, при этом почему-то двигаясь одновременно в разные стороны и подняв вокруг себя невероятный столб пыли. На шестой минуте из-за пылевой завесы невидимая самоходка произвела первый выстрел, а на седьмой вторым выстрелом цель была поражена.

Израильцы остановили и отправили обратно на исходные позиции. Пушка снова со скоростью тридцать километров в час вышла на плац, остановилась как вкопанная, начала ерзать, снова остановилась... Из люка выскочил водитель, стащил шлем, бросил его на землю и демонстративно уселся на песок, сложив руки на груди. Командир, громко ругаясь на смеси русского и идиша, сам прыгнул в люк, и снова пылевая завеса заволокла место действия. Ровно на шестой минуте пушка произвела первый выстрел, а на седьмой вторым снарядом поразила цель.

К моменту окончания этой истории мы со Шмуликом уже подходили к нашему полигону, где нас ждали третья пушка и ее экипаж в полном боевом составе. Я пожал много рук, после чего командир экипажа сообщил по рации о готовности и получил добро на упражнение. Самоходка отошла в сторону, вышла на скорости тридцать километров в час на рубеж, получила приказ остановиться, окопалась, на пятой минуте произвела выстрел, а на шестой (по свидетельству контроля) поразила цель.

«Евггею, – объяснил мне Шмулик несколько позднее, – дана голова, которой он должен уметь пользоваться. А если уметь ею пользоваться и еще не любить, когда по тебе стггеляют... Вот я и считаю в голове координаты... Пока командир на компьютере все выверяет, мы уже в нужном направлении стоим и ствол подняли почти точно, куда надо. Я несколько раз до второй цифры после запятой с компьютером совпадал, – похвастался он. – Ну, и еще, конечно, одна вещь важная есть. Мы ведь в основном огневое прикрытие. Танковым ли частям, пехоте... а у меня в каждом полку по другу, а то и по два. Вот, например, когда мы прорыв шестнадцатого танкового прикрывали, так я же радио слышу: у них там ад, по ним со всех сторон лупят, а у меня там Борька Зальцман, во втором танке. Мы с ним с пятого класса в шахматный кружок вместе ходили... Конечно, я, как арифмометр, считал. У меня только руки тряслись немного.

Зато мы на себя две батареи противника оттянули и пару самолетов штурмовых. Нас, конечно, засекли, но мы на нашей троечке ушли на запасную позицию и пристрелялись, пока остальные по очереди отстреливались и перебазировались к нам. Так что я Зальцмана ни на секунду без поддержки не оставил. Я ему потом сказал, что он мне ведро томатного сока должен. Ну, а когда Арик Шарон без пехоты одними танками клином на стыке второй и третьей египетской вошел, так там у меня просто оба Вольфсона оказались. Так что, сам понимаешь...»

Прошел почти год. Сменилось на третьей два командира, почти полностью обновился экипаж. Пришло время и мне думать о демобилизации. Среди новобранцев я заметил огненно-рыжего великовозрастного солдата с серыми печальными глазами. Рыжий с печальными глазами назвался Петей и оказался выпускником Рижского ГВФ. Петя всегда имел при себе колоду карт, которые молнией летали у него в коротеньких, покрытых рыжей шерстью руках. Когда же я узнал, что Пецеле зарабатывал себе на жизнь игрой в преферанс, то понял: замена найдена.

Я рассказал Пете историю нашего полка, которую начал: «Три наводчика тому назад...», а потом показал ему упражнение на плацу. Ровно через четыре минуты тридцать секунд наша пушка выстрелила первый раз, а через сорок пять секунд вторым выстрелом попала по искомому квадрату.

«Пецеле, – объяснил я, – скажу тебе совершенно честно, что не думал, что привнесу в это дело что-то свое, оригинальное. Куда мне равняться до славы таких гигантов, как Шмулик или Теодор Альтер, который двумя пушками и одним подбитым танком четыре часа сдерживал наступление сирийского танкового корпуса под Цфатом...»

Просто нас бросили на Голаны, как раз когда у самой Тверии (у места, где Иисус прошел по воде, аки посуху) по ремонтным мастерским, где тогда сидел Ромка Каплан, арабы лупили из ракет. Наша авиация давала нам наводку на источник выстрелов, но мы никак не успевали их накрыть: они отстреляются и валят на другую позицию. В горах ветер, они еще с противоположного склона лупят, все это на компьютере надо в расчет принять, а у нас, как на грех, молоденький старший офицер, только из училища. Ну, ребята-наблюдатели и гово-

рят: «Кто там у вас наводчиком? Мы ему координаты дадим, как только в следующий раз их засечем, а он чтоб не ждал компьютера, а лупанул в ту сторону – хоть испугать».

Конечно, с первого раза трудно было понять, какую надо на ветер поправку давать, но хочу похвастаться, что со второго раза накрыл я их по большому счету. Мне Ромка потом рассказал, что там две машины было вроде «катюш». Так вот, одну я прямым попаданием размазал, а вторая от взрывной волны под гору кубарем скатилась. С тех пор начальство мне и приказало: в критической ситуации, говорят, можешь выпускать первый снаряд до получения уточненных данных от компьютера. Чем и пользуюсь. Во-первых, сигареты у офицеров блоками выигрываю – закладываемся с ребятами, кто быстрее: компьютер или я. А во-вторых, жить стало веселей.

Вот, собственно, и вся история о национальном израильском характере и о том, как из ленинградского еврея я превратился в израильтянина.

Ну, а перед окончанием все же надо рассказать несколько слов об одном эпизоде послеармейской жизни. На День независимости меня (только-только демобилизованного) пригласили в дом к Ицхаку Рабину. Было там человек двести – военные, дипломаты, министры с женами. Я, конечно, специально свою сержантскую форму надел (мне, несмотря на сопротивление, нашили все-таки две лычки) и все больше рядом с генералами тусовался. Обступили меня кружком, как сейчас помню, три генерала и две чьи-то жены и вопросы задают. И что бы я ни сказал, хохочут над каждой фразой, надрываются. И так громко хохотали, что подходит к нам хозяйка дома Лея Рабин, жена премьер-министра, поинтересоваться, в чем дело, и через пару минут берет меня вежливо за рукав и тянет в сторону.

«Я, – говорит Лея, – хочу предупредить тебя, что если ты думаешь, что говоришь на иврите, то ты ошибаешься». «Как так? – говорю. – Я вроде понимаю все, что мне говорят, а уж меня понимают просто все без исключения». «Конечно, – говорит Лея, – конечно, тебя понимают. Вот, к примеру, сейчас ты ведь хотел мне сказать что-то вроде "не может быть" или "что за странность", верно? И я тебя поняла, то есть поняла, что ты хотел сказать... Но сказал ты на чисто арабском языке, что у моей мамы половой орган неправильной формы. После чего ты в довольно учтивой форме, но опять по-арабски предложил переспать с моей младшей сестрой, но на этом не успокоился и добавил: "и с братом тоже". И так как голос у тебя довольно громкий, а рост высокий, то об этом предложении узнали все, кто находится с нами в одной комнате, включая главного раввина Израиля и послов Аргентины и Никарагуа...»

Вот так – защищай друзей, считай в уме поправку на ветер, а они без тени улыбки учат тебя не языку твоей исторической родины, а арабским ругательствам и, более того, специально при тебе именно так и разговаривают больше года... Единственное, что немного успокаивает, что я успел научить весь полк словам, которые надо говорить мамам понравившихся им девушек из России. Можно сказать, чувствовал, какую подлянку они мне устроят. Ну, вот и вся история.



историк, доктор философии, публицист, автор нескольких книг и множества статей, опубликованных в Израиле, России, Франции и Англии. Живет в Израиле.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ БАРРИКАД*

Чувство истории – только чувство судьбы.

Марина Цветаева

С детства я люблю карты. Нет-нет, не те, что вы думаете. Не «тройка, семёрка, туз» и «дама ваша убита». Эти я терпеть не могу. Я люблю карты другие: географические, исторические, военные. Те, за которыми можно увидеть судьбы людей, народов, государств. Мне всегда нравилось следить за перемещением племён, переселением народов, движением границ империй и государств, когда они, как живые, раздувались, разбухали, заглывая просторанства с людьми, их населяющими.

Потом страны съёживались, как шагреновая кожа, меняли свой цвет на карте, оставляя ржавые пятна поселений на чужой уже территории. А потом меняли названия и вдруг исчезали из обихода. Кто знает, на время, надолго, навсегда?

Водоворот событий смывал границы и вековые устои, казавшиеся незабываемыми, размывая миллионы людей по городам и весям, далеким материкам и глухим провинциям.

...Здесь лежат чужие города,
И чужая плещется вода...

– повторяли люди на разные голоса. Кто-то привыкал, и тогда чужая земля ста-

* Из книги «Мюнстерские и другие рассказы, или Диалоги с самим собой». Тель-Авив: Изд-во «М+», 2003.

новилась своей. Или почти своей. Кто-то продолжал тосковать и мечтать о возвращении «домой». А дом уж давно был занят чужими людьми с другими привычками и нравами. А кто-то не делал ни того ни другого, а жил странной жизнью пограничья: на стыке прошлого и настоящего, на грани культур и языков, на перекрестке своей судьбы и чужой истории.

Одни называли себя эмигрантами, другие – репатриантами, третьи – беженцами, четвертые – перемещенными лицами. А некоторые, с застывшей тревогой в глазах, определяли себя невозвращенцами. Впрочем, большинству возвращаться действительно было некуда и незачем.

Ночной поезд из Парижа, добравшись до испанской границы, остановился на станции Ирун. Немногих пассажиров вежливо попросили перейти в другой вагон, поскольку в Испании другая колея. Так, по крайней мере, я понял из сбивчивых объяснений проводника. Испанские жандармы в странно заломленных головных уборах придирчиво проверяли документы. На перроне виднелись военные патрули. Ну что ж, вздохнул я, всего лишь два года, как умер диктатор. Это не так уж много, чтобы изменить сорокалетние привычки.

Расстелив на коленях карту, я попытался при свете тусклого ночника найти этот самый Ирун, где мы торчали вот уже целый час.

– Не там ищите, – произнес кто-то по-русски.

– А где же надо? – ответил я и тут же спохватился: кто это может ночью в Ируне, в этой чёртовой дыре, говорить по-русски?

Говорил мой сосед, мужчина преклонного возраста, одетый бедно, но подчеркнуто аккуратно. Он сидел прямо, я бы сказал, чересчур прямо для человека его возраста. «Как он вычислил, что я понимаю по-русски?» – пронеслось в голове. А ведь его русский не похож на мой.

– Вы уже бывали в Испании? – спросил я, скрывая неловкость.

– Когда-то, давно, – пробормотал человек и добавил еще какие-то слова, из коих я разобрал только то, что это было сорок лет назад.

Несложные вычисления указали мне на 1937 год. Дальше сработала память и привычные образы и понятия.

– Вы участвовали в Гражданской войне в Испании? Сражались в интербригадах?

А где же еще мог сражаться в те годы русский человек за рубежом? Конечно, в интербригадах, защищая Испанскую республику. Мой сосед неопределенно хмыкнул:

– Сражаться-то сражался, но только не в интербригадах. С теми мы были по разные стороны баррикад.

Раздался звонок, проводник попросил нас занять свои места. Мы разошлись по разным вагонам, и я не успел спросить своего случайного соседа, о каких баррикадах он говорил.

Мадрид был хмур и необщителен. Я забросил свои вещи в маленькую комнату недорогого пансиона и вышел на улицу в надежде выпить горячего кофе и поесть. В кафе, куда я зашел, в этот ранний час никого не было. Кофе было сквер-

ным, тортилья – холодной, а голубь, которого я заказал из любопытства, мог бы быть съедобным, если бы в его тщедушном тельце была хоть капля мяса.

Напротив кафе двое парней и девушка что-то рисовали на стене, неумело пользуясь вырезанной из картона фигурой. Выйдя из кафе, я перешел улицу и взгляделся. На грязной штукатурке старого дома проглядывал незабвенный образ вечно живого неживого вождя. Криво написанной рукой он судорожно сжимал кепочку, напоминавшую баскский берет.

– Ленин! – сказал с некоторым вызовом один из парней и добавил, признав во мне иностранца: – Революсьон!

– Знаю, знаю, – заверил я его. – Не вчера родился. Мы с этим революсьоном не первый день знакомы. Во, как сыты! – и я провел пальцем по шее. Жест остался непонятым. Скучный лингвистический багаж не позволял вступить в дискуссию о смысле революсьона и значении персонажа, изображенного на стене.

Я тихо удалился, повторяя первые пришедшие на память строки:

...Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

Дальнейшее известно, размышлял я по дороге, но стоит ли вообще вступать в дискуссию по вопросу революсьона с этими симпатичными ребятами? Скорее всего – не стоит. И я напомнил себе мысль, высказанную когда-то весьма близким мне по духу философом: «Наш русский и притом двойной опыт – борьбы с деспотизмом царской и революционной власти – мог бы пригодиться для Запада. К сожалению, национальный опыт, как и личный, не передается чужестранцам».

«Иди, иди, чужестранец, – сказал мне внутренний голос. – "Ваш русский опыт!" Скажешь тоже. Определись сначала, кто ты и где ты, то есть по какую сторону баррикад находишься», – неожиданно всплыла фраза, сказанная ночью.

Вокзал «Аточа» напоминал большой сарай, неуютный и плохо освещенный. У входа на заплыванном полу в подозрительной луже лежал пьяный инвалид. Костыли он положил под голову, а багровую культю выставил на всеобщее обозрение.

Я остановился. Зрелище было знакомым, но в Европе я это видел первый раз. В годы войны, в промерзших вагонах электрички я часто встречал эти людские обрубки, передвигавшиеся на костылях, на руках, на коленях или на маленьких тележках с колесиками. Вечно пьяные, они исполняли разные песни, а потом собирали деньги. Я особенно любил песню про батальонного разведчика и штабного писаришку, который спал с его женой, в то время как он сражался на фронте, защищая Родину.

Неуверенный в торжестве справедливости, я каждый раз с замиранием сердца ждал возмездия в последнем куплете. Инвалид слушающих не разоча-

ровывал. Вложив все чувства в пропитый и охрипший на морозе голос, он старательно выводил:

Я бил его в белые груди,
Срывал я на ём ордена.
Ах, милые русские люди,
Родная моя сторона!

И тут же, без перерыва, переходил на деловой тон: «Скινήтсье, граждане, по копеечке. Я имею в виду по рублю». Давали охотно. Жалости было – хоть отбавляй, а рубль ничего не стоил.

Испанцы щедростью не отличались. Одни равнодушно проходили мимо, другие бросали мелкие монеты. Я тоже кинул одну с потертым профилем каудильо. Другую оставил себе на память, для коллекции.

«Где ж ты, бедолага, ногу-то потерял? – подумал я. – Под Теруэлем или Гвадалахарой? По ту или по сю сторону баррикад? А может, в рядах Синей дивизии, замерзавшей в снегах на Волховском фронте? Ну, да кому это сейчас интересно?»

Я прошел внутрь вокзала, потоптался около касс, а затем нашел тихое местечко в углу, недалеко от буфетной стойки с неизменной тортильей и каким-то красным пойлом в большой оплетенной бутылке. «Тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода...» – бормотал я себе под нос.

«Ну-ну, полегче, – сказал внутренний голос. – С электричеством здесь и, правда, слабовато, но воды никакой нет. Нигде не каплет».

Я согласился. Хотелось с кем-нибудь поговорить, поболтать о том, о сём, о прошлом величии и нынешней скудости, о блеске и нищете куртизанок, о быстро проходящей славе мира. Да мало ли о чём? Но собеседника у меня не было, и такового как будто не предвиделось. Вокзал «Аточа» не походил на Павелецкий или Савёловский, да и буфет был не тот, что, например, на станции Крёкшино или хотя бы в поселке Чоботы, куда иногда заходили перекинуться рюмкой и разговором утомленные российские литераторы из лежащего по другую сторону железной дороги писательского поселка Переделкино.

И вдруг я различил в сумраке вокзального буфета слегка ссутулившуюся фигуру незнакомца из Ируна, одиноко сидевшего за столиком со стаканом в руке. Всё-таки у этого человека была какая-то военная выправка. Я взял свой стакан и подсел к нему. Он не выказал удивления, но и не проявил особой радости. Я представился, как мог, сообщив, что в Испанию хотел попасть еще с детства и поехал туда сразу же, как только первый раз выехал в Европу из Страны обетованной.

– Значит, вы тоже эмигрант, – заключил он, – я сразу подумал, что вы не советчик.

– Скорее, антисоветчик, – усмехнулся я, но всё же разъяснил: – Мы себя считаем не эмигрантами, а репатриантами.

– Один шут, – фыркнул он.

– А почему вы решили, что я не из той компании?

– Держались как-то свободно, да и ездите в одиночку. Те больше кучно стараются, и по два воспитателя из Чеки в каждой группе.

– Мы их называем «искусствооведами в штатском». – Под тонкой щеточкой седых усов пробежала усмешка. И тут я спросил его прямо, решив, что, в крайнем случае, он не ответит:

– А что вы делали в Испании сорок лет назад?

Он выпрямил спину и ответил без малейшего колебания:

– Служил рядовым в терсио «Донна Мария де Молина» национальной армии генерала Франко. Чтоб было более понятно – был рядовым Русского Белого добровольческого отряда, участвовавшего в Гражданской войне в Испании в составе «рекете» – особых частей карлистского движения. Сражался против красных и наёмников Коминтерна.

Понятнее мне не стало, и я спросил, подумав, что вопрос не очень-то деликатен, но без него не обойтись:

– А раньше кем вы были, изначально?

Он не смутился и всё так же спокойно ответил:

– Я был офицером Добровольческой армии, капитаном Корниловского ударного полка. Затем – галлиполиец, эмигрант, рабочий в Югославии, таксист в Париже. – Подумав, добавил: – Коммивояжер...

Я раскрыл глаза от изумления. Было чему удивляться: живой белый офицер! И вообще – русские белые офицеры в Испании?

– И много вас было у Франко?

– Человек семьдесят в разных частях. В нашем терсио – сводном батальоне – русских было двадцать шесть человек: корниловцы, марковцы, дроздовцы. Я знаю, что русские были в терсио Наварра, Ариаменди, Монтеху, в Испанском легионе.

– А при чём тут карлисты?

– Они нам подходили больше других. Ведь они католики и монархисты, а их девиз «За Бога, Родину и Короля» похож был на наш – «За Веру, Царя и Отечество». К нам относились с уважением.

– А как вы попали в Испанию?

– Перешли границу – нелегально, конечно. Контрабандисты переводили через Пиренеи. Меня и моих товарищей провели через границу недалеко от Ируна, а потом перебросили дальше. Были и другие пути...

– И все были из Франции?

– Не все, но большая часть. Некоторые прибыли из испанского Марокко, из Африки, служили там в Легионе. Один даже с Мадагаскара приехал.

– Вам кто-то помогал всё организовывать?

– Да, конечно. Помогали из РОВСа – Русского общевоинского союза. Больше всех для нас сделал капитан Орехов, редактор «Часового», он сам был в Испании, вел передачи на русском языке от нас, от белых. Сейчас он в Брюсселе живет, издает журнал «Часовой» – последний белогвардейский орган. Капитан Орехов даже орден получил из рук генералиссимуса Франко.

Всё это было для меня настолько необычно, что я продолжал спрашивать с возрастающим интересом. Он отвечал с видимой охотой.

– А где вы воевали, на каких фронтах?

– На разных. Воевали на Арагонском фронте, на Мадридском. Участвовали в боях под Сарагосой и Теруэлем, прорывали красное кольцо под Бильбао. Стояли заслоном против красных на реке Тахо во время Каталонской операции. – И вдруг, немного застеснявшись, сказал с затаенной грустью: – В Кастильской степи были...

Слово «степь», сказанное так по-русски, заставило меня вздрогнуть. Ведь он же воевал в степях Таврии, Дона, Кубани. До чего изменчива судьба! И я спросил его тихо:

– Что вы искали в Испании?

Так же тихо он ответил:

– В белой Испании мы выполняли свой долг – долг русского офицера. Здесь была борьба с большевиками не словами, а с оружием в руках. Мы должны были принять участие в этой борьбе. В этом была наша правда. За это гибли наши товарищи. Из семидесяти двух русских добровольцев тридцать четыре человека сложили головы на полях Испании.

Он замолчал и некоторое время сидел задумавшись. Я боялся прервать его размышления лишним вопросом. Вдруг он сказал с ожесточением:

– Нас было немного, но мы противостояли Коминтерну. Поработив Россию, Коминтерн старался поработить Испанию.

– Полноте, – сказал я, стараясь быть спокойным, – вы забыли, что в Испании была гражданская война. В ней Коминтерн не повинен, хотя, конечно, использовал в своих целях. Точнее, не Коминтерн, а его кремлевский Хозяин. У испанских красных была своя правда, за нее они воевали и за нее гибли. Об этом вы думали? К тому же о Коминтерне Усатый заботился лучше вас. В эти годы Коминтерн перемалывали в подвалах Лубянки, а не на Арагонском фронте. Там столько расстреляли, сколько вы ни в одном бою не перебили, а потом Коминтерн Отец народов и вовсе разогнал, уже во время войны. Не нужен стал...

Он несколько смутился. Последняя новость, видимо, была ему неизвестна, а может, просто ускользнула из памяти. Всего не упомнишь. Некоторое время мы сидели молча. Он смотрел на меня с отчуждением.

– Вы ведь у них учились, у красных?

– А где ещё, не в Сорбонне же, – ответил я с раздражением.

Нашел, что спросить. Много ты о нашей жизни знаешь, эмигрант! Он покрутил пальцами, и я понял его жест: он по одну, а я по другую сторону этих самых баррикад. Разубеждать не хотелось, к тому же у меня были на этот счет свои соображения. Некоторое время мы обменивались малозначащими фразами, и тогда я полез в боковой карман и достал заветный флакон. Беседа пошла живее. Мы незаметно перешли на «ты» и так же незаметно втянулись в перипетии гражданской войны в России. Теперь пришел его черёд удивляться.

– У вас, наверно, наша Белая борьба в превратном свете была представлена?

– Во-первых, не у нас, а у них. Я давно не там, да и там не очень-то в числе «их» ходил. А вообще-то я историк и стараюсь видеть всю картину. Вашу борьбу знаю достаточно хорошо, и по вашим, и по их источникам.

Он фыркнул с недоверием, а я подумал: ну, сейчас он устроит мне маленькую викторину белого цвета. Поднесу-ка и я ему гостинчик.

– А... кто, собственно, создал Добровольческую армию?

– Генерал Алексеев, Михаил Васильевич, начал формировать ее в ноябре 1917 года. Она и называлась сначала – «Алексеевская организация». А с конца декабря 17-го стала официально называться Добровольческой армией, и в командование вступил генерал Корнилов. Алексеев остался Верховным руководителем.

Брови моего собеседника поползли вверх. Он, видимо, не ожидал получить столь обстоятельный ответ.

– А когда погиб генерал Корнилов?

– Лавр Георгиевич был убит при штурме Екатеринодара 13 апреля 1918 года. В командование вступил генерал Деникин, Антон Иванович.

– А в Ледяном походе на Кубань ты участвовал? – внезапно задал я встречный вопрос.

Викторину я выигрывал решительно и бесповоротно. Дальнейшая беседа была похожа на встречу боевых друзей. Издалека всё выглядело, вероятно, странно. Двое людей оживленно жестикулировали и поминутно говорили: «А помнишь?» Чертили схемы фронтов и планы операций на залитой красным вином бумажной скатерти и обсуждали чуждую испанскому сознанию проблеме спора генералов Деникина и Врангеля о направлении дальнейших военных действий после взятия Царицына Кавказской белой армией генерала барона Петра Николаевича Врангеля в конце июня 19-го года. Мы понимающе переглядывались, дружно чокались стаканами и, устав от оперативных планов, перешли к боевым будням. И тогда началось невероятное.

Рвались гранаты над Батайском, метались угловатые тени по стенам вокзала «Аточа», умирал в холодной палате ростовского госпиталя от заражения крови после легкой раны в ногу и восьми неудачных операций рыцарь Белого движения генерал Дроздовский, валялись в нелепых позах по обе стороны промерзшего кубанского шляха тела запоротых мужиков и заголенных баб, хрипел в углу, прикрывшись полой истасканной шинели, неудачный искатель правды из Синей дивизии генерала Муньес-Грандеса, отмороживший ноги на льду Волхова в недоброй памяти 42-м году, редкой цепью шли в полный рост по заснеженной стерне юнкера 1-го офицерского Марковского полка на отчаянно молчавший пулемет последнего бойца из отряда кубанских пластунов, перешедшего к красным.

– У нас была своя правда...

– Да, но и у тех тоже своя... Такова логика и трагедия гражданской войны. Ты помнишь, что писал в дневнике Дроздовский?

– Напомни, час-то поздний...

– Я процитирую по памяти, может быть, неточно: «...страшная вещь гражданская война, какое озверение вносит в нравы, какую смертельную злобой и местью пропитывает сердца. Жутки наши расправы...»

– Да, но дальше он говорит, что расправы были необходимы.

– Нет необходимых расправ, не пытайся меня убедить!

– Ты был в Valle de los Caidos – в Долине Павших?

- Конечно, впечатляет, но слишком грандиозно, я бы сказал – помпезно.
- ...Но справедливо, признай, справедливо! Сvezли и похоронили вместе сорок тысяч павших с обеих сторон в Гражданской войне.
- А заодно и чью-то правду... Я не люблю, когда диктаторы строят монументы и льют слёзы о погибших.
- Ты говоришь тяжелые вещи, но я не о том. Я называю Долину Павших – Долиной Примирения.
- Вот, вот... Победитель снисходителен.

Спите себе, братцы, – всё начнется вновь,
всё должно в природе повториться:
и слова, и пули, и любовь, и кровь...
Времени не будет помириться.

– Ты думаешь, не будет? Но как же так?! Вот у испанцев нашлось же время! Может, и у нас будет когда-нибудь своя Долина Павших?

«Будет у вас, будет, – подумал я, – столько будет павших, что долин не хватит». Вслух я ничего не сказал, зачем расстраивать человека? Мы щепетильно разделили последние капли из заветного флакона и чокнулись гранеными стаканами – совсем как на станции Крёкшино.

– Давай выпьем за всех павших, – предложил я. Он молча согласился.

Толстый буфетчик с трудом разлепил опухшие от скуки и бессонницы красные веки. Потухший взгляд его говорил: «Эй вы, кореша! Час поздний, пора лавку закрывать и сматываться». Я ответил ему тоже взглядом: «Не пыли, мужик. Дай разговор закончить. Ясно, что поздно, но такое ведь раз в столетие бывает».

Мы расстались так же внезапно, как и встретились. Просто встали, крепко пожали друг другу руки. Он чопорно поклонился и сказал:

– Вряд ли мы когда-нибудь увидимся. – Помолчав, добавил: – Мне стало легче после нашего разговора.

Я не стал уточнять. Легче, так легче. Адресами мы не обменялись, телефонами тоже. Да и стоит ли это делать со случайным встречным в полутемном буфете мадридского вокзала «Аточа»?

Через несколько лет, перелистывая старый комплект эмигрантских газет в библиотеке университета Нантерр под Парижем, я наткнулся на его имя в рубрике «Незабытые могилы». Там коротко сообщалось, что такой-то умер в Мадриде от рака легких.

Да будет тебе пухом каменистая земля чужбины, подумал я. Порывшись в памяти – чего только не найдешь там! – я нашел, как мне казалось, приличествующие моменту слова: «Упокой, Господи, души усопших раб твоих... и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

«Аминь!» – сказал внутренний голос.

Мне нечего было к этому добавить.



скрипач по профессии, последние 20 лет работает в оперном театре Ганновера (Германия). Гражданин Израиля. В 1974–1975 гг. был на действительной службе в израильской армии, после чего неоднократно призывался как резервист. Много публиковался в России.

ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ*

Инстинкт нравственного самосохранения, которым обладает европеец, есть следствие его нечистой совести: не будем вспоминать прошлое, достаточно того, что и сегодня свое благополучие Запад хранит за семью замками. Недаром все антибуржуазное на поверку всегда такое буржуазное. По этой же причине идеализм и цинизм в современном обществе тождественны друг другу: можно выступать в амплу идеалиста и циника одновременно, не опасаясь всерьез оскорбить щепетильную европейскую нравственность.

I

Допустим, что мое еврейство побуждает меня держать сторону Израиля, и моя задача – сеять сомнение в справедливости ближневосточных стереотипов. Спрашивается: с чего начать? Пожалуй, с тактической хитрости – да, готов признать правоту сказавшего: «Израиль – это страшно: идея избранного народа, обретшая структуру государства, – чем не формула нацизма, кстати? Позволить создать государство людям, объединенным не этнически, не культурно, а лишь манией своей избранности, – это было в свое время безумием. Евреям противопоказано свое государство...» (слова одного из моих героев. – Л. Г.) Однако условием столь неожиданного признания в устах израильского пропагандиста должно быть неременное согласие с этим моего европейского оппонента. А такого никогда не случится, уже хотя бы потому, что отрицание легитимности одной из сторон в мирных переговорах равнозначно отказу от них и, следовательно, продолжению кровопролития. Да и вообще отрицать легитим-

* Октябрь. 2003. № 7.

ность еврейского государства добропорядочный европейский буржуа не станет – в силу того же инстинкта нравственного самосохранения. Для него право Израиля на существование – аксиома. И, кстати сказать, только на этом основании написанное ниже имеет какой-то смысл. В отличие от моего оппонента, я не убежден – и никогда не был убежден – в том, что «медина́т Исраэ́ль» – не очередной лжемессия, на сей раз в обличье государства. Ведь не будь этой невозможной, не поддающейся осмыслению шестимиллионной гекатомбы, сионистский анклав в Палестине так бы анклавом и остался. Государство как сгусток ужаса шести миллионов казнимых – ничего хорошего от такого государства ждать не приходится.

II

Я продолжаю усыплять бдительность моего оппонента, еще больше распаляясь в роли «адвоката дьявола». Нет, пусть не думают, что мой еврейский сентимент меня ослепляет. Касаясь взаимоотношений с палестинскими арабами, я многое могу поставить в вину еврейскому государству – именно *еврейскому*, я это подчеркиваю ради смысловой ясности: Израиль продолжает быть частью еврейского мира и, вопреки ожиданиям, чем дальше, тем больше – очевидно, по мере растущих экзистенциальных проблем. Итак, в чем же евреи провинились перед своими арабскими согражданами? Ввиду особенностей еврейского менталитета начисто игнорировались особенности менталитета арабского. Местечко, гетто, привычка к бесправию и унижительные способы его преодоления – все это выработало тот особый еврейский практицизм, в котором нет места для множества человеческих добродетелей, как в кавычках, так и без. Легко себе представить, что сказал бы какой-нибудь Тевье-молочник о человеке, который, будучи оскорблен, живет лишь мыслью о мести. «Мне б его заботы», – сказал бы он. «Тебе это нужно, как еврею сабля», – говорят поляки про абсолютно ненужную вещь. И еврей соглашается. Презрение в ответ на презрение. Сабля ему ни к чему – это точно, ему при случае может понадобиться автомат, а еще лучше вертолет, оснащенный ракетами. Неспособность принимать всерьез чужие правила игры порождает пресловутое еврейское высокомерие куда в большей степени, чем претензия на богоизбранность, обычная для любой конфессии. К оказанию почестей, знаков уважения или, напротив, к оскорблениям Тевье совершенно равнодушен. Как мы помним из Шолом-Алейхема, у него пять дочерей – это для него всё, это для него важнее, чем он сам. И когда одна из этих дочерей, Голда Меир, говорит: «Мир не наступит, пока арабы не будут любить своих детей сильнее, чем ненавидят нас» – то далеко не все человечество готово разразиться аплодисментами. На весах многих культур, величайших мировых культур, неотомщенный позор, и, в особенности, позор поражения, перевешивает чадолюбие. Вообразим себе, что испытывает почтенный арабский отец семейства, когда прилюдно девчонка в мини-юбке с кобурой на бедре проверяет у него документы, – вероятно, Тевье только бы пожал на это плечами.

Коробит та легкость, с какой Израиль бросает на произвол судьбы своих политических попутчиков из числа арабов, будь то деревенские осведомители или отряды христианской милиции на юге Ливана. Причем доводы, высказываемые «апарте», мне даже стыдно повторять. Тогда как, в действительности, это не только подло, но и глупо: Израиль лишний раз демонстрирует своим соседям, включая и потенциальных партнеров по будущим переговорам, что на евреев полагаться нельзя, к арабам любой политической ориентации они относятся одинаково. И это вместо того, чтобы упорно создавать на оккупированных территориях дружественные структуры, мощную партию мира, не опасующуюся в любой момент быть преданной и брошенной на растерзание экстремистам. Этим следовало заниматься с 1967 года, после Шестидневной войны, а не раздуваться от сознания своего великолепия в сравнении с темным и забитым арабским населением, которому если и не говорилось прямо, то давалось понять: «Вы были бесправным быдлом, а теперь хоть каждый день можете жаловаться в БАГАЦ. У нас на стройках вам платят столько, сколько вам и не снилось в вашей вонючей Иордании. К вашим услугам театры, концерты, современнейшие больницы. Ваши дети могут посещать лекции всемирно известного профессора Лейбовича... Да мы бы на вашем месте с ума сошли от счастья». Еврейский здравый смысл не мог взять в толк, что счастливым можно быть лишь на своем месте.

Арабская гордость клекотала: где ненависть – эта своеобразная дань уважения врагу, признание его равенства? Где бесчинства, грабежи, изнасилования? Ничего такого не было, что, с одной стороны, оскорбляло, но, с другой стороны, избавляло от страха перед оккупантами. Все еще усугублялось тем, что Израиль идеологически – одна большая семья. Фамильярность в обращении, некая домашняя простота нравов, выражающаяся в так называемой еврейской «хуцпе» и глубоко чуждая чопорному арабскому Востоку, является для израильтян нормой. Впрочем, если не уважения, то права на самоуважение палестинцы скорей всего уже добились: сегодня евреи их ненавидят. Равно как и боятся.

III

Я стремлюсь к максимально возможной в моих обстоятельствах объективности, я балансирую на грани еврейского самоненавистничества – чувства, которое, наверное, присутствует в каждом еврее, если только еврейство для него не профессия, – но при этом ни на миг не забываю, на чьей я стороне. Утверждать, что есть две правды: одна – арабская, другая – еврейская – означает впасть в нравственное язычество: правда всегда одна. Но только, отстаивая ее, бессмысленно повторять, что Израиль – единственная демократия на всем Ближнем Востоке, что там нет смертной казни, зато есть кибуцы и в придачу знаменитый симфонический оркестр. Это общее место. Это давно уже набило оскомину. Это как бы нечто само собой разумеющееся: а разве может быть иначе, в еврейском-то государстве? Сегодня народ Израиля –

пария. Итальянская газета помещает карикатуру: в Вифлееме израильский танк целится в младенца Христа – и подпись: «Вы снова хотите меня убить?» Крупнейший немецкий университет стыдливо замалчивает приезд израильских студентов. Только предварительно атаковав Израиль, сегодня можно выступать на его стороне. Тогда вдруг выясняется, что грехи Израиля ничего общего не имеют с тем, что ему инкриминируется, а Страшный суд прессы настолько несправедлив и пристрастен, что может поспорить с показательным процессом наихудших времен. Наглядный пример. После очередного взрыва в тель-авивском кафе, с множеством убитых и раненых, Израиль предостерегают от проведения военной операции на территории Палестинской автономии ввиду полнейшей невозможности отличить террористов от мирных жителей. Вместо этого израильтяне должны вступить в переговоры с председателем Палестинской автономии, невзирая на то, что, по его же собственным заверениям, он никак с террористами не связан, не имеет на них никакого влияния и, следовательно, за террор никакой ответственности не несет. О чем могут вестись в этом случае переговоры? О законном праве палестинцев селиться в окрестностях взорванного кафе. Тех самых палестинцев, чья полнейшая неотличимость от террористов делает недопустимым ведение боевых действий против последних.

Весь ужас в том, что на оккупированных территориях теперь уже, действительно, трудно провести четкую грань – а идейно вообще невозможно – между террористами, их пособниками и просто жителями. «Какова средняя продолжительность жизни еврея в Рамалле? Пятнадцать минут». В этой черной шутке нет ни грана преувеличения. По отношению к Израилю палестинцы руководствуются моралью, которую их председатель не рискнет высказать вслух: моралью Великой Отечественной войны. И эта мораль диктует свою логику поведения. «Убей немца!» – писал Илья Эренбург. «Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» – говорится в известном стихотворении Константина Симонова. По-арабски это звучит: «итбах аль-яхуд», «убей еврея», заметьте, еврея, а не израильтянина – лозунг, без которого не обходится ни одна арабская «трехминутка ненависти». Чем для русских был немец, тем для арабов сейчас является еврей. И они не совершают решительно ничего такого, чего бы за полвека до них не совершали советские партизаны, причем делают это с таким же точно плакатным героизмом. А что они убивают при этом всех без разбору, так ведь в Израиле все взрослое население солдаты, дети – будущие солдаты, старики – бывшие. А как сладка месть, эта сестра справедливости! Да и когда еще союзная авиация доказала, что на войне все кошки серы. «Но в Израиле же не проходят демонстрации под лозунгом "Хороший араб – мертвый араб..."» «Потому что вам далеко до нашего отчаяния, – незамедлительно отвечают на это арабы. – Вы вторглись к нам, вы прогнали нас с нашей земли. Вам не нравится, когда мы вас убиваем? Говорите, что не хотите убивать нас? Выход есть: убирайтесь откуда пришли». Это верно: у каждого израильтянина в отдельности выход есть, но как государство Израиль в безвыходном положении.

IV

Израильские военные настаивают на том, что во время своих операций они щадят арабское население. Западное телевидение демонстрирует прямо противоположное. И никто не сомневается: не будь телеобъективов, пролилось бы еще больше арабской крови. Больше арабской и, соответственно, меньше еврейской – это следует подчеркнуть, поскольку тут возникает естественный вопрос: если международное общественное мнение для Израиля играет такую роль, что в угоду ему он жертвует своим самым дорогим, действительно самым дорогим – жизнью своих солдат, то где же антипалестинская пропаганда, по какой причине она начисто отсутствует? Прежде всего, по глубоко укорененной привычке старшего поколения израильтян считать себя жертвой, которая ни перед кем не должна оправдываться, и меньше всего перед Европой. Но также и по неумению – чего только стоят ссылки некоторых израильских политиков на бомбардировку американцами Афганистана. Вот уж воистину неотразимый аргумент в глазах миролюбивого человечества! Тогда как арабы прошли советскую школу промывки западных мозгов. И потом традиционная сионистская пропаганда долгие годы имела лишь одну цель: под видом привлечения в страну новых репатриантов услаждать слух самих пропагандистов. Иными словами, евреи недоверчивы настолько, что постоянно убеждают в своей правоте самих себя. В этом смысле я не исключение. Однако никакое самодистанцирование, порой даже заигрывающее с самоненавистничеством, не мешает мне видеть, сколь несопоставим масштаб зла с тем, что можно вменить – и должно вменить – в вину евреям. Израиль в отчаянно безвыходном положении: его легитимность не оспаривается лишь на условиях, гарантирующих его уничтожение. И потому ответственность за все, прямая ответственность, лежит на тех, кто эти условия выдвигает.

V

Но, снимая вину с израильтян, я не могу автоматически возложить ее на плечи палестинцев. Это два совершенно разных мира, ни о какой симметрии здесь не может быть и речи. Палестинцам не просто хуже, чем израильтянам, их жизненный стандарт ниже того уровня, на котором Израиль возможен как государство. К тому же совершенно очевидна авторитарность их общества, такое общество не несет ответственности за действия своих лидеров – скорее уж наоборот. На этих лидеров мне, прежде всего, и хочется обрушить знаменитое «j'accuse». Уже за одно то, что без малого целый век раздувают пламя арабской ненависти, не имея, подобно саламандрам, другой среды обитания и живя лишь яростью предводительствуемых ими толп. Кто-кто, а они на вопрос «В чем счастье?» вправе отвечать: «В борьбе». И можете не сомневаться, счастливыми они попытаются быть как можно дольше. Сегодня ислам, вчера марксизм – для них это всего лишь источник той смертоносной энергии, которая способна привести в движение человеческие массы, фанатизировать их. По

большому счету им даже ни к чему уничтожение Израиля, не говоря уж о создании демократического Палестинского государства. Понимают ли они это сами? Барак, израильский «mister Yes», ничем не рисковал, проводя политику уступок. Похоже, он-то это понимал. Вообще разделение израильских политиков на «уступчивых» и «неуступчивых» напоминает распределение ролей между следователями: один изображает доброго, другой – злого, и они чередуются. По иронии судьбы именно в политическое «дежурство» Бегина – тогдашнего Шарона – произошло величайшее событие в истории арабско-израильских отношений: был подписан мир с Египтом. Всеобщее ликование было таким, что триумфальному въезду Садата в Иерусалим более приличествовала белая ослица, нежели черный бронированный лимузин. Якобы, узнав по выходе из самолета, что в аэропорту его встречает весь цвет израильской политики, египтянин спросил: «А Шарон тоже здесь?»

Помимо прямой ответственности за палестинскую трагедию есть еще и косвенная ответственность. Когда сравнивают Рамаллу с Освенцимом, то как бы не оставляют для ее жителей иного выхода, кроме как последовать примеру защитников Варшавского гетто. Трудно сказать, чего тут больше, кощунства или провокации, успех которой себя ждать не заставит, обернувшись еще десятком арабских смертей, да, возможно, и еврейских. Положим, такое высказывание – одиозный случай. А вот что стоит за такой рутинной, как ритуальные заклинания о мире, сопровождающиеся призывами к Израилю прыгнуть выше головы, что стоит за этим систематическим подливанием масла в огонь? Нарциссизм? Желание во что бы то ни стало поддержать слабого? В компании с ОПЕК это особенно приятно. Но только тогда инстинкт нравственного самосохранения здесь ни при чем. Я зря стараюсь: всем все и так понятно. Не сидят же три поколения судетских немцев в беженских лагерях где-нибудь в Баварии, денно и нощно скандируя: «Су-де-ты!» Представляете: голодные, озверелые судетские немцы с автоматами, рвущиеся в Чехословакию, – не то страшный сон, не то кадр из фильма Кастурицы. А ведь на Ближнем Востоке тоже была война, и тоже проигранная теми, кто ее начал. Нет, конечно же, эти добрые люди отлично понимают, что, внемли еврейское государство всем их призывам, очень скоро лозунг «Хороший еврей – мертвый еврей» воплотился бы в жизнь. Допустить, что таково их сокровенное желание, совсем сокровенное, на уровне подсознания? Любовь к мертвым евреям – это специалитет Европы, для которой нет плача сладостней, чем плач по ним. Прямо какой-то вид массовой некрофилии. В книгах, в кино, в школах – повсюду нескончаемые потоки любви.

VI

Ну, конечно, все они антисемиты, убежден израильтянин. Европейцы в негодновании, совершенно искреннем. При чем тут антисемитизм, когда речь об израильтянах? К тому же они в принципе отвергают расовую теорию: мало того, что она преступна по своим последствиям, это еще и суеверие. Нет никаких евреев, а есть исповедующие иудаизм немцы, русские, поляки. Но ев-

реи не остаются в долгу: коль скоро не удалось нас уничтожить, то принялись утверждать, что некого было уничтожать. Отрицание факта нашего существования – тот же антисемитизм, только перелицованный. Суеверие – отнять имя, полагая, что с ним отнимется и жизнь. Так в старину наводили порчу колдуны: произнося специальный заговор, соскребали написанное кровью имя.

Безусловно, антисемитизм никуда не девался, ни в Европе, ни во всем мире. Он – Протей, принимает самые причудливые формы. Он мимикрирует, приспосабливается к злобе дня. Избыточная любовь к евреям от того же корня, что и ненависть к ним, и должна настораживать точно так же. Но сегодня евреям не угрожают пылкие объятия Европы. Тем лучше, потому что в них тоже можно испустить дух. Быть объектом чужой политкорректности, причуть себя к заниженной планке и при каждом удобном случае говорить застывшему перед тобой по стойке «смирно» немецкому чиновнику: «Смотрите, что вы с нами сделали», – вот верный путь к деградации во славу «вечных ценностей» антисемитизма. Неважно, будь это антисемитизм старых добрых времен или по самоновейшей моде вывернутый на *левую* сторону.



Альбом (2 диска)
с 36 песнями
Булата Окуджавы
на русском и иврите –
в исполнении
Ларисы Герштейн

В Израиле – ₪50
В США и России – \$28
В Европе – €20
(Цены включают доставку по почте)

Справки по телефону: (Иерусалим) 02-5325931
или по электронной почте: omegag@bezeqint.net



историк, автор книг и статей по западной и русской культуре и философии. Живет в России.

ВОРОН К ВОРОНУ ЛЕТИТ*

1

Смутное впечатление оставляет сегодня Россия.

С одной стороны – разнообразится жизнь на поверхности ее; наблюдается некоторый экономический рост, особенно заметный после стагнации, вызванной структурными реформами; наполняется государственная казна; укрепляется государство, одно время зашатавшееся под действием центробежных сил; зацвела по древнему корню Церковь, утверждающая себя в душах хотя бы и ограниченного числа людей.

С другой – с укреплением государства вновь укрепилась бюрократия; экономически мы еще страшно далеки от передовиков, а мечта «догнать Португалию» вряд ли способна воодушевить страну, в не столь отдаленные времена ставившую целью «догнать и перегнать Америку»; в политическом плане демократия где-то пробивает себе дорогу, хоть и с большой натугой, а где-то отступает и пятится, особенно на местах; поле культуры в подавляющей своей части заполнено продукцией, лишенной «русской соли» и хотя бы опосредованной связи с православием; и, что самое главное, падение нравов, ставшее приметой 90-х годов, отнюдь не сменилось движением в противоположном направлении.

Актуальным становится злое *mot* Наполеона о русских (сказанное им об отдельных представителях русской аристократии): «еще не созрели, а уже сгнили».

По всем основным признакам Россия отброшена на обочину мировой истории и годится только на роль обузы, которую кто-то должен тащить на буксире. И как стремительно, по историческим меркам, это произошло! На памяти

* Континент. 2005. № 125.

не только старших, но и средних поколений времена, когда все моря были нам по колено, а сидящие в Кремле руководители не слишком скрывали своего намерения все земли схватить в одну горсть. Казалось бы, всякого разумного россиянина должен сегодня мучить вопрос: *отчего* случился обвал? И если кто-то почему-то подменил нам судьбу, *когда* это произошло? Увы, сегодня преобладает нечто прямо противоположное: психологическое уползание назад в Советский Союз, не обременяющее себя никакими острыми вопросами. Чему сама власть отчасти способствует.

Притом что сталинщина в советском прошлом все больше отделяется от ленинщины... Я не очень часто смотрю телевизор, но, думаю, нельзя не заметить, как нарастает резко негативное отношение к большевикам периода революции и гражданской войны и лично к тов. Ленину... Тенденция, конечно, радует... Зато Сталина, как правило, стараются «не обидеть»; а в фильмах о войне его выставляют скорее как положительный персонаж. В общественное сознание внедряется мысль, что Ленин был разрушителем, а Сталин – созидателем. «Сталин, – пишет, например, А. Бушков, – быть может, лучший из русских императоров (?! – Ю. К.), всю жизнь лишь казался революционером». А на деле был «великим строителем»¹.

Людам, пытающимся оправдать Сталина, когда-то медведь очень крепко наступил на ухо – то, которым дается нравственный слух. Сталину случилось быть (думаю, это более точное выражение, чем «Сталин был») уникальным извергом, который должен вызывать в потомстве ужас и стыд без примеси каких-либо других чувств. Зло, что он принес народу, такое, что его, действительно, ни руками развести, ни словами рассеять...

Но попробуем отвлечься от нравственной квалификации и подойти к делу чисто прагматически (хотя это условность: не существует «чистой» прагматики в отрыве от нравственности): что сделал Сталин? Говорят, что он вернул страну на национальный путь. И в этом смысле явился тем «одиноким вепрем», приход которого В. Шульгин предсказывал еще в 1920 году: «Он будет истинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям»². Но, во-первых, Сталин вовсе не был «одиноким вепрем» по складу характера и отнюдь не обладал той волевой силой, которую ему часто приписывают. Вероятно, наиболее точную характеристику дал ему Б. Бажанов, в продолжение нескольких лет (как раз в критические для Сталина 20-е годы) бывший его личным секретарем и имевший возможность близко его наблюдать: «Сталин – человек чрезвычайно осторожный и нерешительный. Он очень часто не знает, как быть и что делать. Но он и виду об этом не показывает. Я очень много раз видел, как он колеблется, не решается и скорее предпочитает идти за событиями, чем ими руководить»³.

¹ Бушков А. Россия, которой не было. М., 2004. С. 540, 543.

² Цит. по: Сироткин В. Почему Троцкий проиграл Сталину? М., 2004. С. 65.

³ Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. СПб., 1993. С. 146–147.

И то сказать, было от чего проявлять нерешительность и осторожность. Сталин был учеником Ленина и Троцкого и до поры до времени смотрел им в рот. Но уже в 1921 году становилось ясно, что обещанной ими мировой революции, из-за которой красным огнем загорелся весь сыр-бор, не будет. Иначе говоря, вожди сами обманулись и обманули тех, кто последовал за ними. Идея мирового коммунизма таяла в воздухе, оставляя «без дела» многочисленную орду, именуемую партией большевиков, подавляющую часть которой составляли новобранцы – малограмотные люди в кирзовых сапогах, жаждавшие самоутверждения и больше доверявшие друг другу, нежели прежним «учителям» в пенсне и стоячих воротничках.

Очевидной была «ошибка в заклинании»: вместо нового сияющего космоса (мирового коммунизма) страну затопил хаос, что в понимании классических греков означало разъятие и одновременно смешение элементов бывшего космоса. Но хаос, как мы знаем (хотя бы из новейшей синергетики), обладает способностью к самоорганизации; только – вот беда – самоорганизация эта осуществляется на уровне самом примитивном, «сбрасывающем со счетов» достижения цивилизации за века и даже тысячелетия.

Сталин, к концу 20-х годов почти уже сделавшийся единоличным диктатором, оказался в нелегком положении. Путь, каким пойдет страна, выпало определить человеку, который наблюдательному М. Пришвину представился как тип «полицейского пристава из грузин царского времени» (Октябрь. 1989. № 7. С. 164)... И вот на долю такого человека выпало восстановить распавшуюся «связь времен».

До некоторой степени сходную задачу решал Наполеон, в годы революции бывший якобинцем и протеже младшего Робеспьера, а спустя каких-то десять лет самолично увенчавший себя короной Карла Великого. Но Наполеон, как будто умевший на равных говорить с самим Гете, несравненно лучше был для этого подготовлен, чем Сталин, по свидетельству Бажанова «смотревший в потолок», прежде чем сказать очередное слово. Однако Сталин умел прислушиваться к шевелениям самоорганизующегося хаоса в лице партийных новобранцев (которые лично ему, как разночинцу, были ближе старых партийных вождей), и в этом секрет его успеха.

Надежды на то, что «вепрь» «красными руками будет делать Белое дело» оправдались лишь в отрицательном смысле. Да, Сталин расправился со старыми большевиками, фактически уничтожил всю старую большевистскую партию и всю командную верхушку Красной Армии времен гражданской войны с такой садистской жестокостью, на какую не были способны Деникин с Колчаком. При всем том он по-прежнему оставался «учеником» Ленина и Троцкого. Пожалуй, Троцкого даже в еще большей степени, чем Ленина, потому что Ленин замолчал где-то уже весной 1923 года, а надменный голос Троцкого продолжал звучать до конца 1927-го, потом еще около двух лет – глухо, из ссылки, и потом – в эмиграции, аж до 1940-го. Конечно, из эмиграции голос Троцкого в России уже не был слышен, более того, все библиотеки страны были тщательно «очищены» от прежних его писаний, но личной сталинской биб-

лиотеки это не касалось. Там не только оставались на месте все тома его собрания сочинений, но и все новое, что выходило из-под пера «демона революции» и печаталось за рубежом, аккуратно ставилось на полку и, судя по замечаниям на полях, внимательнейшим образом прочитывалось.

Так, «великий перелом», начатый Сталиным на исходе 20-х годов и изменивший облик страны едва ли не больше, чем Октябрьский переворот, в значительной степени был осуществлен по наметкам Троцкого... Сталинский «орден меченосцев» (выражение, на которое Сталин отважился после того, как услышал от Троцкого сравнение партии большевиков с «орденом самураев») подверг эту деревню такому разгрому, от которого она уже никогда не оправилась. Только смысл его действий существенно расходился с футуристическими планами Троцкого: складывающаяся партийная номенклатура ставила перед собою близкую и понятную цель – прижать к ногтю мужика, который оставался собственником и рано или поздно скинул бы самозванных властителей земли русской.

Одновременно была почти полностью разрушена Церковь; в своем антирелигиозном усердии партийные новобранцы превзошли учителей, всем своим поведением в этой части явив, так сказать, атеистический эквивалент известной пословицы «заставь дурака Богу молиться, он и лоб побьет». Питирим Сорокин писал: «В революции в человеке просыпается не только зверь, но и дурак»⁴. В частности, и в первую очередь, это относится к тем, кто внедряется в структуры новообразованной власти.

Это дурак предопределил весь внешнеполитический курс советской власти раз и навсегда, равно как и непомерно большое его место в структуре политических стратегий. Разумеется, я не имею в виду Сталина, который был «выдающейся посредственностью» (Троцкий), не более, но и не менее чем. Я имею в виду коллективного дурака, вышедшего «из грязи в князи», мало что знавшего о «большом мире», но имевшего смутное представление об имперской идее в гремучей смеси с идеей мировой революции. Есенин писал в «Стране негодяев» (1924):

В стране еще дикие нравы.
Здесь каждый Аким и Фанас
Бредит имперской славой.

Слово «каждый» не следует понимать буквально. Традиционно крестьянство было скорее равнодушно к имперской идее (носителем которой было культурное дворянство), а к военной службе питало скорее отвращение (что не мешало мужику, раз уж он был одет в солдатскую шинель, стойко биться «за Веру, Царя и Отечество»); таким, в большинстве своем, оно оставалось и после революции. Так что речь идет, очевидно, о тех «Акимах и Фанасах», кто вышел из крестьян хоть в какое-нибудь начальство.

⁴ Сорокин П. А. Долгий путь. Сыктывкар, 1991. С. 87.

А Сталин просто осуществлял тот внешнеполитический курс и ту военную политику, которые ему внушались «снизу» номенклатурными кругами; что, разумеется, не исключает личной его ответственности за них. Только мощными выбросами глупости на поверхность можно объяснить тот гиперболический милитаризм, на путь которого страна встала в 30-е годы. Чтобы достойно встретить врага в 41-м, вовсе не было необходимости иметь в несколько раз больше танков, самолетов и другой военной техники; достаточно было иметь несколько больше извилин в коллективном мозгу тогдашнего руководства. Да и в мозгу Сталина тоже. Что при таком громадном превосходстве в технике (не говоря уж о превосходстве в людской силе) отступили до Волги, и только там, буквально из последних сил, сумели переломить ход войны и потом победить ценою фантастических жертв, говорит о таком головоуныистве руководящих кругов, и лично Сталина тоже, примеры которому вряд ли можно сыскать в истории. И, несмотря на это, под каждое 9 мая по стране прокатывается волна славословия Сталину или, по крайней мере, выказывается «дань уважения» к нему.

Победа, одержанная в 45-м, – пиррова победа... Но советское руководство, не удовлетворившись достигнутым, жаждало еще одной пирровой победы, на этот раз уже окончательной (догадайтесь: что такое окончательная пиррова победа?). Однажды став на путь милитаризма, страна была уже не способна с него сойти (и попутно «заразила» этой болезнью – себе же на голову – США, дотоле к ней невосприимчивые). Дело кончилось тем, чем должно было кончиться – как в басне Крылова «Пушки и паруса», корабль пошел ко дну из-за обилия пушек и неумения управлять парусами.

Солдат солдата рождает, говорит русская пословица. Этот занимательный процесс оборачивается творческим бесплодием для общества, которое солдат призван охранять. А Тойнби писал: «Милитаризм, утративший чувство меры, надламывает цивилизацию».

Пора, однако, сказать и о том, что ностальгия, которую вызывает покинутое огнище, имеет определенные оправдания. И когда говорят, что при Сталине «не все было плохо», то это святая правда. Надо только уточнить, что именно было плохо, а что не так уж плохо...

Что при его жизни все достижения, реальные или мнимые, приписывались Сталину, это понятно. Сравнение его с гофмановским крошкой Цахесом стало уже, кажется, банальным. Но от крошки Цахеса все отреклись и насмеялись над ним, когда разрушились чары, которыми окружила его фея фон Розеншен, а к Сталину очень большая часть населения страны не способна отнестись трезво даже спустя полвека после его смерти.

Что поделаешь, правда жалит, зато кривда ласкает, да нежит, да поддакивает. ...Советское мироустройство, если брать его в целом, представляло собою лишь видимость космоса, некий его суррогат, которому заведомо была отмерена короткая, по шкале истории, жизнь; «хаос шевелился» слишком близко к его поверхности, что стало очевидно, когда все здание в мгновение ока рухнуло, и все, что в нем жило и до поры до времени ходило по струне, вдруг получило возможность самовыражения.

Картина, если иметь в виду статистически основную ее часть, открылась неприглядная: «содом неприбранных инстинктов и интересов» (В. О. Ключевский). Оттого очень скоро многих потянуло назад, в старый дом под красным флагом, откуда выход был только один – в ту реальность, в какой мы ныне пребываем. Ибо на стенах его изначально было начертано невидимое глазу «мене, текел, фарес».

Психологическое самоокапывание в советском прошлом мешает нашим соотечественникам воссоединиться, опять же психологически, с дореволюционным прошлым, когда-то грубо отвергнутым, а теперь отделенным от нас уже громадным отрезком времени. В чем-то такое воссоединение достигается, хотя уж слишком медленно; а в чем-то, напротив, ускоряется отрыв. Вот трудный вопрос: воспринимают ли нынешние школьники героев классической литературы более адекватно, чем школьники советского времени? Как бы не наоборот.

У немцев есть такое тяжеловесное слово: *Vergangenheitsbewältigung* – «овладение прошлым». Ни для кого сегодня оно так не актуально, как для нас. Бескомпромиссно критическое отношение к советскому безвременью и воссоединение с дореволюционным прошлым жизненно необходимы нашей стране – для придания ей остойчивости в ее движении в неопределенное будущее. Потому что будущее для человечества сегодня, как никогда, опасно: оно может оказаться таким, что даже настоящее, в сравнении с ним, представится светлым и прекрасным⁵.

2

Ночь мировая глядит в зрачки...

Даниил Андреев

Лет десять назад в статье «Мера пессимизма» (Континент. № 87) я писал о том, что пессимистическая перспектива – для европейской цивилизации в целом, для России в частности и в особенности – вполне реальна и должна быть осмыслена; более того, она способна оказать мобилизующее действие на национальное сознание.

Сегодня оснований для пессимизма стало еще больше, и, тем не менее, по-прежнему место ему находится где-то на периферии общественной мысли. Звучат лишь отдельные трезвые голоса. Член-корреспондент РАН Ю. Пивоваров пишет, что Россию ожидает «полная гибель всерьез»⁶. Известный социолог И. Бестужев-Лада тоже считает, что «Россия обречена», но и с другими

⁵ В гораздо более благополучные, сравнительно с нынешними, времена И. А. Ильин писал: «Мы не можем не подивиться тому, что современному человечеству в общем и целом живется все еще так хорошо и слишком хорошо по сравнению с теми бедами, которые могут возникнуть из этого кризиса» (Ильин И. Путь духовного обновления. Мюнхен, 1962. С. 23).

⁶ Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. М., 2004.

странами положение не лучше; он опирает на общецивилизационные причины грядущего коллапса – состояние экологии, демографии, нехватку жизненных ресурсов и т. д.: «Глобальные проблемы, если задуматься над ними как следует, поражают своей безысходностью, практической неразрешимостью – по крайней мере, при существующем положении вещей – и если что доказывают, то неизбежность глобальной катастрофы не позднее следующего столетия...»⁷ Но кто их слышит? Если и приходят нам в голову мрачные мысли (а они приходят неизбежно), мы их поскорее от себя отгоняем.

Примечательно, что даже традиционно жизнерадостные американцы начинают задумываться над тем, что всё катится в тартарары⁸. Четыре года назад в США вышла книга Роберта Каплана «Грядущая анархия», содержащая самые мрачные предсказания в мировом масштабе. Так вот, книга Каплана надолго стала в стране интеллектуальным бестселлером – наряду с такими, как «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона, «Большая шахматная игра» З. Бжезинского и, в несколько меньшей степени, «Смерть Запада» П. Бьюкенена...

С точки зрения Каплана, падение советской империи, поднявшее такую тучу пыли, которая до сих пор не осела, – только пролог к «реально большим переменам». Мир, утверждает Каплан, движется в направлении хаоса, равняясь на... Черную Африку. Для нас Черная Африка – мировые задворки, гиблое место, из которого бегут европейцы, но которым, говоря откровенно, в видах на будущее можно и пренебречь. Даром что это родина человечества. Пренебречь не удастся, говорит Каплан. Черная Африка, особенно западная ее часть, «становится символом мирового демографического, окруженческого (environmental) и социального стресса, в условиях которого криминальная анархия растет как реальная стратегическая опасность. Нищета, перенаселенность, неспровоцированная преступность, миграция беженцев, возрастающая эрозия национального государства и размывание национальных границ, усиление частных армий и служб секьюрити, рост могущества международных наркокартелей – во всем этом западная часть (Черной) Африки показывает пример остальному миру»⁹.

В XXI веке, пророчит Каплан, европейцы окончательно покинут Африку (в том числе и недавнюю твердыню апартеида – ЮАР), бросив на произвол судьбы христианство, активно вытесняемое первобытным анимизмом. Разве

⁷ Бестужев-Лада И. Альтернативная цивилизация. М., 2003. С. 55. Я ссылаюсь здесь на авторов, чьи суждения оставляют впечатление хорошо взвешенных, не принимая всерьез отдельных алармистов (есть и такие), пророчащих гибель России «до 2010 года» или даже раньше.

⁸ В Европе пессимизм давно уже овладел многими умами. Вот один из самых ярких примеров. Эмиль Чоран: «Идея Светопредставления носится в воздухе. Чуть выйдешь на улицу, посмотришь, поговоришь, послушаешь – и сразу поймешь, что час близок...» (Чоран Э. Разлад // Иностранная литература. 2001. № 1). Другой публицист Одо Марквард пишет, что в мире сегодня царит «хорошо скрываемая паника» (Отечественные записки. 2003. № 6). Можно привести очень много примеров в таком роде.

⁹ Kaplan R. D. The Coming Anarchy. New York, 2001. P. 7.

что на побережье останутся, как в викторианские времена, отдельные фактории. Но Африка будет преследовать европейцев и «на их спинах» ворвется в их собственные дома. Чего не избежит и оплот западного мира – США; даже наоборот, наличие в этой стране многочисленного африканского меньшинства особо интимным образом связывает ее с Африкой (недаром же современную американскую культуру все чаще называют афро-американской). Бидонвили Западной Африки, пишет Каплан, «вселяют в вас зловещее предчувствие того, на что могут стать похожими американские города в будущем». Воображаю, как воспринял это предчувствие американский читатель!

Очевидно, что такое, сегодня еще шокирующее, сближение может возникнуть лишь в результате мирового экономического кризиса, о вероятности которого говорят сегодня многие экономисты; он может начаться, например, с того, что лопнет нынешняя «дутая», не основанная на золотом стандарте, мировая финансовая система. Каплан разделяет мнения о близости мирового кризиса, более того, как будто даже приветствует его: неудача, бедность, пишет он, ближе к истине мира сего.

Как говорит русская пословица, нищета прочней богатства.

И все же не в экономических материях надо искать причину грядущего (да уже и происходящего в продолжение довольно длительного времени) отката европейской цивилизации. Главная причина – помрачение душ. В этом конкретном смысле Черная Африка, где многое еще сохранилось от первобытного естества, действительно представляется средоточием хаоса. Как тут не вспомнить Джозефа Конрада с его повестью «Сердце тьмы» (1902), написанной в пору победного шествия европейской цивилизации. Ее герой поселился в джунглях центрально-африканских лесов с твердым намерением приобщить здешний край к благам цивилизации, а вышло наоборот – заглянув «за грань» европейского космоса, он увидел здесь «сердце тьмы» и в ужасе от него отшатнулся: «дикая глушь... шепотом рассказала ему о нем самом то, чего он не знал, о чем не имел представления, пока не прислушался к своему одиночеству, и этот шепот зачаровал его и гулким эхом отдавался в нем, ибо в глубине его была пустота».

Сегодня нет необходимости отправляться в Африку ради такого рода открытий; тьма сама наползает в места, которые некогда застолбило за собою христианство. Совсем другой писатель, Леонид Леонов, фиксирует этот факт в своем последнем романе. Его герой, отметив у своих соотечественников, переживших «славный» советский век, «крепнущую волю к гибели», обращает взоры в том же направлении, что и герой Конрада: в «потемках очередного века» ему грезится «жуткая кувырк-коллегия из экваториального террариума»¹⁰.

В некоторых планах экспансия Запада еще продолжается; в первую очередь это относится к Соединенным Штатам, продвигающим свое понимание демократии в разных концах земли. К несчастью, пишет Каплан, наш «опустевший» либерализм целиком полагается на формальное право, игнорируя реальное положение дел и психологию людей. «Ирония в том, что пока мы пропо-

¹⁰ Леонов Л. Пирамида. Вып. 3. М., 1994. С. 19, 23.

ведем нашу версию демократии за границы, она ускользает от нас дома». Каплан своевременно напоминает, что отцы-основатели восхищались некоторыми чертами жизни древней Спарты (не ведая, что в XX веке она будет «скомпрометирована» благоволениями, которые выражали в отношении нее фашистские режимы). Конечно, родина демократии (равно как и наук, и высокого искусства) – это, бесспорно, Афины; но мы помним, во что, в конечном счете, вылилась афинская демократия – в охлократию. А Спарта всегда привлекала (и сейчас привлекает) некоторыми (хотя именно только некоторыми) своими чертами – благородной строгостью нравов, готовностью к самопожертвованию во имя отчизны etc.

Но вкусы отцов-основателей не являются определяющими для нынешних американцев; более того, последние в массе своей относятся к ним, то есть к отцам-основателям с их вкусами, как к очень далеким и чуждым себе людям, если вообще что-то о них знают. Между тем как раз со вкусами масс сверяются те, кто определяет сегодня пути американской демократии... «Я, – пишет Каплан, – не хочу сказать, что Соединенные Штаты приходят в упадок. Скорее наоборот, на исходе XX столетия мы, как никто, демонстрируем творческую энергию и динамизм. Хотим мы того или нет, но мы трансформируем самих себя во что-то совершенно отличное от того, что нам под силу вообразить».

Из этого несколько противоречивого рассуждения следует, что Соединенные Штаты не просто приходят в упадок, но исподволь производят на свет какую-то новую цивилизацию. Но переход от одной цивилизации к другой обычно совершается через фазу варварства, в которую мы сейчас и вползаем. Причем достоверно лишь то, что мы в нее вползаем, а можно ли разглядеть на «карте будня» ростки какой-то новой цивилизации – большой вопрос.

Вскользь упомянутая технология, вероятно, и есть главное, что удерживает Каплана от однозначного определения нынешнего состояния Соединенных Штатов как упадочного. Действительно, однажды «закусив удила», технология стремится куда-то за облака, в буквальном и переносном смысле, но при нынешнем состоянии умов она скорее увеличивает массу хаоса – в головах людей и в формах организации человеческих обществ.

Если у себя в стране Каплан не видит ничего по-настоящему радующего глаз, то другие регионы в его «оптике» еще меньше дают оснований для оптимизма. Индия, например, представляет собою, по его словам, почти столь же мрачную картину, как и Африка. В Китае лишь в прибрежной зоне достигнуты кое-какие экономические успехи, а глубинные районы являют собою царство нищеты и всесторонней деградации. И так далее.

Впрочем, существующая карта мира, по мнению Каплана, только мешает увидеть, каким он станет в недалеком будущем. Каплан предсказывает возможный распад крупных государств, таких, как США, Россия, Индия и некоторые другие, и вообще стирание границ, которые постепенно будут утрачивать прежнее значение. Строгий Термин (древнеримский бог границ) будет посрамляем чем дальше, тем больше. Повсюду возникнут подвижные «центры власти», базирующиеся на племенных, религиозных и культурных предпочте-

ниях и периодически ведущие войну друг с другом за иссякающие средства существования. Между ними будут снова банды скинхедов, ищущих, где бы что пограбить, – сделавшие себя в значительной мере по голливудским образцам; кстати, media-развлечения, считает Каплан, останутся глобальными.

Концепция Каплана, очевидно, противоречит концепции «столкновения цивилизаций» Хантингтона. У Хантингтона цивилизация – это более или менее организованная «армия», знающая или хотя бы смутно представляющая, какие границы она защищает и во имя чего. В «оптике» Каплана все «армии» распадаются или находятся в процессе распада на отдельные «партизанские части» и «летучие отряды», каждый из которых отстаивает какие-то местные или частные интересы. Думаю, что в настоящий момент концепция Каплана неприложима к мусульманскому миру, представляющему собою относительно сплоченную – фактором религии – силу. И еще проблематично, в какой мере она приложима к дальневосточному миру, в первую очередь к Китаю, чье будущее представляет собою загадку, которую сейчас трудно разгадать. Но в отношении всего остального мира концепция прогрессирующего хаоса, безусловно, содержит какую-то долю истины и способна поспорить с концепцией Хантингтона¹¹.

В книге Каплана очень мало говорится о России: то ли нас уже списали за нашей ненадобностью в делах Большой истории, то ли не осевшая еще пыль мешает разглядеть, что мы сегодня собой представляем. Если списали, то, может быть, рановато. Не будем исключать того, что постигшая нас в XX веке катастрофа, если всесторонне ее осмыслить и сделать из нее надлежащие выводы, может придать нам новые силы и позволит совершить какой-то невиданный духовный рывок. Тем более что наша катастрофа каким-то таинственным образом «оркестрована» с той катастрофой, которую сам себе готовит Запад. Об этом своевременно напомнил Ю. Пивоваров, призывающий «никогда не только не отворачиваться и не отвергать этот бесценный опыт, это воспитание – смертью и страхом – души, эти незнакомые никому, кроме нас, отчаяние и безнадежность. Напротив, именно на этом знании строить настоящее и будущее. Когда все потеряно. Когда нет никаких надежд и реальных ресурсов. Когда мир устраивается на какой-то неведомый нам лад и мы этому миру не нужны. Даже мешаем не очень. Когда История, кажется, забыла о нас... Вот это и есть лучшее положение для старта»¹². Следует только оговориться, что отчаяние и безнадежность – понятия для христианина весьма относительные; они относятся к сугубо земным ценностям и кончаются там, где кончаются эти ценности.

«Без Бога жить скучно», – говаривал соловецкий старец Иероним. Эту фра-

¹¹ Заметим, что Хантингтон, вслед за О. Шпенглером, отказывается от классического представления о единой мировой цивилизации, распространяющейся из Европы. Его концепция множественности цивилизаций содержит признание поражения, хотя бы частичного, европейско-американского культуртрегерства.

¹² Пивоваров Ю. Указ. соч. С. 237.

зу можно перевернуть: с Богом жить интересно – даже когда земные дела получают самый дурной оборот.

Если же говорить о земном строительстве, то не только негативный опыт советской эпохи у нас «в активе». Как-никак, позади – тысяча лет христианства (если говорить конкретно о России), в продолжение которых созданы такие богатые духовные «наработки», на которые мы можем, на которые мы обязаны опереться с тем, чтобы идти дальше. Вопреки тому, что писал Лермонтов, и его собственным, и следующими поколениями брошена векам «мысль плодovitая», требующая усвоения и развития; из нее еще может и должна вырасти некая пластическая сила, противостоящая распаду и разбросу.

В заключение позволю себе полностью процитировать одно стихотворение Пушкина.

Ворон к ворону летит
Ворон ворону кричит:
Ворон! где б нам отобедать?
Как бы нам о том провести?
Ворон ворону в ответ:
Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый.
Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.
Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет милого,
Не убитого, живого.

Заметьте: хозяйка знает, кем и отчего убит богатырь. И ждет «не убитого, живого». Другого? А может быть, того же самого, вызванного к новой жизни? Существуют ведь известные процедуры с последовательным употреблением мертвой и живой воды.

И ведь не такой это большой секрет: где добыть мертвой воды и где – живой.





кандидат филологических наук, автор нескольких книг повестей и рассказов, член Союза российских писателей. Живет в России.

МИСТИКА БОМБЫ*

Александр Степанович Грин (1880–1932) вошел в историю русской литературы как писатель-романтик и ассоциируется у большинства читателей со своими феериями – «Алыми парусами», «Бегущей по волнам», «Блистающим миром» или же готическими колдовскими рассказами типа «Крысолова», «Серого автомобиля» или «Фанданго». Было время, когда его проза была почти не востребована или вовсе ошельмована, были годы, когда имя Грина гремело по всей стране и даже отзывалось своего рода оппозиционностью. Государство зарабатывало на Грине несметные деньги, юные комсомольцы объединялись в клубы «Алые паруса» и пели песни про Лисс и Зурбаган; в Старом Крыму жила вдова писателя Нина Николаевна, к которой приходили каждое лето тысячи поклонников Грина – от пионеров до архиереев, а ей не на что было отремонтировать крышу.

Ныне страсти вокруг Грина поутихли, «Алые паруса» вышли из моды, Крым больше не наша земля, и только остатки армии энтузиастов играют по интернету в Гринландию, видя в Грине русского Толкиена и создателя отечественного «фэнтези». И очень хорошо, что играют, но все же в наше время Грин, как избушка на курьих ножках, поворачивается к русскому читателю с той стороны, с какой прежде на него большого внимания не обращали, а лишь говорили вскользь: в молодости-де был связан с эсерами и заплатил за это увлечение тюрьмой и ссылкой, написал цикл рассказов о революционерах, но это еще не Грин. Настоящий Грин – это «Остров Рено», «Колония Ланфиер», экзотика, романтика, сильные и отважные люди. А между тем Грин и террор – едва ли

* Топос.

не самая важная тема и в его жизни и в литературе. Тема, которую выбрал не он – она сама его выбрала.

У Грина была тяжелая молодость. Иногда ее сравнивают с молодостью Горького, но едва ли это удачная параллель. В скитаниях Пешкова был некий жизнетворческий жест, своего рода стратегия, нацеленная на узнавание жизни. У Гриневского сплошное отчаяние и никакого расчета. Он был матросом, грузчиком, актером, переписывал роли для театра, работал на золотых приисках, на доменном заводе, на торфяных болотах, на рыбных промыслах, но успеха не добился ни на одном из этих поприщ, и из всех странствий он, побитый, возвращался в ненавистную ему Вятку, его родной город. В марте 1902 года Гриневского призвали в армию и направили в Пензу в 213-й Оровайский резервный батальон. «Моя служба прошла под знаком непрерывного и неистового бунта против насилия. Мечты отца о том, что дисциплина "сделает меня человеком", не сбылись. При малейшей попытке заставить меня чистить фельдфебелю сапоги или посыпать опилками пол казармы, или не в очереди дневалить, я подымал такие скандалы, что не однажды ставили вопрос о дисциплинарных взысканиях. Рассердясь за что-то, фельдфебель ударил меня пряжкой ремня по плечу. Я немедленно пошел в "околодок" (врачебный пункт), и по моей жалобе этому фельдфебелю врач сделал выговор».

Он прослужил в армии шесть месяцев, из которых три с половиной провел в карцере на хлебе и воде. Летом 1902 года бежал, но его поймали и предали суду. В ноябре того же года он убежал вторично, и на сей раз поймали его не скоро.

Помогли бежать революционеры. Эсеры уже давно вели пропаганду в армии, искали, на кого опереться, и Грин, тогда еще не разделяя революционных идей, был рад любой возможности избежать солдатчины. Беглеца снабдили письмом, дали адрес в Пензе, откуда он уехал в Симбирск. Там Грин стал агитатором, и на родине Ульянова–Ленина началась новая полоса его жизни – революционная. О ней он написал свою первую книгу, с нее начался как писатель и к ней возвращался всю жизнь, хотя отношение к революции и революционерам у него претерпевало самые разные и по-гриновски фантастические видоизменения.

Эсеры поначалу хотели использовать Грина для теракта и отправили на «карантин» в Тверь, чтобы выяснить, нет ли за ним хвоста, однако, когда все было готово, он «соскочил». «Пребывая в карантине в полном покое, он разобрался в своих мыслях и чувствах, увидел, что убийство кого бы то ни было претит его натуре», – писала в своих мемуарах Н. Н. Грин. В одной из современных статей о Грине справедливо сказано: «Для преступления нужно, как минимум, мужество поступка... Этим Грин не обладал. Он... мог стать "профессиональным революционером", но для этого ему не хватило жестокости». Он психологически не смог переступить через кровь, которая так щедро будет литься в его рассказах. Может быть, потому и будет литься.

Ни настаивать, ни мстить его соратники не стали. Одним из краеугольных принципов Боевой организации была полная добровольность, идти в револю-

цию и уж тем более жертвовать собой никто никого не принуждал, благо желающих было и без Грина достаточно. Тем не менее, сама ситуация теракта была Грином душевно очень глубоко пережита и нашла отражение в нескольких его вещах, написанных вскоре после того, как он расплевался не только с терроризмом, но и с самой партией эсеров. Говоря шире, это была тема жизни–смерти, их странных взаимоотношений, противостояния и выбора героя. Не случайно позднее в рассказе «Приключения Гинча» его повествователь скажет: «Три темы постоянно привлекают человеческое воображение, сливаясь в одной туманной перспективе, глубина ее блистает светом, полным неопределенной печали: "Смерть, жизнь и любовь"».

Такая последовательность не случайна. Грин начал со смерти и с тех, кто ей служит. Он изначально уловил в терроре самое важное – не социальный протест и не крайнее средство политической борьбы, а подсознательное патологическое нежелание жить, борьбу любви и ненависти к жизни в человеческой душе, поражение первой и победу второй и – как следствие – стремление убивать себя и других. Увидел – и от этого призрака отшатнулся, но успел его запомнить и запечатлеть.

Эсеры в этом смысле сделали из Грина писателя, но не как борца с угнетателями или сочинителя прокламаций, но именно как человека, осознающего метафизическую ценность и связь жизни и смерти. Эсеры подарили ему биографию или, точнее, завершили ее, подведя беглого солдата к писательству.

В одном из самых первых его рассказов, «Марате», показан молодой террорист накануне совершения теракта. Ян обаятелен, смел и молод, он приговорил себя к смерти и хочет провести последний день жизни с друзьями, двое из которых не знают, что его ждет. Во время прогулки неожиданно возникает разговор о том, что важнее – пропаганда или террор, и тут милый Ян неожиданно раскрывается: «Да! Пусть ужас вперит в них слепые, белые глаза!.. Я жестокость отрицаю... Но истребить, уничтожить врагов – необходимо! С корнем, навсегда вырвать их!.. Совсем, до одного, навсегда, без остатка, без претендентов! Чтобы ни одна капля враждебной крови не стучала в жилах народа. Вот что – революция! А не печатанье бумажек. Чтобы ни один уличный фонарь не остался без украшения!...»

Ян серьезен, хотя и несколько истеричен, и зловещее «без претендентов» в его устах невольно косвенно намекает и на будущую участь Романовых, и на массовый красный террор по отношению не к отдельным одиозным личностям, но целому сословию. Ян жесток, но все же не сразу совершает убийство: в карете человека, которого он должен был уничтожить, ехали его жена и дочь. И только на другой день, когда жертва была одна, в городе гремит взрыв.

Ян – это русское Иван. Иваном звали Каляева, чью историю фактически и рассказал Грин в «Марате».

Об этой истории писал и другой писатель и эсер, только гораздо более высокопоставленный и заслуженный – Борис Савинков, хорошо Каляева знавший и описавший его в своих «Воспоминаниях террориста».

В этом смысле вообще очень любопытно сравнить судьбы и творчество

двух писателей и эсеров – Бориса Савинкова и Александра Гриневского, В. Ропшина и А. С. Грина. Они оба были дворянами, ровесниками и современниками, оба ушли в революцию, и хотя выходцу из богатой семьи, закончившему гимназию и учившемуся в университете, привыкшему к сытой жизни Савинкову не пришлось пережить тех мытарств, которые выпали в молодости на долю Грина, ненависть к существующему строю в какой-то момент у них была одинаково сильна. Но, быть может, именно больший жизненный опыт, инстинкт и любовь к жизни помогли Грину отшатнуться от того, что его ждало на пути, по которому бесстрашно, оставляя позади трупы друзей и врагов, шел Савинков.

Грин написал об этом выборе в своем раннем рассказе «Карантин». Герой его, молодой человек по имени Сергей, приезжает по заданию партии эсеров в провинциальный город с целью убедиться, что полиция за ним не следит. После этого он должен будет совершить теракт, к которому давно готов. Однако проходит время и мало-помалу Сергей подпадает под обаяние мирной жизни. Наслаждается природой, проводит дни в ничегонеделанье, поглядывает на хорошенькую племянницу своей квартирной хозяйки Дуню и не думает ни о будущем, ни о прошлом. Как вдруг все обрывается – он получает зашифрованное письмо и, еще не прочитав его, с ужасом понимает, что «завтра придет кто-то, имеющий отношение к его судьбе, а потом надо будет уехать и умереть». И еще до того как этот «черный, кудластый и горбоносый, в пенсне, закрывающем выпуклые близорукие глаза, стремительный и взбудораженный» человек по имени Валериан привозит похожую на мыльницу бомбу, Сергей ясно осознает, что ни на какой теракт он не пойдет, что «умирать он не собирался, не хотел и не мог хотеть...»

Между ним и посланцем партии происходит объяснение, во время которого приезжий упрекает Сергея («Вы надоели центральному комитету! Вы все уши прожужжали об этом! Вы чуть ли не со слезами на глазах просили и кланялись... Ведь были же другие?»), а потом уходит ни с чем, а молодой ренегат остается с хозяйкой, самоваром и Дуней, которая «выйдет за какого-нибудь портного или лавочника. Будет шить, стряпать, нянчить, много спать, жиреть и браниться, как Глафира».

Ситуация эта интересна тем, что позднее герои Грина восстанут против обывательской жизни, которую привлекательная Дуня олицетворяет, – так же яростно, как восставал Сергей против террористов, и в «Карантине» Грин показывает ростки этого конфликта, но с неожиданной стороны. Не Сергей, а Дуня, по которой он томится и которой «торопливо, путаясь, жадными, неловкими движениями» расстегивает кофту, его отталкивает и убегает, оставляя героя с невнятной, неясной жизнью. Но главное – с Жизнью. Именно так – с большой буквы. В какой-то момент для Грина, заглянувшего в глаза смерти, это было важнее всего.

«Он будет жить. Каждый день видеть небо и пустоту воздуха. Крыши, сизый дым, животных. Каждый день есть, пить, целовать женщин. Дышать, двигаться, говорить и думать. Засыпать с мыслью о завтрашнем дне. Другой, а не

он придет в назначенное место и, поблднев от жути, бросит такую же серую, холодную коробку, похожую на мыльницу. Бросит и умрет. А он – нет; он будет жить, услышит о смерти этого, другого человека, и то, что будут говорить о его смерти».

И совсем иное дело Савинков – и человек, и писатель. Он был профессиональным убийцей, хотя и существует мнение, что сам ни разу никого не убил, а только посылал на смерть. Тут есть что-то от тех раскольничьих учителей конца XVII века, которые заманивали десятки своих последователей в церкви и губили в огне, а сами уходили через тайные выходы, чтобы в соседнем скиту отправить на небо следующую партию самосожженных. Савинков воспевал террор и насильственную смерть и служил им потому, что видел в них не просто рычаг политического воздействия на власть, но определенную религиозную систему, святую жертвенность и экзальтацию – чувство, которое было свойственно всем, кто его окружал, и которое его восхищало и будоражило. Тут была какая-то душевная патология, особый вид утонченной наркомании на грани жизни и смерти.

«Ночь с 17 на 18 марта я провел с Покотиловым. Мы сидели с ним в театре "Варьете" до рассвета и на рассвете пошли гулять на острова, в парк. Он шел, волнуясь, с каплями крови на лбу, бледный, с лихорадочно расширенными зрачками. Он говорил: "Я верю в террор. Для меня вся революция в терроре. Нас мало сейчас. Вы увидите: будет много. Вот завтра, может быть, не будет меня. Я счастлив этим, я горд: завтра Плеве будет убит"».

А вот другой террорист – Сазонов: «Знаете, раньше я думал, что террор нужен, но что он не самое главное... А теперь вижу: нужна "Народная воля", нужно все силы напирать на террор, тогда победим».

«Сазонов был молод, здоров и силен. От его искрящихся глаз и румяных щек веяло силой молодой жизни. Вспыльчивый и сердечный, с кротким, любящим сердцем... Он верил в победу и ждал ее. Для него террор прежде всего был личной жертвой, подвигом. Но он шел на этот подвиг радостно и спокойно, точно не думая о нем, как он не думал о Плеве. Революционер старого, народовольческого, крепкого закала, он не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему о "не убий"».

И, наконец, как апофеоз этого культа смерти – строки, которые Каляев писал из тюрьмы (и что самое поразительное – это было опубликовано в русской печати): «Есть счастье выше, чем смерть во время акта, – умереть на эшафоте. Смерть во время акта как будто оставляет что-то незаконченным. Между делом и эшафотом еще целая вечность – может, самое великое для человека. Только тут узнаешь, почувствуешь всю красоту, всю силу идеи. Весь развернешься, расцветешь и умрешь в полном цвете... как колос... созревший. Революция дала мне счастье, которое выше жизни, и вы понимаете, что моя смерть – это только очень слабая моя благодарность ей. Я считаю свою смерть последним протестом против мира крови и слез и могу только сожа-

леть о том, что у меня есть только одна жизнь, которую я бросаю как вызов самодержавию».

Александру Грину этот пафос совершенно чужд, хотя парадоксальным образом и у него, и у Савинкова террор перекликается с темой женской любви, только у Грина любовь связана с идеей жизни, а Савинкова – смерти. В мире Ропшина Танатос обостряет, усиливает Эрос, и Савинков благословляет тех, кто этому Эросу–Танатосу служит.

Последнее подтверждают воспоминания Федора Степуна, который писал: «Оживал Савинков лишь тогда, когда начинал говорить о смерти... Вся террористическая деятельность Савинкова... была в своей последней, метафизической сущности лишь постановками каких-то лично ему, Савинкову, необходимых опытов смерти. Если Савинков был чем-нибудь до конца захвачен в жизни, то лишь постоянным погружением в таинственную бездну смерти».

О разном отношении к проблеме жизни–смерти у эсеров (в лице Савинкова) и народовольцев (в лице Веры Фигнер) очень интересно пишет О. В. Будницкий в предисловии к книге «Женщины-террористки в России. Бескорыстные убийцы», изданной в Ростове-на-Дону в 1996 году.

«Легендарная Вера Фигнер пережила 20-летнее заключение в Шлиссельбурге, вышла на поселение и, в конце концов, перебралась за границу, где сблизилась с эсерами. "На поклон" к ней приехал Борис Савинков. Фигнер и Савинков вели дискуссии о ценности жизни, об ответственности за убийство и о самопожертвовании, о сходстве и различии в подходе к этим проблемам народовольцев и эсеров. Фигнер эти проблемы казались надуманными. По ее мнению, у народовольца, "определившего себя", не было внутренней борьбы: "Если берешь чужую жизнь – отдавай и свою легко и свободно. Мы о ценности жизни не рассуждали, никогда не говорили о ней, а шли отдавать ее, или всегда были готовы отдать, как-то просто, без всякой оценки того, что отдаем или готовы отдать"».

Далее в ее мемуарной книге, где воспроизведены разговоры с Савинковым, следует блистательный по своей откровенности пассаж, многое объясняющий в психологии и логике не только террористов, но и революционеров вообще: «Повышенная чувствительность к тяжести политической и экономической обстановки затшевывала личное, и индивидуальная жизнь была такой несоизмеримо малой величиной в сравнении с жизнью народа, со всеми ее тяготами для него, что как-то не думалось о своем». Остается добавить – о чужом тем более. Т. е. для народовольцев просто не существовало проблемы абсолютной ценности жизни.

Рассуждения Савинкова о тяжелом душевном состоянии человека, решающегося на «жестокое дело отнятия человеческой жизни» казались ей надуманными, а слова – фальшивыми. Неизвестно, насколько искренен был Савинков; человек, пославший боевика убить предателя (Н. Ю. Татарова) на глазах у родителей, неоднократно отправлявший своих друзей-подчиненных на верную смерть, не очень похож на внутренне раздвоенного и рефлектирующего интеллигента. Однако он все же ставит вопрос о ценности жизни не только террори-

ста, но и его жертвы и пытается найти политическому убийству подобие религиозного оправдания. Характерно, что в его разговорах с Фигнер мелькают слова «Голгофа», «моление о чаше».

Будницкий приводит еще ряд интересных свидетельств, имеющих отношение к теме жизни–смерти в сознании эсеров: «Приговоренная к смерти в феврале 1908 г. Анна Распутина, член Летучего боевого отряда Северной области, говорила смотрителю арестантских помещений Петропавловской крепости полковнику Г. А. Иванишину, что обвинитель в суде, характеризуя их группу, напал на верную мысль, но только неточно ее выразил. Он сказал, что "в этих людях убит инстинкт жизни, и поэтому они не дорожат жизнью других"; это не так, заметила Распутина, "у нас убит инстинкт смерти, подобно тому, как убит он у храброго офицера, идущего в бой"». Возможно, в чем-то были правы и прокурор, и террористка Распутина.

В рассказах Грина иногда встречаются образы вызывающих симпатию революционеров. Но когда Грин копает глубже и ищет ответа на вопрос, почему и зачем его герои стали революционерами, чего ищут они в жизни, то приходит к парадоксальным, прямо противоположным савинковским выводам и обнаруживает совсем негероическую подкладку в мотивах деятельности боевиков, окруженных в общественном сознании героическим ореолом. Он даже как будто издевается над ними и выворачивает их религиозное подвижничество, о котором с придыханием пишет Савинков, наизнанку. Вот монолог одного из гриновских инсургентов:

«Видишь ли, я рано соскучился. Моя скука имеет, если хочешь, историческое оправдание. Мой дед бил моего отца, отец бил мать, мать била меня, я вырос на колотушках и порке, среди ржавых ломберных столов, пьяных гостей, пеленок и гречневой каши... Я вырос, а жить лучше не стало. Пресно. Люди на одно лицо... И вот, не будучи в силах дожидаться праздника, я избрал себе маленькое развлечение – близость к взрывчатым веществам. С тех пор как эти холодные жестянки начали согреваться в моих руках, я возродился. Я думаю, что жить очень приятно и, наоборот, очень скверно быть раздробленным на куски; поэтому я осторожен. Осторожность доставляет мне громадное наслаждение – не курить, ходить в войлочных туфлях, все время чувствовать свои руки и пальцы, пока работаешь – какая прелесть. Живу, пока осторожен. Это делает очаровательными всякие пустяки: улыбку женщины на улице, клочок неба».

Биография Савинкова имеет не много общего с «трудным» детством Марвина из «Приключений Гинча», которому и принадлежит вышеизложенная исповедь, но самое важное – искусственный подогрев жизни, наркотическая острота ощущений и переживаний на фоне постоянной смертельной опасности – у них общее, и это общее Грин сумел очень точно ухватить и выразить.



МИР ВИСЕЛ НА ВОЛОСКЕ

Точнее, на трех: с лысины Никиты Хрущева, из шевелюры Джона Кеннеди и из бороды Фиделя Кастро*

Карибский кризис в ноябре 1962 года заключался не только в конфликте СССР с США, но и в конфликте между молодым, окруженным романтическим ореолом Фиделем Кастро и советской неуклюжей, а порой и просто-напросто бестактной политикой.

Правда, в случае Карибского кризиса бестактность была продиктована спешкой, когда мир буквально висел на волоске. Тогда далеко не все понимали то, что первыми поняли две, казалось бы, совершенно полярные личности, которых история заставила стать партнерами по спасению земного шара от возможной гибели.

Первым был мужик из села Калиновка, пробившийся во власть из нищеты, еженощного страха перед арестом в годы сталинского террора, в котором он и сам неизбежно оказался замешан, но, слава богу, искупил часть своей вины, назвав Сталина убийцей, и открыл ворота ГУЛАГа.

Вторым был сын американского миллионера, сколотившего состояние во времена бутлегерства и Великой депрессии и, говорят, однажды с усмешкой сказавшего своему сыну перед выборами: «Успокойся, если будет надо, я куплю тебе эту страну...»

Эти, казалось бы, необратимо противоборствующие лидеры дали всем будущим президентам приглашающий пример того, что есть такие моменты, когда политика сама по себе, со всеми ее амбициями и кажущимися великими целями, выглядит ничтожной по сравнению с задачей спасения жизни на Земле.

* Новая газета. 2005. № 83.

Вспомнить об этом весьма полезно именно сейчас, ибо в зыбком, непрерывно вздрагивающем от взрывов воздухе маячит немало потенциальных волосков, на которых может опять повиснуть мир, и неясно, будут ли они достаточно прочны, как тот волосок с лысины Никиты Сергеевича.

В прямой конфликт США–Россия я не верю. Для него нет никаких логических оснований, кроме оснований побочных, из которых тревожит лишь остаточная инерция соревнования обоюдных имперских амбиций.

Великие ядерные державы, пока их еще не обогнали страны, наступающие им на пятки, должны мирить друг с другом малые нации, а не ссорить их. Опасными волосками могут стать проблема иранская, резко натянувшаяся на днях после резчайшего заявления в адрес Израиля, иракская, сирийская, опять же палестинская, тайваньская, кавказская, абхазская и Бог только ведает какая еще.

Посмотрите, каким хрупким оказался перед ведьмачьим лицом урагана «Катрина» один из самых красивых городов планеты Нью-Орлеан.

Но вернемся к Карибскому кризису.

В том году произошел один из самых забавных, но устрашающих казусов в современной журналистике. У меня до сих пор хранится пожелтевшая газета «Известия», где в один и тот же день на международной полосе опубликовано заявление советского представителя в ООН о том, что фотографии наших ракет на Кубе – фальшивка, а на первой полосе – всунутое в самый последний момент в номер официальное заявление о том, что СССР готов убрать с территории Кубы свои ракеты, если США в ответ уберут свои ракетные базы из Турции.

В то время я был на Кубе, работая с Калатозовым и Урусовским как сценарист будущего советско-кубинского фильма «Я – Куба», который недавно был воскрешен в американском прокате по рекомендации знаменитых кинорежиссеров Фрэнсиса Коппола и Мартина Скорцезе.

Безусловно, в этом сказалась их собственная ностальгия по ранним шестидесятым, когда и для американских, и для советских молодых нонконформистов так притягателен был образ неотразимо обаятельного кубинского диссидента-аристократа, воспитанника иезуитской школы, который почти бескровно сверг полицейский режим диктатора Батисты.

Безо всякой бумажки, в отличие от стольких прединфарктных политиков мира, El Caballo (Конь – подпольная кличка Фиделя) щедро швырял в магнолийно-рыбный воздух еще вчера малоизвестного, а теперь казавшегося революционным центром мира острова зажигательные антибюрократические речи о свободе и справедливости. Он объявил ликвидацию неграмотности на Кубе, национализацию крупных компаний, поддерживавших Батисту по принципу «да, это подонок, но это наш подонок», закрыл публичные дома, пересадив многих проституток за руль брошенных такси, расхаживал по Гаване пешком, разговаривал с народом, заходя в кафе и бары, а то и приглашал на рыбную ловлю молодого сибирского поэта, так носившего кубинскую вышитую рубашку-гуайаверу, словно родился в ней.

И этот Siberiano, не смущаясь незнанием испанской грамматики, все-таки каким-то мистическим образом отважно произнес импровизированную речь

на стадионе во время диалога Фиделя с захваченными в Заливе Свиней пленными интервентами (их Фидель вскоре отпустил восвояси на Майами за возмещение расходов по их содержанию на Кубе).

Конечно, с той поры Фидель сильно изменился, постарел, стал подозрительным, но хотел бы я посмотреть, как бы вы сохранились после стольких покушений на вашу жизнь.

Эберто Падилья, мой старый друг – поэт, однажды арестованный по подозрению в связях с врагами Кубы, к которым почему-то приписали и немецкого, одно время суперлевого поэта Ганса Магнуса Энцесбергера, получил разрешение на выезд, сидел на полу, паковал чемоданы. Вошел Фидель, стоял в дверях, пыхтел сигарой, смотрел, как его товарищ по университету возится с чемоданными замками и багажными ремнями. Самолюбие не позволяло Эберто встать, протянуть руку. Тайная надежда все-таки пульсировала: «Сейчас он сам даст мне руку, скажет: "Оставайся, что тебе там делать, в Америке?"» Но Фидель не сделал шага к Эберто, только бросил: «Мне тебя будет очень не хватать, парень».

Что это было – движение души, потом резко остановленное? Сарказм? Садизм? А может быть, желание вернуться в юность, на которое не хватило решимости? Власть ведь гипнотизирует не только других, но и обладателя власти. Попробуй разберись во всем этом...

Но всюду теперь ему мерещатся враги... А ведь когда-то первое, что сделал Фидель, придя к власти, была поездка в США, к ближайшим соседям – представиться Эйзенхауэру.

Но его рука, протянутая для рукопожатия, повисла в воздухе.

Старине Айку доложили, что Кастро – это ненадолго, что он к тому же связан с коммунистами и что уже подготовлен план высадки борцов за освобождение Кубы, увидев которых, кубинский народ поднимется как один против молодого наглого узурпатора.

Что же сделало советское Политбюро? Получив из Мексики шифровку нашего разведчика под крышей корреспондента по Латинской Америке Александра Алексеева по кличке Don Alejandro, который рекомендовал Москве помочь Фиделю, Политбюро запросило мнение компартии Кубы, и ее председатель Блас Рока, испугавшись потерять личную кормушку, охарактеризовал Фиделя как аристократа, чуждого рабочему классу, и вообще антикоммуниста.

А коммунистом Фиделя сделала вовсе не рука Москвы, а сами американцы, когда Кеннеди, не в силах остановить уже разработанную до него высадку на Кубе, в последний момент отменил лишь поддержку авиацией. Но операция с треском провалилась.

Фидель не забыл, что Алексеев пытался помочь ему когда-то, и пригласил его на Кубу в честь победы над интервентами. «Сегодня ты услышишь любопытную музыку...» – весело подмигнул Фидель на трибуне. Каково же было испуганное удивление Алексеева и нашего посла Кудрявцева, когда кубинский джазовый оркестрик старичков – единственных музыкантов, помнивших эту мелодию, – впервые открыто сыграл «Интернационал» на Кубе. Кремлевские

эксперты считали, что это будет смерти подобно – чего-чего, а уж гимна коммунистов американцы у себя под ухом не потерпят.

Хрущев, как многие советские люди, в том числе и я, был искренне влюблен в высоченного молодого бородача, казавшегося ему спасительным воплощением мировой революции, как бы оправданием стольких лет гражданской войны, крови, голода, разрухи и очередей, очередей, очередей, похожих на змей, удушавших пролетариат, как попавшего в ловушку Лаокоона.

Думаю, что идея поставить ракеты под носом у американцев была не столько военной, сколько эйфорией наивно-идеалистического самоутверждения, что не зря, мол, мы делали революцию. Однако этот детский авантюризм постепенно принял циничный характер.

Джон Кеннеди нашел единственно правильное решение – согласиться на отмену военных санкций против Кубы при условии, что советские ракеты будут немедленно удалены с острова.

Переговоры шли через голову кубинцев, и это их оскорбило. Фидель вообще исчез на несколько дней, по слухам, скитаясь где-то с полной выкладкой по тропам Сьерры-Маэстры с горсткой наиболее преданных соратников. По улицам Гаваны расхаживали колонны вооруженных автоматами Калашникова кубинцев, требуя объявить войну американскому империализму и распевая: «Somos socialistas, palante! palante! Y al que no le guste, que tome purgante!» («Мы социалисты! Мы встали с колен. А те, кому не нравимся, пусть пьют пурген!») – и над бывшим «Хилтоном», переименованным «Гаваной либре», на бреющем пролетали американские самолеты, отчего на мои белоснежные брюки написал шестилетний сынишка корреспондента «Правды» – будущий премьер-министр перестройки и отец нового русского капитализма.

Вернувшийся с гор Фидель, оскорбленный пренебрежением руководителей СССР к его мнению, произнес длинную антикоммунистическую речь с крыши своего джипа перед университетской лестницей. Заметив в толпе меня, спрыгнул на лестницу, потащил меня в гостиницу, где в номере мексиканского журналиста Виктора Рико Галана (впоследствии арестованного в Мексике за организацию подпольной школы) обрушил свое возмущение поведением советского правительства на мою неповинную голову, то и дело инстинктивно хватаясь за пистолет.

Я, как мог, старался объяснить Фиделю эту бестактность не злым умыслом, а дикой спешкой, ибо мир висел на волоске и могло бы оказаться так, что не уцелели бы ни Куба, ни СССР, ни Соединенные Штаты, ни весь мир.

Когда мы на следующий день ходили выбирать натуру для совместного советско-кубинского фильма, бродя по гаванскому почти пустому многоярусному рынку с Калатозовым и Урусевским, женщины из очередей кричали нам: «Русос, гоу хом!», и Калатозов, никак не ожидавший этого, горько плакал, как ребенок. Срочно присланный советский пропагандистский фильм о счастливой жизни в СССР, где на экране перед голодными кубинцами проплывали запеченные целиком гуси и поросята, стерляди и осетры, горы овощей и фруктов, блюда с черной и красной икрой, вызывал только вполне понятное раздра-

жение. Одна негрityнка издевательски заорала в кинозале: «Krushev, dame un pedacito de queso!» («Хрущев, дай мне кусочек сыру!»).

На гаванских прилавках ничего не было, кроме мытищинского уксуса и болгарских голубцов. Еще до появления ракет на Кубе разгневанный спекуляцией Фидель в целях борьбы с ней объявил запрет частной торговли. Апельсины и грейпфруты тоннами гнили на земле, а их никто не вывозил на продажу, и мы сами ездили подбирать их. Посреди фруктового рая с тележек, где раньше при вас выжимали свежий сок, теперь продавали присыпанное льдом jugo chimico (сок химический) с нарочно написанным покрупнее этим издевательским названием.

Появилась и язвительная частушечка, порожденная недовольством, что русские увозят ракеты обратно: «Nikita-mariquita, lo que se da, no se quita» («Никита, жопник, когда дают, то не отбирают»).

Так кончилась первоначально романтическая нежная дружба Кубы и СССР, сменившись подачками с собственного весьма небогатого советского стола, что постепенно начало приводить в антикубинскую ярость наших сограждан, набивавших так называемые «колбасные поезда», идущие из голодной провинции в Москву златоглавую.

В такой-то обстановке и прибыл в Гавану наш тогдашний президент – Анастас Микоян, чтобы уломать оскорбленных кубинцев не противиться советско-американскому компромиссу и доработать детали его воплощения уже в Нью-Йорке.

Я видел Микояна раньше только на трибуне мавзолея. На приеме в его честь в советском посольстве я был ему представлен Калатозовым, с которым они хорошо были знакомы. Микоян поразил меня тем, что рассказал, как впервые услышал мою фамилию в ранних пятидесятых, когда ехал по Якиманке и его «ЗИМ» не мог прорваться сквозь толпу у Литературного музея. Микоян, подняв стекло автомобиля, раздраженно спросил: «Что тут происходит? За чем эта очередь?» Ему ответили: «За Евтушенко». И он не сразу понял, что это слово – всего-навсего фамилия.

Микоян вынул из кармана прилетевшую вместе с ним «Правду» с моим стихотворением «Наследники Сталина» и показал его мне и Фиделю.

– Повезло тебе, что успели напечатать, – сказал мне Микоян. – Боюсь, что теперь оно долго света не увидит.

Как в воду глядел. Стихотворение во второй раз перепечатали лишь в 1985 году – через двадцать три года.

Именно после Карибского кризиса произошел скандал с художниками на выставке в Манеже и закрут всех гаек. Дальновиден был этот армянин, о котором ходил популярный анекдот, что он может без зонтика выйти сухим из воды при самом страшном ливне, ибо умеет извилисто проскользнуть между струями. Лучшего посланника Хрущев не смог бы найти, чтобы не потерять друга в лице Фиделя и одновременно договориться с Джоном Кеннеди.

Но на переговорах Фидель лишь односложно отвечал на прямые вопросы, продолжая себя вести мрачно, замкнуто. Молчал, и все тут. Тогда Микоян показал ему недавно отреставрированную копию эйзенштейновского «Ивана Грозного» – вторую часть. Кажется, произвело впечатление. Особенно танец опричников. Но Фидель продолжал молчать. Потом так же молча, не попрощавшись, уехал.

– Вот так уже третий день в молчанку играем, – невесело сказал Микоян. – Поедем в резиденцию, поговорим...

Но в резиденции работник ЦК Тихменев протянул телеграмму Хрущева. На плечах Тихменева, по-моему, прорисовывались невидимые погоны. Микоян попросил Тихменева прочесть эту телеграмму нам.

– Не положено, – твердо сказал Тихменев.

– Читай! Мне нечего скрывать от этих людей, – еще тверже сказал Микоян.

– Это под грифом «Совершенно секретно». Инструкция не позволяет это читать при посторонних, – упирался Тихменев.

И вдруг Микоян взорвался. Он схватил со стола бутылку «Боржоми» и яростно запустил ею в распахнутую на террасу дверь. Самое пугающее было в том, что бутылка шлепнулась о траву беззвучно.

– Эти люди не посторонние, – прорычал Микоян.

Тихменев испугался и, запинаясь, прочел телеграмму Хрущева. Это было соболезнование в связи со смертью жены Микояна – Ашхен, с которой он прожил всю жизнь. Телеграмма была неофициальной – сердечной, человеческой. В ней Хрущев предлагал Микояну поручить переговоры с Фиделем нашему послу и сыну Микояна, а самому вылететь на похороны жены. Микоян вопросительно посмотрел на нас, как будто ожидая совета, но разве кто-то из нас имел право что-либо советовать ему в момент, когда судьба мира, висящая на волоске, оказалась на одних весах со смертью самого близкого человека?

Микоян поднялся и вышел в сад, наполненный вечерними тропическими сумерками и звоном цикад. В открытую дверь мы видели его маленькую согбенную фигурку, шагавшую взад-вперед в тени деревьев.

Потом он вернулся и резко сказал Тихменеву:

– Записывайте мой ответ.

– Не положено, – пытался было возразить Тихменев, но, придавленный взглядом Микояна, начал поспешно записывать.

«Дорогой Никита Сергеевич! Спасибо за соболезнование. Мое решение безоговорочно – в связи с важностью этой миссии для всего мира я должен остаться и закончить переговоры. На похороны полетит мой сын Серго...»

Впоследствии ставший по настоянию Фиделя послом СССР на Кубе Александр Алексеев – дон Алехандро – рассказал мне, что решение Микояна не поехать на похороны жены произвело огромное впечатление на Фиделя. Он наконец заговорил, впервые осознав опасность ситуации для всего человечества, если уж президент такой могущественной державы, как СССР, не поехал на похороны самого близкого человека.

Р. С. А еще во время нашего общения Микоян рассказал, что однажды на озере Рица, в сталинской резиденции, когда утром после ночного застолья он гулял по аллее, то увидел пошатывающегося с похмелья Сталина и спрятался в кустах. Сталин разговаривал сам с собой:

– Я несчастный человек. Я никому не верю...



директор Центра стратегических исследований. Живет в России.

...И МЯСО БЕЛЫХ БРАТЬЕВ ЖАРИТЬ*

Я всегда говорил, что поэма Александра Блока «Скифы» – не только гениальная поэзия, но и самый выдающийся, самый современный и актуальный текст российской политической мысли. В ней великолепно выражена вся двойственность, вся трагическая разорванность российского сознания в его отношении к Европе, к Западу.

«Нам внятно все – и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». Мы ощущаем себя неразрывной частью европейской культуры. Но что-то непреодолимо заставляет нас вновь и вновь оборачиваться к Западу «своею азиатской рожей», смакуя, как «свирепый гунн» будет на наших телевизионных экранах «жечь города» и «мясо белых братьев жарить».

И взрывы в Лондоне, и ураган «Катрина», и горящие предместья Парижа представили нам в летне-осеннем сезоне 2005 года великолепную возможность предаться этой любимой национальной забаве. Отплясались на, может быть, несколько преждевременных поминках по Западу на славу.

Запад действительно переживает не лучшие времена. Конец истории явно не состоялся. Дряхлеющему демографически, гедонистически ориентированному, склонному почивать на лаврах своих материальных успехов Западу брошены цивилизационные вызовы. И неизвестно, который из них серьезней – средневековый вызов фанатичного агрессивного исламизма, замешенного на очевидном комплексе неполноценности, или пока еще неясный, а потому загадочно пугающий вызов великой китайской цивилизации, никогда никакими комплексами не страдавшей.

* Грани.ру.

Россия к началу ключевого в мировой истории XXI века так и не определила свою геополитическую ориентацию, окончательно запутавшись в трехсотлетней страстной блоковской любви–ненависти к Западу. Зато за нас этот выбор сделали враги и соперники Запада. Если воспользоваться несколько натянутой метафорой Запада как современного Рима, теснимого варварами, то в глазах варваров Россия безусловно часть Рима, причем наиболее уязвимая его часть, первой подлежащая поглощению. Идеи исламской революции, по меткому замечанию высокого кремлевского чиновника, «как подземный пожар распространяются по всему Северному Кавказу».

Дальний Восток и Восточная Сибирь методично и планомерно демографически и экономически обустроиваются нашим великим евразийским союзником. Путин и Ху слушают нас, слушают нас.

А Запад видит в нас то, чем мы хотим быть сами. Никогда раньше, даже в годы острейшего военно-политического противостояния СССР и США гнойная ненависть к Западу не достигала такой судорожной степени и не носила такого массового характера. Слабеющий Запад хотел бы видеть в нас союзников, а видит клоунов, беспрерывно грозящих ему какими-то чудо-ракетами, бесконечно разоблачающих его жидомасонские заговоры по ослаблению и расчленению России, тычущих ему в нос своей высочайшей духовностью и суверенной демократией, продающих Китаю оружие, которого не может позволить себе наша собственная армия, и заботливо крышующих ядерную программу Ирана.

Наши правители ненавидят Запад больше, чем любят Россию. Они не могут простить ему поражения в холодной войне, краха многовекового мифа о Третьем Риме. Они мечтают о невозможном. О реванше. Пусть даже на задворках Четвертого Рима. В качестве его провинции, управляемой каким-нибудь наместником Ду Гином или великим аятоллой Аль-Джемалем. Они наполняют миазмами своих комплексов все поры современного информационного общества, отравляя его коллективное бессознательное.

Мой шестнадцатилетний внук, как все нормальные люди его возраста, совершенно не интересуется политикой. Недавно он провел месяц в США, и я поинтересовался его впечатлениями. «Замечательная страна. Она мне очень понравилась», – ответил он. Потом немного задумался и добавил: «Но у них нет ни одного шанса выстоять против Китая». И в голосе его послышалось не только сожаление, но и какое-то странное скифское торжество.



журналист, корреспондент «Новой газеты». Живет в России.

ОДНА. НОЧЬЮ. В ПАРИЖЕ *

Жандармов нигде не было. Зарево над Парижем не занималось. Страсти не кипели. В метро цветные люди соседствовали с белыми, витрины манили. Моя бдительность была полностью потеряна, западно-европейская легкость и внешняя необременительность бытия обволакивали и убаюкивали. И я совсем не представляла, что стою на пороге детективной истории, в которой мне была уготована весьма сомнительная роль жертвы.

История началась в пригороде Парижа Клиши-су-Буа, что на русский можно перевести как Клиши-под-деревом. Меня туда повез Брис Капель, француз тоголезского происхождения. Брис провел в Клиши все свое детство, закончил там школу.

– Нас было шестеро братьев и сестер. Мама держала нас в ежовых рукавицах. Мы должны были приходить из школы ровно в четыре десять. И горе тому, кто появлялся в четыре двенадцать, – она уже стояла на лестничной клетке с тапком в руках.

Родители Бриса работали, а потом случилось вообще чудо: мама выиграла на бегах кругленькую сумму и купила ресторан, которым владеет и до сих пор. Брис – актер и музыкант, он много работает с детьми – ставит вместе с ними спектакли.

Мы поговорили немножко о французском превосходстве, ощущение которого разливается в воздухе, как запах гелиотропа – сильно и невидимо.

– А ты испытываешь предвзятое отношение к себе? – спросила я Бриса.

– Достаточно часто – хоть в магазине. Люди встают в очередь впереди меня, как будто меня нет. И что я могу поделать, особенно если это какой-нибудь божий одуванчик?

Клиши-су-Буа – типичный спальный район, внешне чем-то лучше, чем-то хуже наших окраин с такими же однообразными высотками, неработающими

* Новая газета. 2005. № 86.

лифтами и грязными подъездами. Рядом с супермаркетом располагаются арабский мясной магазинчик и маленькая мечеть, и единственное внешнее напоминание о недавнем – полоска выжженного, искореженного асфальта. Главная разница – у нас эти окраины пока не превратились в этнические поселения, у нас, как известно, номер направо снимает китаец, номер налево снимает малаец, а посередине может спокойно жить профессор МГУ. И это замечательно, поскольку профессор может чему-нибудь научить своих соседей, а если, как говорит Брис, «ты видишь только своего папу, который какает в лифте, то и ты будешь какать в лифте».

Брис оставляет меня в одном из центров социальной помощи. В свое время таких центров было довольно много, они были созданы специально для адаптации иностранцев, зачастую почти не говорящих по-французски. Здесь были языковые курсы, детям помогали делать уроки, работали разные кружки. Несколько лет назад субсидии на эти центры были основательно урезаны.

Директор центра Аньес, мелкая худая француженка, сказала сразу, поджав и без того нитевидные губы, что помочь мне они ничем не могут, что журналисты их замучили, что про них пишут только гадости, а они на самом деле не хуже других. Она даже попыталась запретить мне общаться с детьми. А я хотела просто найти местную семью, чтобы провести с людьми день-другой, понять, чем они дышат, как живут, о чем думают. И все отказывались, и у меня было ощущение, что они все чего-то панически боятся и в то же время пытаются изобразить, что все в порядке.

Вдоль домов сидели на корточках небритые мужики, лениво переговариваясь на разных языках. Женщин на улице было значительно меньше. На углу у дома под названием Акведук жандармы обыскивали группу подростков. Обыскивание было красиво, как авангардный балет, больше всего оно напоминало ласковую пальпацию врача-терапевта, правда, несколько более унижительную.

– Это профилактика, – объяснил мне, мило улыбнувшись, один из жандармов. Не знаю, что она дает, но ненависть подогревает отлично. Подвезти меня жандармы никуда не могли – закон запрещает возить гражданских лиц, где остановка, не знали. Подъехала полицейская машина – они тоже не знали, где остановка, и тоже отказались меня куда-нибудь подвезти. Они были такие душки-обаяшки – прямо прелесть, даже пожелали мне удачи на прощанье, сразу скажу: не сбылось.

Стало совсем темно. Случайный прохожий показал мне, куда идти. Почти сразу вместе со мной на остановку подошли двое парней, один стал внимательно рассматривать афишу, а второй, внезапно обернувшись, каким-то пустяковым жестом дернул с моего плеча большую сумку с фотоаппаратами и побежал с ней через пустырь. Вот честно скажу: я не испугалась, а почувствовала совершенно невиданное бешенство и помчалась за ним, оря во все горло что-то вроде: «Сарынь на кичку» или «Наших быют». Второй парень, одетый, как привидение, во все белое, подставил мне подножку, я свалилась, время было упущено, и...

– Твое счастье, что свалилась, – сказал мне потом фотограф Эрик. – Могли бы и изуродовать или ранить – они ведь часто с ножами ходят.

На мой крик прибежали люди из соседнего дома.

– Господи, – сказал один из них, – да кто же вас отпустил ходить здесь одну?

Я не стала говорить про работников социального центра, а про жандармов и полицию – и подавно. Им ведь не положено по закону.

– С вами все в порядке? Что у вас украли? – продолжал он участливо.

И вот тут я поняла, что больше не существую. Ну вот нету меня на этом свете – и все. У меня украли паспорт, водительское удостоверение, кредитные карточки, билет на самолет, все мои записные книжки с адресами друзей и знакомых по всему миру, аппаратуру на несколько тысяч долларов и даже маленький альбом с фотографиями детей, согревавший мне душу во всех поездках. Я была одна среди черной французской ночи – и большего одиночества я не испытывала никогда в жизни.

Все тот же милый человек повез меня в полицию, которая почему-то находилась вовсе не в Клиши-су-Буа, а в соседнем городке Ле Ранси, его в газетах называют «островком благополучия». Самое страшное, что может в Ле Ранси произойти, – какая-нибудь старая дама потеряет носовой платок или ошейник любимой левретки. По дороге мы встретили все тех же полицейских.

– Пересаживайтесь в нашу машину, мадам, теперь можно, теперь вы – жертва.

– Может, сразу по горячим следам объедем местность – я смогла бы узнать парней.

– Нет, этим занимаются другие наряды, а мы должны сначала доставить вас в полицию и составить протокол.

– Давайте я поеду с этими другими, чтобы скорее.

– Нет, сначала протокол.

Я и не представляла, что полицейский комиссариат может находиться в таком обшарпанном помещении. Я много чего еще на тот момент не представляла, поэтому попросила принести чашку чая. В этом мне было отказано: мы, мадам, сами приносим свою еду из дома, поэтому делиться не можем, чая нет. В это время по коридору пронесли несколько коробок с пиццей, и всех их позвали есть. Мне не предложили даже воды. Разговаривали со мной исключительно вежливо, но невыносимо холодно и безучастно.

Следующие тридцать минут мы чертили ручкой на бумажке план местности, поскольку карты в полиции нет. Да-да, той самой карты местности, которая у нас висит во всех отделениях. Они никак не могли понять, где все это произошло, поскольку, так же как и я, совершенно не знали Клиши-су-Буа.

– Может, позовем участкового, – наивно предложила я.

– У нас их больше нет.

Оказывается, еще три года назад Николя Саркози, министр внутренних дел Франции по прозвищу Сарко, отменил институт участковых. Тех самых участковых, которые в былые времена объезжали кварталы на велосипеде, знали всех проблемных мальчишек в лицо, имели своих осведомителей и вели профилактическую работу. Душ Сарко смысл их за ненадобностью.

Мы еще почертили карту, потом я попросила их найти по адресу мою подругу, главного редактора одного из французских журналов, и номер телефона, чтобы приостановить действие кредитных карт. Они не знали, как сделать ни то, ни другое. Интернет в полиции не работал. С подругой мы разобрались:

я посоветовала позвонить в комиссариат ее района, что они, удивившись, все-таки сделали – слава богу, хоть это было не запрещено законом.

Потом, простите, мне захотелось в туалет. Лучше бы мне этого не хотелось. Чтобы попасть в кабинку в глубине помещения, нужно было пройти сквозь строй писсуаров, а, выходя из нее, соответственно, предварительно покричать, чтобы узнать, находятся ли писсуары в полном одиночестве. Во французской полиции работают много женщин, и Ле Ранси в этом смысле не был исключением, но они, видимо, привыкли.

Я спросила имя женщины-офицера, которая составляла протокол и с которой на тот момент мы уже беседовали битый час. Она ответила примерно так: – У меня нет имени. Я – функционер полиции.

Имя ее – Стефани Рознак – красовалось потом вместе с ее же подписью на полицейском протоколе.

Никто из них не сказал мне ни одного человеческого слова. О, нет-нет, они были предельно любезны – но только как роботы. Я не сравниваю их ничуть с нашей милицией, прекрасно зная ее истинную цену, но знаю я также и то, что в Малых Подрясниках всегда нашлась бы тетя Маша в старом синем халате с булавкой от сглаза на груди или Афанасьич в четырехугольной панамке, сделанной из носового платка. Они налили бы мне чаю и сказали: «Ну че, доча? Эка тебе попало. Давай-ка чайку, а хошь – и рюмашку нальем?» И я бы заплакала, и все бы встало на свои места.

С этой холодной вежливостью и нежеланием помочь в ситуации, которая выходит за рамки дежурной, я столкнулась потом в аэропорту, где с меня, несмотря на все полицейские бумаги, требовали 50 евро за выписку билета. Я попросила офицера пограничной службы сказать мне, если мимо него будет проходить кто-либо с русским паспортом или билетом на Москву. И вот что мне ответил браваый защитник кордона: «Я офицер французских пограничных войск. И я не буду делать за вас вашу работу».

Господи, как же все это разительно отличалось от Российского консульства в Париже, где мне за 15 минут выправили документ на выезд из страны, не взяв за это положенных денег, где просто разговаривали нормальным домашним голосом и улыбнулись так, как и надо было в этот момент улыбнуться. Они не делали работу – они мне просто помогали, в этом и была вся разница.

Я пошла вдоль очереди и ровно через две минуты, тут же врубившись, незнакомый мне человек по имени Артем Поздняков вытащил бумажник, заплатил деньги и потом, в Москве, долго не хотел взять их обратно.

Я мечтаю жить в стране, в которой все делается по закону, и, видимо, никогда в такой стране жить не буду. Но мне сдается, что если я иду мимо озера с крокодилами, в котором барахтается человек, а на берегу надпись «Купаться в озере противозаконно», то я нарушу закон и полезу спасать – и пусть в меня потом бросят камень. С другой стороны, именно благодаря торжеству закона и законопослушности граждан по улицам французских городов до сих пор еще не текут кровавые реки. Страшно подумать, что в подобной ситуации могло бы быть в России...



СИЛА СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ*

В одно майское воскресенье у нас дома собралась небольшая компания. Среди гостей была Елена Борисовна Н., приехавшая из Франции провести свой отпуск на родине, в Москве. Она уже несколько лет жила там, работала врачом-терапевтом в небольшом северном городке. Речь зашла о телевидении. Кто-то вспомнил первые советско-американские телемосты, проводившиеся, как принято говорить, на заре перестройки. Многие из тех, кто смотрел эти передачи, помнят случай с женщиной, которая сказала фразу, мгновенно ставшую крылатой: «У нас в СССР секса нет!» Мало кто сообразит сейчас, о чем шла речь в той программе, и еще меньше людей знают, что фраза эта на самом деле – плод удачного монтажа, принесшего высокий рейтинг создателям шоу и многие хлопоты той несчастной даме. Ведь она сказала на самом деле совсем другую фразу, от которой отрезали только эффектное начало – оно одно и осталось в эфире. Истинный смысл ее выступления заключался в критике советской системы сексуального образования. Дама потом, кажется, судилась с телевидением на предмет задетых чести и достоинства, потому что считала, что ее незаслуженно выставили на посмеище перед многомиллионной телеаудиторией, однако суды, кажется, не принесли ей успеха. Так или иначе, но фраза эта пережила и СССР, и перестройку, и телемосты, и до сих пор, как ни странно, она воспринимается многими как наиболее точная характеристика ситуации с половым просвещением в советской стране.

– А ведь это и вправду так, – вступила в беседу Елена Борисовна. – Когда мы росли, время было воистину пуританское. Какой там секс, что вы... Элементарных вещей не знали, даже самой сейчас не верится, что такое могло

* Топос.

быть. Что самое интересное в разговоре? Пример из собственного опыта. Я вам не рассказывала, как пришлось лечить милиционера от импотенции? Нет? Был такой эпизод в моей жизни. Тогда послушайте, какая со мной приключилась однажды история. В семнадцать лет я поступила на первый курс московского медицинского института, тому назад уж тридцать семь лет... Как мы изучали анатомию? По одной стандартной схеме. Вот, к примеру, нос: симметрия сверху вниз, хрящ, левая ноздря, правая ноздря... Грудь – правая часть, левая часть... Позвоночник, живот... И так постепенно дошли мы и до наиболее интересного мужского органа. Задали нам прочитать параграф на дом. И я, как занудная отличница, читала и все никак не могла понять. И вот на занятии спрашиваю:

«Простите, я вот никак не могу понять, где должен быть конец?»

Преподавательница наша говорит:

«Поставьте тело!»

Я, как положено, мысленно его ставлю и говорю:

«Все равно не понимаю, ведь если тело стоит, то конец должен быть снизу, а тут в учебнике нарисовано так, что конец получается сверху!»

Ну, одноклассники мои уже прыскают, а преподавательница нахмурилась, как грозовая туча:

«Знаешь, что такое недостаток кровообращения? – спрашивает. – Это как раз то, что происходит у тебя в мозгах! Так что если не можешь понять, то запомни и не срывай мне занятие!»

Вот такая я была наивная студентка в семнадцать лет. Но это не помешало, а может, как раз и поспособствовало мне на третьем курсе в девятнадцать лет изящно выскочить замуж. Конечно, был бой с родителями, были рыдания, крики и прятанье паспортов. Но вот у нас закончилась сессия. Мы с Димкой сдали утром последний экзамен, а днем пошли и расписались, а на следующий день отправились в наше свадебное путешествие – на студенческую практику. Мы уже заранее вместе на эту практику записались, зная, что поженимся, и вот попали в одну сельскую больничку. Это был небольшой стационар с поликлиническим отделением, и нас там уже ждали, потирая руки. Потому что пришло время отпусков. И вот заведующая отводит Димку в хирургическое отделение и говорит:

«Ну, что ж, прошу, отделение ваше на целый месяц, поздравляю! Не волнуйтесь, тут ничего страшного не будет, будут механизаторы с производственным травматизмом, ну, вы же ранки умеете зашивать? Вот и хорошо, вот и славно, а если что серьезное, смело направляйте прямиком в районную больницу».

А меня, как терапевта, бросили на поликлинику. А у них все вместе было: кожные заболевания, венерология... Я, как эти стопки с документами увидала, так и побледнела:

«Извините, а мы кожно-венерологические не проходили еще...»

А заведующая в ответ:

«Да вы не беспокойтесь, тут работа простая, будут к вам доярки приходить,

у них у всех руки от доения болят, трескаются, так вы, чтоб не думали, что всем одно и то же прописывают, одной мазь, другой болтушку, одной мазь, другой болтушку, оно и хорошо получится, и славно. Вот я вам тут и рецепты все уже подготовленные стопочкой под стекло сложила... Так что входите в курс дел, а через месяц я вернусь и практику вашу подпишу. Всего хорошего!»

На следующий день было пятое июня и первый прием. Я сижу в своем «кибинете», в коридоре очередь доярок. Все идет как по маслу: мазь, болтушка, мазь, болтушка. И вдруг, слышу, шаги в коридоре – бум, бум, бум, дверь распахивается, а на пороге... Милиционер, при полной форме, с усами, с плечами. Он ка-ак глянул, у меня сердце под стол закатилось. И только пискнуть сумела:

«Вы ко мне?»

А он так низко и коротко:

«Нет, я – не к вам!»

И дверью – трах! Ну, думаю, вот тебе и здравствуйте, и до свидания. А минутой позже опять слышу в коридоре шум какой-то, голоса, дверь опять распахивается, и на пороге снова тот милиционер, но уже вместе с заведующей (она еще три дня должна была перед отпуском поработать).

«Ну, в чем дело? – говорит заведующая. – Все в порядке, доктор на рабочем месте, идет прием, что вас не устраивает?»

«Да вы что! – возмущается милиционер. – Вы что, не понимаете? Мне нужен врач, и притом – мужчина!»

Тут во мне что-то звякнуло. Ах так, думаю, хорошо же. Встаю и говорю:

«Гражданин, видите, на мне белый халат?»

Милиционер отвечает неуверенно:

«Ну, вижу...»

«А если видите, то это значит, что перед вами не женщина и не мужчина, а врач. Если же это вас не убеждает, то это означает, что вы абсолютно здоровы, и вам не нужен никто: ни женщина, ни мужчина, ни врач!»

Заведующая, видя, как я воспряла, говорит:

«Ну, я смотрю, вы тут и без меня договоритесь, вот и хорошо, вот и славно, так что желаю успехов, всего доброго!» – и быстренько за дверь. А я осталась наедине с моим милиционером. Глаза мои упираются ему точно в середину галстука. Я духу набралась и спрашиваю:

«На что жалуетесь?»

Он засмущался, глаза в сторону отвел:

«Понимаете, доктор, не стоит...»

А что не стоит, я не понимаю, и говорю первое, что на ум приходит:

«Так, так, все понятно, ну, садитесь, садитесь, пожалуста...»

Он опять взвился:

«Вы что, издеваетесь?!»

Я вижу, что дело серьезное, а понять все равно ничего не могу.

«Так, – говорю ему, – вот что. Видите, у меня полный коридор больных. А вы тут врываетесь, шумите... Вот что. Вы приходите к концу приема, мы с вами спокойно побеседуем».

Он послушался и ушел. А я в обеденный перерыв бегу к Димке.

«Спасай, – говорю ему. – Что делать, не знаю».

Димка спрашивает:

«Да что случилось?»

«У меня милиционер, – говорю, – а у него не стоит, что делать?»

Димка как закричит:

«Вечно ты в какое-то дерьмо вляпаешься! Ничего себе начало практики!

Где он?»

«Придет в конце дня».

«Так, шли его сразу ко мне, мы тут с ним побеседуем по-мужски».

Ну уж нет, думаю, это мой пациент.

«Ладно, – говорю, – раз не хочешь мне помочь, буду сама разбираться!»

И пошла. Такой у меня характер. Пришла в «кибинет», и все снова: мазь, болтушка, мазь, болтушка... День к концу подошел, является мой милиционер. А я вспоминаю, как нас учили: чтобы понять причину и суть заболевания, прежде всего необходимо получить точный анамнез, то есть, попросту говоря, историю болезни.

«Вы уж не обижайтесь, – говорю, – только садитесь, пожалуйста, и все по порядку мне расскажите, а там уж посмотрим. Как это у вас началось?»

А сама так и не понимаю, что началось-то. Он говорит:

«Понимаете, доктор, у меня в поселке жена. И любовница. И все было хорошо, но поселок маленький, все по ветру носится. Жена прознала как-то. И говорит мне: вот оно что, гуляешь от меня, так смотри – еще узнаю, что был у ней, подсыплю тебе отравы в питье, и с ней не сможешь, и со мной не сможешь, и ни с кем не сможешь! А она у меня и вправду по травам сильна, так, видать, дожидаться не стала, а со зла в тот же день и подсыпала. Я к любовнице-то прихожу, а у меня – не стоит! Я уж всех баб в поселке перепробовал и даже в райцентр ездил, а все без толку. Если вы не поможете, то и не знаю, как жить буду!»

«Поможем, поможем, – говорю. – Советская медицина – лучшая медицина в мире». Говорю-то говорю, а сама и не понимаю, в чем помогать-то. Такая я была три дня женатая практикантка. Ладно, думаю, мне тут шесть недель всего работать. Вспомнила про занятия наши по психотерапии, подумала еще немного и говорю:

«Слушайте, она вам, конечно, чего-то подсыпала, это точно, но современной науке совершенно так же точно известно, что ни одно лекарство и ни один яд не действуют вечно. Думаете, почему в аптеках на всех лекарствах ставят срок годности? Потому что потом они перестают действовать – раз, и как отрезало. А если лекарство введено в организм, то у него тоже есть максимальное время действия. Что касается травяных составов, к примеру, и это совершенно бесспорно доказано наукой, то такое время действия составляет максимум три месяца. Так что какого числа у вас был разговор с женой?»

«Двадцать восьмого мая».

Я еще это число так точно запомнила, потому что тут совпадение вышло – у меня тогда же день рождения.

«Так, – говорю, – три месяца у нас будет двадцать восьмого августа. Значит, сделаем так. Вы ко мне вечером будете приходить в рабочие дни, мы с вами будем немножко заниматься психотерапией, у вас сейчас стресс, депрессия, вам нужно перестать волноваться. А насчет любовницы... Лучше всего вам этим больше не заниматься».

Он аж подпрыгнул:

«Как не заниматься?»

«А вот так, – говорю. – Вам сейчас лучше всего заняться чем-то отвлекающим. Организуйте, например, тимуровскую команду. Или, еще лучше, волейбольный турнир. Вы же милиционер, вот и поддерживайте порядок таким образом. Вы вот ездили в райцентр, там же есть наверняка молодежная команда, вот и организуйте товарищескую встречу. Вам нужно отвлечься. Главное – не думать об этом. Потому что есть одна опасность – обычно все из организма выводится в течение трех месяцев, но если зацепится за центральную нервную систему, тогда дело примет другой и весьма плачевный оборот. Тогда вам помочь будет уже гораздо труднее. Центральная нервная система – это самое главное, как учил академик Павлов. Так что относитесь к лечению серьезно, я вам это ответственно советую. Не дай бог зацепится за центральную! А про жену с любовницей не думайте, играйте себе в волейбол и каждый вечер – ко мне, на терапию. И двадцать восьмого августа будете как новый!»

Вот говорю я все это, а у самой все внутри обрывается – что ж я делаю? Как вниз головой прыгать – у-ух... Но он так выслушал грустно и ушел. И я пошла – домой, к мужу моему. Димка спрашивает:

«Ну что, приперся милиционер-то?»

«А как же, – отвечаю, – ты вот не захотел мне помочь, так я теперь с ним буду каждый вечер психотерапией заниматься».

Ну, это Димку абсолютно не устраивало, но сделать он ничего не мог – такой у меня характер. А милиционер, и вправду, стал приходить. Сидели мы с ним, чай пили, про жизнь разговаривали. И в волейбол он играть начал, действительно, организовал турнир товарищеский, команды какие-то к ним приехали. Рассказывал мне про это, даже увлекся сильно. Но самое главное, что до конца я так ничего и не понимала, вот поверите или нет, но это чистая правда. И думала только об одном – чтобы он о том не прознал. Потихоньку-полегоньку прошли мои шесть недель, попрощалась я с милиционером, и поехали мы с Димкой назад в Москву. И забыла я эту историю.

Прошел год. И вот после четвертого курса направляют меня на следующую практику, опять в сельскую местность, и даже в тот же самый район, но уже не в больничку, а в простой медпункт. Приезжаю, показывают мне мой «кибинет». Сажусь я уныло за дезспэшный замызганный стол, и вот представьте себе – не проходит и пятнадцати минут, как открывается дверь, и входит – он! Мой милиционер. Все при нем: и форма, и усы, и плечи. Я от страха чуть сквозь стул не просела. Все, думаю, молись, Ленка, чтобы он тебя не пришиб! А он вдруг мне цветы протягивает и говорит:

«Доктор, я как узнал, что вы к нам в район, так обрадовался, чуть не запел!

Я ж вам тогда ни спасибо, ни до свидания толком сказать не успел. Честно скажу: не верил я вашему лечению. Так, ходил к вам, чтобы время скоротать. Ну, а потом привык даже. Бывало, иду вечером домой по поселку, прохожу мимо больнички нашей, эх, думаю, врач-то мой уехала! И так вот шел как-то, и такая тоска взяла, стал все вспоминать, как мы с вами сидели, разговаривали, как-то душу туманом заволокло, и вдруг скovyрнулось чегой-то там, я вас так отчетливо вот представил, как вы говорите – двадцать восьмое августа, и вдруг понимаю – ё, так это ж сегодня! И тут меня ка-ак поднимет! Ка-ак вверх рванет! Прямо полетел до дома-то! И сразу к жене – ну, как дикий зверь прямо... Ей-то я ничего про вас не говорил, не рассказывал, и любовнице ни слова, их теперь две у меня, одна в райцентре, тренер волейбольный, мы тут турнир готовим областной... Так что спасибо вам большое, доктор, очень вы мне помогли, спасли прямо, я теперь мужчина хоть куда!...»

Тут он так оглядывается заговорщицки, будто смотрит, нет ли рядом кого, шагает вперед, наклоняется над моим столом и, глядя в глаза, говорит мне:

«И вот желаю вам это доказать, прямо и немедленно!»

Я чуть-чуть отодвинулась:

«Спасибо, конечно, но лучше не надо!»

Он обиделся:

«Как это не надо? Вы же спасли мою мужскую силу!»

Ну, думаю, ничего себе, выходит, все-таки внушила я ему! А сама такое строгое лицо делаю и холодно заявляю:

«Во-первых, я на работе не я, а официальное лицо и представитель международного Красного креста, а во-вторых, вашу мужскую силу спасла тоже не я, а безграничная сила советской медицины!»

«Ну, так давайте во имя советской медицины и лично академика Павлова! Доктор, вы не пожалеете! По крайней мере, удовольствие получите!»

Так и ушел, обиженный, цветы на стол положил. Прошло с тех пор много лет. Я вот думаю иногда – а может, зря я его прогнала-то? Вот как сегодня это все перед глазами – стоит, запыхавшийся такой, в форме этой, с усами, с плечами, с цветами. Даже жалею, что не сделала это с ним, с милиционером этим. Честное слово. А с Димкой мы развелись через четыре года и видались потом только один раз.



КОЛЛЕКЦИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЕВРЕЙСКИХ ИМЕН И ФАМИЛИЙ*

Собрано Т. Р. и замечательной Ко

Видимо, в прошлой инкарнации я была сорокой. Не могу пройти мимо того, что блеснит. Когда я работала экскурсоводом в Пушкинских Горах и жила в деревенской избе, я записывала особенности псковского говора. В Эрмитаже – вопросы экскурсантов. А вот, оказавшись в Израиле, и по бюрократической работе сталкиваясь с огромным количеством имён, я не смогла оставить в небрежении удивительные имена и фамилии и стала их коллекционировать.

Как сказал живущий в Иерусалиме поэт Александр Верник, «при определённых обстоятельствах любое слово может стать еврейской фамилией».

Клянусь! – все имена-отчества-фамилии подлинные!

Выражаю здесь благодарность Лене Виленской, которая за последние три месяца пополнила эту коллекцию бесценными экспонатами.

Абрам Гитлер; Йосеф Маша; Абрам Любка; Моня Плешивый; Соломон Кятай; Нафтула Нюренберчик; Лея Шеренга; Терра (имя) Браун; Абрам Возница; Мендель Боцман (Ну, это мы с детства знали: лоцман, боцман, Кацман...).

Моня Храпливый; Шлёма Рововыкамень; Добре Эпштейн; Илья Ленивкер; Моше Смокер; Михаил Клурглур; Меня Шалашибес; Ицък Лечица (Всю жизнь лечится! Вот ужас-то!).

Ниже я попробовала разделить экспонаты на смысловые группы.

Предметные: Моше Шапка; Ривка Лопата; Шмулик Тряпка; Иммануил Портянка; Фаина Дратва; Мотя Нафталин; Ицък Крахмал; Лазарь Торфф; Мордух Шарфф; Сима Маховик; Джульета Медалия; Яков Медальон; Мария Справка; Давид Флигель; Иммануил Головешка; Песя Шлагбаум.

Фауна и флора: Моня Мерин; Эсфирь Выдра; Сруль Тарантул; Йосеф Лесопарпарский (на иврите парпар – «бабочка». Такая получилась «лесная бабочка» в лесопарковой зоне); Цилька Слон; Моисей Крооова (так!); Моше Пенёк; Абрам Лысобык; Тамар Блох; Цыпа Курица; Зеев Зайчик (на иврите зеев –

* Livejournal.

«волк»); Тамар Омар; Белла Хайдак (на иврите хайдак – «микроб»); Иммануил Клещ; Лев Хибралтар; Швинах Лоренс; Абрам Хамерклоп; Арон Баран-Цви (цви – «олень»).

Ругательные: Ян Фигман; Худодот Цынман; Хаим Кукиш; Мотя Мудак; Зуся Холуй; Натан Брехун; Бенья Фрайер; Соломон Наглер; Ицхак Фанаберия; Абрам Бякин; Ави Пукман; Буся Сралис; Сруль Хакак.

Ф. И. О.: Велвл Львович Махараджа; Дыня Самуиловна Мерлин; Ратмир Абрамович Кицис; Психея Моисеевна Ватник; Лолита Мордуховна Подошва; Иерусалим Израильевич Вашингтон (отец); Сара Иерусалимовна Вашингтон (дочь); Цилиндра Срулевна Гробокопатель.

Духовные лица: Шмуэль Пастор; Сара Попович; Абрам Католик; Иегуда Дервиш; Йосеф Папа; Зинаида Христити.

Аристократы: Фейга Шлафрок; Пинхас Хальстух; Зуся Пентхауз; Мирьям Хреново-Варшавская; Султан (имя) Шнеерсон; Хая Опоздовер; Исаак Хандельшмуклер; Арон Ле Шевалье.

Римляне: Мордехай Август; Юлиус Тирас (тирас – «кукуруза»); Тибериус Шнайдер; Атилла Фишман; Менуха Интриллигатор; Нателла Интервизер; Хая Юлиусбергер; Ицик Шимонович Протектор; Израиль Моисеевич Пилат.

Красавицы: Бася Хамудис (хамуд – «милый, миленький»); Сара Шнобель; Дина Черномордик; Броня-Браха Мундштук; Хава Ништяк; Майя Покидала; Изабелла Любартрит; Перл Зуб Дук; Кресла Шварк.

Банда: Абрам Крамольник; Зеев Кромешник; Арье Шахермахер; Шломо Нахрап; Бася Колдун; Михаэль Трус; Песя Шухер; Фаина Подвальная; Шломо Квадрат; Израиль Гроб.

Торговые: Абрам Шиллинг; Хаим Монета; Цыля Шкурник; Марк Выгоднер; Иосиф Лотерейчик; Арон Выгода; Перл Якобы; Драгле Дорогой; Гирш Кредит; Йосеф Пшик; Абрам Контребуц; Яна Шекель; Моше Шиш; Натан Себе (натан – глагол «дал». Получаем: «Дал себе»).

Съедобные: Дыня Закусина; Меир Шкалик (вот бы их поженить!); Мириам Сметанка; Менахем Кура; Фима Макарон; Всеволод Капусткер; Зусвази Редиска; Мотя Хлебай; Тушка Фридман; Сало Шик; Мотек Цукер (мотек – «сладкий, сладенький»); Исай Хлеболюб; Иосиф Блин; Сруль Шмулевич Пиво.

Отдельная группа – наверно, индейцы: Фрида Безрук; Моисей Безнос; Белла Безнос; Натан Безглаз; Барух Безглас; Герман Одноглаз; Хая Белыйглас; Мина Криворучк; Йони Кривоножк; Пинхас Кривошей; Мотя Кривошапк; Борис Крутопейсах; Натан Крутоног.

Эротические: Исаак Хер; Сиська Зисман; Меня Бляхер; Гриша Немнихер (вынь руки из кармана); Исай Прохеркус; Иммануил Жупа; Мария Мондом; Сталина Ленинзайн (зайн – «член»); Ицык Мондзайн; Мирра Хочь; Зудик Вербал; Абрам Пихвах (он сначала её пих, а потом сказал: «Вах!»); Самуил Однопозов; Попа Турфельтауб; Франтишек Зейбал; Изя Факер; Натали Фалус; Рене Оденхой; Сёма Злotoябко; Цилия Манда; Натан Кайф.

NOTA BENE

Литературно-публицистический журнал

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**
Заведующая редакцией **Елена Вайнштейн**
Корректор **Лена Драгицкая**
Полиграфические услуги **«Клик» (Иерусалим)**

Адрес редакции:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863

Электронный адрес: omegag@bezeqint.net

OCR Давид Титиевский, апрель 2019 г., Хайфа

NOTA BENE

Literary-Publicistic Magazine

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**
Deputy-editor **Rafael Nudelman**
Manager **Lena Wainstein**
Printing-house **«Click» (Jerusalem)**

The Magazine's Address:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

כתב-עת ספרותי פובליציסטי

עורך ראשי **אדוארד קוזניצוב**
סגן העורך **רפאל נודלמן**
מנהלת אדמיניסטרטיבית **לנה ויינשטיין**
סטודיו "קליק" ירושלים **הדפסה**

כתובת:

ת.ד. 45156, הר-חוצבים, ירושלים 91450, ישראל

טל: 02-5325931

פקס: 02-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

Nota Bene (NB) © Э. Кузнецов



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ*

В Израиле (почтой)	₪ 210
В России (авиапочтой)	\$ 65
В Европе (авиапочтой)	€ 55
В США (авиапочтой)	\$ 70

* Цена включает доставку и НДС

Телефон для справок: **02-5325931**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

В Израиле:	
в магазине	₪ 40
в редакции (вкл. доставку почтой)	₪ 35
В России (авиапочтой)	\$ 11
В Европе	€ 9
В США	\$ 12

6
номеров,
включая
доставку

Журнал
выходит раз
в два месяца

Желающие оформить подписку могут выслать чек, выписанный на имя компании «Journal Omega», по адресу редакции

Журнал
можно приобрести
в книжных магазинах:

- **Афула:** ● «Арбат», ул. Арлозоров, 13
■ **Ашдод:** ● «Спутник», Мерказ Сити, ул. Ха-Клита, 3/6;
Мерказ «Йуд», ул. Ха-Невиим, 7 ■ **Бат-Ям:** ● Книжный
мир, ул. Бальфур, 49 ■ **Безр-Шева:** ● «Радость», ул. Гистадрут, 37
● «Спутник», ул. Яир, 33; ул. Гистадрут, 55/4 ■ **Герцлия:**
● «Спутник», ул. Соколов, 58 ■ **Герцлия-Питуах:** ● «Меркурий»,
Каньон Мерказим 2001 (напротив «Моторолы») ■ **Иерусалим:** ● «Золотая
каре́та», ул. Яффо, 129; ул. Агрипас, 3 ● «Гешарим», ул. Агрипас, 10
● «Аквариум», ул. Бен-Иегуда, 34 ● «Меркурий», ул. Кинг Джордж, 20
(или ул. Элиаш, 6) ● «Престиж», Тахана мерказит, 3-й этаж ● «Спутник»,
ул. Яффо, 91 ■ **Кармизель:** ● «Альтернатива», ул. Ха-Галиль, 2 ■ **Кфар-
Саба:** ● «Арлекин», ул. Вейцман, 72 ● «Спутник», ул. Вейцман, 148 ■ **Нагария:**
● «Альтернатива», ул. Геатон, 2 ■ **Нацрат-Илит:** ● «Арбат», Мерказ Раско
● «Альтернатива», Мерказ Раско ■ **Петах-Тиква:** ■ «Пегас», ул. Хаим
Озер, 13 ● «Спутник», ул. Хагана, 14 ● «Буковина», ул. Орлов, 84 ■ **Реховот:**
● «Рая», ул. Герцль, 175 ● «Спутник», Пассаж Фарлан, ул. Герцль, 161
■ **Ришон ле-Цион:** ● «Элла», ул. Ротшильд, 82 ■ **Тель-Авив:**
● «Букинист», ул. Алленби, 71 ● «Миллениум», Новая тахана мерказит
● «Дон-Кихот», ул. Алленби, 98 ■ **Хадера:** ● «Арбат», Пассаж,
напротив банка «Дисконт» ■ **Хайфа:** ● «Дон-Кихот»,
ул. Герцль, 59 ● «Здесь!», ул. Ха-Невиим, 23 ● «Азбука»,
ул. Хаим, 4 ● «Колизей», ул. Ха-Невиим, 24 ● «Улыбка»,
ул. Халуц, 55 ● «Адар», ул. Герцль, 48 ● «Альтернатива»,
ул. Халуц, 42 ● «Спутник», ул. Ханита, 40
■ **Холон:** ● «Спутник», Кикар Вейцман, 13

■ Книжный интернет-магазин:

www.neshima.com